

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №3 | 2019





Эльнора Алиева | Диптих | 60 × 40 | 2017

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №3 | 2019

В номере

.....

ДиН ГАЛЕРЕЯ

Марина Саввиных

- 3 «Рыжий кот»:
масс-культура и классика

ДиН ПАМЯТЬ

Алексей Козловский

- 5 Слово о Третьякове

ДиН ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир Никифоров

- 7 Мамин-Сибиряк поневоле

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Эдуард Анашкин

- 17 Семь граммов счастья
поэтессы Лидии Иргит

Лидия Иргит

- 21 Женщина-скала

Сати Овакимян

- 104 Огни большого города

ДиН ДИАЛОГ

Юрий Беликов, Валерий Соловей

- 24 Страсти у крещенской иордани

ДиН ЮБИЛЕЙ

Марина Тарасова

- 29 Баллада об аномальной зоне

ДиН СТИХИ

Людмила Щипахина

- 33 Я там, где мой народ

Владимир Скиф

- 37 В глубинах рая или ада

Дмитрий Русин

- 41 Пещерное сердце

Игорь Белкин-Ханадеев

- 44 Родной, зелёный, скорый...

Александр Клиндухов

- 48 Над миром реки

Анна Михайлова

- 109 Моби Дик

Дмитрий Шорскин

- 112 Философия движенья

Павел Великжанин

- 115 В едином свитке

Алексей Борычев

- 119 Время вырастает из земли

- ДиН ПРОЗА**
 Владимир Шанин
 50 Седьмой сын
- ДиН РЕВЮ**
 Анна Мамаенко
 108 Некрополь еретиков
 Нина Веселова
 111 Ласточка
 Александр Кердан
 122 Приснилась мама мне
 Владимир Шанин
 161 У времени в плену
- БИБЛИОТЕКА
 СОВРЕМЕННОГО
 РАССКАЗА**
 Эльдар Ахадов
 123 Серебряный ангел
 Анатолий Бимаев
 137 Бегом по сияющей радуге
 Галина Шляхова
 141 Бабы
 Елена Басалаева
 152 Цыганская дочь
 Галина Данилова
 162 Возвращение
 Глеб Рубашкин
 167 Туманы
- ДиН ПЕРЕВОД**
 Джеке Мариной
 172 В мягких кристаллах
 кириллицы
- ДиН ДЕБЮТ**
 Анастасия Нагорнова
 174 Чистая дружба
- ДиН СИММЕТРИЯ**
 Юрий Беликов
 178 Столетие на сгибе
- ДиН ЭССЕ**
 Сергей Кулаков
 180 О маге, чародее
 и волхве Симоне
 из Самарии
 и лживом учении его
- ДиН ВЗГЛЯД**
 Павел Карякин
 185 Кошмар истории
 и ужас души
- СИНЯЯ ТЕТРАДЬ**
 188 Мастерская
 Елены Тимченко
 192 Суперперо-2018
 194 **ДиН АВТОРЫ**

Марина Саввиных

«РЫЖИЙ КОТ»: масс-культура и классика

Северный — сравнительно молодой «спальный» район Красноярска. Расположен, так сказать, вдали от местных творческих центров. И тот факт, что именно здесь реализован один из самых успешных региональных социокультурных проектов последнего десятилетия, — сам по себе показателен. Хотя и уникален.

С Натальей Юрьевной Патрихиной, хозяйкой арт-галереи «Рыжий кот», я познакомилась случайно. Но, поскольку нет в этой жизни ничего случайного, приходится признать, что у Провидения всегда имеется неведомый нам план относительно наших намерений и возможностей. И рано или поздно он начинает осуществляться. Ведь как бывает... Помните притчу Иисуса о сеятеле? Падает зерно в подходящую почву — и даёт плод стократный. И прирастает, и разветвляется, и притягивает к себе подобное. Так, наверное, и мы с Наташей встретились — друг другу и зерно, и почва, потому что, как выяснилось, шли очень похожими путями, которые не пересекались лишь до поры до времени. Но вот пересеклись, и есть надежда, что встреча отзовется в будущем многократным многоголосым эхом.

А пока — вчетвером, хозяева и гости, — пьем чай и ведём неспешную беседу у «Рыжего кота». Здесь и выставка, и магазинчик, и клуб, и студия — для общения самое подходящее место.

Наталья Юрьевна — художник. До того, как появился «Рыжий кот», она испробовала множество амплу, в которых может проявить себя художественно одарённый человек. Работала даже гримёром в театре оперы и балета. Осваивала журналистику. Но всё это были, так сказать, пробы. А творческий разум ищет целостного воплощения. Передаёт опыт, показывает путь. От огня к огню. От мироздания к мирозданию.

Наталья Юрьевна рассказывает: — Меня подтолкнул к поискам в том направлении, по которому я теперь иду, Валерий Владимирович Маркелов, директор картинной галереи «Хинган». К сожалению, этой галереи уже нет, хотя Маркелов — один из старейших наших галеристов. Я к нему напросилась проводить классы с желающими заниматься изобразительным искусством. Он мне разрешил — и ко мне активно потянулся народ. Не только на живописные,

но и на декоративно-прикладные классы. Маркелов в конце концов предложил мне на «своей территории» сделать постоянную студию. И на этой площади разрешил мне работать абсолютно бесплатно. Единственное условие, которое он поставил, — все расходные материалы мы покупаем в «Хингане». И через год я уже смогла в центре города снять собственное помещение. А спустя ещё два года мы поселились у меня в квартире. Учеников было очень много. Больше тридцати человек. Ученики приходили к нам небольшими группками по четыре человека. И просто рисовали — каждый в своё время. Всё это продолжалось до две тысячи шестнадцатого года. А потом мне на очень выгодных условиях предложили площадь в торговом центре «Махаон», и она мне так понравилась, что я решила попробовать. Сама. Без какой-либо помощи. Начала поднимать старые связи с художниками. Новые находить. И — открыла небольшую галерею. Ей уже четвёртый год.

За десять лет — от первых шагов до «Рыжего кота» — окончательно проявилась фундаментальная проблема, пожалуй, общая для всех в современной России деятелей искусства, которые так или иначе озабочены не только производством, но и распространением художественного «продукта». В чистом виде потребитель искусства стремительно исчезает. Наталья Патрихина открывала галерею, чтобы помогать художникам продавать картины. Но — увы! — она очень скоро убедилась, что продать картину малоизвестного, а тем более начинающего художника невероятно трудно. Да, кое-что продаётся. Но совсем немного. На средства от продажи картин содержать галерею не получается. Так что же? Выход один: пусть «Рыжий кот» будет не просто галереей, а маленьким «центром Вселенной», куда люди приходят, чтобы творить и делиться результатами творчества.

— Всё, что было у меня от известных красноярских художников, я уже раздала... — продолжает Наталья Юрьевна. — И, поскольку выставочная площадь пустует, мы решили, что будем продавать свои работы. Мы здесь работаем — я, Марина Тушь, Анастасия Лычагина... Мы все художники, и мы решили: почему бы и нет? Здесь есть работы моих учениц. И они ничуть не хуже, чем наши.

Вот ведь как. Наша страна, оказывается, не только самая «литературоцентричная». Она в принципе такая — стремящаяся к самовыражению. Чуть ли не поголовно. Писатель у нас — он же и читатель. Других читателей теперь для писателей нет. Вот и с художниками, видимо, так: потребляют искусство те же, кто его создаёт. Но не таково ли вообще современное искусство? Оно существует в виде отдельных «локусов», или, современным языком говоря, замкнутых «тусовок». Живёт себе, само в себе варится, само себя опыляет, само себя потребляет. И всё художественное пространство состоит из таких локусов-тусовок.

— Как к этому относиться? Может быть, это просто некая данность, в которой нам остаётся только без лишней озабоченности пребывать? — спрашиваю Наташу.

Тут в разговор вступает Вадим Николаевич¹: — По аналогии с природой... когда биоценоз бурно развивается — влажная среда, пищевые цепочки работают исправно. А потом раз — засуха. Многие погибают. А некоторые приспосабливаются. Окукливаются. Впадают в анабиоз. Покрываются оболочкой. Переходят на внутреннее обеспечение. Это защита. В культуре мы сейчас наблюдаем как раз такие процессы. Люди, ощущающие себя субъектами культуры, инстинктивно находят своих, прижимаются друг к другу, впадают в анабиоз. Замыкаются в маленькие «биоценозики». В автономные эндогамные системы. Выживают. Но продолжают жить в надежде, что придут дожди, и всё расцветёт опять. Главное — сохранить эти коды, культурные, цивилизационные. И верить, что придут лучшие времена.

— Кстати говоря, если об «опылении» рассуждать дальше, — подхватываю я, — то получается замкнутая цепочка, которая ещё и кормит сама себя. Я так поняла, что люди, которые здесь бывают, что-то производят, творят, они сюда и деньги свои несут — иначе никак не выжить. То есть «потребители» вашего продукта — это не покупатели, а инвесторы? Акционеры. Поскольку государство отстранилось от этих дел, люди начинают сами создавать культурно-психологические сообщества... Дети и взрослые приходят учиться, общаться, поддерживать друг друга интеллектуально, морально и... материально. Но всё же — не скатится ли всё это до уровня попсы, до массовой культуры?

— Ничего плохого не вижу в попсе и массовой культуре, — моментально реагирует Наталья Юрьевна. — Само название «Рыжий кот» — в какой-то

мере дань попсе. Мы не хотим отталкивать людей непомерной сложностью задачи — пусть эта сложность раскрывается перед учеником постепенно. Если человек хочет рисовать, осваивать разные способы изобразительного творчества — мы готовы помочь ему пробовать. А дальше? Пусть он решает сам — продолжать или нет. Надеюсь, что из всего этого вырастет когда-нибудь Школа искусств, где будет и академическое образование, и такие же студии, как эта, для всех желающих. Потому что люди хотят красоты.

Добавлю — и тянутся к ней, независимо от рода племени и «разъединяющих вёрст». Так возникла особенная связь «Рыжего кота» с китайцами и Китаем.

Наташа рассказывает:

— Сначала на соседней площади в нашем торговом центре разместилась молодая предпринимательница из Китая, с которой у меня завязалась дружба. Девушка пришла ко мне в студию поучиться, и, благодаря ей слава о «Рыжем» дошла до руководителя детской художественной школы в Тайчжоу, одной из крупнейших в Китае. В течение года мы поддерживали со школой связь онлайн. В апреле с радостью встретили у себя хозяйку этой чудесной школы, и уже сейчас у нас на руках готовый план сотрудничества на ближайшие годы. Все секреты раскрывать не буду, но уже в июле мы отправляемся в Поднебесную с ответным визитом и будем делиться опытом с местными ребятами. Учеников у нас будет не меньше сотни, и мы уже наменяли для сувениров толстую пачку десятирублёвок с видом Красноярска и запаслись солидным количеством красноновских шоколадок для маленьких китайских художников. А в нашей студии только за последние полгода появилось десять учеников из Китая: как правило, это студенты и преподаватели красноярских вузов. Самим интересно, что из этого вырастет. Чжан Тин, картину которого читатели «ДиН» увидят в третьем номере за 2019 год, был в Красноярске на стажировке. Этого всего лишь вторая его работа. Результат вдохновения!

А сегодня... Сегодня «Рыжий кот» предлагает классы керамики, живописи и графики для детей, живописи маслом для взрослых и валяния из шерсти. Проводит мастер-классы с приглашёнными мастерами. Дорогу найти легко — арт-галерея находится в Красноярске по адресу: улица Шумяцкого, дом 2а, торговый центр «Махаон», второй этаж. Телефон для связи: 8 908 020 5400.

1. В. Н. Наговицын, зам. главного редактора журнала «День и ночь».

Алексей Козловский

Слово о Третьякове

Моё слово об Анатолии будет таким же негромким, как и вся его жизнь. О том, что нашего земляка уже нет в живых, я узнал совершенно случайно, от бывшего директора Минусинского музея Ермолаевой Людмилы Николаевны. Она выделяла нас, наверное, ещё и потому, что родители были Героями Соцтруда на земле минусинской: у Анатолия — мать, Третьякова-Гранкина Е. С., у меня — отец, Козловский Д. Х.

То обстоятельство, что наши родные получили высокие звания за отличные урожаи в голодные послевоенные годы, хоть и не удивляло минусинских музейщиков, но весу нашему писательству, в их понимании, заметно прибавляло.

Людмила позвонила мне и долго рассказывала, сколько людей провожало в последний путь моего земляка, наверное, в душе слегка недоумевая, что меня там не было. Да что теперь говорить об этом. Я тотчас же позвонил сыну в Красноярск, но тот о кончине Третьякова тоже не слышал, и даже по прошествии нескольких дней в красноярских СМИ была тишина. Так и покинул сей мир автор гимна родного Красноярска — тихо и незаметно, как, впрочем, и жил.

С Третьяковым мы встречались в основном на литературных семинарах. Он всегда с интересом вспоминал в наших разговорах о Минусинске, тогда и позднее, во всех своих автобиографиях, почему-то нападая на то, что именно этот южный городишко был местом, где он родился. Я же всё время твёрдо помнил, что местом его рождения была деревушка под городом, деревня Солдатова, в просторечии — Солдатова заимка. В самом городе Минусинске мы встретились лишь однажды — в Пушкинской библиотеке на улице Народной, куда его с А. И. Щербаковым и с Володиёвым Василёнко пригласили мои земляки. И Толик, и Саша обрадовались нашей встрече. Третьяков оставил своих почитателей и стал подписывать мне свои только что вышедшие благодаря каким-то грантам книги. На обложке одной из них, «Встречные поезда», автор поместил свой портрет во весь рост художника Андрея Поздеева. Позднее я написал стихотворение, начинающееся такими словами: «На меня с обложки книги смотрит Толик Третьяков, нарисованный по случаю осенних облаков...»

Творчество Андрея Поздеева как-то объединяло их с Романом Солнцевым, у обоих в квартирах висели его картины: у Романа — огромные поздеевские подсолнухи во всю стену в коридоре тесноватой квартиры Солнцева в Академгородке, а у Третьякова — опять же портрет хозяина жилья в Зелёной Роще, по улице Воронова. Да и характер третьяковский был схож с поздеевским. Более незлобивого и покладистого человека, чем Третьяков, я не встречал. Однажды, наверное, чтобы сделать мне приятное, он простодушно предложил Роману Харисовичу: «А давай мы Алексею дадим Пушкинскую медаль», — на что Роман с готовностью согласился. Правда, медали тогда от Красноярской писательской организации я не дождался, да и жил я уже не в Минусинске, а в Хакасии. Хотя это ничуть не помешало Роману Харисовичу отправить меня на 6-е Всесоюзное совещание молодых литераторов в Москву в составе из трёх человек (Дуси Аксёновой, Жени Попова и автора этих строк) от Красноярского края.

Вот так воспоминания о земляке заводят в литературные дебри моей биографии. Но вернёмся к Третьякову. Начиная он довольно-таки громко. Печатался в московских литературных журналах. На совещаниях ходил в этаким ореоле литературной знаменитости и, кажется, слегка подшофе, что позволило Серёже Кузнечихину не раз удивляться, когда он прочитал в журнале «Дальний Восток» мою шуточную поэмку о том, как мы в сосновом бору, в начале золотого бабьего лета, распиваем с Третьяковым чай. «Про чай — это сильно сказано», — не упускал он случая, чтобы посмеяться над таким пассажем. Мы, тогда ещё литературные мальчишки и девчонки, с завистью поглядывали вслед молодому удачливому поэту. Кто-то даже сообщил, что Третьякову покровительствуют сам Сергей Наровчатов и редактор В. И. Ермаков, не говоря уже о И. В. Уразове, Р. Х. Солнцева и З. Я. Яхнине. Астафьева на литературном горизонте Красноярья ещё не наблюдалось, хотя Роман Солнцев уже писал ему на Урал: «Витя ласковый, сокол ясный, возле Камы с кривым ружьём ты прими привет красноярский и два слова о том о сём». Впрочем, несмотря на свою общительность и литературную известность, Третьяков жил как бы в обособленном поэтическом мире, не очень-то

запуская в него людей со стороны. Хотя слава как бы холила его самолюбие. Как-то в Литературном музее Красноярска он потащил меня на второй этаж: «Пошли, покажу тебе кое-что»,— и привёл меня к витрине, где было представлено его творчество: книги, какие-то статьи или документы. Я стал показушно удивляться такому, в душе завидуя земляку, хотя связаны мы были с ним не только землячеством и литературой, но кое-чем посерьёзнее.

Однажды, когда мы прогуливались по правому берегу Енисея, за Торговым центром, он заметил, что именно здесь была пристань, откуда на баржах отправляли заключённых в Норильлаг. И упомянул тогда про своего отца— вскользь, правда,— а я вспомнил, что и моя мать побывала в норильских лагерях, а значит, переправляли в Заполярье и её

оттуда же. Не на самолётах же возили спецконтингент сталинского режима. Я потом и об этом написал стихотворение, подарив книгу эту своему земляку, с судьбой семьи которого так переплелись наши судьбы. А в разговорах со мной Третьяков постоянно возвращался к Минусинску, заметив однажды, что ему простая церковь в Минусинске краше всех соборов на земле. Было такое, были редкие душевные встречи: Толик жил в Красноярске, а я у себя в Хакасии, но объединяла нас милая родина, минусинская земля, где когда-то жили и работали наши родители. Не знаю, вспоминал ли о ней Толик в свой последний час, но я-то, пожалуй, до последнего вздоха буду помнить её приенисейские поля, её сосняки и березняки, её заросли краснотала в пойме могучего Енисея.

Причал в небытие...

*Красноярскому поэту А. Третьякову
Памяти твоего отца—Ивана
и моей матери—Таисьи*

На правом берегу— часовня,
И сразу от неё— откос...

Любовь тоскливая сыновья
И до скончанья дней вопрос,

Что с детства мучил бедолагу:
— За что? Насколько?—

Навсегда!

Дорогой в логово ГУЛАГА
Легла текучая вода.

Она по-прежнему свинцова,
Та енисейская волна,
Как чьё-то правильное слово
И чья-то тяжкая вина...

А после— мать, отец ли, деверь
(«Грузитесь, твари, да живей!»)...
Уходит караван на Север,
Во мрак полярных лагерей.

Стоишь, понурый, ты у ската,
Где центр Торговый за спиной,
И постигаешь: здесь когда-то
Гнал эзков к пристани конвой.

Прощались издали с родными
«Враги» народа и «друзья»...
В Отечества прогорклom дыме
Иначе вроде и нельзя.

Сжимаю зубы я до боли,
И мрак густеет в свете дня.
Поставь свечу «во здравье», Толя,
Как сын мой ставил за меня,

Когда и я в сыром подвале
(Возможно, там же, где они,
Родные наши, горевали)
Считал неволи злобной дни.

Поставь «во здравие»!.. Простится
За то, что не «за упокой»...
И пусть не вьются больше птицы,
Как души мёртвых, над рекой.

Враги

*Мне даже и враги близки...
А. Третьяков*

Мне датский говор твой приятен,
Понятен гонор твой без слов,
Когда ты запросто, приятель,
Рассказываешь про врагов.

Как о... едва ли не о гриппе.
Наивный, право, ты чудак:
Враги— не сифилис, не триппер,
Их не получишь просто так.

Враги— не кошки, не собаки,
Не ражих оппонентов рать,
Что кулаками после драки
Привыкли радостно махать.

Что до литературной свары,
Обиды неподдельной сей...
Изволь, поздравлю с лёгким паром
Тебя и всех твоих... друзей!

Владимир Никифоров Мамин-Сибиряк поневоле

Очерк о Николае Эрдмане был уже сверстан, когда из Новосибирска пришла печальная весть о кончине его автора, Владимира Семёновича Никифорова. Вечная светлая память нашему товарищу, писателю, учёному, гражданину. Искренние соболезнования его родным и близким.

Редакция «ДиН»

Откуда есть пошла сибиряки

Численность коренных народов Сибири составляет около семисот пятидесяти тысяч человек: буряты — двести пятьдесят тысяч, сибирские татары — двести, хакасы — шестьдесят четыре, ненцы — сорок пять, эвенки и эвены — шестьдесят, ханты и манси — сорок пять, шорцы — тринадцать, долганы — восемь, вепсы и саамы — восемь, тувинцы — пять, представители других малочисленных народностей (кеты, тофалары, селькупы, нганасаны, энцы и другие) — около двадцати тысяч. Между тем население Сибири только в составе Тюменской (с округами), Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краёв и Республики Алтай достигает семнадцать миллионов человек.

Кто же они, нынешние сибиряки, какого роду-племени? По национальному составу среди них свыше девяноста процентов русских, пошедших на восток с Ермаком и после его гибели основавших все нынешние региональные столицы, кроме Новосибирска. С той поры до начала двадцатого века шло массовое переселение в Сибирь из «России», как называли европейскую часть империи, за лучшей жизнью, на вольные земли. В советское время в Сибирь ехали по призыву партии на стройки коммунизма. В своё время в Красноярске вышла книга о строителях Красноярской ГЭС «Потомки Ермака».

Но завоёванная (освоенная) Сибирь сразу же стала местом ссылки для неугодных царскому режиму. Ссылали представителей разных сословий, среди них были и писатели: Аввакум (находясь в ссылке в 1653–1663 годах в Тобольске и других поселениях), Юрий Крижанич (1661–1676,



Николай
Эрдман

Тобольск), А. Н. Радищев (1790–1796, Илимск), В. К. Кюхельбекер (1835–1846, Баргузин, Курган, умер и похоронен в Тобольске, куда выехал для лечения от чахотки), Ф. М. Достоевский (1850–1854, Омск), Н. М. Чернышевский (1864–1883, Нерчинск, Акатуй, Вилойск). 9 августа 1880 года в Томск с очередной партией ссыльных прибыл В. Г. Короленко, но по постановлению верховной комиссии был возвращён в Европейскую Россию под надзор полиции.

6 (19) марта 1917 года Временное правительство объявило политическую амнистию, а 26 апреля (9 мая) 1917 года политическая ссылка была упразднена. В 1922 году в Советском Союзе официально учреждены высылка и ссылка. Ссыльные поселенцы были обязаны заниматься общественно-полезным трудом, иначе им ещё грозило и наказание¹.

В 1930–1950 годах, без учёта представителей народов и народностей СССР (западные украинцы и белорусы, поволжские немцы, литовцы, латыши, эстонцы, калмыки, крымские татары и другие), сибирскую ссылку прошли несколько тысяч «россиян», в основном имеющих политическую окраску. Среди них были и «потомки Аввакума» — писатели: Давид Кугультинов, Олег Волков, Алексей Гарри, Юрий Магалиф, Елизавета Драбкина, Роберт Штильмарк, Сергей Снегов, Александр Солженицын, Борис Дьяков, Ариадна Эфрон. Но первым советским писателем, посланным в Сибирь, можно считать драматурга и сценариста Николая Эрдмана.

.....

1. Между тем В. И. Ленин жил в Шушенском all inclusive.

Жизнь удалась!

Николай Эрдман родился в 1900 году в Москве, в семье мещанина, лютеранина из обрусевших балтийских немцев Роберта Карловича, «самого чистейшего немца со смешным милым акцентом», и Валентины Борисовны Эрдман, православной. Учился в Москве, в Петропавловском реальном коммерческом училище.

По воспоминаниям Эрдмана, в девять лет он начал писать стихи, а в пятнадцать познакомился с поэзией Маяковского, испытал «колоссальное» влияние.

Посещая «культурные» мероприятия послереволюционной Москвы, в 1918 году знакомится с известными поэтами и под влиянием своего старшего брата Бориса, художника, входит в группу имажинистов (Анатолий Мариенгоф, Сергей Есенин, Сергей Городецкий, Вадим Шершеневич), участвует в обсуждении текста «Декларации» имажинистов, вступает в переписку с Есениным и Мариенгофом.

В 1919 году публикует первое стихотворение «Осенью осени осень...», и в том же году Николай Эрдман был призван в Красную Армию. Занят он был почти по будущей профессии — писарем в штабе. Демобилизовался в 1921 году и тогда же начал литературную деятельность — как автор текстов для театров, артистических кабаре, мюзик-холла, сатирических обозрений, часто в соавторстве с Владимиром Массом, — и общественную, участвуя в движении имажинистов: подписывает листовку «Приказ о всеобщей мобилизации №1» и литературную декларацию «Восемь пунктов», выступает на стороне защиты в литературном «Суде над имажинистами».

В 1922–1924 годах премьеры небольших пьес, либретто и скетчей следуют одна за другой. В 1924 году Николай Эрдман написал свою первую пьесу — «Мандат». Поставленная в 1925 году в Государственном театре имени Мейерхольда (премьера состоялась 20 апреля), а затем в Ленинградском академическом театре драмы, пьеса принесла признание молодому драматургу. В двадцатых годах сатирическую комедию Эрдмана ставили во многих городах СССР, в том числе в Одессе и Харькове, Баку и Ташкенте; в 1927 году пьеса была поставлена в Берлине и в одном только Государственном театре имени Мейерхольда (ГосТим) выдержала более трёхсот пятидесяти представлений.

После такого успеха первой пьесы молодого драматурга нарком Луначарский предоставил в 1925 году Николаю Эрдману и главлиту МХАТ, известному театральному деятелю Маркову, двухмесячную командировку в Германию и Италию. Судя по письмам Эрдмана, поездка была насыщенной: Берлин («Театры довольно дорогие и очень плохие»), Венеция («Площадь Св. Марка. На ней можно сидеть часами без слов и движения»), Флоренция («Мы сшили во Флоренции

по костюму, которые ни к чёрту не годны»), Рим («Самое замечательное — площади и фонтаны»), Капри, Сорренто... В Сорренто жил Горький, и каждый вечер Эрдман бывал у Алексея Максимовича на его роскошной вилле, арендованной у знатного итальянца. «Читал он мою пьесу и вызывал меня для беседы с ней. Многое осуждал, но больше хвалил».

После заграничной поездки Эрдман вступает в гражданский брак с балериной Надеждой Александровной Яшке из семьи обрусевших чехов (сценический псевдоним — Воронцова, по названию московской улицы, где она жила), а через два года знакомится с одной из ведущих актрис МХАТ Англиной Степановой, с которой на протяжении ряда лет был связан глубокими, но непростыми отношениями, поскольку оба были несвободны. Переписка между ними длилась несколько лет, в архиве хранится двести восемьдесят (!) писем актрисы к Эрдману.

С 1926 года Николай Эрдман работал в кинематографе как сценарист (фильмы «Митя», «Турбина №3», «Дом на Трубной» и другие). «Митю» собирались ставить на Одесской киностудии, но сценарий с трудом прошёл цензуру в тогдашней столице СССР Харькове, и Эрдман весь июль ждал решения в Одессе: «Начинаю покрываться загаром, ругаю украинизацию и дожидаясь телеграммы». Наконец утвердили сценарий и постановщика (Николай Охлопков), и Эрдман стал помогать режиссёру в съёмках и монтаже фильма: «Материалу на двадцать картин...»

9 сентября 1931 года в Гаграх начинаются съёмки фильма «Весёлые ребята» по сценарию Николая Эрдмана в соавторстве с Владимиром Массом и Григорием Александровым. Первым снимался эпизод с коровами. Судя по письму Эрдмана матери, в реальности всё было смешнее и трагичнее: «Во время съёмок две коровы упали от жары в обморок, третья корова упала с высокого откоса и грохнулась на дорогу, испугав до смерти дамочек, возвращающихся с пляжа».

Во время съёмок Эрдман и Владимир Масс пытались писать, но работать было трудно из-за жары, окружающей обстановки («Горы здесь высокие, а цены ещё выше»), отсутствия в продаже спичек, а Эрдман курил много, — и всё же, как оказалось, это были самые счастливые дни авторов «Весёлых ребят», жизнерадостный сценарий которых так весело сочинялся. Эрдман был молод, талантлив, элегантен; перед поездкой в жаркие Гагры вся мужская часть съёмочной группы срочно шила в Москве белые брюки, втайне желая походить на него. Кстати, Эрдман спрашивал в письме матери из Гагры, сшили ли «белые штаны» отцу, ожидавшему вызова на съёмки в роли скрипача. Арестовали его и Масс в ночь с 11 на 12 октября 1933 года в гостинице «Гагрипш» на глазах Роберта Карловича.

Фамилии обоих из титров были удалены, а приговор, вынесенный Эрдману, оказался мягким для того времени — ссылка на три года в город Енисейск. Владимир Масс был сослан на десять лет, ссылку отбывал в Тюмени, Тобольске, Горьком. Арестован и уничтожен был оператор Владимир Нильсен, расстреляны Соколовская, Даревский, директор студии Бабицкий.

Поводом для ссылки стало неудачное выступление Качалова, прочитавшего в ходе правительственного приёма басни Эрдмана и Массы. По одной из версий, Качалов прочёл стихотворение «Колыбельная», заканчивающееся строфой: «В миллионах разных спален люди спят на всей земле... Лишь один товарищ Сталин никогда не спит в Кремле»; по другой — Качалов прочитал басню «Однажды гпуювилося к Эзопу и — хвать его за жопу. Смысл сей басни ясен: не надо этих басен».

Конечно, сослали его не за басни. В 1930–1932 годах в театрах имени Евгения Вахтангова, ГосТиме и МХАТе шли читки и обсуждения пьесы Эрдмана «Самоубийца», закончившиеся категорическим запретом на постановку. «Вы написали антисоветскую пьесу», — то ли спросил, то ли утверждал член комиссии ЦК, который наблюдал за постановкой «Самоубийцы» во МХАТе. Эрдман ответил: «Да»...

Ворота сибирского «рая»

Енисейск тридцатых годов двадцатого века воплощал в себе несовместимое: остатки бывшего величия центра богатого золотом, пушниной и рыбой края (храмы и монастыри, каменные здания, школы, больницы, музей) и заброшенной провинции (без центрального отопления, водопровода, канализации). Однако именно на начало тридцатых приходятся важные события в экономике города и района. В 1935 году, после поездки на Енисей О. Ю. Шмидта, в восемнадцати километрах ниже Енисейска образован Подтёсовский затон, вскоре ставший крупнейшим транспортным предприятием Енисейского бассейна. В эти же годы начали свою деятельность аэропорт, механический завод, судостроительный завод.

...Я знаю Енисейск с трёх-четырёхлетнего возраста, то есть с 1946–1947 годов. За десять с небольшим лет после ссылки Эрдмана в городе ничего не изменилось, только деревянные здания ещё глубже ушли в землю (помню низкие стены и покатый пол в доме тёти Дуси на главной улице, рядом с каменными зданиями девятнадцатого века). Если что и строилось, то в посёлках судостроительного и аэропортного. Енисейск в то время жил рекой. На рейд прибывали караваны из Красноярска, здесь укрупняли состав и в низовье, до Дудинки, уходили караваны по десять-четырнадцать барж.

Иногда, выезжая на лодке на берег в выплатной пункт и в магазин ОРСа, где по заборной книжке можно было купить всё то, чего в открытой

продаже не было, отец брал нас с сестрой, и мы успевали пройти по главной улице, где продавали мороженое и морс, забежать в книжный магазин (КОГИЗ) и в музей, а то и в кинотеатр, располагавшийся за мехзаводом в низком белёном здании.

С 1951 года мы стали жить в посёлке Подтёсово, в чём-то превзошедшем Енисейск (водопровод, двухэтажные дома с однокомнатными и двухкомнатными квартирами), но в райцентре мы бывали с прежним удовольствием. А когда я поздней осенью пятьдесят второго сломал руку, мать повезла меня на катере «Кузнец» в енисейскую больницу, и мной занимался знаменитый хирург Бендиг. Он был из ссыльных², которые прибыли в Енисейск после войны. Их ссылка была спасением для многих енисейцев в буквальном смысле слова, потому что штат больниц на девяносто процентов был из самых лучших специалистов Москвы, Ленинграда и других «европейских» городов.

В Енисейск было сослано свыше тридцати инженеров и преподавателей, но немногие из них работали по специальности: начальник техотдела (Вилле), электромонтёр (Волков), начальник ОКС (Воловский), инженер по сплаву (Гаряев), дорожный мастер (Каттель), электромеханик (Кулябко), инженер ОКС (Мордухович), инженер по технике безопасности (Прага); в пединституте преподавали профессор-физик Румер, друг Ландау, и профессор-историк из Ленинграда Васильев, а другой профессор-историк, Дубровский, развозил воду по дворам.

Конечно, ссылка есть ссылка. У многих были проблемы с поиском жилья и работы, а нет того или другого — как жить? Но все с помощью енисейцев и местных властей более или менее обустраивались, никто из ссыльных не умер на улице или с голоду; более того, многие из них оказались нужными, заслужили уважение и почёт.

Они несли в «тёмную» провинцию свет знаний, культуры, включившись в общественную жизнь: читали лекции, давали концерты (среди них были прекрасные чтецы и музыканты), участвовали в спектаклях. Как пишет в своей замечательной книге краевед Людмила Еремеева, многие реабилитированные в письмах к ней тёплыми словами вспоминали ссылку, в том числе и потому, что жили они в «неволе» в таких условиях, которые на «свободе» показались раем.

Первая зима в Сибири автора «Весёлых ребят»

Н. Р. Эрдмана везли в Сибирь в арестантском вагоне и выпустили на «свободу» только в Красноярске,

.....

2. С 1937 по 1946 год Я. И. Бендиг отбывал срок 5+2 в Норильлаге, после «освобождения» был оставлен на спецпоселение в Подтёсово (1946–1948), затем переведён в Енисейск.

откуда он сам, за свои деньги, должен был добираться до Енисейска.

Между Красноярском и Енисейском по наземной дороге триста шестьдесят километров. Сейчас, по одной из лучших магистралей края, на маршрутке можно добраться за шесть часов. В то время автобусного сообщения не существовало, Эрдман добирался на перекладных две недели. Первая смена лошадей была в Большой Мурте, откуда 3 ноября, в день своего рождения по старому стилю, тридцатитрёхлетний автор «Весёлых ребят» писал Степановой: «...120 вёрст—2 дня... А сейчас сижу в хате и греюсь у печки. До Енисейска осталось около 250 вёрст. Мороз стоит градусов в 30, и обещают больше. Завтра буду искать новых лошадей. Еду один, всеми брошенный и покинутый. Даже гпуи то от меня отказались. Обнаружил вокруг себя и в себе много любопытного. Рвусь в Енисейск, как будто это Москва. Будет адрес—будут письма. Линуша, милая, когда же я буду Тебя читать? Целую Тебя, хорошая. Улыбаешься ли? Пожалуйста, улыбайся!»

6 ноября он пишет любимой из той же Большой Мурты: «Застрял в деревне. На почтовых уехать не удалось—не взяли. Нанять крестьянскую лошадь—не по карману. Дорога от Красноярска до Большой Мурты и так обошлась мне слишком дорого. По подписке я должен быть в Енисейске до десятого. Сегодня шестое. Машина, которую я жду и на которой меня обещал захватить один сердобольный товарищ,—не приходит. Дело в том, что мне пришлось ехать одному. Красноярск махнул на меня рукой и, взяв с меня подписку, выпустил на свободу. До этого я не видел её четыре дня. Я не видел её, даже если бы стал считать свободой посещение уборной. Что мне будет за опоздание, тоже не знаю. Сейчас я живу с вербовщиками лошадей на фуражной базе „Енисейзолото“. Вербовщики—люди хорошие, и я слушаю их с превеликим интересом до глубокой ночи. Вообще, живу я занятно, но хочется быть на месте, хочется сесть за стол, хочется получать твои письма. Пиши мне, милая, чаще. Целую. Николай».

В Енисейск Эрдман прибыл 14 ноября и начал устраиваться на долгую зиму. С жильём в ту зиму в Енисейске были большие проблемы. Из-за раннего ледостава на Енисее застряло семьдесят пароходов (из вынужденной зимовки в Подтёсовской протоке возник затон), речники «осаждали» населённые пункты на реке: Туруханск, Подкаменную Тунгуску, Енисейск. Вначале Эрдман жил в общей комнате с тремя взрослыми и четырьмя детьми, «крикливыми, сопливыми, грязными, мокрыми и картавыми». «Крик и плач не смолкали с утра до вечера, лужи не просыхали с вечера до утра. Картавили все по-разному. Старший говорил „скола“, помладше—„шкора“, третий—„шкоа“, а самый маленький—просто „ааа-ааа“». Наконец

ему удалось найти отдельную комнату у хозяев, которые показались ему очень милыми: «Мне кажется, мы будем друг другом довольны».

На конвертах писем Эрдмана значится адрес: Сталина, 23. В отличие от большинства советских городов главная улица Енисейска носила имя Ленина, а улица Сталина, бывшая Барабинская, была не в центре, от реки её отделяло не меньше километра. А с рекой даже зимой у жителей города было связано многое: «Сегодня пятьдесят два градуса, хозяйка моя поехала на Енисей полоскать бельё—вот как здесь относятся к морозам. Сейчас она вернулась и, прыгая у печки, рассказывает, что у проруби, кроме неё, никого не было. Стало быть, я живу у самой храброй хозяйки в городе. Буду самым храбрым жильцом и понесу письмо на почту».

К стыду своему, я не знал про улицу Сталина в Енисейске, теперь она зовётся улицей Крупской (!), и на месте дома, где жил Эрдман, возникло новое здание.

Здесь Эрдман жил в тепле, имел свой угол, в дороге, слава Богу, не простудился. Но в Енисейске, в который он так стремился по пути из Красноярска, как оказалось, «кроме природы, к сожалению, ничего нет. Сегодня взял в библиотеке „В людях“. Здесь в люди выйти нельзя (я этого не мог сделать даже в Москве)... Что касается жив-здоров, то я жив и здоров, и вообще жизнь прекрасна»,—писал он Вадиму Шершеневичу через месяц после прибытия.

То, что у него не было с питанием проблем,—несомненно. Сибиряки традиционно гостеприимны, а тут ещё такой интеллигентный культурный человек из самой Москвы. По Подтёсовку помню: никто ссыльных не считал врагами народа, знали, что сами могут оказаться в тюрьме или норильской ссылке, время было такое.

Чем питался Николай Робертович? Корову хозяева не держали, потому что летом надолго уезжали на промысел, но молоко он пил каждый день, хозяйка покупала его у соседки. Зато промысел на реке и в тайге делал стол сказочным (то есть обычным для енисейской провинции): рыба (осётр, стерлядь, хариус, тугунок—сосвинская сельдь), дичь (глухари, утки, рябчики, куропатки), пироги, варенья, кисели (из жимолости, земляники, черники, голубики, смородины, брусники, клюквы), грибы (жареные, сушёные и маринованные белые, солёные грузди). В енисейских огородах растёт картошка, морковь, всякая зелень, у моей тётки на судоверфи прямо в грунте вызревали огурцы—настоящие, с пупырышками. С мясом, думаю, тоже не было проблем, потому что при таком таёжно-речном изобилии многие спокойно обходились без говядины и свинины на каждый день. В нашем доме котлеты были только по праздникам, зато какие это были котлеты,

да ещё с пюре! Косточку на щи мать покупала по воскресеньям на «ярманке», куда приезжали «купцы» с окрестных сёл... Когда Степанова, собираясь к Эрдману, спросила, что ему привезти к столу, он ответил: «Шоколаду!»

Но Николай Робертович не был нахлебником. До ареста был он человеком далеко не бедным, какую-то сумму удалось привезти в Енисейск, и он ожидал, что ему выплатят и вышлют причитающиеся ему гонорары (премьера «Весёлых ребят» состоялась 25 января 1934 года). Гонораров он не получил, как и перевода на тысячу рублей от Мейерхольдов: Татьяну Сергеевну, дочь Есенина и Райх, обокрали на почте. Зато до него дошла шуба «с плеча» Мейерхольда. Были переводы от брата Бориса и посылки от Степановой, к этому времени она ушла от мужа-режиссёра и готова была на любую «халтуру», чтобы помочь любимому.

А какие тогда были зарплаты и цены? В 1933 году средняя зарплата составляла сто двадцать пять рублей, сейчас это примерно соответствует прожиточному уровню — шесть-восемь тысяч рублей; почти всё уходило на питание. Что покупали в Енисейске, кроме еды? Валенки, сапоги, какую-никакую одежку детям; многим работникам выдавали спецодежду, они в ней и «щеголяли». Хозяевам Эрдмана, живущим «промыслом», постоялец приносил дополнительный доход в виде «живых» денег, на которые покупались хлеб, мука, сахар, соль, масло, крупы, иногда колбаса, пряники для дочери Иры, с которой Эрдман зимой катался на санках. Думаю, что все сошлись на разумной цене в районе тридцати-пятидесяти рублей в месяц. Сейчас это примерно две-три тысячи. Год назад Эрдману этих денег не хватило бы на скромный ужин в ресторане.

Ни работы, ни зарплаты у Эрдмана в Енисейске не было, в комендатуре он отчитывался, что ремонтирует... коровники. Зато перед Новым годом включился в культурную жизнь города, о чём писал своей мамочке (он одинаково нежно любил родителей, но с отцом ему было трудно общаться, тот практически не знал «настоящего» русского языка; в архиве хранится более двухсот писем Эрдмана «золотой мамочке») за подписью «Мамин-Сибиряк»:

«Три последних дня живу бурной общественной жизнью. На носу Рождество, и меня попросили сделать антирелигиозный спектакль. К несчастью, как я вычитал в одной брошюре, чудес не бывает, а сделать спектакль можно только чудом. Единственная книга в городе, которая могла бы помочь в этом деле, пропала из библиотеки два года тому назад. Выписывать какой-нибудь репертуар из Москвы уже поздно. Местный Союз безбожников никакой работы, кроме плана работ, не сделал. Сам я в этом вопросе понимаю столько же, сколько и ты, дорогая. Жалею, что ты никогда

не заставляла ходить меня в церковь. Чувствую, что для создания настоящего антирелигиозного спектакля необходимо быть верующим. Сейчас иду на совещание. Совещаний было уже много. Кажется мне, что дело совещаниями и ограничится. Нельзя начинать бороться с Богом, когда Бог уже на носу... Я здоров, солнце сияет, снег блестит, морозы ещё не наступили — всё прекрасно».

Конечно, «безбожная» деятельность в райдк была лучиком света в тёмной провинции. По жизни в Подтёсово помню, чем значили для нас, «вольных», школа, клуб, библиотека, книжный магазин, а в Енисейске ещё были музей, два кино-театра, ресторан, где не было широкого выбора, но всё было приготовленным от души, а ещё красивое двухэтажное здание почты в самом конце набережной, откуда открывался вид на бесконечное белое пространство реки и низкого берега, а на втором этаже так вкусно пахло сургутом. Конечно, это была не Москва, но и не «мёртвый дом» Достоевского.

Эрдман всё больше включался в культурную жизнь Енисейска, даже пытался писать: «...Работал до глубокой ночи. Написал маленький одноактный водевиль о прорыве на енисейском лесном заводе. Водевиль этот должен быть показан 30 сего месяца [декабря] на партийной конференции. На постановку осталось пять дней — пожалей своего сына, как я жалею партийную конференцию. Вчера несколько человек приступили к организации в Енисейске Краеведческого общества — я вхожу в инициативную группу». В письмах Вадиму Шершеневичу Эрдман сообщает, что пишет ещё одну пьесу: «Писать очень трудно. Когда работа делается противной, некуда себя девать». Ничего особенного Эрдман в Енисейске не написал. Зато много занимался английским, но это уже было следующей зимой. А первая зима кончилась в апреле: «Весна свалилась как снег на голову... Енисейцы начали есть черемшу... Кроме запахов, в городе ничего нет».

Друзья и гости

Эрдман пишет, что «перезнакомился с людьми». То, что в письмах нет фамилий этих людей, кроме одной, говорит, что знакомство с другими осталось знакомством: таких, как он, в городе было двое, оба, по Чехову, «ссылные интеллигенты», оба — Николаи Робертовичи.

Ланг Николай Робертович родился 27 апреля 1900 года в Москве. Отец, Роберт Александрович Ланг, сын книготорговца, служащий страховой компании «Россия», умер в 1904 году. С 1908 по 1918 год Н. Р. Ланг учился в Реформатской гимназии в Москве, затем работал счетоводом. По окончании в 1925 году Института востоковедения командирован в город Хабаровск для работы в Дальгосторге. В 1928 году возвратился в Москву

и стал работать экономистом информативно-экономического отдела Всесоюзной Западной торговой палаты. Во время учёбы в институте Ланг состоял во Всероссийской федерации анархистов-коммунистов, а по возвращении в Москву вошёл в состав анархической секции Кропоткинского комитета. 5 ноября 1929 года Ланг был арестован. Есть версия (А. Говорков), что Николай Ланг послужил одним из прототипов Мастера из знаменитого романа Михаила Булгакова.

Ланг был приговорён к трём годам заключения, которые отбывал в Верхнеуральском и Челябинском политизоляторах, а затем был направлен на три года ссылки в Восточную Сибирь. В Енисейске он пробыл с июня 1933 года по ноябрь 1935-го, работая в должности экономиста треста «Севполярлес».

Николай Робертовичи не могли если не сдружиться, то поневоле близко сойтись, что помогало в тоскливых енисейских сумерках переживать разлуку с домом, родными, любимыми.

После Енисейска Ланг работал в той же должности в Красноярске. По окончании срока ссылки Ланг служил плановиком-экономистом в Курске (1936–1937), в Бежецке (1937–1938), в Нерехте Ярославской области (1938–1941). 14 мая 1941 года Ланг был арестован в городе Александрове Владимирской области, признан виновным в незаконном хранении холодного оружия и приговорён к трём годам исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбывал в Тагиллаге до апреля 1944 года, после чего работал начальником планового отдела 11-го района Тагиллага «Тагилстрой» в селе Петрокамском, а с мая 1945 года по июль 1949-го — начальником планового отдела Гораблагодатского стройуправления треста «Тагилстрой» в городе Кушве Свердловской области.

27 июля 1949 года Ланг был вновь арестован и приговорён к заключению в ИТЛ сроком на десять лет. Отбывал срок в посёлках Абезь и Инта Коми АССР. 29 апреля 1957 года по жалобе его жены, Ирины Константиновны Ланг, прокуратурой Свердловской области был вынесен отказ в пересмотре дела, но в том же году Н. Р. Ланг был освобождён и переехал на жительство сначала в город Петрозаводск к И. К. Ланг, а в 1958 году — в Ленинград,

3. На самом деле — в июле.

4. По воспоминаниям А. Хржановского, Гарин прилетел из Красноярска в Енисейск на открытом двухместном самолётике.

5. Почтовые гидросамолёты садились ниже пристани, напротив почты.

6. Гидросамолёты летали в Красноярск, на юг.

7. Как и в Енисейске, она носила имя Ленина, и, кроме неё, в городе не было ничего замечательного — кроме красивых деревянных домов с резными наличниками на нецентральных улицах.

к своей второй жене, Н. А. Лебедевой, где умер 12 марта 1962 года, пережив Надежду Александровну на один год. Н. Р. Ланг был реабилитирован лишь в 1992 году.

Летом 1934 года Эрдмана навестили гости: жена Н. А. Воронцова (Дина) и артист Эраст Гарин, сыгравший в постановке ГосТиМа Мейерхольда главную роль в «Мандате» — Гулячкина.

Про поездку Гарина рассказывают многие и по-разному. Вот как пишет Анатолий Мариенгоф: «Он отправился туда весной»³.

Плыл, ехал и шёл двадцать дней⁴.

Багаж навестителя помещался в карманах и в газете, повязанный бечёвкой.

Когда он вошёл в комнату, у Эрдмана от неожиданности глаза раскрылись. По его же словам, „стали как две буквы «о»“:

— Эраст!..

— Здравствуйте, Николай Робертович!

Ссылный драматург поставил на стол поллитра, селедку с луком и студень. Потом хозяйка принесла на сковороде глазунью.

Выпили. Перекусили. Поговорили.

Гарин расположился против окна. — Смотрите-ка, Николай Робертович, гидросамолёт сел возле пристани⁵. Может, он на запад летит⁶...

— Вероятно.

— Может, меня прихватит...»

И Гарин через час улетел, а через три года, опять же за рюмочкой и глазуньей, так объяснил свой поступок: «Мне показалось, Николай Робертович, что я помешал вам. На столе отточенные карандаши лежали, бумага...»

Но ничего серьёзного Эрдман не написал ни в Енисейске, ни в Томске, где оказался в феврале 1935 года — после обращения Ангелины Степановой к влиятельным московским персонам о переводе любимого «в большой культурный университетский город».

Томские иллюзии

В феврале тридцать пятого, после тёплых проводов в Енисейске (думается, тяжелее всех было Лангу: он и радовался за товарища по ссылке, и переживал, что остаётся совсем один) и совершенно бессмысленного недельного ожидания отъезда в Красноярске, Эрдман наконец прибыл в Томск — снова за свой счёт, как и из Енисейска. Он устроился в довольно приличной гостинице и — принял ванну! «Кажется, моя первая ночь в Томске продолжалась около двух суток. Должен признаться, я здорово устал: еду из Енисейска в Красноярск и из Красноярска в Томск, я всё время сидел; сидя в Красноярске, я всё время ходил, а в промежутках между сидением и хождением или стоял, или таскал чемоданы. Можешь себе

представить, с каким наслаждением я влез в ванну, а потом в постель» (из письма к А. Степановой).

Томск Эрдману понравился. «Центральная улица⁷ похожа на школьный коридор во время большой перемены. Помимо учебных заведений, в городе есть цирк, кино и оперетта. В цирке с удовольствием досидел до конца, из оперетты с удовольствием ушёл после второго акта, в кино (после «Весёлых ребят» — видел в Красноярске) с удовольствием не пошёл. Кстати, о картине — такой постыдный и глупый бред. Неужели нельзя было сделать даже такой пустяковой вещи?»

Правда, «в здешних магазинах, кроме портретов вождей, ничем не торгуют. А томская библиотека похожа на томскую столовую — меню большое, а получить можно одни пельмени или Шолохова».

Конец зимы и начало весны Эрдман был занят поиском квартиры и работы. Из гостиницы он съехал 31 марта: «Комната у меня маленькая... у меня чисто, тепло, светло, есть домработница, фикус, занавеска на окне, полутёплая, или, вернее, полухолодная, уборная, но я должен проходить через чужую (пока почти нежилую) комнату. Крикливый сын, тонкие стены, а главное, внушительная цена заставляют меня думать о другой».

С новой квартирой уладилось с помощью сестёр Юдалевич — Анны Соломоновны Марковой, служащей банка, и Любови Соломоновны Малеевой, маникюрши, которая сдала ему часть комнаты. Здесь он в начале мая встречал свою «золотую мамочку», потом, перед приездом Дины, переехал на другую квартиру, но продолжал столоваться у прежней хозяйки.

Работа «нашла» его осенью тридцать пятого, когда в Томске открылся городской драматический театр. Его жалование составляло триста рублей, из них сорок он отдавал за квартиру. На эти деньги можно было жить (средняя зарплата в СССР достигла в том году двухсот девяти рублей), не рассчитывая на переводы от брата. Официально его должность называлась «завлит», но заниматься приходилось всем: «Занят я в театре с утра до ночи, но убей меня Бог, если я понимаю чем». В декабре он взялся за инсценировку романа Горького «Мать».

Премьера прошла в феврале тридцать шестого с большим успехом в отсутствие авторов: Горькому оставалось жить в Москве ровно три месяца, а Эрдман слёг с опухолью на ноге.

В отличие от писем из Енисейска, где упоминается один Н. Р. (Ланг), в томских имён предостаточно: «У Диньковых был один раз»; «Золотая мамочка, приюти у себя на несколько дней Александра Ивановича Дурандина. С сыном Александра Ивановича ты познакомилась у Анны Соломоновны Марковой»; «Самборская подарила мне флакон духов»; «Ленка больна гриппом, Лиде предстоит аборт»; упоминается фамилия артиста Шевелёва. Несколько раз Эрдман ездил в трудовую колонию



Ангелина
Степанова

«Чекист», как в Енисейске — в исправительно-трудовую колонию, чтобы помочь артистам за колючей проволокой в постановке их спектаклей. В Томск дважды приезжала мать, навестила Дина.

И всё же, всё же... Чувствуется, что радости от «университетского города», от контактов с «просвещёнными» томичами, даже от приезда родных людей он не получил, а тот покой, который он поневоле приобрёл в Енисейске, — утратил. К тому же произошёл окончательный разрыв с любимой женщиной.

Мастер и Ангелина

Они познакомились в 1928 году: молодой, талантливый, знаменитый автор «Мандата», блестящий, остроумный, и двадцатитрёхлетняя актриса МХАТа, в которой уже проглядывалось то, что сделает её примой советского театра. Тогда она была, по сути, девчонкой, но в ней счастливо сочетались серьёзное и глубокое отношение к сцене, где она работала со знаменитыми режиссёрами и артистами, и живое, радостное чувство жизни в советской стране. Ею увлекались, в неё влюблялись, но она, будучи замужем за режиссёром Горчаковым, потеряла голову только от Эрдмана, а он, связанный узами гражданского брака, ответил ей взаимностью.

Начинается любовный роман, со временем превратившийся в почтовый. Она уходит от мужа и поселяется у подруги, а Эрдман следует за нею в те места, где она гастролирует с театром или отдыхает: Батум, Баку, Харьков: «Мне было очень хорошо с Вами. Я никогда не забуду Ваших утренних появлений со стаканом чая в руках и Ваших таинственных исчезновений ночью, о которых

я узнавал только на другой день. Я никогда не забуду Ваших слёз и Ваших улыбок. Я никогда не забуду Харьков. Милая моя длинноногая барышня, не грустите над своей жизнью. Мы были почти счастливы. А для таких людей, как мы с Вами, почти счастье—это уже очень большое счастье».

Узнав об аресте Эрдмана, Степанова отправилась к другу юности Сталина Авелю Енукидзе, который от цк курировал мхат и «опекал её с отеческой нежностью», и попросила о свидании с арестованным. Енукидзе спросил, что заставляет её, известную актрису, так опрометчиво поступать. Она ответила: «Любовь». Свидание на Лубянке состоялось: «Мы произнесли всего несколько слов, а главное сказали друг другу неким внутренним посылом, смысл которого был доступен только нам двоим».

Степанова писала Эрдману по несколько писем и открыток в день, полных любви: «У меня столько любви к тебе, что если ты дашь возможность отсылать частицу её к тебе, мне будет гораздо легче...», бралась за театральную «халтуру», чтобы порадовать любимого «богатой» посылкой. А когда узнала, что в его доме по вечерам нет электрического освещения и ему приходится рано ложиться и подолгу без сна лежать в темноте, отправила ему коробку с батареями⁸, лампами, проводами. Сущий гуманитарий Эрдман с трудом, но справился с запуском «электростанции»:

«Начальнику строительства
А. О. Степановой.

Постройка енисейской электростанции—новый вклад в дело дальнейшего подъёма нашей страны и Вашего в моих глазах. цк (Целую, Коля)».

Весной тридцать четвёртого Степанова стала добиваться поездки к любимому, для чего завела роман с молодым и красивым сотрудником НКВД.

27 марта: «Вчера имела разговор о своих и твоих делах. Планы мои на лето ещё более укрепились—одним словом, как хочешь, а я к тебе приеду, разговор может быть только о сроках и числах. Сезон кончается 16 июня, ещё возможны гастроли, отпуск продлится месяц или полтора. Мечтаю побыть у тебя как можно дольше».

И наконец: «Сегодня получила бесплатный проезд Москва—Енисейск и обратно. В первый раз я почувствовала реально свой желанный отъезд».

Степанова добралась до Енисейска в начале августа. «Что сказать о десяти днях, проведённых в Енисейске?... Там впервые у нас с Николаем был свой дом... Мы были счастливы»,— напишет она в своих «Воспоминаниях».

С тем большим отчаяньем она восприняла разлуку, а три дня на пароходе-тихоходе до Красноярска, с остановками для погрузки дров, превратились в бесконечный разговор с Эрдманом,

8. В нашем доме от таких питался радиоприёмник «Родина».

оставшимся в Енисейске и из-за болезни даже не проводившим её до пристани.

19 августа: «Вновь открытки. Страшно. Я нечастлива, милый! Лина».

20 августа: «... Жизнь моя, любовь моя, родной. Хочется бежать, плыть назад. Благодарю за надпись на книжке, она помогает мне сейчас и будет источником моей силы и твёрдости. Как страшно писать „целую“. Все благодарности Н. Р., телеграфируй о здоровье в Москву. Ещё раз целую тебя, милый! Лина».

21 августа: «Вчера долго стояли, грузили дрова. Смотрела на енисейский закат, потом на луну. Старалась быть сильной, мужественной. Сегодня серый, хмурый день, и Красноярск уже недалеко. Еду я прилично, хотя и без каюты, но это небольшое лишение. Две старушки и парнишка, с которыми меня познакомил Н. Р., поят меня чаем, покупают ягоды и занимают незамысловатыми рассказами... Выздоровливай и береги себя впредь. У меня ещё ничего не укладывается в голове, я знаю только, что мы всё равно вместе. Целую твои руки».

И так до 26 августа, до прибытия в Москву: открытки, в которых любовь, боль и—надежда.

Уже через неделю она пишет Эрдману, что надежда—есть: «Вчера разговаривала о тебе со своим знакомым. Он считает твоё пребывание в Енисейске нецелесообразным и спросил меня, в каком промышленном центре ты хотел бы находиться, какой город тебя интересует в сентябре».

«Знакомым» был всё тот же красавец из НКВД. В феврале тридцать пятого Эрдмана переводят в Томск. Степанова рвётся к любимому: «Очень стосковалась по тебе, мечтаю тебя видеть. Как ты? Наверное, много хлопот с устройством на новом месте. Пиши мне почаще, не забывай Худыру. Целую очень. Лина».

В мае Эрдмана посещает мать, вслед собирает Дина. Узнав об этом (в Москве, как в деревне, трудно было что-то утаить), Степанова перестала отвечать на его письма.

В конце тридцать шестого Эрдман получает справку об отбытии срока ссылки с правом выбора места жительства «минус шесть городов». До войны живёт не-«Далеко от Москвы»: в Калинин, Вышнем Волочке, Торжке, Рязани. В одну из своих нелегальных поездок в столицу, зимой сорокового, знакомится с балериной Натальей Чидсон. После смерти Дины в сорок втором от брюшного тифа и развода Чидсон с мужем они живут вместе, а в пятидесятом вступают в законный брак. В пятьдесят третьем брак распался. Через несколько лет Эрдман снова женился, и снова на балерине—Валентине (Инне) Кирпичниковой. Она была младше его на двадцать шесть лет и страдала «дачной» болезнью, замыслив возвести на участке в Красной Пахре то, что потом стали называть новоделом: громоздкое многоэтажное здание с подземным

гаражом, галереями, верандами; всё это стоило больших денег, а гонорары всё меньше... Николай Робертович Эрдман скончался 10 августа 1970 года.

В июле тридцать шестого и у Степановой произошло большое событие: она родила сына Сашу. Нехитрые расчёты показывают почти точное совпадение дат зачатия и выдачи справки Эрдману об окончании срока ссылки (18 октября). Причастен ли был отец ребёнка к выдаче справки, неизвестно. Через год Степанова познакомилась в Париже (ну а где ещё?!) с Александром Фадеевым и вышла за него замуж. У них родился общий сын, а Сашу Фадеев усыновил и дал ему свою фамилию. Александр Фадеев-младший стал артистом, ни в кино, ни на сцене не блистал, зато отметился громкими женитьбами — на Людмиле Гурченко и на внучке Сталина.

По простривии многих лет Степанова писала с горечью: «Я неоднократно возвращалась к мысли, что когда-то потеряла возможность иметь ребёнка от Николая, он был бы живой памятью нашей любви. Но тогда это было невозможно: жена у него, у меня — театр. Он был испуган, растерян, но настойчив. Я уступила. Сетунь. Зависимость обстоятельств».

А вот записка Н. Эрдмана, переданная Степановой в сетунскую (переделкинскую) больницу, где она находилась несколько дней 1931 года: «Если моё присутствие может хоть сколько-нибудь помочь Твоему одиночеству — знай, что я сейчас возле Тебя всем, что есть во мне самого лучшего. Прости меня, милая. Целую. Николай».

Да, он был испуган: ребёнок, да ещё внебрачный! После такого поступка по-инному смотришь на отношения Эрдмана и Степановой: она отдавалась любви сполна, отдавая всё любимому, делая то, что «приличная» женщина никогда себе не позволит, но она была великая актриса и великая женщина: «Очень трудно вспоминать твои отказы от меня, твои уходы — страшно, что это будет опять. Совершенно ясно, что жить без тебя не смогу, уйти от тебя мне самой невозможно. Понятно, что, попадая в круг этих мыслей в одиночестве, слыша иногда фразы, которые люди бросают о наших с тобой отношениях, узнавая какие-то твои домашние дела, я не могу сладить с собой, пойми! Милый, я знаю, что эти эгоистические бабьи мучения и мысли уйдут, что любовь моя шагала и будет шагать через них... Я донесу тебе мою любовь, и если она когда-нибудь понадобится тебе, ты возьмёшь её чистой, большой и глубокой...»

А он взял — и ничего не дал взамен. Потому что он был только великим драматургом. И если говорят, что он автор двух пьес, то это неправда. Он написал, поставил и сыграл себя в пьесе «Мастер и Ангелина»; читая его письма к «длинноногой», Худыре, Пинчику, хочется иной раз воскликнуть:

«Не верю!» Ангелина переиграла Мастера, как на сцене дети и животные затмевают даже больших артистов.

И последнее — о жизненной позиции Эрдмана

Если другого Николая Робертовича — Ланга — восемнадцать лет держали в тюрьмах и ссылках за его чёткую позицию анархиста, то был ли Эрдман врагом советской власти (как потом стали называть — врагом народа, ведь Сталин считал, вслед за Луи, что он и есть народ)? Не беря во внимание басенки, какой «контрреволюционный» заряд несли его пьесы?

В «Мандате» двадцатипятилетний драматург показал, как за семь-восемь послереволюционных лет произошло «перерождение», «омещивание», утеря не только революционных, но и нравственных идеалов, каким пышным чертополохом возрос бюрократизм, об опасности которого предупреждал ещё Ленин: если что нас погубит, то это бюрократизм! Эрдман не был в оппозиции советской власти, которую принял с юношеским энтузиазмом («Октябрьская революция освободила рабочих и крестьян», — из «Литературной декларации имажинистов»), он был против её деградации.

Пьеса «Самоубийца», не допущенная к постановке после откровенного письма Сталина Станиславскому («Я не очень высокого мнения о пьесе „Самоубийство“ [так в тексте]»), — о герое, каких не было в отечественной драматургии: это лентяй, безработный, иждивенец, жертва системы, которая насаждает один страх, и источник страха — таинственный Кремль, куда звонит «самоубийца» Подсекальников. То есть повод налицо, а причина — страшно сказать — в Кремле. Эрдман сказал и — поплатился: за убийственную сатиру и сочувственное внимание (внимательное сочувствие) к простому человеку. Какой же он не враг НАРОДА после этого?

Но надо было жить в этой стране, при этой власти, и Эрдман признавал свою контрреволюционную деятельность и после ареста, и после ссылки: «В своё время я написал ряд политически вредных и антисоветских произведений, за что был справедливо осуждён органами НКВД... Изолированный от советской писательской среды, я совершал ошибку за ошибкой, в конце концов вступив на порочный путь» (из письма в «Правду», 1937 год).

В отличие от других репрессированных советских писателей, Эрдман не оставил литературных трудов о своей ссылке. Что касается опубликованного другими, то его можно разделить на три части: репрессии как неизбежность борьбы Сталина за сильное государство (в романе Алдан-Семёнова заключённые изображают на скале барельеф

вождя, у Бориса Дьякова на хрущёвском съезде встречаются палачи и их жертвы, и все радуются); попытка объективного анализа сталинского террора (Александр Солженицын); стойкое неприятие советского (сталинского) пути развития России (Осип Мандельштам, Олег Волков).

Кстати, Волков — «наш», енисейский. Ровесник Эрдмана, сын директора крупнейшего в России завода и внук адмирала Лазарева, выпускник модного Тенишевского училища, однокашник Набокова, знаток латыни и европейских языков, питерский щёголь и заядлый театрал, был арестован в 1928 году, и началось: Лубянка, Бутырка, Соловки, Архангельск... После короткой передышки на воле (Кировабад, Калуга) — арест и ссылка в Красноярский край, в старинное село Ярцево, что ниже Енисейска на двести тридцать километров (1950–1955 годы). К своему девяностолетию Олег Волков выпустил книгу «Погружение во тьму»; тьма, по Волкову, это то, во что погрузилась страна после Октябрьского переворота.

В сравнении с тем, что напечатано о репрессиях, книга О. Волкова отмечена не какими-то художественными достоинствами (ну что может сравниться с описанием морозного утра в «Иване Денисовиче»?), а — ненавистью. К принципам и носителям пролетарской «морали», к лживости, лицемерию тех, кто невольно, а чаще ради привилегий и жизненных благ становился соучастником великой расправы над великим народом. Досталось всем: Горькому — певцу Беломорканала, «глухому к голосу совести» Катаеву, Дьякову, Алдан-Семёнову, Аксёновой-Гинзбург — за их попытки объяснить творимое с народом исключительно культом личности. Для Волкова же ясно одно: Россия погибла, погрузившись во тьму бездуховности, разрушения нравственных устоев общества. Но при этом Олег Волков с 1951 по 1986 год издал двенадцать чудесных книг прозы о Сибири и сибиряках, печатал в «Литературной газете» очерки в защиту природы — то есть противник системы (власти), искренне и в меру своих сил защищал свою страну, свой народ.

Не случайно практически все репрессированные советские писатели были реабилитированы, многие посмертно: не выявлено ни действий по свержению и подрыву власти (статья 58–1), ни измены Родине (58–1а), ни шпионажа (58–6)...

Когда началась война, Николай Эрдман рвался на фронт, но получил отказ как немец и как имеющий судимость, но в августе сорок первого

зачислен в сапёрную (!) часть и прошёл пешком с отступающей частью шестьсот километров. В Сарагове чуть не умер от нагноения ноги и получил вызов в Москву, в ансамбль песни и пляски НКВД (!), в котором служил до 1948 года. До своей кончины в 1970-м написал сценарии художественных фильмов «Старый наездник» (снят в 1959 году), «Принц и нищий» и «Актриса» (1943), «Здравствуй, Москва» (1946), «Федя Зайцев» (1949), «Смелые люди» (1950, Сталинская премия второй степени), «Спортивная честь» (1951), «Застава в горах» (1953), «Шведская спичка» (1954), «На подмостках сцены» (1956), «Тихая пристань», «Снежная королева», «Верлиока» (1957), «В некотором царстве», «Рассказы о Ленине» (1958), «Косолапый друг» (1959), «Приключения Буратино» (1960), «Любушка» (1961), «Необыкновенный город», «Каин XVIII» (1963), «Укротители велосипедов» (1964), «Морозко», «Город мастеров» (1965), «Огонь, вода и медные трубы» (1968), «Снегурочка» (1969), а также мультфильмов, либретто оперетт⁹, интермедий.

Да, всё это было, за редким исключением, «переделкой», но Эрдман великом отдавался этой работе, которая для великого драматурга была всё-таки «халтурой» (вспомним Степанову). Даже после двадцатого съезда «Самоубийцу» не «реабилитировали», с третьей пьесой под названием «Гипнотизёр» не получилось. Много сил отнимали бытовые проблемы. Их квартира с Диной после её смерти в 1942 году репрессированному Эрдману не досталась, лишь в 1950 году он с новой женой Натальей Чидсон въехал в отдельную квартиру в доме ГАБТ на улице Горького.

Эрдман любил игру, любил театр (последний всплеск этой любви — к Театру на Таганке), он любил жизнь, но когда ушли из жизни Есенин, Маяковский, Станиславский, Горький, Мейерхольд, Булгаков, Сталин, в конце концов, и он «вышел из игры в искусстве», ему осталась одна игра — на бегах: «Страсть Н. Р. к лошадям была хорошо известна. Себя же, как заядлого и не очень удачливого игрока, Н. Р. называл „долгоиграющий проигрыватель“» (А. Хржановский).

Чувство юмора не оставляло Эрдмана даже в самые трудные дни. Очевидцы вспоминают, как во время отступления в ноябре сорок первого его шутки поднимали настроение бойцам, а в победе над Гитлером он был уверен: «Завязнет в России, как Бонапарт». И над своей личной трагедией он улыбнулся грустной улыбкой гения, подписав письмо любимой мамочке: «Твой Мамин-Сибиряк».

9. Помню, как после «Летучей мыши» в Красноярской мюзикомедии от смеха долго болел живот.

Эдуард Анашкин

Семь граммов счастья поэтессы Лидии Иргит

Есть в нашей стране такие удалённые уголки, о которых мы мало что знаем. Один из таких — небольшая Республика Тыва, находящаяся на стыке Сибири и Дальнего Востока. А потому невозможно не быть благодарным талантливой тувинской поэтессе Лидии Иргит, которая своими стихами открывает нам, читателям России, уникальную красоту своей малой тувинской родины, без которой красота большой многонациональной российской Родины была бы неполной. Нелзя сказать, что стихи Лидии Иргит мельтешат в российских изданиях. Но каждое стихотворение этой поэтессы западает в душу. Так было со мной, когда я впервые познакомился во второй половине девяностых годов со стихами Лидии. Поэтесса тогда окончила Высшие литературные курсы Московского Литературного института имени Горького, где ей посчастливилось учиться в семинаре великого русского поэта Юрия Кузнецова. Во время учёбы на влк Лидия Иргит стала участницей Всероссийского семинара в городе Владимире, где она была принята в члены Союза писателей России. Посчастливилось выпустить в столичном издательстве «Московский двор» книгу своих замечательных стихов «Рыдающий родник», составленную из переводов нескольких поэтов. Москва придала поэзии талантливой тувинки всероссийское звучание, хотя даже по стихам чувствуется, как нелегко пришлось поэтессе в далёкой российской столице, вдали от родной Тывы:

Когда в Москву я уезжала
И вся светилась, как во сне,
Моя собака не визжала
От счастья, выпавшего мне.
С протяжной жалостью собачьей
Она глядела на меня.
А я хмелела от удачи,
Судьбы поводьями звеня.
Свистела за окном синица,
Сияла мне рябины гроздь.
Застряла русская столица
В собачьем горле, словно кость.
Москва мне голову вскружила:
Какие планы и мечты!
И я тебя забыла, Джина,
Среди столичной суеты.

Здесь пахнет жухлою листвою,
Но не поют здесь петухи.
Я от тоски собачьей вою,
Когда пишу свои стихи.
Прости беспутную бродягу,
Как можешь ты прощать, любя,
Когда московскую дворнягу
Я в лоб целую за тебя.
(Перевод Евгения Семичева)

Нелёгкое московское студенческое житьё-бытьё стоило того, чтобы послушать лекции Юрия Кузнецова, пообщаться с писателями России. И, наконец, чтобы познакомиться с замечательными переводчиками, благодаря которым творчество Лидии Иргит вышло на российские просторы. Переводчики Иргит — поэты Евгений Семичев, Владимир Гордеев, Диана Кан — оказались не только чуткими к своеобразной национальной поэтике Иргит, к тому неповторимому тувинскому «мелосу», который Лидия так тонко умеет воплощать в стихи. Благодаря чуткости поэтов-переводчиков русская поэзия приросла ещё одним самобытным национальным поэтическим голосом — голосом Лидии Иргит. Стихи её — это глоток свежего горного тувинского воздуха, это вкус молока, налитого рукой тувинки в расписную пиалу. Это, наконец, завораживающие звуки тувинского горлового пения — хоомея.

Я навсегда останусь молодой.
Как голубы небесные стропила!
Искрящейся живой своей водой
Монгун-Тайга мне сердце окропила.
Она течёт сквозь небо, как река.
В её бурлящем ледяном потоке
Плывут деревья, птицы, облака...
Я из неё вычерпываю строки...
(Перевод Евгения Семичева)

Поэзия Лидии Иргит волшебным образом сближает разных поэтов с разными творческими почерками. Ведь ни у кого из переводчиков Иргит, судя по всему, не возникает ревностно-собственнического отношения к творчеству талантливой тувинки. Поэзия Лидии Иргит — словно мост, перекинутый между разными поэтическими мирами, благодаря которому далёкая Тыва становится ближе к Первопрестольной нашей страны. Известный

поэт и переводчик Евгений Семичев вдохновенно переводит восторженно-благодарные стихи Лидии Иргит, посвящённые другому её поэту-переводчику Владимиру Гордееву:

...Поклон Гордееву Володе!
Художник русский из Москвы,
Ты о моём сказал народе,
Как о таинственной породе
Моей космической Тувы.
(Перевод Евгения Семичева)

Родившаяся и выросшая в самом отдалённом районе Тувы, Лидия Иргит пришла в литературу со своими незаёмными темами — темой единокровного родства человека и природы, темой глубины родственной привязанности, благодатности многодетного материнства. Все эти качества поэзии Иргит родом из её детства. Лидия выросла в многодетной семье, центром которой была её мать Чечек Муззуковна Салчак — многодетная мать-героиня, которой посвящена книга «Рыдающий родник»:

В лучах искрящейся весны
Любой сугроб растает.
Снег материнской седины
И по весне блистает.
Ах, мама, всё своё добро
Ты людям раздарила,
И материнства серебро
Тебя посеребрило.
Когда блуждаю по земле,
Свет твоего окошка
Мне в ноги стелется во мгле,
Как лунная дорожка.
Ты с каждым годом всё родней.
Я — кровь твоя и дочка.
Ты в полотне судьбы моей
Серебряная строчка.
Из слёз серебряных твоих
Твоя медаль отлита.
И мой слезой омытый стих —
Твоей любви орбита...
(Перевод Евгения Семичева)

Закономерно следом процитировать и замечательное стихотворение Лидии, посвящённое её рано умершему отцу:

Отец мой ушёл так рано,
Но нас он не забывает.
И образ его, как рана,
На сердце моём пылает.
Он думал о нашем хлебе
И умер совсем не старей.
Теперь, как орёл, на небе
Пасёт облаков отары.
А мама моя в печали
Вздыхает о нём ночами.
Как пусто в родном аале,

И стынут пиалы с чаем.
Отец, твоя дочь не плачет,
Отец, я сквозь годы вижу,
Как к дому родному скачет
Во мгле жеребец твой рыжий.
(Перевод Евгения Семичева)

Чтобы выжить и прокормить семью в суровых высокогорных условиях, тувинцам приходится много трудиться. А потому стихи Лидии Иргит, посвящённые сёстрам, фактически являются гимнами неустанному труду женщин-тувинок — труду, на котором зиждется не только семейное благополучие, но и благополучие окружающего мира. В стихотворении, посвящённом сестре Лине, мы видим не просто кротко-смирненное отношение женщин-тувинок к труду как неизбежной повинности. Мы видим отношение творческое:

С иглою-подругой и другом-напёрстком
За день ни на миг не расстанешься ты.
И, всех наряжая, одета неброско —
Тебе не до этого средь суеты.
Портничихой от Бога тебя называют —
Настолько искусно наряды ты шьёшь.
И душу твою отродясь не пятнает,
И уст никогда не касается ложь.
Волшебница Лина, характер твой кроток,
Плохого не скажешь вовек ни о ком...
Дурнушек — и тех! — превращаешь в красоток
Своим аккуратным чудесным стежком.
(Перевод Дианы Кан)

Выросшая в высокогорной Монгун-Тайге, Лидия Иргит пишет о своей малой родине так, что понимаешь: это её кровное, родственное, дающее силы жить, любить, творить, бороться. Что пока высокогорная Монгун-Тайга живёт в душе поэтессы, она останется «женщиной-скалой» (так Лидия называет себя в одном из стихотворений), неподвластной житейским невзгодам. Эту подпитку родной земли прекрасно почувствовал переводчик Лидии Иргит, москвич Владимир Гордеев:

Ночь уходит, смежив свои звёздные веки,
И заря алый пурпур вокруг разольёт,
Серебром засверкают проворные реки,
Солнца злато-лучи разобьются об лёд!
И на склонах проснутся тенистые рощи,
И в зелёных ветвях зазвучат голоса!
И во всей красоте и во всей своей мощи
Пики горных вершин подопрут небеса.
Небо жгло их огнём и глушило громами,
Иссушали их зной и жестокий мороз.
Только горы опять одевались лесами,
Не приняв эти буйства природы всерьёз...
Видно, волю к борьбе я у гор одолжила
И окрепла душою в свободном краю.
Там в мечтаньях своих я орлицей кружила
И о той красоте в своих песнях пою.

Но когда я в тоске иль убитая горем,
Голос дальний мне слышится: «Дочка, держись!»
Я люблю эти скалы и снежные горы,
Как любить можно неповторимую жизнь.
(Перевод Владимира Гордеева)

Ох и широка же душа Лидии Иргит!.. Настолько широка, что чувство родства поэтесса распространяет не только на свою семью, но и на всю природу, на лоне которой выросла. И отношение к этой природе у поэтессы дочернее, родственное. Для Лидии Иргит Монгун-Тайга—это мать, не менее любимая, чем родившая её женщина. А Улуг-Хем—отец.

Мой несравненный Улуг-Хем,
Мне нелегко с тобой расстаться!..
Сбегаю от своих проблем,
Чтобы тобой налюбоваться.
Полжизни я могу шагать,
Чтобы узреть тебя воочию...
А ты куражишься опять,
Кичишься удалью и мощью.
Таранишь буйно берега,
Деревья с корнем вырываешь.
Потом, ударившись в бега,
Опять на берег их швыряешь.
Тебя не стану осуждать...
Ты слишком гордый и не знаешь,
Как убедительней сказать,
Сколь сильно ты по мне скучаешь!
(Перевод Дианы Кан)

Как видим, далеко не всегда у «родственников» Лидии Иргит простые характеры. Но под этими с виду непростыми характерами, под этой невольной восточной горячностью и строгостью на деле скрывается истинная любовь, не нуждающаяся в словесных подтверждениях:

Монгун-Тайга—надменная красавица,
Что неприступно на земле стоит,
Туманом, словно шалью, одевается
И ледяным дыханием знобит.
«Когда, Монгун-Тайга, свой гнев арктический
На солнечную милость сменишь ты?..»
Увы, ответом на вопрос лирический—
Лишь скалы саблезубой высоты.
Неговорлива, несловоохотлива,
Ты эхом откликаешься на зов.
К моим губам подносишь ты заботливо
Струю своих священных родников.
Однако, вся такая неприступная,
Монгун-Тайга—как ласковая мать,
Привыкшая под горными уступами
Для нас в ущельях солнце выпекать.
(Перевод Дианы Кан)

Крепкий семейный уклад виден в стихах Лидии Иргит... И эти стихи—не просто слова. Лидия

и живёт так же, как пишет,—с любовью к миру и чувством ответственности за ближних. Это не позволило Лидии сдать в детские дома нескольких осиротевших детей, своих племянников. Не позволило, несмотря на то что Лидия Иргит недавно сама стала вдовой, на попечении которой две дочки! Тот, кому «посчастливилось» вкусить сиротски-приютской бесприютной доли, встанет перед этой тувинской «женщиной-скалой» на колени. Какая же она скала, с таким-то сострадательным сердцем?! Высока ныне смертность в России: теряя одного за другим родственников, Лидия Иргит становится многодетной мамой. Казалось бы, какие уж тут стихи, когда столько хлопот! Но эта уникальная талантливая тувинка и из хлопот своих бытовых, далёких, казалось бы, от лирики, способна сделать высокохудожественные поэтические творения:

О вкусах не спорят? О вкусах не спорят!
Я, помнится, как-то картошку пекла.
Задумалась о поэтической доле—
Стихи сочинила, картошку сожгла.
Стихи, несомненно, достойны овец...
Да всё ж от стихов невеликий навар.
Уныло вдохнули мои домочадцы
Лирическо-кухонный этот угар.
Стихами, что с жару,
Стихами, что с пылу,
Стихами, что дышат, как хлеб, горячо,
Я щедро домашних своих угостила...
И что же они? Попросили ещё!
(Перевод Дианы Кан)

Или:

Я вся в делах...
Румяные лепёшки
Пеку, чтоб накормить свою семью...
Ну а душа, как птица за окошком,
Поёт, пока на стол я подаю.
Душа слагает звонкие куплеты—
Успеть бы только мне их записать!..
Я и на кухне остаюсь поэтом.
Но как забыть, что я—жена и мать?
Жар от плиты мне обжигает щёки...
А в это время Божий дар живой
Печёт в душе лирические строки,
Покуда руки заняты стряпнёй...
(Перевод Дианы Кан)

Читая эти строки, невольно вспоминаешь ахматовское: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» Но как-то не поворачивается язык назвать «сором» те женские заботы-хлопоты, без которых семья—не семья. Доверительность—вот, наверное, одно из главных качеств поэзии Лидии Иргит. Эта доверительность пронизана ощущением того братства народов, которое помнит любой, живший во времена СССР.

Лидия до сих пор хранит в своей душе это великое братское чувство:

Хоть изменилось всё вокруг,
Алтайцы и тувинцы—братья,
И на века крепки объятия
Их дружеских могучих рук.
Алтайка, бабушка моя,
Нам пела древних лет сказанье.
Мы, внуки, затаив дыханье,
Внимали ей, душой горя!..
Забылось многое с тех пор.
Порой не вспомнишь, как всё было.
Но память прочно сохранила
Названья рек, названья гор.
Из детских лет, как из глубин,
Спешат, сквозь Время прорастая,
И красота Хаан-Алтая,
И пение реки Кадын.
(Перевод Владимира Гордеева)

Чувство родства и жизненной сопричастности в стихах Лидии Иргит распространяется на многие народы:

Восхищаться вечно не устану
Гордою хакасскою землёй.
Ледяные снежные Саяны
Подружились навсегда со мной.
Предложили мне испить айрана...
Окликало эхо: «Тун Пайрам!..»
Ах, Саяны, гордые Саяны,
Я отныне не чужая вам!
...Тун Пайрам! Я славить не устану,
Воплощая в благодарный стих,
Голубые гордые Саяны
Или чашу, полную айрана,—
Ту, что мы испили на двоих.
(Перевод Дианы Кан)

Редкие мгновения счастья, выпавшие на долю поэтессы Лидии Иргит, она сумела воплотить в золото стихов. Вопросы о том, счастлива ли Лидия Иргит, у меня лично не возникает. Разве может быть несчастна женщина, пишущая такие пронзительные—полные современной конкретики и в то же время философски отстранённые от действительности—стихи?

Перстень на руке искрится,
А глаза грустны совсем...
Продавщица, продавщица,
Взвесь мне счастья граммов семь!
То-то очередь большая!
Видно, счастье нужно всем.
Продавщица дорогая,
Как у вас тут насчёт цен?
Я смотрю, в ассортименте—
Жадность, зависть и разврат.
Спрос на все «товары» эти,
Как и выбор их, богат!
Продавщица принародно
Объяснит с печалью мне:
«Нынче спрос на что угодно,
Только счастье не в цене...»
(Перевод Дианы Кан)

Вот уж тут я категорически не соглашусь с поэтессой Лидией Иргит—моя любовь к её стихам даёт мне право не во всём с ней соглашаться. Разве это не счастье, что в далёкой тувинской глубинке живёт, не сдаваясь лихим напастям, живёт, не поддаваясь житейским невзгодам, и дарит читателям России свои неповторимые стихи «женщина-скала» Лидия Иргит? Заветные «семь граммов счастья»—это её тоненькие на вид книжечки, которые по своему художественному содержанию «томов премногих тяжелей». А потому «семь граммов счастья»—это вовсе не мало!

Лидия Иргит

Женщина-скала

Лунной ночью

Тёмной ночью
С лунного круга
Свет прольётся
Серебристый.

В золотисто-
Жёлтом халате
Лунным блеском
Рябь искрится.

Звёзды, звёзды.
Слышится шёпот.
Ветра шорох,
Ветра свисты.

Дни и ночи
Тянутся долго.
Образ твой мне
Снова снится.

Два стихотворения



Время назначит,
Время обмерит.
Время даёт,
Но вновь заберёт.

Всё в своё время.
Всё в своей мере.
В срок свой родится,
В срок свой умрёт.

Всё в своё время—
Вновь расцветает.
Всё в своё время—
В срок увядает.



Небо звезда украшает.
Ум украшает наука.
Молодца стать украшает,
Деву украсит коса.
Зубы—украшение рта.
Конь красив, коль грива густа.

Ну и пусть

Сильно шуровала в печи избушки,
Хоомеем¹ запели горящие стружки.
Следят за мной боги огня неотступно,
Глаза их так жгучи—мясного ждут супа.

Дымится варёное мясо в корыте...
Гостей накормила бульоном досыта.
Съев мясо и сало, сказали: «Вот кости!»—
Так дразнят меня ненасытные гости.

А я упрекать, придирааться не стала.
Как будто их нет. Спокойно стояла,
Улыбку держа, и лица не теряя...
Вот только одежда моя вся дырява.

Мои мечты-желания

Способна я—работать не устала,
Болезнь меня ремнём не привязала.
Ещё стремятся мысли в высоту—
По жизни я иду, как по хребту.

Могу качать я внуков в колыбели,
И пением развлечь, и звонкой трелью.
Ещё согдятся ум, глаза и уши,
Пытливым взглядом распознаю души.

А пенсионный возраст—что же это?
Осознанность, что осень, а не лето.
О старости так много говорят...
Во мне мечты-желания бурлят!

Озорной ветерок

Покоя нет весной от ветерка:
Дурачится, как малое дитя.
Играючи, стремительно летя,
Дотронется до завитка цветка.

И, радуясь, увидев тот цветок,
Щекой прильнув, целует лепесток.
Закружится со свистами опять—
До вечера ему бы всё играть.

Бежит к реке, с волной покажет прыть,
Чтоб гладь разбить, слегка надует зябь.
И снова от земли пылит виток...
Всё может озорной тот ветерок!

.....

1. Хоомей—горловое пение.



Моих страданий чёрный день мою любовь
Забрал в ту пору дня, когда молилась вновь.
Наполненный мученьями я путь прошла,
Перечеркнув мой лоб, мне жизнь урок дала.
Ночная тьма уходит, завершая круг,
Накрыв вершины гор туманом серым тут.
Но красной лентою лучу ещё сиять,
Изменчивому небу снова цвет менять.
Моих страданий чёрный день — как выстрел-гром,
Хотя сдавило грудь и дышится с трудом,
Огонь любви моей прекрасной не угас,
Своих детей я к солнцу подняла сейчас.
Моё оружие-ружьё — в стихах строка,
Непреходящие цвета — моя тоска.



А было время, что водой нас не разлить,
Душой и сердцем я всегда с тобой была.
Когда путь к славе помогала проторить,
Всё, что хотела, от меня ты забрала.
«Так вот теперь не будешь больше первой». Да.
За горло взяв, худою ложью заплела.
Людей интригами запугав, наслаждаясь,
Вдавила внутрь, втоптала имя моё в грязь.
Теперь мне тень земли ковром, чтоб отдохнуть.
Обиду проглочу, сдавившую мне грудь.
Добившись славы, имя ты смогла добыть.
И всё же подавилась... Боже! Не забыть.
Простая грязь в воде отмоется ещё,
Но совесть чёрную возможно ли отмыть?..

Я не заплачу у порога

Я не заплачу у порога,
отвергну сети ворожбы.
Передо мной лежит дорога
прямой, чем линия судьбы.

В чужом краю под сердцем спрячу
свою любовь в метельной мгле...
Пусть знают: никогда не плачут
тувинки на чужой земле.

Моя любовь горит, как пламень.
Но есть преграда на пути —
твоей любви холодный камень,
который мне не обойти.



Хотела грусть свою излить —
До неба голос не взлетит.
К земле с поклоном — не хотела.
Она — тверда. Я не посмела...
Кому ещё мне рассказать?

.....

2. Данза — курительная трубка.

Без водки обойдусь

Чтоб изношенной не быть уж слишком,
Штопая, я подбираю нить.
Рядышком присесть, напиться лишку...
Человека нет, с кем водку пить.

Старый друг мой — у него несчастье:
После катастрофы — недвижим.
По душе хотелось выпить страстно...
Обойдусь, раз мне не выпить с ним.

Ветер со шляпой

Спокойно стоит скотовод Батый,
Беспечно данзу² разжигает.
Вдруг ветер, шляпу с его головы
Надев на себя, убегает.

За шляпой погнался, но не догнал.
Башка замерзает без шляпы.
Когда бы ремнём он её привязал...
Совсем стал забывчив, растяпа.

Вернулся домой, а сказочный ветер
Промчался, аул огибая.
«Вот шляпа твоя, подумай теперь...» —
Сказала жена, упрекая.

«О, надо ж, ветер её не украл,
В моём же ауле оставил.
О глупой моей башке он узнал», —
Батый, извиняясь, добавил.

Вьюга-пурга

В лесу и шум, и гул стоит —
Вовсю здесь воеет голос ветра.
И камень вниз летит с обрыва,
Ломая ветви непрерывно.

Не видно — прячется, кто жив,
Не слышно их — они все в гнёздах.
Бегут бродяги-облака,
Всё красной пылью скрыто грозно.

Большой Медведицы здесь ковш,
Большой Луны и звёзд не видно.
Вот ночь пришла, пурга заснула —
И лесу вновь покой вернула.



Всё новое постареет,
Всё старое возродится.
Ход времени вдаль стремится.
О жизни вновь уходящей
Напомнит мне вкус горчицей.
А время моё всё резвится.
Перед закатом, что ли, хвалиться?

Дует ветер в караганах

С чёрной речки в караганах
Ветер дует постоянно.
Только милой Кежепей,
Как всегда, всех веселей.

Хоть привязанный ремнями,
Конь не прядает ушами.
Дует ветер, дождь прольёт,
Милый мой ко мне придёт.

В караганах с чёрной речки
Ветер дует, может, встречный...
Кежепей всех веселей:
Может, нравится кто ей?

Мамина юрта

Я вспомню, если мне тревожно
И душу давит суета,
Что где-то между скал таёжных—
Родимой матушки юрта.
Замка не знавшая от века,
Юрта поможет всем в беде.
Гостеприимнее ночлега
Не сыщешь более нигде!
Покуда ветры свирепеют
(Уздешних ветров нрав такой!),
Юрту очаг семейный греет,
Зажжённый маминой рукой.
О мама, пусть минует старость
И вечно юной будешь ты...
Пусть дым, как белоснежный парус,
На волю рвётся из юрты.
В житейском море пусть, как прежде,
Который век, который год
Навстречу вере и надежде
Аратская юрта плывёт.

Тун Пайрам³

Восхищаться вечно не устану
Гордою хакасскою землёй.
Ледяны снежные Саяны
Подружились навсегда со мной.
Предложили мне испить айрана...
Окликало эхо: «Тун пайрам!...»
Ах, Саяны, гордые Саяны,
Я отныне не чужая вам!
В час, когда разлука-лихоманка
Мне диктует покаянный стих,
Вспомню я, что царственной осанкой
Ты, любимый, так похож на них.
Тун Пайрам! Я славить не устану,
Воплощая в благодарный стих,
Голубые горные Саяны
Или чашу, полную айрана,—
Ту, что мы испили на двоих.

Я— женщина-скала

Монгун-Тайга, я— женщина-скала.
Твоим высоким скалам я сестра.
Здесь с детства мной протоптаны тропинки,
Исхожены ущелья и ложбинки.
Здесь каждый уходящий ввысь утёс
Корнями из души моей возрос.
А яркие цветы на солнцепёке
Диктуют мне возвышенные строки.
Здесь эхо множит вдохновенный стих
Про предков достопамятных моих.
Стремит орёл полёт свой молодой,
Взлетает стих над горною грядой
И, отразившись в солнечном луче,
Поёт, как птица, на моём плече.

Угер⁴

Пускай опять накрыла небо мгла,
Мне посторонней помощи не надо.
Ведь отовсюду, где б я ни была,
Я отыщу небесные Плеяды.
До боли натрудив глаза свои,
Увижу: светят из вселенской стужи,
Как отсвет галактической любви,
Шесть млечных драгоценных звёзд-жемчужин.
Уралу, Волге, Лене и Неве
Они горят, горят, не угасают...
Созвездием Угер в моей Туве
Ту связку звёзд жемчужных величают.

Капель

Падает из ветки капель,
падает, словно слезинки.
Это влюбился апрель
в карие очи тувинки.

Жгучие слёзы зимы
не утолят моей жажды.
Тополь, где встретились мы,
машет нам веточкой каждой.

Не было нашей любви—
так меж собой мы решили.
Жгучие слёзы мои
в сердце огонь потушили.

*Переводы с тувинского Лилии Агадулиной
(«Лунной ночью», «Дует ветер...»), Дианы Кан
(«Мамина юрта», «Угер»), Евгения Семичева
(«Капель», «Я не заплачу у порога»)*

-
3. Праздник первого айрана
(хакасский народный праздник).
 4. Плеяды.

Юрий Беликов, Валерий Соловей Страсти у крещенской иордани

Известно: соловья баснями не кормят. Поелику соловей сам себе басня. Окружённая, точно башня, многоколенными побасёнками. Однако не всякий соловей—профессор. И даже профессор мгимо. Посему, ежели соловья баснями не кормят, то уж Соловья (оказывается, так причудливо склоняются мужские фамилии подобной пернатости)—тем паче. Начитавшись его книги «Кровь и почва русской истории», я было попробовал прикормить—щегольнув ассоциативным, пастернаковским: «И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба». Прикормить с тонким намёком, что профессор мгимо предпочёл расплывчатому понятию судьбы загадочное—кровь. А он мне—раз!—свой профессорский резон:
— Нет, я с Пастернаком не полемизировал! Это уже результат вашего культурного багажа.

Вроде как похвалил. Но и одновременно щёлкнул по носу. И тут же—про демона, или, говоря языком Сократа, некого внутреннего даймона, который движет человеком:

— И на этом бессознательном уровне письма (как человек пишущий, вы это хорошо знаете) помимо нашего желания возникают невольные переключки, аллюзии, реминисценции и тому подобные вещи...

В общем, мой нынешний визави изящно осадил, утёр нос Сократом. Даром, что ли, отсидел судейский срок в телепроекте Юрия Вяземского «Умники и умницы»? Впрочем, русское наречие «изящно», как и французское существительное «визави», подходят Валерию Дмитриевичу, будто его галстук-бабочка. Этакий, если немножко отлипать память, аристократичный музыковед и телеведущий Станислав Бэлза, только— вот контраст!—по-соловьиному изъясняющийся не о тайнах нотного стана, а о русском народе.

— Валерий Дмитриевич, когда в «Литературной газете» была открыта рубрика «Неразрешённый вопрос», я обратил внимание на совместную с вашей сестрой Татьяной Соловей статью. Называлась она с провокационной задоринкой: «Чего не хотят русские?» Вы там по-родственному счищали многовековую священную ржавчину. Цитирую: «...равнодушный ко всем материальным благам, братолюбивый, общинный, богобоязненный

и т. д. народ». Но далее: «Очень сомневаемся, что русские и в прошлом когда-нибудь были такими, как их воображают некоторые народолюбцы». Помню, меня задело не столько это перечёркивание, сколько последующий посыл относительно русских: «Ничтоже сумняшеся, произнесём кощунственное: русские—вполне буржуазный и обычный европейский народ, мечты, надежды и желания которого—самые что ни на есть буржуазные и обычные». Вы сами-то не напоминаете себе тореадора, кинувшегося с красной тряпкой на разъярённых быков?

— Это полемическая статья, и некоторые её тезисы намеренно заострены и огрублены. Иначе писать полемические статьи не имеет смысла. То, что русские при всех своих вполне европейских ориентациях отличаются от других европейских народов,—это очевидность. И она демонстрируется всей нашей историей. В конце концов, только русские смогли освоить такое огромное и вообще-то неприветливое пространство, у которого треть территории—за Северным полярным кругом и которое сейчас называется Россией. И не только освоили.

Само собой, кроме русских, осваивали эвенки, чукчи и эскимосы. Мы создали мощное государство с высокой культурой и развитой индустрией. Это уникальный в человеческой истории подвиг. И об этом надо говорить откровенно.

Что касается буржуазности, я не вижу ничего дурного в желании людей жить хорошо. Или хотя бы сносно. Что такое буржуазность? У нас просто мистифицировано это понятие. Буржуазность—это такая благоустроенная в материальном и социальном отношении жизнь. Неужели наши сограждане не хотят спокойной и размеренной жизни? Хотят! В противном случае это было бы ненормально для людей вообще.

А для тех, кто желал бы подвига и эскапады, мы должны открыть возможности. Как в своё время эта возможность была открыта для тех, кто шёл в Сибирь и на Дальний Восток. И до сих пор Сибирь и Дальний Восток—неосвоенное пространство. Отчасти—и Урал. И я думаю, что доля людей, похожих на испанских конквистадоров, у русских выше, чем у других европейских этносов.

Но это не значит, что у других народов не было таких групп. А те же испанцы, пришедшие в Латинскую Америку? А англичане, которые создавали великую Британскую империю?

— Другое дело, что для русских — по крайней мере, до какого-то рубежа времени — было свойственно нестяжание... Разве не так?

— Идеал нестяжания, или скромность и бедность, возводимые в идеал, — следствие суровых условий нашей жизни. Россия в сельскохозяйственном отношении была и остаётся страной с рискованным земледелием. У нас из каждых трёх лет один год был неурожайным. Соответственно, приходилось потуже затягивать пояса. И тут так: нас до семидесятих годов прошлого века не было возможности вообще с кем-то сравнивать. Мы же жили в довольно замкнутом в культурном отношении мире.

Я не элиту имею в виду. Этот слой в Российской империи насчитывал всего три процента населения. А вот девяносто семь процентов простых русских и нерусских — крестьяне и рабочие, у которых горизонт был ближним. Они не знали, что происходит. Как будто пребывали за пределами мира! Как только у нас стал расширяться горизонт и появилась возможность регулярно выезжать за границу, начало меняться и наше представление о том, как нам надо жить.

— Вы говорите о гипотетическом среднем классе?

— Не только. Это характерно для всех, потому что все смотрят телевизор. А телевизор — это всё-таки окно в мир. И телевизор создаёт определённый стандарт. Этот стандарт можно ругать и критиковать как угодно, но это реальность.

— В своей книге «Кровь и почва русской истории» вы пошатнули краеугольные камни традиционной русской идентичности: «Ни православие, ни общинность, ни имперскость и т. д. не составляют квинтэссенцию русскости». Более того, вы утверждаете, что и русская культура не является её основой. А в другой работе, «Русская история: новое прочтение», уточняете: «Русскость — это кровь, кровь как носитель социальных инстинктов восприятия и действия. Кровь (или биологическая русскость) составляет стержень, к которому тяготеют внешние проявления русскости». Расшифруйте, что это за «стержень»?

— Кровь — метафора генной детерминированности, передачи ряда наследственных свойств. То, что многие человеческие свойства наследуются, факт безусловный. Вы просите расшифровки. Но эти комбинации не расшифрованы, наука ещё не достигла таких высот, однако существование этих комбинаций ею уже признаётся. Другое дело, что специалисты по генетике человеческих популяций не проецируют свои выводы в область истории.

А я вот попытался сделать некую, пока первичную, проекцию. В любом случае хотел подчеркнуть, что кровь и почва или гены и культура не столько воюют друг с другом, сколько друг друга дополняют. Потому что эти наследственные свойства той или иной предрасположенности всё равно раскрываются в определённом историко-культурном контексте.

Допустим, человек может быть одарён в музыке. Мы знаем, что одарённость музыкальная, художественная наследуется. Но если этот человек никогда в жизни не видел ни одного музыкального инструмента и не садился за него играть, эта его одарённость никак не проявится и умрёт. Значит, это не противостоящие друг другу понятия, а взаимодополняющие.

— Однако отчего-то говорят, что природа отдыхает на детях гениев.

— А это так называемые статистические закономерности. То есть некоторые вещи происходят значительно чаще, чем другие. Приведу один довольно забавный пример. У человека есть центр абстрактного мышления. Он локализован в области головного мозга. Так вот, статистически доказано, что у женщин он развит хуже, нежели у мужчин. На мужском уровне он развит только у трёх процентов женщин.

Но вопрос в том: мы активлируем свою способность к абстрактному мышлению или нет? Предположим, если мужчина перестаёт упражняться в мыслительном процессе, то эта способность у него умирает. И наоборот: если женщина занимается интеллектуальной деятельностью, эта способность у неё развивается.

— Был такой поэт, на протяжении всей своей жизни упорно размышлявший о свойствах крови. Это Юрий Влодов, которого, смею думать, я хорошо знал. Десять лет назад он покинул сей мир. И была у него визитная карточка:

Я — Боженька, гость, полукровка,
Не ведаю сам, кто таков...
Как некая божья коровка,
Всползаю по стеблю веков...

В начале девяностых он опубликовал статью, также полемически заострённую, — «Отчизна-мачеха». И там поведал о своём общении с Александром Трифоновичем Твардовским. Как тот «тестировал» его, приговаривая: «Кровь — штука непростая. Вот ответ: хотелось бы тебе, Юрий, попасть лошадей в ночном? Или — окунуться на Крещенье в проруби?» Мой знакомый, по его собственному признанию, поёжился...

Чем вам не свойство крови? Я имею в виду желание искупаться в иордани — у одного и поёживания — у другого. Впрочем, на тему таинственных

проявлений крови толковали многие умы прошлого, да и — близкого для нас настоящего. Только исследования те, наверное, «благоразумно подзабыты»?

— Да их просто бояться! А если исходить из истории двадцатого века, то возникают серьёзные политические и культурные опасения...

— Вы — о евгенике?

— Да. Фашизм, расизм и тому подобное...

— Старейшина бардовского сообщества Александр Городницкий даже вывел весьма эффектную формулу: «Родство по слову порождает слово, / Родство по крови порождает кровь!» И всё-таки, когда мы рассуждаем о свойствах крови, речь идёт о какой-то этнической доминанте? Например, вы говорите, что если браки заключаются между русскими и украинцами, то на генном уровне происходит возврат к более чистому в этническом смысле перворусскому типу — общему для тех и для других. Чтобы так утверждать, необходимо располагать соответствующим научным материалом?..

— Действительно, я использовал обширный материал, которым располагает генетика. Читал журналы по генетике, где нашёл массу интересного — того, что подтверждало какие-то мои интуитивные предположения. Что касается браков между русскими и украинцами и того, что из этого следует, то здесь проявляется один из законов Менделя. Где-то в третьем-четвёртом поколениях происходит очищение, возвращение к некоей первоначальной генной комбинации.

Но в конечном счёте всё равно доминирует один тип. Условно говоря, если ребёнок от смешанного брака русской женщины и чеченца на генетическом уровне будет чеченцо-русским, то кем он будет на культурном уровне — другой вопрос. Если он вырастет в чеченском ауле (забрали у мамы), он будет, конечно, чеченцем. Если он вырастет в русском городе (без папы), то, скорей всего, он будет ощущать себя русским. Но через одно поколение происходит возвращение к одной из этих комбинаций. Потомок этого рода будет либо русским, либо чеченцем.

— А какова же идентичность «серого кардинала» наших дней Владислава Суркова, пишущего литературные опусы под псевдонимом Натан Дубовицкий? Кстати, не так давно он отметил «программной» статьёй «Одиночество полукровки», где в «полукровки» определена целая страна — Россия.

— Я могу вам сказать, что Владислав Юрьевич в частных разговорах с гордостью заявляет, что у него нет ни капли русской крови...

— Об этом я тоже слышал.

— И как раз это для него — предмет его идентичности: он отталкивается от русских! А кем он себя считает, я полагаю, очень ситуативно. На культурном уровне мы свою идентичность часто определяем именно так — по ситуации. Скажем, в советское время дети от смешанных браков русских и украинцев чаще всего, по крайней мере, на Украине, записывались русскими. Это было престижно.

А в девяностые годы начался обратный процесс: они записывались украинцами. И когда на Украине происходила перепись, число русских там значительно сократилось. Вот вам, пожалуй, ситуативный выбор идентичности.

— Вы пишете: «Ни один европейский народ никогда не потерпел бы того, что русские терпят уже два десятка лет». И приводите рассказ о том, что однажды спросили у вас испанцы: «Есть ли в России предпосылки возникновения фашизма?» Вы ответили утвердительно. И тогда один из них напоследок воскликнул: «Если бы в Испании происходило то, что происходит в России, у нас вся страна бы восстала и стала фашистской!»

— Именно так!

— Значит, опять загадка русской крови: она не может стать фашистской? И дело тут не только в уроках Великой Отечественной?..

— Конечно, не только в уроках Великой Отечественной, хотя это очень мощная память, по крайней мере, для старшего и среднего поколения жителей России. Дело ещё в том, что наше пресловутое терпение носит довольно-таки рациональный характер. Исходя из опыта последних двадцати лет, мы очень хорошо понимаем, что может быть хуже.

Это одна из причин, по которой был так позитивно воспринят Владимир Путин и в его поддержке наличествовал широкий консенсус. Все сравнивали его приход с девяностыми годами минувшего века. И понимали, что было хуже. И что всегда может быть хуже. Сейчас — лучше. Да, это улучшение неравномерно: у кого-то, говоря метафорически, бутерброд намазан чёрной икрой, а у кого-то всего лишь тонким слоем масла, но тем не менее. Хотя бы — масло.

И на протяжении последнего двадцатилетия это обстоятельство сдерживало русских от неких радикальных требований и массовых выступлений. Однако сейчас ситуация стала меняться. И это заметно. То есть та заморозка, в которую была ввергнута Россия, заканчивается...

— Вы считаете, что слово «национализм» у девяноста процентов населения России вызывает негативные ассоциации. И выдвигаете прогноз: «Та сила, которая хочет добиться успеха в стране,

не должна называть себя националистической. Нужно отказаться от термина, оставив содержание». Но согласитесь: это же камуфляж! Зачем же в него облачатся?

— Для того, чтобы получить массовую поддержку. Потому что этот термин контрпродуктивен. Я говорю это совершенно откровенно и публично. До этого я пытался реабилитировать интеллектуальный термин «национализм», но интеллектуальная реабилитация неравносильна реабилитации в массовом сознании. В массовом сознании этот термин всё равно воспринимается негативно. У нас нет времени для растолковываний. Политика делается здесь и сейчас.

— Что касается политики... Среди признаков надвигающейся нестабильности вы называете рост цен на тарифы ЖКХ и акцизы — табак и алкоголь. И выводите закономерность: «То правительство, которое начнёт резко повышать акцизы, делает шаг навстречу потрясениям». Из ваших слов складывается впечатление, что в российском правительстве только тем и занимаются, что рубят сук, на котором сидят.

— Это совершенно справедливое впечатление. Оно полностью соответствует действительности. История продемонстрировала удивительную, как будто фатальную закономерность: те режимы, которые обрушались вследствие потрясений в своих странах, за какое-то время до этих потрясений вели самоубийственную политику. Каждый их шаг ухудшал ситуацию для них же. В известном смысле это фрейдистский инстинкт.

Сильные мира сего сами идут к своей гибели. И, вы не думайте, это характерно не только для России. Это характерно для всех стран, где происходили серьёзные перемены. Почему вы удивляетесь тому, что власть делает эти шаги? Там не так много умных людей. Но даже если эти умные люди есть и они мыслят категориями общенационального блага, их руки связаны. Они находятся в рамках системы. А система эта — самоедская. Она пожирает саму себя. Просто уничтожает.

— В своё время вы участвовали в событиях на Болотной площади. И вывели туда своих сторонников. В результате народ увидел на митинговой трибуне в основном примелькавшиеся, до боли знакомые лица. Известно, что один из идеологов русского национального движения Александр Севастьянов призвал бойкотировать Болотную площадь. Не испытываете ли вы чувство сожаления о том, в чём пришлось поучаствовать?

— Нет, никакого сожаления я не испытываю. И считаю, что с нашей стороны выход на Болотную площадь — совершенно правильный шаг, потому что это был массовый подъём, который

имел моральную основу, и не участвовать в нём было просто невозможно. Это — одна часть.

Вторая состоит в том, что если бы в то время начались перемены (а они могли начаться!), политическая ситуация стала бы резко меняться. И совсем не в пользу тех, кто стоял на трибуне Болотной площади. Потому что могу вам сказать со всей определённой: на выборах они победить не могут. Черчилль как-то произнёс замечательную фразу: «Америка всегда принимает правильные решения после того, как испробовала все неправильные».

Мои американские знакомые, политические аналитики, как-то сказали: «Мы понимаем, что у либералов России нет шансов». Чтобы прийти к этой мысли, им потребовалось двадцать лет.

— В одном из президентских посланий Федеральному Собранию прозвучала весьма мажорная сентенция о том, что наша страна преодолела спад рождаемости. Мне известна ваша реакция: вы очень удивились. Значит, президента кто-то дезинформировал? Какова на самом деле ситуация с рождаемостью и как она связана с миграционными процессами?

— Ситуация с рождаемостью у русских и других коренных народов России такая же, как и была. Она не улучшается. Было незначительная, микроскопическая подвижка с введением материнского капитала, но принципиально ничего не изменилось. Рост рождаемости в России идёт за счёт мигрантов. Их женщины же рожают в наших роддомах. Причём это не граждане России. Насколько я знаю, например, в Москве на их долю выпадает больше трети новорождённых.

Поэтому, когда говорят о росте рождаемости, там кроется лукавство. Просто президенту подсунили цифры. Это же известный способ «порадовать» главу государства. Есть такая знаменитая фраза о том, что бывают три вида лжи: ложь обычная, ложь клятвопреступная и ложь посредством статистики. В данном случае мы сталкиваемся с третьим вариантом. Я не знаю, обманули ли Путина, но то, что он произнёс, мягко говоря, вещь статистически некорректную, для знающих людей совершенно очевидно.

— Ваши недруги любят вменять вам работу в «Горбачёв-фонде», стажировку в Лондонской школе экономики и политических наук, участие в семинарах Госдепа США. Опираясь на эти факты, один из ваших оппонентов, профессор Владимир Бояринцев, нарёк вас «кукушонком, подобранным „Горбачёв-фондом“ в гнездо русского национализма»...

— Я ведь никогда эти факты биографии не скрывал. И считаю: очень хорошо, что я стажировался за границей и посещал такие семинары. Это расширило мой горизонт. Я знаю, как устроены

политические механизмы. Это очень важное преимущество.

— Тогда какова ваша оценка личности Горбачёва?

— Горбачёв оказался неадекватен тем задачам, которые он сам пытался поставить перед страной. Это человеческая трагедия. Не драма, а именно трагедия. Он начал процессы (помните это: «начать, углубить...»?), последствия которых никто не мог представить. Поверьте мне: я беседовал и с ним, и с бывшими членами Политбюро. Они были вполне искренни. Да и что им в отставку уже было скрывать?

Все они говорили примерно одно и то же: мы начали, но не могли до конца понять, куда направлять процесс. Это естественно. Когда начинаются такие тектонические сдвиги, их характер предсказать невозможно. Наверняка ваша активная память включает восемьдесят пятый — восемьдесят шестой годы? Вспомните, с каким энтузиазмом приветствовали Горбачёва! Чего греха таить: это же была массовая поддержка. Сейчас мы об этом предпочитаем забыть. Лучше — перевести стрелки на Михаила Сергеевича. Ну не надо! Нужно быть честными перед собой. Мы же это поддерживали. Сами того хотели.

— Среди политиков современной формации стало модным являться на публике с какой-нибудь «фишкой»: допустим, Егор Холмогоров ходит с тростью, приобретённой в Испании. Я сначала с чувством сопереживания подумал про этого сравнительно молодого человека: «Может, трость у него после инсульта?» Оказалось — нет: для внушительности. А вас можно часто увидеть в галстук-бабочке.

То бишь вы явно не Соловей-разбойник. Почему — бабочка? И какую роль она должна сыграть в новейшей отечественной истории?

— Я ценю ваше чувство юмора! Знаете, бабочка — потому что: а) мне идёт (обычный галстук — нет); б) мне она нравится; и в) могу вам сказать как пиарщик: бабочка хороша тем, что привлекает внимание. Это такой эффект, когда люди невольно его фиксируют. А это очень важно для того, чтобы их привлечь. Хотя бы в первые секунды. Дальше уже зависит от человека, его способности это внимание поддерживать. Носить её я стал лет пятнадцать назад. Покупал костюм, увидел бабочку, примерил по совету жены. Оказалось, это значительно лучше, чем обычный галстук.

— Я в некоторой степени тоже физиогномист и скажу, что бабочка — как бы продолжение вашей улыбки...

— Интересное наблюдение. Есть, конечно, в этом, откровенно говоря, какой-то элемент пижонства, но согласитесь: это пижонство очень умеренное. А потом, меня уже так воспринимают. Это ещё очень полезно знаете в каком смысле? Когда человек в бабочке говорит комплиментарные вещи о русском национальном характере или — просто о русских, в этой бабочке его очень трудно обвинить в ксенофобии. У людей наступает какой-то психологический барьер. А если вы выйдете к людям с окладистой бородой, да к тому же в косоворотке и сапогах, то ещё до того, как вы начнёте говорить, на вас уже поставят клеймо. Что делать! Так устроено массовое сознание. И те, кто его формирует, тоже мыслят стереотипно.

Марина Тарасова

Баллада об аномальной зоне

В своё время Анастасия Ивановна Цветаева напутствовала избранные творения нынешней юбилярши такими словами-размышлениями: «Предисловие к книге стихов Марины Тарасовой—трудная задача даже для меня, дожившей до 96 лет. И, надеюсь, разбирающейся в литературе... Дело в том, что каждое из них таит в себе какой-то особый подход к теме, в котором редчайшее сочетание мужского волевого начала и женской способности облекать мысль в неожиданный мир образов, создающих вместе необыкновенное согласие, встречающееся чаще в музыкальном произведении, нежели в поэзии». И далее: «В стихах Марины Тарасовой более всего впечатляет эта почти музыкальная гармония. От неё все качества её поэзии: открытая эмоциональность и бурная темпераментность, полная свобода поэтического дыхания, лёгкость стиха, текучесть всех стиховых форм, умение вывести из какого-нибудь одного слова целый ряд образов, расходящихся от него вширь—как круги по воде от брошенного камня». Итак, камень брошен—рукою великой наследницы Серебряного века, и нам остаётся только пристальной рассмотреть расходящиеся круги.

Редакция «ДиН»

Апокалипсис

Может, новые царства будут бряцать именами, и не огненный всадник пролетит на безглазом коне, а пока Апокалипсис каменными когтями пишет странные знаки на древесной коре.

Не по себе становится от этих знамений, от сверлящих предчувствий, вселяющих страх, от трёпалых особей в человеческом племени и рогатых лягушек в подмосковных прудах.

Апокалипсис—Евангелие от мутантов, притча об Интернете и стерильных мозгах; верно, в страшных снах не привиделся Канту такой очищенный разум, в колбах и парниках.

Какие у всех заёмные, заполошные лица, скоро выбьются в люди мошки и мураши. Чтобы запечатлеть пейзаж с мокрицей, где, скажите, поставить треножник души?

● ● ●
...К зиме дождливой вполуборот
(ему бы зонт, но не положен зверю)
стоит мой друг, мой сумчатый Енот,
кого я жду, кому пока что верю.

В бывалой сумке—пламенный флакон,
дешёвый сыр и толстая тетрадка.
Я вижу—нажимает домофон
промокнутой лапой в замшевой перчатке.

Зверь, пишущий стихи,—вот это бренд!
Но к нам летит корабль инопланетный.
Кто знает, может, пятый элемент—
в броне и щупальцах поэты...

Бог любит всех, наглядно, без затей,
всех наделяет первоизданной силой—
и птиц, и скучных дождевых червей,
безмолвных, никому не милых.

И если кто-то моего дружка
несправедливо назовёт вонючкой,
расправа с ними будет коротка,
достанется врунам и недоучкам.

Туманность Андромеды

Жизнь, как туманность Андромеды,
горит в пределах неземных,
а мы—ничтожные последы
небесных схваток родовых.

Что маршал в звёздах, что профессор
(не помогает чёрный джип)
по бездорожью чешут лесом—
всё морок, всё змеиный шип.

Не слышно щебетанья деток,
вороний грай летит, как дым,
и дверцы вырваны из клеток
суровым ветром городским.

Мы так огромно одиноки
среди зверей, среди людей,
в скупой любви, в дневной мороке
и в смерти маленькой своей.

● ● ●
 Но как же ночью всё преобразилось!
 И в стёганных штанах стоит сугроб,
 не двор понурый—просто Божья милость.
 И что ж не петь, не говорить взахлёб

и не скользить по веткам резвой белкой,
 не слушая несносный голос тот,
 мне шепчущий: не будь секундной стрелкой
 и слово «гром»—прочти наоборот?

Баллада об аномальной зоне

Ю. Б.

Мы с тобой—аномальная зона,
 там, где выдох, там пламенный вздох,
 из глазниц золотого бизона
 выпьем влагу ушедших эпох.
 Обитаем в расщелине мира...
 отдыхает кудрявый Язон;
 караваны с планеты Нибиру
 источали предательский звон,
 чтоб рассечь слитки нашего света—
 то ли весть, то ли сладкая месть—
 обобрать малолетку-планету
 и домой золотишко увезть.
 Надо мною огромные шершни
 совершают угрюмый полёт,
 тянут лапы в космической шерсти
 все мутанты родимых болот.
 В камышах незаметный кузнечик,
 хакер в хаки—он код отыскал,
 что ведёт в главный Банк, в Бесконечность,
 ну а проще—в Начало Начал!
 Да, мы точно с тобой аномалы,
 но коллекции нужен засов—
 ледяным изваяньям Ямала
 и горынычам пермских лесов.
 А душа превращается в купол
 в ледяных сквозняках декабря,
 разрастается в снежную купу
 Древа зла и крутого добра.
 Шелестящие годы—как травы,
 как сводила мне скулы любовь!
 Разорённые годы—как травмы,
 злая сырьость холодных углов...
 Не жила по-людски, и в расплате
 захлебнётся моя голова.
 Всё стучит по стволу серый дятел,
 а в анамнезе—только слова.
 Будет некому сжечь моё тело,
 не считайте чужие грехи!
 А в душе только ласточка пела,
 а в анамнезе—только стихи.

● ● ●
 Тот, кто лежит в земле в крематории,
 словно знал и предвидел, где ему лечь,
 невозмутимо, как патриций в Претории,
 слушает окаменевшую речь.

Каменный глянec—статус Донского кладбища—
 придаёт покою его эксклюзив.
 Вековая стена и былинность капища,
 необъятная Лета вместилась в залив.

А невзрачная церковь ничем не отмечена,
 стоит, где дымилось жерло «трубы»;
 как же молиться с зажжённой свечкою
 там, где спустились в печку гробы?

Всю сирень поломали, и кисти рябиновой
 не найдёшь, чтобы птиц покормить из руки.
 Так вот к близким придёшь с огоньком георгиновым
 посидеть у вечной безмолвной Реки.

Это Лета омывает зелёными волнами
 влажный абрис прохладного летнего дня,
 чтобы ты ушёл с карманами, полными
 лиственной мелочи, капель дождя.

Да, мне этот маленький листик за воротом
 дорожке всех строчек, обёрнутых в дым,
 всей жизни, то раненым волком, то волоком
 протавившейся по земным мостовым.

Виртуальная дорога

Путь над землёй—такое наваждение!
 И, отправляясь в одинокий рейс,
 ты словно бы плывёшь в стихотворенье.
 Из плавных слов составлен монорельс,

из чётких строк берёзовых тельняшек,
 из чёрных букв, но это монолог,
 поэтому из каменных берлог
 тебе никто рукою не помашет.

Скорей нырни в дурманящую бездну,
 крылом блокнота облаку махни,
 и ту печаль, и ту печать отверзи,
 какую могут отворить стихи.

Вот пруд Останкинский, над ним церквушка
 в оправе леса, лучшей из оков,
 круглится куст, как маленькая дужка
 твоих привыкших вдаль смотреть очков.

Я не заметила последней остановки,
 я над землёй парила, как весна,
 в своей джинсовой синенькой спецовке.
 Да, монорельс. Но ведь и жизнь одна.

Возвращение

Он ступал по расплавленным травам земли,
на глаза надвигалось скупое пространство,
голубое селенье дышало вдали,
искушая тяжёлым теплом постоянства.

Обожжённая память тянула назад,
чтоб увидеть всё вновь затуманенным оком,
он стремился туда, там подобием врат
белый ад цепенел на холме одиноком.

Там чадила забвеньем любая душа,
но он шёл по земле и не ведал об этом,
он свой путь повторял, задыхаясь, спеша,
омываемый вьющимся утренним светом.

Раскинул залив свой седой малахит,
и ворон прибрежный под чайку косит.
Идут старики, сохранившие брак:
тяжёлая шаль и помятый пиджак.
Наверно, есть внуки и пара детей,
торты к дню рожденья и общий о'кей.
А я-то — пустой, бесполезный брелок,
в нагрудном кармане скулит ветерок,
факир, что остался без белой чалмы;
я певчий затёртый, забывший псалмы,
смешной купидон, что, призыванье губя,
стрелу запустил ненароком в себя.

Меня, что в этот мир пришла
ключиной непарного весла,
в какой-нибудь необозримой эре,
укутанной звериною мездрой, —
меня найдут, как клинопись в пещере,
когда наступит снова мезозой.
И подо льдом в неповторимом блеске
сверкнёт из мрака первозданный мак.
От волчьей ямы до небесной фрески
один лишь шаг.

Цветок

Цветок стоит на стебле тонком,
и тело слабое цветка
похоже на порожний, звонкий
сосуд, что сделан на века.

Неужто эти лепестки,
его корона золотая,
тычинки те, что так легки, —
лишь эволюция простая?

Нет, он живого часть живая,
и где-то в космосе большом,
в другой галактике, я знаю,
есть человек с таким лицом.

Дорога сквозь время. Дренажные трубы,
очистка Царицынских мутных прудов;
с пригорка глядят, словно чёрные зубы,
останки заборов, поминки трудов.

Но что это там — под разбухшей корягой,
где смотрится в воду покинутый скарб?
В броне чешуи затаился варягом
облепленный илом реликтовый карп.

Сквозь хвост золотая ячейка проредет —
о Боже, всё это похоже на сон:
там выбито имя царицы и лето,
когда был заложен дворец Трианон.

Как сладостно время течёт под корягой!
Столетия прессуются в ласковый ил;
под серой бронёй, как под выцветшим флагом,
таился чешуйчатый Мафусаил.

Он всё пережил — мятежи и восстанья,
катанья на тройках, борей и хорей,
Серебряный век и высотные зданья,
все славные битвы, всех русских царей.

Как сладко лежать в своём логове узком
под низким и вечно сырым потолком!
Как будто балладу на старофранцузском
писал он по скользкой коре плавником.

Таким он и был в своём прежнем рожденье —
шкодливый поэтом, лихим школяром.
А кто-то твой век назовёт Возрождением,
пока ты за чаркой сидишь с маляром.

.. Когда по предсказанию племени майя
остановится линейное время,
мир предстанет в новом обличье,
спрессуются тысячелетья,
и, может быть, Ирод, узнав о газовых камерах,
уже пожалеет младенцев...
Это будет время прозрений,
и я снова нырну в полночную электричку
(рука в руке и одно дыханье),
только б не пролететь полустанок,
где большая черёмуха
запуталась в парашюте соцветий.

Грозди герани,
обезумевшие от солнца,
свесились с тринадцатого этажа,
вытянули долговязые стебли
за оконные рамы.
Неужели возможно
самоубийство цветка?

Памяти Бориса Викторова

Поэт умирает в погожий осенний день,
когда размыкает объятия муза-судьба,
свет струится с небес. И уже ему лень
снять спираль золотой паутины со лба.

Его тянет в дремоту, в угрюмые трюмы строк,
в говорливое облако незаявленных душ,
тянет в птичье гнездо, в развороченный стог,
в голубую воронку наступающих стуж.

Там сверкают стальные подковы уральских лесов,
там с черёмухой плот, вспоминая его, доплывёт.
Разрубается птичий хорал из больших голосов
хлопким выстрелом в лоб, голову об лёд.

Там, в густой синеве над лобастым холмом,
жизнь и смерть прорубают в тетради окно,
эта манит его в опрокинутый дом,
а другая стучит костяным домино.

Заплутаешь в трёх соснах, споткнёшься во мгле
и сорвёшься в стихи, как уходят в запой.
Если трудно ходить по недужной корявой земле,
будет легче летать в синеве золотой.

Лишь птицы говорят на языках минувших,
когда их крылья в капельках росы,
поэтому пернатые их души
похожи на песочные часы.

А мы по-прежнему бряцаем цепью
у нашей скучной книжной конуры;
пчела медовый миф
влюблённо лепит;
заходятся в шаманской песне
комары.

Одно из высших состояний духа—
гудящий праздник, полевой, лесной,
всепоглощающий; но глухо, глухо
в необъяснимой памяти людской.

Третья весна без тебя. Лопухи
накрыли опушку суровой холстиной,
выгнула деку зелёная скрипка ольхи,
вертит своё фуэте стрекоза-балерина.
Как ты любил кувыркать деловитых ежей
и в упоительной стойке таксячьей
птенчика ждать, что на землю падёт из ветвей,
как футболист ждёт рискованной подачи.
Да, кроме леса, в России нет храма
свечку зажечь по твоей изумрудной душе,
чтоб засветилась небесная рама;
ты уже звёздочка в Божьем ковше.

Господи, милый, не дай перелиться
бархату глаз в шелудивого пса,
куст седобровый торчит из теплицы,
падка на сладкое память-оса.

Выбегут скопом из душного мрака,
пнёт костылём предводитель калек,
если на паперть заглянет собака,
друг человеческий, чей короток век.

Как же цветущие храмы Эдема?
Люди и звери равны были там;
козлята и волки... но та теорема
чёрствым святошам не по зубам.

Жди меня там, у небесной ограды,
не воплощайся себе на беду.

Где пограничье рая и ада,
жди меня, знай, я прибуду, приду.
Если архангел меня не назначит
певчим пропеть у небесной стрехи,
если не пустят туда за грехи,
знай, я согласна на твой, на собачий
маленький рай,
где поднебесье пронзил иван-чай.

Людмила Щипахина

Я там, где мой народ

Александру Боброву...

Такой вот сюжет получился...
 Зачем, почему, отчего?
 Мой друг престарелый влюбился.
 Да кто же осудит его?

Восторженно! Огненно! Зыбко...
 И радость не сходит с лица.
 Хоть эта скупая улыбка,
 Возможно,—начало конца...

Но, с нежным вулканом не справясь,
 На ниточке страсти висая,
 Он верит: взаимности завязь—
 Вся жизнь! И Вселенная вся!

Божественность прикосновений—
 Бессмертья и вечности знак!
 Он нынче—хозяин мгновений!
 В миру—не изгой, не чужак.

Меж бытом живя и нирваной,
 Отбросивший признаки лет,
 Он—Избранный! Выбранный! Званный.
 А большего счастья и нет!



Неужто доволен, неужто ты рад,
 Что нынче без русских живёшь, Ашхабад?
 Не с русским ли ты вдохновенно копал
 В пустыне Великий Туркменский канал?

Дружили в песчаных просторах земли...
 Нас, русских, приветствовал Махтумкули...
 И слал благодарность с высоких небес
 Певец миролюбия—Молланепес.

Последнего русского видишь в толпе...
 Их нет ни в Чарджоу, ни в Геок-Тепе.
 Не спрятались от каракумской жары—
 Покинули Кушку и город Мары...

Туркмения!.. Давняя боль и урок...
 Но в сердце нетронутый есть уголок.
 И капают слёзы на утренний стих...
 Последние русские... Я—среди них!

Немного о душе...

В ней слились в едино—лёд и пламень...
 А вселенский Разум не отторг
 Свет небесный и тяжёлый камень...
 Боль и радость, муки и восторг!

Всё на свете—сохнет и мелеет.
 Всё гниёт—побеги и листва.
 Всё—нисходит. Погибает. Тлеет.
 Лишь Душа—по-прежнему жива!

Пусть порою истекает кровью,
 Ей такое таинство дано:
 Выручать надеждой и любовью
 И с годами—крепнуть всё равно!

Святой народ

Нынче знают все отлично:
 Есть—владельцы, есть—народ...
 Частный пляж и берег личный,
 Частный порт, аэропорт...

Всё отобрано в итоге...
 Всё изъято на ходу.
 Банки, пристани, дороги,
 Рыбка каждая в пруду...

Всё схватили басурманы,
 Проходимцы лет лихих...
 Всё—в офшоры, всё—в карманы.
 Было—общим, стало—их...

Личный газ из скважин рвётся
 На валютные торги.
 Бедный плачет. Плут—смеётся.
 Благоденствуют враги.

Край, богатством осиянный:
 Алюминий, золото, медь...
 Как же выжить россиянам,
 Если нечем им владеть?

Виноватый и безвинный,
 Обронивший меч и щит...
 Наш святой народ глубинный
 Чешет спину... И—молчит.

Я—там...

Вы ищете меня?
Куда она пропала?
Уже—вершина дня...
Ведь раньше всех вставала...

А где я?.. Белый свет
В делах, в бегах, в тусовках...
Меня, конечно, нет
На дорогах парковках.

И нет в загранпорту,
На вороватой яхте,
В шезлонге, на борту...
На криминальной вахте.

Где жулики сошлись,
Блаженствуя беспечно,—
Малина, а не жизнь,—
Меня там нет, конечно.

Где русофобский тать
С усмешкою дебила—
Не стоит и искать...
Кричать: «Ау, Людмила!...»

Хоть будни нележки,
Но всё ж—не сникли крылья...
..Я там, где земляки
Устали от бессилья.

Где знают: день придёт
Заслуженного чуда!..
Я там, где мой народ.
И не уйду оттуда!

Мой август...

Твой солнечный вызов—
На счастье намёк...
Не будь ко мне строг,
Благодатный денёк!

В распахнутых крыльях
Лучистого дня
Зелёным пейзажем
Окутай меня...

На сердце—не пусто.
И радость внутри.
За нежные чувства
Меня не кори.

Хоть мир неспокоен,
Озлоблен и груб,
Слетают слова
Благодарности с губ...

За всё, что прошло
И что будет со мной.
За свет поднебесный
И праздник земной.

Личное...

Собратьям по перу

Когда страна недоброй к Слову стала,
Когда поля колючкой заросли,
Когда ржавели кладбища металла,
Я—погибала... Вы меня спасли.

Да, у поэтов есть такой обычай—
Сходиться в круг. И не скупиться слов...
Спасибо, Поляков и Голубничий,
Бояринов, Сорокин и Костров!

За каплей—капля. Кровь вливалась в тело.
Пока пишу—я больше не умру!
Есть Родина. И есть святое дело.
Спасибо вам, собратья по перу!

Отрадно мне, что, лишних слов не тратя,
Стряхнув с волос неразличимый нимб,
Могу зайти в «Московский литератор»,
Как будто на возвышенный Олимп...

С эпохой грозной не играя в жмурки,
Зажав в ладонях лепестки стихов,
Мелькну порой в лучах «Литературки»—
Стареющей обители богов...

Спасибо, что учусь смотреть превыше!
Что робкий голос—признан и спасён...
Что вами он издалека услышан
И рупором газетным вознесён.

О нас, грешных...

Ах, наподобье эпидемии
Литературные десанты,
Кружки с названием «академия»,
Лауреаты, номинанты...

Себе и обществу для памяти—
Слаба натура человека—
Пестрят верительные грамоты:
«Поэт эпохи», «Автор века»...

И оглушённый почитатель
Сражён рифмованным огнём...
Ах, наш доверчивый читатель,
Что ищет он в краю родном?

Неукротимое явление
Не поддаётся пониманию...
Ну просто светопреставление—
Такая рифмо-графомания.

Никто пути нам не укажет:
Как быть с привычкой дорогой?..
Никто из пишущих не скажет:
«Нет! Я—не Байрон!.. Я—другой».

Аэропортов имена...

Дать имена в сознание гордом
И просветить отсталый мир—
Вокзалам и аэропортам,
Причалам, гаваням и др...

Чтоб путешествовали пуще,
Летали, двигались вперёд—
Годятся Лермонтов и Пушкин
Простимулировать народ.

Чтоб путь был правильным и ровным,
Пришла спасительная весть:
Уже аэропорт Петровны
В Калининграде дальнем есть!

Так и рехнуться нам недолго,
И хлынет предложений вал:
В чью честь назвать сегодня Волгу?
И Кремль? И озеро Байкал?

Есть имена—во веки святы...
Они давно известны всем.
Их, светлых,—не один десяток,
Но ими торговать—зачем?

Зачем вы всё переназвали?
Аэропорт—он тоже дом!
Постройте новые вначале,
А имена—уже потом!

Самозанятые...

До чего ж обидно это...
Время—деньги! Всё—течёт...
Самозанятых поэтов
Власти ставят на учёт.

А талант или проклятье—
Разобраться не спешите...
Просто—смелое занятие
Возжигать огонь души.

Это вечное желанье,
Добрый замысел простой:
Записать небес посланье,
Мир спасая красотой.

И в пургу, метель и слякоть
Наши мысли—высоки.
Над людской бедою плакать
Золотой слезой строки...

Нам привычно и не странно
В этом «мире на крови»
Самовольно, самозвано
Охранять закон любви.

Не давайте нам советов,
Не мешайте никогда!
«Самозанятых» поэтов
Не клеймите, господа!

Спальный район...

Я люблю район свой спальный.
Спит покой в его дали.
Не забытый, не опальный,
Рай—на краешке земли!..

Пресвятая радость будней,
Груз забот и вечный труд...
Понаехавшие люди
Москвичами стали тут.

Наше бывшее богатство
Мне досталось и тебе...
Не соседи по пространству,
А собратья по судьбе...

Я люблю район свой спальный.
Не живут в нём власть и знать.
Просто властным нереально
Здесь и бодрствовать, и спать...

Непрестижный, отдалённый,
В стороне от суеты...
Спальный мой район зелёный,
Парки, клумбы и цветы...

Светит утром луч хрустальный.
В дрёме сонная кровать...
Я кричу: «Район мой спальный,
С добрым утром! Хватит спать!»

Лучше дома...

Доброта, тепло и свет—
Островок в глуши Вселенной...
Лучше дома места нет
В жизни суетной и брэнной...

Пусть повсюду мрак и мгла,
Всё—в раздоре и боренье,
Лучше дома нет угла
В мировом столпотворенье.

Крыша, комната, изба...
Без изыска и без блеска.
Благодатная судьба—
Закуток от бед вселенских.

Дом приветит и согреет.
Соблазнит едой плита...
Приласкает батарея
Зимним вечером кота.

А вокруг—борьба до смерти!
Вечный выбор: кто—кого?
В дом, как в Родину, поверьте.
В нём защита и родство...

Ты—хозяин только дома!
Вдалеке от зол и бед.
Лучше дома—аксиома—
Лучше дома места нет!

Город...

Где этот город—любви и судьбы,
Где поселенцы его—не рабы?
Город мечты, и надежд, и улыбок...
Мир катастроф, и беды, и ошибок?
Где этот город, могучий и древний,
По суетливости схожий с древней?...
Город, где были единством богаты
Наши творцы, работяги, солдаты...
Скрыты секреты в элитных жилищах...
Город бабла, олигархов и нищих.
Город—на ветреном взгорье страны.
Город, которому мы не нужны.
Город былого пресветлого Гимна...
Город, где наша любовь—не взаимна...

Погадаем...

Я дую на кофе, и в нём, как на фото,
Желанное, светлое, доброе что-то...
И радуюсь я мимолётному снимку,
Где русский с украинцем ходят в обнимку.
Поляки и немцы, Европе на диво,
Пьют, дружески чокаясь, свежее пиво.
И, выйдя из запертых злобой дверей,
Под ручку гуляют араб и еврей.
Китайцы с японцами судьбы связали,
Кузнечиков жаря на общем мангале.
Армяне и турки—два любящих брата—
Совместно освоили склон Арагата.
А резвые, трезвые американцы,
Целуя кубинцев, затеяли танцы!
Бельгийцы, норвежцы и прочие шведы
В стремлении к миру достигли победы,
Вердикт вынося, как индейку на блюде:
«Давайте мириться, товарищи-люди!»
...А слёзы и войны? А смерть миллионов?
Устала планета от мин и патронов.
Но в чашке кофейной не видно ответа...
Когда же, товарищи, сбудется это?



К деньгам потаённая жажда
Иль зависти скрытый сосуд?
Зачем Вы отдали Ассанжа
На этот несправедный суд?

Ведь он, не тая откровенья,
В недобрый, как видится, час,
Такие раскрыл преступленья,
Что, может быть, каждого спас!

Подвижника подвиг нетленен...
Но, вытолкав правду за дверь,
Какой же, Морено, Вы—Ленин?
Вы просто предатель теперь!

Человечества феномен...

Ни Вера... Ни времён глагол,
Ни философия, ни дело...
Но лишь одно—игра в футбол—
Весь мир земной сплотить сумело.
А мир затоплен морем лжи.
И всё опасней—с каждым разом...
О гомо сапиенс, скажи:
Где спит твой коллективный разум?

Наше молчание

Когда душа полна отчаянья
И сердце рвётся на куски,
Мы знаем: в омуте молчания—
Избыток боли и тоски...

А время пополам расколото
На эти и на те года...
Молчание... Оно не золото,
А преступленье иногда.

Невидимые, незаметные,
Не предающие страну,
Мы знаем, что друзья заветные
Умеют слышать тишину...

В ней сила единенья множится,
И в ней уверенность крепка,
Что будет всё у нас по-божески!
Поэтому—молчим пока...

Запрос в друзья...

В эту грозную вьюгу,
Чтобы души спасти,
Мы прижмёмся друг к другу
В социальной сети...

Мы у родины милой
Уж давно не в чести.
Здесь поделимся силой
На житейском пути...

Между явью и прошлым
Мы—живые мосты.
Нас купить невозможно!
Наши мысли—чисты!

Наши—дали и были...
И побед торжество...
Ничего не забыли!
Не простим никого!

Не фальшивый, спесивый
И продажный бомонд...
Мы—остаток России!
Золотой генофонд!

Владимир Скиф

В глубинах рая или ада

Поэты России

Анатолию Аврутину

Мы—скитальцы, мы возле небес, мы такие...
Нас по тёмным трущобам, по свету несёт.
Мы—усталая жизнь, мы—загадка России,
Но мы всё-таки те, кто Россию спасёт.

О бесстрашии помним, о времени помним,
Мы себя из себя каждый день достаём,
Святорусскую отчину музыкой полним—
Ту, которую в звонких стихах создаём.

Мы стоически держим земное пространство,
Замирая порой над погибелью дней.
Мы—российская мысль, мы её постоянство,
И она не исчезнет, поскольку мы в ней

Вечной сутью и русской судьбою пребудем,
Неотступно идём по священной земле.
И в бою, и в скитаньях её не забудем
И не сможем предать в наступающей мгле...



Ах, между нами километры,
Но ты на дали не смотри,
Спешу ко мне по зову ветра,
По зову счастья говори.

В огне любви горит окрестность,
В любви—такая круговерть,
Что нас с тобой бросает в бездну
Любовь, похожая на смерть.

Любовь кружится неотступно,
Как птица феникс, надо мной,
И ты—сиятельна, доступна,
Со всей своею красотой.

Ты—молния, ты жечь горазда,
А я—живой громоотвод.
Твоей любви горячий раструб
Воспламеняет небосвод.

На небесах дорога мглилась,
Не гасят ангелы костров.
Слиянье наше долго длится
Среди мерцающих миров.

Боль

Ты где-то реяла в ночи,
В глубинах рая или ада,
И мне кричала: «Не молчи!»
А я молчал и в бездну падал.

Твердела ночь и жизни соль,
Во мне звенел твой дерзкий голос.
Я ощущал такую боль,
Как будто сердце раскололось.

Казалось, что не унести
Мне тяжкой боли.

Жизнь пропала.
И вдруг откуда-то: «Прости!»—
Сверкнуло и у ног упало.

Я еле двигался в ночи,
Боль из души не уходила.
Ты мне шептала: «Не молчи!»
Ведь я тебя всегда любил».

Заря разлилась из горсти
Живых небес. Ушла тревога.
Услышал я твоё «Прости...»
И счастье вымолил у Бога.

Байкал

И развернулся, расточил Байкал
Свои немислимые воды.
В нём столько глубли, донных скал
И столько ветреной свободы.

В нём кочевали облака,
Из века в век свой дом искали
И застревали на века,
Чтоб белой пеной стать в Байкале.

Бессмертные роились сны,
Шли волны, будто бы на дыбу,
И когти молнии-блесны
Кромсали тучу, словно рыбу.

И, несмотря на битвы гроз,
В Байкале нежились бакланы,
И волн целебный купорос
Залечивал у тучи раны.

Змея

Подарю свою рубашку изо льна, из сна живого,
Что соткал на диком поле, провалившись в колее,
Ниоткуда возвестившей — о себе! — во мгле лиловой,
Очень странной, очень дерзкой, изумительной змее.

Подарю себя однажды, как живительную кожу,
Извивающейся, гибкой и талантливой змее,
Чтоб струилась, становилась на меня во всём похожей
И, обвив меня собою, оставалась в забвенье.

От меня не уползала, не двоилась, не кусала,
Позабыла про кресало, зависала в темноте
И меня бы не бросала, ну а я — Дерсу Узáла, —
Её кожей став навеки, поселился б на хвосте.

Пусть не рыба-кит змеюка, но с ней можно жить и ладить.
Ведь змея с моею кожей — это кто же? Это я?!
Я с собой хочу ужиться и змею — любить и гладить,
Подарю её себе я: здравствуй, юная змея!

Вергилий

Что возле ада нам скажет сегодня Вергилий,
Ставший для Данте — прославленным поводырём?
Мы с ним соратники, адовы слуги, враги ли?
Данте в аду, а кого мы ещё подберём?

Ждут нас Горгона, и Цербер, и фурий преграда,
В коих таится последнего вздоха цена.
Данте и девять кругов злополучного ада,
Круг замыкался, и падала в бездну стена.

Помнил Вергилий все камни и все закоулки,
Где проходил неземной, неизведанный путь,
Но всякий раз запинался в безвременье гулком,
Мыслил обратно в пустынную брешь повернуть.

Стану Вергилием жизни, а кто станет Данте?
Как стратотерпца, подобного Данте, найду?
Где же мне взять эту бездну ума и таланта,
Чтобы Вергилием быть в современном аду?

● ● ●
Я вижу неподвижные деревья,
Они смогли во сне захолонуть.
Весь в грёзах лес за спящею деревней,
Туда ведёт мой заповедный путь.

Слетают с неба хлопьями вороны,
Немеет дней осенних череда.
Пустеют лица, и пусты перроны,
С пустых небес свисают холода.

Уже цветы упали в день вчерашний,
Пожухли травы, обмелела даль.
И сумерки бегут по чёрным пашням,
Как поздняя осенняя печаль.

● ● ●
Прозреваю ночь десятым зреньем
И в ночи тебя боготворю.
По какому щучьему веленью
Превратилась ночью ты в зарю?

Ты себя во тьме не различала,
Я тебя во тьме не проглядел.
То ли это космос величавый,
То ли я тобою овладел.

Выйду с головою неприкрытой
Из обычных рамок бытия.
В космосе, Медведицей разрытом,
Оказались вместе — ты и я.

● ● ●
Ты мне нужней день ото дня,
Когда в тиши, когда в полёте.
Ты выростала из меня,
Из сердца моего, из плоти.

Ты выбегала, как ручей,
Навстречу мне весной гремячей.
Нас посреди тревог, ночей
Соединил безумный случай.

Тобою ранен я насквозь,
Ты так меня ждала, любила...
Мне кажется: земная ось
Одним ударом нас пробила.

● ● ●
Друг другу кажемся пустыми,
Любовь утратила полёт...
Неужто мы с тобой застыли
И превратили чувства в лёд?

Давай уедем на болота,
Где рухнул в омуты закат,
Где отыскать себя охота,
Идя по жизни наугад.

Давай посмотрим диких уток,
Давай увидим их полёт
На сломе уходящих суток...
Неужто в небе тоже — лёд?

И потому, взлетая, утка
Не может этот лёд пробить...
Их, не взлетевших, видеть жутко,
И невозможно пособить.

Неужто — лёд душе потребен
И небу?! Холод, не балуй!
А может, лёд в душе и в небе
Пробьёт наш жаркий поцелуй?!

● ● ●
Я—искуситель-змея! И я тебя пытаю,
И я тебя в ночах пытаюсь усмирить.
Да, я—крылатый змей, я над тобой летаю,
Божественную суть намерившись открыть.

Я падаю на дно непревзойдённой страсти
И тут же ввысь лечу—зови меня, зови!
В разломах жизни мы разорваны на части,
Но в целом—в одно!—срастемся в любви.

Пластинка

1.

Пластинка моя, как судьба, долговечная.
Пластинка моя—вечеринка моя.
Вдруг ты появилась—как жизнь, быстротечная,
Упавшая с неба, чтоб высмотрел я

Живые глаза, в коих огонь вылетающий
Сжигает дотла, призывает любить.
Я, жизнью избитый и сердцем не тающий,
Не смог ни пластинки, ни глаз позабыть.

Пластинка, будь нежной и долгоиграющей,
Как в юности жизнь, что нельзя покарать...
Мне в жизни греметь.

Жизнь беспечная та ещё,
Где мне веселиться, в любви угорать.

Пластинка из детства пропавшего катится,
Где летнего запаха пряный настой.
Там песни и боль, там желаний сумятица,
Там солнца пластинка и сон золотой.

2.

Пластинка, пластинка. Звучали то Глинка,
То Григ, то Вивальди, Утёсова хрип.
Но в тёмной ночи разрывалась пластинка,
И дыбилося время, как атомный гриб.

Я время царапал в скучающем классе,
Крутилась земля, просыпалась семья
И пела: «Давно не бывал я в Донбассе»,—
Хрипела: «Тянуло в родные края...»

И первые рифмы сквозили так рано,
В ночи учащённо дышала земля...
Пахнуло горячей резиной с Майдана,
Жабрей, как татарин, стремился в поля.

Что стало с Донбассом, скажи мне, пластинка?
На съезд верлибристов я ездил в Донецк,
А нынче другая предстала картинка:
Там бомбы и танки. Неужто конец

Тебе, моё доброе воспоминанье,
Тебе, мой усталый и верный Донбасс?
И где ты, из детства живое дыханье?
И где ты, пропавший во времени класс?

3.

Пластинки не стало, и поля не стало,
Качаются в небе стихи и цветы...
И льются дожди... Кто-то скажет устало:
— Ты пишешь ещё, и влюбляешься ты?!

Мне верится, что возродится пластинка,
Могучий Утёсов взойдёт, как утёс...
И ласковый колос взойдёт из суглинка,
И явится Родина та, что я нёс

На сердце и в сердце с любовью, тревогой,
Какие в себя ещё в детстве вобрал...
Просторы земли были верной подмогой,
Чтоб свет нашей Родины не умирал...

У края судьбы появилась тычинка
И стала цвести. Это ты или я?!
Но чу! Некий звук... Зазвучала «Калинка»...
Вернулась пропавшая даль бытия...

Запели Шульженко и поздний Вертинский,
И, вздрогнув, ожили родные края.
И крикнула ты:— Прикатилась пластинка!
Пластинка твоя—журавлинка твоя...

● ● ●
Я знаю, я чувствую, вижу:
Эпоха сжимается вновь.
Я время набухшее выжал—
И брызнула алая кровь.

Я где-то во времени долгом
Свой путь, свою долю искал...
Я пел, как Некрасов, на Волге,
Как Чехов—смотрелся в Байкал.

Но время меня торопило,
Пытало железом меня,
На знойном ветру прокалили,
Вдохнув в меня силу огня.

Во мне первородно, глубоко
Любовь трепетала моя...
И страждущим, веющим оком
Искал я таких же, как я.

..Светило лицо молодое,
Горя вдохновенным огнём...
И солнце вставало гнедое,
И я становился конём—

Тем самым, отчаянным, красным,
Которого мальчик купал...
Ты реяла девой опасной
Среди купидонов и скал.

Взрывались в Нью-Йорке высоты,
В ночи колебалась земля...
Коня рисовал Петров-Водкин,
И тот уносился в поля.

Дмитрий Русин

Пещерное сердце

Старый голос

Оскорбить не стесняйся, душа,
Стариками заполненный храм—
Их поклоны, молитвы. Что нам
Их молитвы, их праведный хлам?

Ты права.

Оскорбить не стесняйся, душа.
После шумного праздника тьмы
Доберёмся до храма и мы,
И над нами старушки псалмы—

Нараспев...

И захочется: «Только читай!
Не молчи обо мне, не молчи!»
Потому что последней ночи
Старый голос—как пламя свечи...

Не шуми.

Пещерное сердце

Всё в городе занято нами,
И негде главу приклонить.
И даже в пещеру с камнями
Не в силах Тебя пригласить.

Вот разве что в сердце? Но сердце
Давно очертания храма
Утратило, ради Младенца
Сюда не приходят с дарами.

Нет света, тепла и уюта.
Но Ты принимаешь и это—
Как раньше, и ровно минута
До первой страницы Завета.



Повсюду пустые реки
Без глубины и края.
Идут по ним люди,
Имя моё называя.

Страшно идут они,
Скорби у них за плечами...
Так ходят, короче, слова мои,
Сказанные случайно.

Странники

Всегда вспоминаю опушку дубовой рощи—
Место, в котором никогда не был.
Время раннее, светлое, даже ночью,
Как и бывает на самом пороге неба.

Все дороги издали сходятся на опушке.
Пути у всех дальние, времени тоже много—
Можно и странника в этой тени послушать,
Облокотясь о воздух, замерший от восторга.

Есть города, которые мы проходим
Насквозь и, как правило, рано утром—
Чужие, счастливые, странные пешеходы.
Только насквозь. Только голуби смотрят мудро.

Вот поворот и опушка заветной рощи...
Ноги устали, и нету в кармане хлеба.
Без Тебя, Раввунни, в мире как будто проще.
Только с Тобой я везде на пороге неба.

На склонах Приуралья

«Когда война—сегодня, послезавтра?»
«Кто правду скрыл, кто правду говорил?»
Я никому и сам себе не верил
И день сегодняшний вчера ещё забыл

В большой траве на склонах Приуралья.

Ничейный дом, ничейная дорога,
Ковыль не понимает по-людски.
Наганы ржавые, монеты и подковы
Давно остыли и унялись, как и всё

В большой траве на склонах Приуралья.

Неси, носи сюда свои печали,
Мы вслух об этом тут поговорим,
И нефть закончится, и деньги загорятся
У всех у нас—вообще у нас у всех

В большой траве на склонах Приуралья.

Избу, как водится, поставишь без дверей,
И поживёшь, и весело уступишь
В свой час седьмой воде на киселе,
И отойдёшь во область поговорок

В большой траве на склонах Приуралья...

Под асфальтом (Солдаты Первой мировой)

Под ногами асфальт, и его положили неважно;
Под асфальтом вгрызается в землю отважно
Червь, которого даже часы сочтены;
Под землёй — ничего и солдаты напрасной войны.

Это слово «напрасно» — как взять и с героя сорвать
Боевые награды его, и при нём же топтать, и сказать:
«Ничего не осталось — атаки в штывки ваши были пусты...»
Ничего не осталось от вас — в изобилии только кресты
Под асфальтом
Нательные.

Шалаш на Фаворе

Хорошо нам здесь, Господи!
А давай мы поставим палатки —
Тебе одну, Моисею одну, Илию одну!
Хорошо нам здесь,
и в город уже не хочется.
Хорошо нам, Господи, —
хорошо с Тобой.
Хорошо нам — ловить и готовить рыбу
у ног Твоих, Господи; хорошо — вести
к Тайному вечеру
незнакомому человека,
хорошо нам — звать его
братом или сестрой.
Здесь хорошо нам с Тобой — отныне,
даже и в тяжком краю, в пустыне,
ибо знаем — напьёмся Тебя
из простых ладоней
своими слезами
Твоей Любви.

Его звали Филипп

Дочери — о предке-солдате

Ты спала, и тебя защищали
Люди с чёрной землёй на зубах —
Оттого, что их в землю кидали
Вперемешку с горелой бронёй.
Это всё называли войной.
Без особого блеска в глазах
От земли эти люди вставали,
И у каждого ты на руках —
Ты спала, и тебя защищали.

Это всё просто клёны шумят
Голосами как будто солдат,
Укрывая коляску твою
От холодного ливня. В бою
За твой сон тоже кто-то погиб —
Его звали Филипп...

Военный памятник

Есть в одном городе
старый железный памятник
одному какому-то солдату.
На окраине его поставили
в честь окончания последней
войны, которая велась когда-то
где-то на окраине мира
из-за каравана марихуаны
и ящиков с непонятно чем...
и вообще... были причины —
правда — были причины...

Никто к памятнику не ходит —
одни только ветераны
той непонятной войны приносят
сюда на забытые праздники
свою оцепеневшую память,
и, наверное, долго
поодиночке сидят у огромных
железных сапог солдата,
глядя на город, который
уже ничего не помнит.

Но страшный памятник и сам
во все глаза смотрит на город,
и в глазах его эта... как её?..
Ну, когда ты собрался с мыслями,
вот-вот готов сказать — и не можешь,
хочешь сказать —
и не можешь.

В руках у памятника
автомат без патронов,
на голых плечах памятника
растёгнутая военная куртка.
Солдатик как бы отвоевал
и вот идёт в нашу сторону,
и когда он дойдёт,
то мы всё узнаем,
и много чего изменится.
Но перед ним
скульптор поставил
большое (в рост человека)
железное кольцо —
то ли нимб,
то ли прицел снайпера —
не поймёшь, да и всё равно —
он заключён в него навсегда,
на смерть приварен
к почётному постаменту
и уже не сможет
предупредить.

Улица имени

Эта улица имени, кажется, вроде, героя Гражданской
Или, может, писателя, что ли, какого... А ну его! Просто иду.
Просто воздух весёлый за сердце хватает, и сердце вытаскивает,
И себе забирает, и всё. Только я же имею в виду:

Мне не хочется быть с этим воздухом, быть ему другом и братом,
И, шая, как пакеты пустые, народные мысли носить —
Их ужасные мысли носить, и с улыбкою дегенерата
Это всё вперемешку с листвой под ногами задорно кружить.

Только кто виноват, что по жизни они — обитатели комнат
С мертвецами детей по углам? Потому-то и громко шумят,
И на улице имени этого (как его?) жадно выходят,
И гуляют, как раньше, и вновь «избавляться хотят».

Жись

О заре догорающей пели торговки ромашками —
Ну, обычные женщины, кажется, лет сорока.
И грозила им яростно тень лейтенантика старшего,
И глазели мальчишки, и падали вниз облака...

Ох уж эта мне «жись» — недотёпа, растрёпа, не вовремя —
Снова песне подобна какой-то нестройной. Заря,
Между прочим, ещё в позапрошлом году оцифрована.
И ромашки твои по червонцу — наивно и зря.

Но о солнце допели. На берег выходит Катюша
И, часовне подобна, стоит над великой рекой.
И летят облака на слова — да имеющий уши
Направляется к дому — живой, долгожданный, родной.

Царство

Мёрзнут руки в китайских перчатках,
В темя целится лазер с орбиты.
Мы давно уже в планах убиты —
Мы случайные жертвы на картах.

Говорят, появилось лекарство:
Когда слёзы кончаются — лечит...
Обнимают вульгарно за плечи
Агитаторы сонного царства...

В карнавальном костюме снаряда
Человеку тепло и не страшно.
Он шагает себе через башни,
И удача гуляет с ним рядом.

Суетятся высокие краны,
Поднимаются новые стены.
Это, в общем-то, все перемены —
Динозаврик бежит по экрану...

О Христос мой на белом ослёнке,
До чего же Ты весь не отсюда!
Научи меня — можно, я буду
У Тебя на коленях ребёнком?

Игорь Белкин-Ханадеев

Родной, зелёный, скорый...



Позвонила любимая—стало теплей на душе,
Кофейку привезёт—на последние, может быть, деньги.
Покоряются из года в год одному и тому же клише
Боевые листки моего скоростного паденья.
Мне опять станет стыдно за мелкий пижамный горох,
За ослабленный ум и похмельную немощность тела.
На моём перепутье всё меньше и меньше дорог,
По которым бы ты прогуляться со мной захотела.
Я опять повернул не туда и никак не пойму,
Почему с каждым шагом моим по дороге к Голгофе
Ты всё чаще приходишь ко мне, словно ангел, сошедший во тьму,
И всё большей любовью наполнена баночка кофе.



Разрастается город—смыкает бетонную цепь.
Заковав небеса, стал безлик и высок он.
Потерялась душа, и на новом стеклянном лице
Гипнотично мерцают созвездия окон.

Этажи. Гаражи. Магазинов ночных стеллажи—
Леденцовая ширма трущобного рая.
Охраняют твоих миражей рубежи
Облака воронья. А орлы умирают.

Вязкий призрачный город, ты как паразит—
Подсадил на крючок и, баюкая, шепчешь: «Не больно...»
Омертвевшею плотью в твоих небоскрёбах сквозит.
Умирают орлы. Воронья раскричалось довольно.

Под слоями бетона томятся родные луга.
Солищёрным токсином отравлены воды.
Раздаются всё шире подземной реки берега.
Размывает страну. Разъедает породу.

Вольный ветер, нужны тебе эти чертоги до звёзд?
Ты же вешь над всем окоёмом без малого вечность...
Ты сметёшь всё на свете, и сгинет из каменных гнёзд
Воронья ненасытная нечисть!

Вспомни, Русь,—ты святыми корнями в земле
И зелёным побегом колышешь звезду на востоке.
Ты сама себе Солнце, и в волнах пшеничных полей
Твоя жизнь и твои золотые истоки.

Велика ты, Россия! Терпением благ твой народ.
Широтою души он подобен степному простору.
Он снискал себе веру, молясь у небесных ворот.
Так зачем на земле ему призрачный город?!..



Безумный поезд мчится прямо,
Но мне неизвестно—куда.
Как линии кардиограммы,
В окне мелькают провода.

Я равнодушьем верхней полки
От неги нижних отлучён—
Там в карты две старушки долго
Играют с солнечным лучом.

Но если поезд хоть немного
Замедлит свой железный ход—
Откроют мне мою дорогу
Листы старушкиных колод.



Бабушка, мой милый ангел,
Мой хранитель на века,
Ты в каком небесном ранге
Так незримо далека?
В керамическом овале
Образ твой и чист, и свят.
Там, куда тебя позвали,
Адресов не говорят.
Где теперь тебя искать мне?
Здесь ли следующий дом?
Белый памятник из камня
Не сдаёт дома внаём.
Над могилкой месяц ранний
Озаряет город Брест.
Вновь сочится старой раной
Нарукавный красный крест.
Под лихим огнём вставая,
Забывая боль и страх,
Воевала фронтовая
Медицинская сестра.
Выносила с поля боя:
«Братец, миленький, держись!»
Снились небо голубое
И бинты длиною в жизнь
И в одну шестую суши.
Спит душа...
Проснись, страна!
Ангелы поют всё глуше...
Всё морозней тишина...

● ● ●
 «Все для фронта!»—бывало, скомандует сумрачный старший.
 «Для победы!»—сквозь ругань и лай отзываются кашлем в груди.
 Ломом яму долбили во льду для смертельно уставших.
 Без крестов и имён, без оград и наград: «Победим!»

В том краю, беспредельно-холодном, безжизненно-лютом,
 В память ратных побед—перекрестия рельсов и шпал.
 Отгремят ли когда-нибудь залпы победных салютов
 Над могилами тех, кто и здесь, кто и так... воевал?

● ● ●
 Воскресенье. Родное село. Девяностые годы.
 Привезли семена на рассаду и первых цыплят на базар.
 Громыкнуло ведром—кто-то вышел из дома по воду.
 И тотчас пролила над степным захолустьем гроза.

Хлестануло стеной по товару в нехитром развале.
 Утекли в закипевшую грязь помидорные всходы с лотков...
 Разметало коробки с птенцами. И бабы в тепле горевали,
 Что весенним ручьём посмывало, поди, цыпляков.

А гроза бесновалась, стреляя небесной пищалю.
 Продавцы по машинам совали добро в закрома.
 А у местных мальчишек истошно фуфайки пищали,
 Пока шли по селу и тащили улов по домам.

● ● ●
 Старый дом при дороге. Смородина зреет в пыли.
 Остывает в рассветных лучах перегретая «Волга»—
 Прикатили под утро. И внука с собой привезли.
 Жалко, сами побудут недолго.

Дочь в косынке, как в прежние юные дни—
 Будто вовсе не ведали города светлые очи,—
 Не спала и в прохладной придомной тени
 Рядом с мамой усердно хлопочет.

Озаряет светёлку счастливого внука лицо—
 На раздолье пускай поживёт перед школой.
 Он всю ночь на переднем сиденье с отцом
 По водительской карте прокладывал путь через сёла.

Отдохнули с дороги и утром—на местный базар:
 Банка краски, цветы, полкило карамели.
 Повезут на машине—к улыбчивым светлым глазам,
 Что на скромном овальном портрете три года светлели.

Аккуратный простойobelisk со звездой, без креста,
 Подновят и оставят в ограде конфетную россыпь.
 Будут ярким кармином лучи на рассвете блистать
 И раскрашивать спелые русские росы.

А теперь, и не звана, и звана родня, приходи повидать!
 Для далёких и ближних готовы дары и пиры из столицы.

И приносят в ответ с огородов нехитрую дань.
 ...И степная дорога от быстрого шага пылится.

● ● ●
 Из попутки с рассветом вышли,
 Покидав рюкзаки в кювет.
 Сильно пахло цветами и вишней.
 И бензином тянуло вслед.

— Поглядишь, откуда мы родом,—
 Вёл отец меня полем к жилью:
 Деревенька в три огорода
 Опрокинулась в колею.

Пустоцветами смотрим в небыль.
 Навевает тоску ветерок.
 Задрожало бескрайнее небо
 В голубых разливах дорог.

Всё распахнуто ветру и водам:
 Рассевай, поливай, мели!
 Ту лазурь, из которой мы родом,
 Закрутили вихри в пыли.

Зашумели прогибы кровель—
 Плакал дождь, отпуская грехи.
 Со стены почернел, посуровел
 Старый дом на раскрестье стихий.

Ветер сгинул. Из сумрачных далей
 Солнце тянет слепящую нить.
 Просветлело.— Ну что, повидали?
 Нам попутку ещё ловить...

На глухаря

Весна, похожая на осень,—
 Рыжеволоса и угрюма.
 В тысячемачтовиках сосен
 Текут пустующие трюмы.
 Ветвей тугая тетива
 В тиши выцеливает воздух.
 И снег, отзимовавший в гнёздах,
 В лесной ручей откочевал.
 Туман живёт крылатым эхом,
 К земле густеет и лоснится,
 Но редко чёрную прореху
 В нём пробуравливает птица.
 А временами полнолуний,
 Когда глазами правит страх,
 Гнилые волосы колдуний
 Ползут среди погибших трав.
 Дрожа, иду несмелым скрадом—
 Спешу расслышать до зари,
 О чём толкуют где-то рядом
 Невидимые глухари.
 То волком на прогалах рыщу,
 То зайцем кувыркаюсь в ночь.
 Нашёл дорогу к токовищу...

...А птицы улетели прочь...

Май сорок пятого

Барахолка в обугленной каменной крошке.

Суетливые фрау в переднем ряду:

— Дивандеки, наряды, губные гармошки —
«Битте, битте, зольдатен», в обмен на еду.

Принимало трофеи голодной украдкой

Вещмешка холостое нутро:

Фройлен-кукла, чулки, перстенёк, шоколадка,
Портсигар. Позабытый патрон.

До Берлина с боями шагали три года,

А обратно — в теплушках за пару недель.

Подступали полком, а разъехались взводом.

Хорошо, что весна. Не метель.

Под напевную сказку медалей негромких

По пути вспоминал уцелевший отряд,

Как ходили в атаку и как похоронки

Устилали победный «ни шагу назад».

И души огневая бетонная точка

Наконец оживала, в боях прожжена, —

Когда новую куклу баюкала дочка

И в чужой фильдекос наряжалась жена.



Ребятня напоминала птиц:

Кто чижом дрожит, кто цаплей замер.

Серый ветер в опуши ресниц

Смотрит вдаль мальчишьями глазами.

Гомонили. Этот — бас берёт,

Тот — пицал птенцом, взъерошив перья.

Улетал нескладный матерок

Через реку на пологий берег.

— Пацаны, давайте сиганём! —

И шальной гурьбой бросались с кручи.

На крыло! — кричало вороньё,

Из-под неба выкликая лучших.

— А давайте наперегонки! —

Полилось разноголосой трелью. —

Маханём за дальние буйки!

На слабó! А ну-ка, кто быстрее?

Бронзой полыхали на волнах

Безрассудной молодости плечи.

С плеском расступалась пелена!

Занырнул, и кажется — навечно!

...Сколько вознесут и искалечат

Разного полёта времена!



Срезаны замки. И дверь наотмашь —

Вышибли ногой в тяжёлом берце.

— Ты, сынок, мне прочитывать поможешь? —

Бабушка хватается за сердце.

Старший машет гербовым пакетом,

Распечатал, в цифры пальцем тычет:

— Здесь начислено за то, за это...

В общем, долгу на четыре тыщи...

— Ой, сынок, да я ведь и не знала,

Думала, что подождут до лета...

— Бабка, ты теперь невыеззная! —

Склябятся бойцы в бронезилетах.

Койка. На стене ковёр с тесьмой.

Переписана посуда в горке.

На столе судебное письмо.

И орёл с печати смотрит зорко.

Пристав пишет, а гвардейцы ждут

В броневой защите от тротила:

Может, скоро премию дадут —

Бабушка за газ не заплатила...



Помню поезда общих вагонов:

Полка верхняя, полка нижняя;

Дед разохшимся сапогом

Подпирает корзину с вишнями.

Кто-то спит, калачом застыв;

Кто-то в карты всю ночь играет.

Телеграфных столбов кресты —

Горизонт без конца и без края.

Полустанок. Тревожная тишь —

Будто воздух из вечности соткан.

— Ты куда, шептунья, летишь?

Захотела под поезд, красotka?

Заскочила в вагон навзрыд:

— Я уж думала — всё... Не уеду...

Взвыл гудок, покатались двory

По колдобинам дымного следа.

Сверху — карт козырной переплёт,

Снизу — ягод дыхание пьяное.

А в стекле — отражение слёз

И подлунный пейзаж с бурьянами.

Пряхи

- Прялка-самопрялочка, скажи:
 Долго колесу ещё кружить?
 Как в трудах нам превозмочь усталость?
 Сколько нам сучить ещё осталось,
 Слушать пересвист веретена
 В синеоком океане льна?
 Словно не живём, а из кудели
 Тянем прядь. И сердцем оскудели.
 И совсем осунулись лицом—
 В неизвестность крутим колесо.
- Скоро вы отправитесь с причала,—
 Самопрялка, скрипнув, отвечала.—
 В синеоком океане льна
 Под напевный свист веретена
 Через горизонт с седьмого неба
 Ясные лучи забросят невод—
 Пробежит дорожка из белил,
 И по ней помчатся корабли,
 Воспаряя в вечные просторы,
 Замыкая круг земных историй.
 На катушке оборвётся нить,
 Колесо откажется кружить.
 И тогда попутный свежий ветер
 Заберёт вас из прядильной клетки.
- Прялка-самопрялочка, скажи:
 Долго нам потом сидеть в тиши?
 Сколько нам из корабельных трюмов
 За полями наблюдать угрюмо
 И не слышать свист веретена
 В синеоком океане льна?
 Самопрялка тихо отвечала:
- Через год начнётся всё сначала,
 Подойдёт коловращенья срок—
 Свяжется на нитке узелок.
 Где-то рядом из земного тлена
 Прорастут грядущих поколений
 Всходы—для иных осенних жатв.
 Эти всходы пряхи сторожат—
 Те, которых из прядильной клетки
 Уносил на небо прежний ветер.
- Прялка-самопрялочка, прости.
 С кораблями нам не по пути.
 Не устали—просто показалось.
 В теле много сил ещё осталось...
 Как приятна песнь веретена
 В синеоком океане льна!

Север

- Рассыпается долгая ночь. Сонно ухают филины
 В бесполезной надежде сдержать отступление тьмы.
 Самовластие снега. И насыпь, и лес обессилены
 Затянувшимся бременем лесоповальной зимы.
- Но и здесь, в бесконечно растущих еловых торосах,
 Где не слышно десятками лет человеческих слов,
 Как ружейными выстрелами, от великих морозов
 Наполняется бор оглушительным треском стволов...
- Успокоилось эхо. Доносится глуше и глуше
 Трепыхание птиц, притворившихся битыми влёт.
 Снова выстрел... И снова седые еловые уши
 Прижимаются к мёртвой земле придорожных высот.
- Обрекая озёра туманов холодно-апрельских
 На короткое небытие, словно ржавая сталь,
 Рассыпается ночь. И, звеня в промороженных рельсах,
 Догоняет вагоны, давно унесённые вдаль.
- Снова радужно-чистое небо, как будто весна в нём
 Размела облака. И не знавшая грусти звезда
 Загорелась нежданно-негаданно воспоминаньем
 Обо всех проходивших под синим лучом поездах.
- ● ●
- Счастливого пути, родной, зелёный, скорый!
 Под выцветшим гербом идёшь на перекрас.
 Гудок, ещё гудок. И ветры вторят хором:
 Приятных перемен! Удачи! В добрый час!
- Пошёл на всех парах. Тебя тепло встречали:
 «Подкрасим колоски—и высохнут к утру...»
 Уютное депо увито кумачами:
 «Живее всех живых...», «Даёшь ударный труд...»
- ...Не стало в октябре багряного наряда.
 Упал последний стяг. Отвинчены гербы.
 Ржавеет паровоз, собака воеет рядом.
 И нет уже труда, и жизни, и борьбы...
- ...Скелеты корпусов. Торчат наружу рёбра—
 Опорные столбы не устают стареть.
 Ушедшим временам вослед глядят недобро
 Возжи бродячих стай—вельможи пустырей.
- А глобус на гербе—как шар из пыльной лузы—
 Достанут, подновят, когда наступит год
 На глеющих костях Советского Союза
 Зажечь, очаровать и обдурить народ...

Александр Клиндухов

Над миром реки



Я вышел из беды, подобно Ною,
Хотя и сам совсем не без греха,
И вот тогда склонились надо мною
Черёмуха, рябина и ольха.

Мне так легко дышалось, даже пелось.
И я стоял как выпивший слегка,
И лишь не осуждали мою смелость
Черёмуха, рябина и ольха.

..Исчезнет свет над крышкой гробовой,
И чтобы смерть не так была горька,
Склонитесь над моею головою,
Черёмуха, рябина и ольха!



Хлеб да соль, тишина, разнотравье,
Сенокос, костерочек, река,
И стакан ходит-бродит за здравье,
Что в глазах мельтешат берега.

Не пьяны мы, а просто устали.
Уработались... Вечер какой!
Расплываются сонные дали
За уснувшею русской рекой.

Словно идола, встав на колени,
Замираем, и только видны
Волны в пятнышках, словно олени,
Мельтешащие в свете луны.

Заморозки

Покрыта крапива инеем,
Как будто великим именем
Покрыты грехи...

И корочка льда колышется,
Как ветхая кроха-крышица,
Над миром реки.

А на бесконечной просеке
Застыли причуды осени,
И сердцем замрешь,

Когда лист краями колкими
Воткнётся в ладонь иголками,
Как пойманный ёж.



Села сорока на ель и качается,
Будто ей всё нипочём,
Будто и жизнь никогда не кончается—
Бьёт своим вечным ключом.

Только завидовать вроде бы нечему:
Тоже, наверно, тоска—
Так вот сидеть и качаться на веточке
Ели на крае леска.

Тихо бежит родниковая чистая
Струйкою тонкой вода,
И распознать ту великую истину
Мне не дано никогда.

Антоновка, белый налив

Пусть мне это с детства знакомо,
Но ноет, как свежий нарыв:
Две яблони старых у дома—
Антоновка, белый налив.

И дверь между ними, и тропка.
Я, маленький, в сером пальто...
Оборвана старая плёнка—
Не выйдет из дома никто.

Страницы последнего тома
Закроются; дверь растворив,
Родители выйдут из дома...
Антоновка, белый налив.



Чёрное небо. Не видно
Звёздочек, только одна
Шхуною пьяного Флинта
Бродит по небу луна.

Я же, давно протрезвевший,
Молча смотрю на луну,
Не поклоняясь ни ветру,
Ни золотому руну.

Лишь иногда, отчуждённый
Взгляд свой бросаю в толпу,
Тихо в поэзии тёмной
Я пролагаю тропу.



Я проспал свои лучшие годы,
И мне было совсем невдомёк,
Что мой сон, словно талые воды,
Унесёт запоздалый поток.

Как мне было во сне интересно,
Как мне было привольно тогда,
Как звучали небесные песни
И всюю пролетали года!

Но с течением времени болью
Отзывались те песни во мне,
Словно птицы, томились в неволе,
Своей жизнью довольны вполне.

Я поднялся, как воин усталый,
Что лежал на калёной печи,
И ушёл, не осилив удара,
Растворившись в бездонной ночи.

Буржучка

Разгорись, моя буржучка,
Растопи мою печаль.
Жизнь—что яблоко на блюдечке:
Съел бы, только очень жаль.

Будет горе неминуемое
У тебя на целый свет.
Было яблоко на блюдечке,
Съел—и больше жизни нет.

Набивал корзины полные
Я уральским наливным—
Были яблочки отборные,
Всё растаяло как дым.

Так гори, моя буржучка,
Не давай мне отдохнуть,
Не выкладывай на блюдечке
Мне далёкий вечный путь.



Снова мороз. На берёзы
Вновь не летят воробьи.
Видно, замёрзли, тверёзы,
Среди крылатой родни.

Тишь, не подвластная думам,
Синь голубая окрест,
И отликает латунным
Солнцем наш утренний лес.

Радуйтесь, дети земные,—
Мир, что дарует восторг,
Короток... Тучки шальные
Тихо плывут на восток.



Геннадью Поникаровскому

Окна с видом на Юг—на реку, занесённую снегом,
И красивее юга любого она во сто крат!
В полущубок укутанный, греюсь, а, слившийся с небом,
В белоснежных лугах догорает морозный закат.

Как приятно мне всё: и снега розоватого тона,
И излучина Юга, и дом этот крепкий, простой,
И селенье, и церковь внизу... и хозяева дома,
Что пустили меня в этот вечер к себе на постой.

Лодка

Брошена лодка у кладбища.
Днище травой проросло.
Ткни пальцем—сразу развалится
Крепкое с виду весло.

Кто её выволок, бедную,
Так далеко от реки?
Может, однажды поспорили
Со стариком рыбаки?
И, доводя, насмехались,
Ржали, как кони в ночи:
«Где тебе, старому, справиться?
Впору сидеть на печи!»

...Лодка лежит в ожидании:
Встанет старик под крестом,
Перевернёт её, верную,
И оттолкнётся веслом.



Дракованова Кулига.
Церковка. Погост.
Перехожий ли калика
Иль случайный гость

Я среди этого забвенья
Мира, тишины—
Для меня всё это звенья
Мировой цены.

А на кладбище забытом
Битая плита,
А на ней, землёй забита,
Солнцем залита,

Надпись тихая такая
Взята в окаём:
«Помяни ихъ, Господи,
Во царствіи своёмъ.»

Владимир Шанин

Седьмой сын

Главы из романа «Деревья живут корнями»

1.

Марк Васильевич Суриков верстался на службу и попал в разряд не простых казаков, а сразу — десятником. Через какое-то время стал пятидесятником, командующим полусотней казаков. Такое скорое производство в офицерский чин, конечно же, не обошлось без ходатайства дяди, атамана Енисейского конного казачьего полка Александра Степановича Сурикова, и всё устроилось лучшим образом, без чиновничьих проволочек. Для юноши призывного возраста Марк был на редкость развит физически, хорошо сидел в седле, ловко владел пикой и саблей, брал любые препятствия — словом, постиг дедову казачью науку сполна. Ну и как такого поставишь рядом со всеми в строй? Многих «малолеток» ещё учить да учить надо, а Марк Суриков окончил полный курс уездного казачьего училища. Начальство тоже, поди, понимало: Суриковы — представители старого казачьего полка, все сплошь офицеры, и самому молодому из них вроде бы неприлично ходить в рядовых с такими-то знаниями. К тому же — как посмотрит на то красноярское общество? Не осудит ли за невнимание к заслугам почтенных предков, строивших, а затем почти столетие защищавших Красноярск от кровавых набегов кочевников?

Марк был невысок ростом, строен, тонок в талии и гибок телом. К его сухощавому смуглому лицу с чёрными блестящими глазами очень шла казачья офицерская форма: тёмно-синего сукна куртка с красным суконным воротником и подбитыми красным сукном серебряными чешуйчатыми эполетами, на которых был вышит вензель «Е»; тёмно-серого сукна шаровары, широкие, с борами спереди и сзади, без прошива канта, заправленные в полусапожки с железными шпорами; фуражка с овальной кокардой. На узенькой, из чёрной кожи, португее висела казачья шашка образца 1838 года в деревянных ножнах, обтянутых чёрной же кожей, с медными кольцами для ремней, гайкой и наконечником. Ремни ещё не обмялись и поскрипывали, как свежий кочан капусты. И эти блестящие кольца, и сочные звуки ремней, и не выветрившийся сладковато-терпкий запах кожи, и шёлковый темляк шашки, и серебряное плетение помпона и кордончика на кивере — всё, всё

необычайно волновало маленького Васю, племянника Марка. Он ещё не умел говорить, но всюду совал свой любопытствующий нос; любая вещь в доме не ускользала от его внимания. Марк подхватывал племянника на руки, сажал на колено, как на коня, верхом, и мальчик, держась ручонками за ремни португее, изображал всадника.

— Ну ты посмотри на него: от горшка два вершка, а уже коня ему подавай! — смеивалась Гликерия. — А ведь никто не учил этому, не показывал... Казак — он и есть казак!

— Дед бы сейчас, царство ему небесное, порадовался, — говорил Иван Васильевич, — он так хотел увидеть правнука...

— Зато внук — офицер! — похвастался Марк, в который уже раз бередя душу брата этим напоминанием.

Хотя Иван Васильевич и не жалеет, что стал статским чиновником, однако нет-нет да и взметнётся в нём огонёк ревности к Марку, взметнётся, поколеблется и тут же погаснет, задутый встречным движением братней нежности.

— Недаром святой отец при крещении назвал меня «седьмым сыном», — продолжал Марк, — а это что-то да значит. Не переведутся в суриковском роду офицеры!..

История с «седьмым сыном» известна всем, все так и навеличивают Марка, всё более в шутку, а пошла она гулять по свету от матушкиного дерзкого язычка, всюду разносившего свою неприязнь к «басурманскому» имени. Наталья Афанасьевна так и не смирилась с тем, что её покойный муж, туруханский сотник, легко согласился на такое, прости господи, имечко.

Своего первенца они назвали Иваном в честь деда, Ивана Петровича, пятидесятника. Он появился на свет слабеньким, и потому второго сына тоже назвали Иваном — на всякий случай. Однако первый Иван оклемался, выжил, окреп, вот и росли вместе оба Ивана, погодки, а чтобы их отличать друг от друга, старшего кликали Ванькой, младшего — Ванюшкой. Это всё дед, его придумка. Правда, мать звала их по-своему — Ваня и Ванечка, младшего она почему-то больше любила. Были у них ещё дети, девочки и мальчики, и все они умерли в младенчестве, но вот последышек,

появившийся на свет через восемнадцать лет после Ивана-второго, оказался живучим.

В церкви при крещении младенца священник спросил:

— Как хотели бы назвать сына?

— Василием, — не задумываясь, ответил туруханский сотник.

— А сколько всего детей-то у вас было, живых и мёртвых?

— Живых — третий вот... С неживыми — седьмой...

— Седьмой сын — это хорошо. Нарекём-ка раба Божия Марком, в святую честь апостола Марка!

— Имя должно быть русское, казачкое, — упрямылся сотник, но священник стоял на своём:

— У вас ведь — седьмой сын?

— Четверо-то умерли!

— А вот седьмому сыну уготована Господом нашим долгая жизнь. Седьмой сын, дети мои, у многих народов почитается как чудотворец. В Англии и Франции, например, он, как и король, может одним своим прикосновением исцелять, скажем, от зоба... Седьмого сына всегда и везде крестили именем Марк. Да к тому же и родился ваш сын в апреле. А в апреле, — священник раскрыл книгу, повёл по странице пальцем, отыскал нужную дату, — вот смотрите, в апреле, двадцать пятого числа, православные христиане чтут память евангелиста Марка. Впрочем, это то же, что и Иван. Называют его также Иоанн-Марк, сын Марии, в доме которой в Иерусалиме собирались христиане...

— Ну что ж, Марк так Марк, — скрепя сердце согласился Василий Иванович.

И в ежегодных «Исповедных росписях» градокрасной Покровской церкви с 1825 года стало регулярно упоминаться это новое, неизвестное, несколько странноватое для сибиряков имя...

«Седьмой сын» был насмешлив и незлобив, был добр со свояченицами и нежен с детьми, иногда любил подшутить — «устроить каверзу», «сделать козу» или «козью морду» — и от души посмеяться. Тогда он и вовсе не знал никакого удержу. Но бывали минуты — словно язык проглатывал: замыкался, как бы захлопывался изнутри, уходил в себя и в задумчивой отрешённости часами сидел на берегу, смотрел на быстро текущую воду и следил за плывущими по Енисею плотами. Всяким видели Марка: и весёлым, и грустным, и трогательно заботливым, и даже хвастливым, но вот злым или очень разгневанным — никогда.

Пока взрослые разговаривали между собою, маленький Вася, открыв рот, прислушивался, даже перестал играть блестящей пуговицей на Марковой куртке.

— А ведь он всё-всёшеньки понимает! — опять заметила Гликерия.

Своих детей у неё не было, и потому она сильно привязалась к мальчику, баловала и не спускала с рук.

Марк поставил Васю на пол, поднялся, прошёлся по комнате, поскрипывая кожей.

— Чисто генерал! — восхищённо произнесла Дуняшка, ставя на стол булькающий, утробно кипящий самовар: семья готовилась к вечернему чаю.

— Уж больно кавалерист, — проворчала Наталья Афанасьевна, — девки, поди, с ума посходили, того и гляди заплот пораспишут... Смотри мне: гулять гуляй, да девок не портить, не осрами фамилию-то!

Марк лукаво подмигнул свояченицам, конфузливо фыркнувшим, и с серьёзным видом ответил матери:

— Фамилию нашу, матушка, осрамить невозможно — только прославить!

— Эка дурень. «Слава» — слово, да смысла-то в нём — два.

— Да за такого кавалера любая девушка из порядочного семейства пойдёт, — вставила Гликерия. — Жениться тебе пора, Маркуша!

— Ещё чего! — вскинулась Наталья Афанасьевна. — Пускай-ка сначала оперится да в зрелый возраст войдёт, а судьба придёт — сама руки свяжет. Семью, поди, содержать надо, а жених и сам гол как сокол. Никакой атаман разрешения на брак не даст.

Старая казачка была права. Говоря так, она, конечно же, имела в виду высочайше утверждённое «Положение о браке военнослужащих», в котором прямо сказано, что всякий офицер должен испросить на вступление в брак разрешение командира своего, а тот, в свою очередь, обязан рассмотреть прошение подчинённого и быть уверенным в благопристойности этого брака. И это ещё не всё. Нужно доказать имущественное обеспечение офицера, приносящего двести пятьдесят рублей чистого годового дохода; оно должно быть предоставлено в распоряжение полка и возвращается по достижении офицером двадцати восьми лет и при увольнении в запас или отставку ранее этого возраста. Станичным офицерам в том отношении было намного легче. У них имущественное обеспечение — земля, и жениться для них — иметь лишние рабочие руки. Офицеры же городского конного полка, живущие в городе, имели только займки — уголья для сенокосения. Вот почему городские казачьи офицеры чаще всего неженаты. Взять хотя бы атамана Александра Степановича. У него даже дома своего нету, хотя... Дом по Качинской улице¹, построенный в конце восемнадцатого века и перешедший по наследству от прапрадеда Петра Васильевича к старшему сыну Степану, а затем — к Александру Степановичу, атаман отдал в полное владение своему семейному брату Тихону, старшему уряднику первой сотни Красноярской станицы.

Впервые в России вопрос о необходимости имущественного обеспечения браков офицеров

1. Дом сгорел 18 апреля 1881 г.

был возбуждён графом Паскевичем-Эриванским в 1835 году. Особо обострился он во время Восточной войны, когда семейства многих офицеров в частях войск 1-й армии, выступавших в поход, находились в таком бедственном положении, что их существование невозможно было обеспечить из сумм, имеющих в распоряжении главнокомандующего... — Я знаю, матушка,— сказал с улыбкою Марк,— что жениться мне ещё пока не к спеху. Даст Бог, обживусь, а уж тогда... Атаман Александр Степанович обещал назначить меня командующим пятой сотней, той самой, что стояла в Туруханске, в коей батюшка наш был сотником. Теперь эта сотня дислоцируется в Минусинском округе. Стану собирать с татар ясак и построю себе дом на жалованные меха, как это сделал батюшка наш, куплю пару хороших выездных коней и красивую коляску, оденусь барином— и в путь, невесту высматривать! Выберу красивую да богатую, дочь какого-нибудь золотопромышленника... Вот сумел же беглый помор из Архангельска, сын разорившегося купчишки, господин Сидоров, стать зятем богача Латкина, так, может, и мне повезёт?

— Какие там, в Минусинской степи, меха?! Окстись-ка, сынок! Разве только овечьи. Да ещё конски шкуры.

— И каменные идолы,— подсказала всё время молчавшая Прасковья.

Она сидела на сундуке, вязала на спицах, а у её ног играли дети, Катя и Вася, катая клубок с пряжеными нитками. Сбоку, на сундуке же, прилегла Лиза и, водя пальцем по строчкам, читала псалтирь.

— А на всю Минусинску степь,— продолжала Наталья Афанасьевна,— хозяином Чирка Картин со своими несметными табунами необъезженных лошадей. Все татары под ним ходят. Богаче его нет никого в округе. Ежели с умом подойти, так можно и там свою золоту жилу иметь. С татарами будь построже— они сами с тобой своим богатством поделятся. Будет капиталец, найдётся и невеста... — Эх, высватаю я, однако, дочку того Чирки!..— тихо рассмеялся Марк, поглядывая на медлительную Дуняшку, накрывающую к чаю стол, и негромко, почти нараспев, стал читать стих:

В дом свой супругу вводи, как в возраст придёшь подходящий.
До тридцати не спеши, но и за тридцать долго не медли:
Лет тридцати ожениться— вот самое лучшее время.
Года четыре пусть зреет невеста, женитесь на пятом.
Девушку в жёны бери— ей легче внушить благонравье.
Взять постарайся из тех, кто с тобою живёт по соседству.
Всё обгляди хорошо, чтоб не на смех соседям жениться...²

Расставив блюдца с чашками, Дуняшка с пустым подносом остановилась, прислушалась к музыке

2. Гесиод—древнегреческий поэт (VIII—VII вв. до н.э.). Поэма «Работы и дни».

стиха, к словам, таким понятным, точным и важным, и совсем забыла про свои обязанности, пока Наталья Афанасьевна не прикрикнула на неё:

— Чё зенки-то выпучила? Ступай! Дал же Господь этакой дурище здоровье, да лень раньше родилась.

Сама же она всё время хворала, силы её таяли, и оттого, быть может, накапливалась в ней то ли злость на свою беспомощность, то ли зависть ко всякой молодой девке, пышущей крепким здоровьем. И всё же обарывала свой недуг, с трудом, но подымала себя с кровати, заставляла ходить, что-нибудь да делать по домашности— и так, в движении, в разговорах, в повседневной суতোлке, отнимала у грядущей смерти день, час, минуту. — Чё-то хозяйина, кормильца нашего, долго нету,— вздохнула она и проковыляла к окну.

Солнце садилось за Дрокинскую гору, пылающее холодным жаром, и в окошках напротив бушевало отраженье такого же холодного пламени. Выпавший накануне ранний для октября снег окрасился в розовый—будто сукровицей облитый—мерклый цвет, быстро тускнеющий прямо на глазах. Редкие прохожие, кутаясь в воротники, спешат по домам. Нет-нет да и пролетит мимо извозчик, процокает одинокий всадник, вспугнув сторожкую тишину, и снова убаюканная лёгким морозцем улица погружается в тревожную полудрёму.

Вдруг Наталья Афанасьевна вскрикнула, отшатнулась от окна и торопливо трижды перекрестилась. В её тёмных глазах отразилась не то растерянность, не то боль.

Ни Прасковья, ни Гликерия, ни тем более Марк, человек совершенно не суеверный, не могли и подумать, что старой казачке что-то внезапно пригрезилось, напугав её,—они попросту решили, что ей стало плохо.

— Матушка!.. Маменька!.. Что с вами?

— Зажгите свечи! Скорей!

Зажгли свечи, задёрнули шторы, хотя на улице ещё было достаточно светло и в комнате можно было вполне обойтись без огня.

— Нашей матушке опять что-то показалось,— молвил Марк, сдерживая улыбку.

Женщины сустились вокруг старухи, дети с любопытством наблюдали за ними. Поскрипывая ремнями, Марк спокойно ходил по комнате из угла в угол. Дуняшка неторопливо ставила на стол сахарницу, вазочки с вареньем, сухарницу с поджаренными ломтиками сдобной булки, вазу с ароматными пирожками и, взмахнув подносом, проводив тоскующим взглядом повернувшегося к ней спиной Марка, так же не спеша, вразвалочку, прошла в кухню. Марк по запаху определил—это его любимые пирожки, с молотой черёмухой. Дуняшка, холера такая, знала, чем угодить холостому казачьему офицеру, и он

от соблазна отошёл подальше, чтобы ненароком по-мальчишески не стянуть и не отправить в рот лакомый кусок.

Между тем выяснилось, что ничего особенного со старухой не произошло. Сказались переутомление, бессонница, болезненное состояние, усердная молитва и длительные стояния на коленях перед образами — вот и привиделся ей какой-то старец. . .

— Какой такой старец? Да кто же он? — допытывались у неё Прасковья с Гликерией, недоумевая, как могло что-то почудиться, если на дворе даже и не стемнело.

— Это Феодор Кузьмич был, Божий посланец, я его видела, — отвечала старуха и указывала рукой на окно. — Он этак вот стоял, внизу, под окошком-то, лицом ко мне обратился, смотрит в глаза и ласково так мне говорит: «Зима будет лютой и долгой, но ты её, матушка, переживёшь. . .» А сам весь белый как снег, и одёжка на нём белая, навроде длинной рубахи с опояской.

— А почему вы решили, что это Феодор Кузьмич? — Ну как же, я ж его вот как вас этим летом видеть сподобилась, Господь направил меня к нему. И не одна я была, а с богомолками — три старухи да четыре паломника из Расеи. Увидела — и сердце захолонуло: ну чисто император покойный, Александр Павлович! Похож как две капли воды. А может, это он и есть? Говорят, император-то и не помер вовсе, а тайно ушёл в народ страдать за грехи свои тяжкие, за отцеубийство. . .

Вспомнили: на Феодора Стратилата матушка действительно ходила на богомолье и отсутствовала тогда две недели. Воротилась измученная, усталая, однако на нездоровье не жаловалась, и в её запавших глазах на загорелом лице светилась торжествующая мысль: дескать, я теперь знаю великую тайну, открыть которую не имею права. Но домочадцы особо-то и не спрашивали.

Зато сейчас проявили любопытство: на самом ли деле похож тот старец на покойного императора? И оглядывались на стену, где висел его портрет рядом с портретом ныне здравствующего царя Николая Павловича в дешёвеньких деревянных рамках. — А живёт-то он где, у кого?

По словам старухи, Феодор Кузьмич приписан к деревне Зерцалы, что под Ачинском, на поселение, но жил на казённом винокуренном заводе, в двух верстах от Краснореченской деревни, потом в Зерцалах у поселенца Иванова, а с прошлого года — опять на Красную Речку подался. По его просьбе богатый и богобоязненный крестьянин Иван Гаврилович Латышев отвёз старца к себе на пасеку, это от Краснореченской вниз по Чулыму, на берегу, в красивом месте; там, в вырытой им земляной келье, он и жил.

— А сейчас, право слово, не знаю где. Может, опять в Зерцалах. Большого ума человек! И происхождение, видать, не простого. . .

В это время к воротам подкатила атаманская коляска с крытым верхом, из неё сосупнул на землю Иван Васильевич и пошёл к дому. На козлах вместо кучера сидел сам атаман Александр Степанович. Он тяжело сполз вниз и, прежде чем привязать коня, как делал это всегда, придиричиво осмотрел упряжь. Всё проверив, немного отпустил черессдельник, ослабил недоуздок, вынул удила, бросил перед мордой коня охапку сена и только тогда, придерживая рукой саблю, протиснулся в узкую калитку. По двору он шёл быстрой размашистой походкой, слегка нагнув крупную голову в чёрной мерлушковой папахе, на невысоком крыльце с резными балясинами стал сбивать с сапог снег.

Первой, как всегда, встречала его старшая дочка Ивана Васильевича, одиннадцатилетняя Лиза.

— Деда Саша приехал! Деда Саша! — радостно закричала она и метнулась к двери.

— Шальная, обутку-то хоть надёрни! — ахнула Наталья Афанасьевна, пуще глаза оберегавшая внучку-сиротку от простуды. — Ну что за дитё, прямо наказанье Господне. . .

Вошёл Александр Степанович. Тёмное, как голенище (выражение Наталья Афанасьевна), лицо его с холода казалось ещё черней, чёрные с синеватым отливом усы, разрежённые серебряными нитями, по-казацки лихо закручены кверху, что придавало этому уже немолодому человеку молодецкий вид, живые тёмно-карие глаза возбуждённо блестели. Он подхватил девочку на руки, чмокнул в щёчку, пощекотал мокрым усом и опустил на пол.

— Я вот тебе, любимка моя, леденцов принёс, от зайчика, — простуженным тенорком пропел атаман, роясь в кармане серой офицерской шинели с меховым воротником. — Еду, значит, глядь — зайчишка из-под кустика выскочил, ушами-то хлоп-хлоп да и говорит: передай, говорит, Лизавете Ивановне от меня лично. А леденцы-то не простые — волшебные, — и протянул круглую, ярко раскрашенную жестианую коробку.

От радости Лиза взвизгнула, схватила подарок и убежала в свою комнату.

— А где тут маленькая проказница Катерина Ивановна? — продолжал он тем же певучим голосом. — У меня и для неё, лисоньки рыжей, подарок припасён.

Катя уже вертелась у его ног, дёргала за полу шинели: мол, давай сюда твой подарок; атаман взял её на руки, поцеловал, пощекотал усом, потёрся бритой щекой о её тёплую головёнку и вручил такую же коробку с леденцами, только иного раскраса. За трогательной этой сценой внимательно наблюдала Прасковья, державшая на коленях маленького Васю. Иван Васильевич с улыбкой показывал Марку глазами: смотри, мол, как дочка деда любит! Марк согласно кивнул, улыбнулся и глянул на Гликерию, сморгнувшую слезинку: своих

детей Бог ей не дал, хотя она и рожала трижды, и потому, завидуя чужому счастью, сильно страдала. Наталья Афанасьевна поворчала для порядка, что атаман, дескать, шибко балует девчонок, оттого и растут они неслухами, и прикрикнула на Дуняшку, чтобы та «не пялилась на казачьи мундиры», а пекла бы шаньги, если уже подоспело тесто.

— Да живо, живо давай! Ох и нерасторопа, деревня-матушка, прям как коза на кровлю мостится, вокруг себя за час не обернётся. В квашонку-то загляни, может, тесто уж через край ползёт!

— Сичас! — Дуняшка скрылась в кухне и оттуда крикнула: — Готово, хозяйка!.. Пеку, пеку-у!..

Александр Степанович развязал башлык. Снял португеею вместе с саблей, шинель, папаху, всё это передал в руки выбежавшей из кухни Дуняшке и прошёл в залу, освещённую свечами.

— А ну-ка, показывайте своего казачка! И где он тут прячется? А-а, вот он! А как вырос, как вырос!.. Ну прямо хоть сейчас на коня сажай, — ворковал он и, сорвав с колен матери засыпающего мальчика, подкинул его, ошеломлённого, кверху раз и ещё раз, поцеловал, потискал, посадил себе на шею и так поскокал по комнате, изображая коня.

— Словно дитё малое, прости Господи, — рассмеялась Наталья Афанасьевна.

Атаман остановился, передал мальчика матери, Прасковья тут же принялась его укачивать, но ребёнок тянулся ручками к деду, капризничал.

— Ишь, понравилось! Казаком будет лихим! — Александр Степанович сунул руку в карман, извлёк оттуда фигурку всадника, вырезанную из слоновой кости, и протянул мальчику. — А это, Василий свет Иванович, от меня тебе подарок.

Вася схватил фигурку всадника и успокоился.

Из кухни тянуло пряным духом — в печи пеклись шаньги. Наталья Афанасьевна самолично проверяла готовность сдобы на противне и грелась заслонкой. Там же, глотая слюнки, крутилась Лиза; бабушка на неё прикрикнула, и девочка пулей вылетела из кухни, села рядом с Гликерией на диване.

Полноправной хозяйкой в доме после смерти в 1836 году туруханского сотника Василия Ивановича была его вдова Наталья Афанасьевна, и пока она не сядет за стол и первой не нальёт себе чаю, никто не смеет прикасаться к еде — таков порядок, заведённый в семье издавна, и он соблюдался неукоснительно. Даже Лиза, которую бабушка любила и баловала, не осмеливалась его нарушить, как бы ни была голодна.

В ожидании хозяйки всяк занимался кто чем, лишь бы скоротать время. Иван Васильевич шелестел страницами «Санкт-Петербургских ведомостей», просматривая заголовки, что-то прочитывая. Атаман Александр Степанович разговаривал с Марком, уединившись в углу за ломберным столиком, за которым редко теперь кто играет

в карты. Гликерия вышивала на пяльцах. Прасковья уложила детей спать и вскоре вернулась в залу, угало опустилась на диван рядом с Лизой. Лиза тут же вскочила и пересела на другую сторону. Прасковья пожаловалась Гликерии:

— Господи, ну почему она дичится меня?

А девочка не просто дичилась, она ревновала отца к мачехе, мачеху к Катеньке и Васе, сложные чувства боролись в ней — и злилась, бывало, и плакала до истерик, и капризами часто изводила весь дом. Как ни старалась Прасковья ласкою, нежностью, смешными рассказами расшевелить, отогреть заолодевшую душу девочки, повернуть её к себе — ничего у неё не вышло. Больше всего девочка жалась к Гликерии, в её комнате и в куклы играла, а вот спать ложилась в одну постель с бабушкой, хотя рядом стояла её кровать.

Но тут заплакал Вася, и Прасковья поспешила успокоить ребёнка, провожаемая долгим, отчуждённым взглядом Лизы, что не ускользнуло от внимательных глаз отца. Иван Васильевич оторвался от газеты и строго глянул на дочь. Глаза у Лизы блестели недетской суровостью, на смуглом лице застыло выражение внутренней борьбы, тонкая шея вытянулась, напряглась вслед уходящей мачехе.

— Что та-а-кое?! — Иван Васильевич отшвырнул газету.

Видя такое дело — вот-вот губернский регистратор схватится за ремень, Александр Степанович оставил Марка и подсел к раздражённому отцу семейства.

— Что в газетке-то пишут? Опять, поди, ухлопали кого?

Иван Васильевич пожал плечами и, удивлённый, почему какой-то пустяк так волнует старого казака, нехотя ответил:

— Да никого вроде... А вот пишут, что русский царь усмирил Венгрию. Лорд Пальмерстон выступил в защиту угнетённых венгров. Разогнан Франкфуртский парламент, ставящий себе целью объединение Германии.

— Да-а-а... Всюду бунты, бунты, как с прошлого года начались, так до сих пор Европу и трясёт. Как бы эта волна да в Россию разом не выплеснулась! Вся бунтовщицкая зараза в Европе накапливается. А впрочем, — атаман махнул рукой, — пусть они там хоть перережут друг дружку, нам-то что до той Европы?

— До Сибири не докатится, — убеждённо сказал Иван Васильевич и продолжал комментировать прочитанное в газете: — В ходе нынешней революции в Германии фабрикант Энгельс, друг Маркса, признался, что если марксистам придётся взять власть в этой стране, то самое малое, что произойдёт, — они будут физически уничтожены. Он предполагал: революционеры изберут себе именно эту долю. Так что события прожитых нами двух лет

привели к крушению революционных настроений в Западной Европе.

— Значит, очередь за Россией? Нет, довольно бунтов на святой Руси! Много жертв, много крови от них, и никакой пользы.

— А Ермак? Он ведь из бунтарей, — вставил Марк.

— Ермак — другое дело, он Сибирь завоевал для нас. Царь простил его. Ермака чтут в России. Говорят, во дворце графов Строгановых в Петербурге Ермакова пиццаль хранится.

— А в Тобольске над речкой Курдюмкой возвышается бронзовый памятник Ермаку, — подсказал Иван Васильевич, — и поставлен он более десяти лет назад.

— И декабристы за народ бунтовали, а что вышло? В Сибирь согнали, на каторгу, — сказал атаман. — Со многими приходилось встречаться мне. Положительно славные люди.

— Я тоже встречался, — хвастливо заявил Марк.

— Не тогда ли, когда я тебе уши надрал? — улыбнулся Иван Васильевич.

— Ну-ка, ну-ка... Оч-чень любопытно! — оживился атаман.

— Это было в году этак тридцать седьмом, — начал свой рассказ Иван Васильевич. — Жили на Благовещенской улице два ссыльных брата, государственные преступники Бобрищевы-Пушкины, Павел Сергеевич и Николай Сергеевич. Да вы знаете их! Оба служили в Казённой палате, это на Старобазарной площади, и слыли в городе превосходными врачами, причём бедноту Красноярскую врачевали совершенно бескорыстно. И хотя Николай Сергеевич был, как говорят, не в себе, однако тихое помешательство не вредило его работе, наоборот, он бывал собран, сосредоточен, ошибок не делал, одна беда — заговаривался. Речь вроде умная, правильная — и вдруг ни к селу ни к городу начинает вас убеждать в необходимости завоевания Турции, советует, как легче взять Константинополь... Около одиннадцати утра Николай Сергеевич имел обыкновение прогуливаться, и маршрут всегда один и тот же: Старобазарная площадь — уездное училище и обратно. Руки он держал всегда сзади, намотав на палец конец большого красного шёлкового платка. Другой конец платка волочился по земле. Так он ходил минут сорок, бормоча что-то себе под нос, и возвращался на службу, раскланиваясь с каждым встречным. Если попадался мальчик — бывало, остановится, дружелюбно потреплет по щеке и непременно скажет ему что-нибудь ласковое... И вот как-то спешил домой к обеду, я тогда уже был губернским регистратором, служил в управлении, — и что вижу? Из училища с криками и улюлюканьем высыпала стайка школяров, окружила бедного декабриста и ну дразнить его! Они скакали вокруг, показывали языки, смеялись, выкрикивали обидные слова и дёргали за конец волочившегося

по земле платка или за полы сюртука. Я возмутился, бросился на выручку — и тут увидел брата. Марк пытался ухватить конец платка, а бедняга Пушкин тщетно старался поймать кого-нибудь из озорников. Что произошло потом, я думаю, и без того ясно...

На этом Иван Васильевич оборвал свой рассказ и лукаво посмотрел на брата, как бы спрашивая его: «Ну как, уши-то не болят?»

Лиза слушала и не сводила с отца восхищённых глаз. Гликерия беззвучно смеялась, прикрыв рот ладошкой. Марк смущённо пощипывал усы. Атаман Александр Степанович подмигнул ему и насмешливо спросил:

— Ну и чем всё-таки дело кончилось?

— Потом, бывало, как встретимся, он всегда говаривал: «Милый Маркинъка, не связывайся с балованными мальчишками!» И каждый раз провозжал меня до дома Коновалова...

Наконец из кухни павою выплыла кухарка Дуня, держа на вытянутых руках гору душистых румяных шанежек на серебряном подносе. Следом степенно вышла Наталья Афанасьевна, раздумывая у печи. Быстрым взглядом окинула залу. — Чтой-то Параскевы не вижу, — заметила она и велела Лизе сбегать за нею.

Девочка опять напряглась, живой блеск в её широко раскрытых глазах погас, она неохотно сползла с дивана и, опустив голову, медленно направилась к выходу.

— Чего ты как сонная? Живо мне! — крикнул отец.

Через минуту в сопровождении Лизы явилась и Прасковья, все уселись за стол, и Наталья Афанасьевна, наливая себе в чашку чая, торжественно объявила:

— Ну вот, теперь вся родня в сборе, не хватает Василия Матвеича, но его, как гуливого кота, и днём с огнём не сыскать.

На правах хозяйки дома она сидела в торце стола, в центре всеобщего внимания, слева от неё располагался Иван Васильевич, на этот раз без сына на коленях, рядом с ним — Прасковья (без Катеньки); по правую руку всегда сидели рядышком Лиза, Гликерия, Марк. Атамана Александра Степановича, как почётного гостя, усадили напротив хозяйки. До того, как отцу привести в дом Прасковью Торгошину, Лиза любила сидеть у него на коленях, а когда подросла — то между ним и бабушкой, искренне считая, что после смерти её матери, Пелагеи Егоровны, место это по праву принадлежит ей. Но в дом вошла мачеха, и всё переменилось. Тогда Лиза и пересела к Гликерии.

Пили чай, как принято, из блюдечка. Пили не спеша и до тех пор, пока не прошибёт жаркий пот, а по всему телу не разольётся приятная истома и не разомлеет душа. Пили с сахаром вприкуску, мёд и варенье доставали серебряной ложечкой. Марк, любивший всё сдобное, нахваливал пирожки с

молотой черёмухой. Александр Степанович сокрушался, что от сдобы его разнесёт ещё пуще, а толстеть ему полковой доктор Смелянский не советовал, тем не менее одолел две шаньги и потянулся за пирожком. За чаем болтали о том о сём, вспомнили и про бабушкино видение с Феофором Кузьмичом, на что атаман отреагировал своеобразно: мол, в Сибири самозванцев разного рода, от Гришки Отрепьева до великого князя Константина Павловича,—пруд пруди. Потом поговорили о предстоящей службе Марка в Таштыпской станице Минусинского округа, среди нехристей-татар, которых велено свыше окрестить, и как можно мирно, без никакого насилия. Велено также из мест расположения пятой казачьей сотни вытеснить кочующих татар. Так что служба Марку не покажется сладкой.

Всем было интересно, только Лиза была вялой, задумчивой, ничего не ела и лишь тянула из фарфоровой чашки пустой чай.

Прасковья ласково заметила ей:

— Что же ты не ешь, доченька? Бери шаньги, мёд, варенье...

— И никакая я вам не доченька! Катька—доченька, а я не доченька, я чужая!—громко и зло выкрикнула Лиза и разрыдалась, выскочила из-за стола.

За столом установилось неловкое молчание. В напряжённой тишине оглушительно звякнула упавшая в блюдце чайная ложечка. Прасковья побледнела, затем смуглое лицо её пошло красными пятнами, глаза набухли синеватой влагой. Иван Васильевич угрожающе приподнялся и стал выдёргивать из штанов ремень.

— Как ты разговариваешь со старшими, негодная девчонка?!

— Сиди уж,—остановила его мать властным движением руки.—Надо было учить, кода поперёк лавки лежала, а теперь—поздно, вот-вот заневестится. Кто ж битую девку замуж возьмёт?

— Девочек бить—самое распоследнее дело,—сказал атаман, известный на всю губернию своей добротой, отзывчивостью.

Блестящий казачий офицер, будучи одно время красноярским градоначальником, он всех жалел, даже преступников, а к женщинам-арестанткам имел особое расположение. Сидящих на городской гауптвахте барышень, арестованных на пятнадцать суток за нарушение общественного порядка городским полицмейстером, Александр Степанович предписал на работы по уборке городских улиц не назначать, дабы не унижать их женского достоинства. После него, правда, женщин уже не щадили,

и можно было часто наблюдать такую сцену: под конвоем вместе с хулиганами, пьяницами, мелкими воришками какая-нибудь хорошо одетая барынька шла с метлой на плече подметать тротуары. — Девочек надо любить и баловать,—после некоторого молчания прибавил атаман.— А то что же получается? В полиции их порют, дома порют—и кого мы в итоге получаем? Озлобленное существо, жестокою по отношению к собственным детям страдалицу-мать. Она станет избивать своих детей, те, в свою очередь,—своих. И так до бесконечности. Эх, поротая-перепоротая Россия! Да когда же, наконец, отменят у нас телесные наказания? — Никогда!—убеждённо заявил Марк и стал доказывать, что хорошая порка иному только на пользу. — Ну-ну,—хмыкнул атаман,—хотел бы я посмотреть, что запоёшь, когда тебя пороть станут. А впрочем, тебя, как офицера, пороть не будут, а на гауптвахте, чувствую, насидишься... Больно ершист и непослушен!

— Плох тот казак, что на «кобыле» не лёживал и на «губе» не сиживал! Меня этим, любезный дядюшка, не испугаешь!

Между тем Иван Васильевич скоро успокоился. Видно, стыдно стало за свою вспыльчивость, и он с виноватым видом бормотал что-то вроде того, что и бить-то вовсе не собирался, а только пострадать непокорную дочь, и что будто бы пошутил так неуклюже—не к месту и не ко времени. Вину свою, надо полагать, он признал и, оправдываясь, дал слово и пальцем не трогать не только Лизу, но и всех остальных детей, однако ручаться, что в другой раз не взорвётся, он, конечно же, не сможет по причине такого уж крутого характера, коим наделил его родной батюшка Василий Иванович, туруханский сотник. И тут все вдруг вспомнили, как этот самый сотник во время охоты, осерчав на коня, откусил ему ухо.

— Ох и характерец был у покойного, царство ему небесное,—сказала Наталья Афанасьевна и вздохнула, вспомнив своего рано ушедшего из жизни строптивного супруга.—И все-то вы, Суриковы, друг дружку стоите, все горячие и непокорные, прямо беда с вами. Вот и внученька—тятя родимый... Каковы веки, таковы и человеки—Ермаку Тимофеичу родня!

— И стрельцам государевым!—вставил всезнающий Марк.

— Ещё чего!—вскинулась мать и осуждающе посмотрела на «седьмого сына». — Были мы люди вольные и пришли сюда, в Сибирь-матушку, по собственному почину. А стрельцы те—царём посланные на вечное поселение, так что ставить нас рядом с какой-то посельгой негоже, сын...

Сама же она, гордясь своей девичьей фамилией—Черкасова, была в твёрдом убеждении, что своим происхождением обязана станице Черкасской³, столице мятежного Дона, славящегося

3. Станицу Черкасскую затопляло ежегодно весенним половодьем, и атаман Платов столицу Войска Донского перенёс на другое место. Старая станица стала называться Старочеркасской, а новая—Новочеркасской. Там и воздвигнут графу Платову бронзовый памятник.

вечными смутами и великими разбойниками, отчего и казаков там всех подряд звали черкасскими. А родоначальником фамилии не без уверенности считала Ивана Александрова по прозвищу Черкас, которого Ермак Тимофеевич летом 1583 года послал в Москву с донесением о взятии Сибири. Не губернией, не побеждённым царством, а целым материком поехал к царю Ивану Грозному бить челом Ермаков посланник! «Вот тебе и сверхцарский подарок!» — любил повторять сию достойную фразу Афанасий Романович Черкасов, потомственный казак, слышавший её от своего отца, а тот, в свою очередь, — от своего; и так из поколения в поколение передавался этот рассказ, в таком виде и дошёл он до Натальи Афанасьевны. Так что было ей чем гордиться.

— И верно, с Дона мы выходцы, — подтвердил атаман Александр Степанович и вышел из-за стола, стал собираться домой. — Потому и форма у нас такая же, как у дончаков: синий цвет мундира — это Дон, красный цвет лампасов — воля...

— А пошто воля така маленька, всего-то две полоски на штанах? — спросила Дуняшка, подавая атаману шинель, папаху, башлык.

— Во-первых, не штаны, это у вас в деревне штаны, а у нас, казаков, — шаровары. А во-вторых, твои полоски называются лампасами. Поняла, пигалица любопытная?

— Угу. А пошто таки узеньки-то?

— Были ещё уже — на один палец. Когда государь император переводил казаков в регулярные войска, то сказал: что касается мундира — пускай будет Дон, а воли вам и на два пальца хватит. Стало быть, на палец воли добавил.

— Чё пристала-то к человеку? Ступай на кухню! — ревниво прикрикнула Наталья Афанасьевна, и девушка покорно удалилась. — А ты, батюшко Александра Степаныч, не шибко-то потакай деревне-матушке, не её это дело — сколько нам воли дадено, — сказала она атаману, и тот, как всегда в таких случаях, добродушно отшутился:

— А что такого? Интересуется — ну и пусть... Была в Отечественную войну девица-кавалерист, а может, наша Дуняша станет девицей-казакком... Чем чёрт не шутит! А?

— Тебе всё шуточка, а она эвон вовсе от рук отбилась, выпучит глаза-те и стоит смотрит, а пироги горят...

— Да не горят, не горят, я же чую! — раздался Дуняшкин голос из кухни, приведя атамана в неопиcуемый восторг.

— Вот видишь, она — чует! — захотел Александр Степанович. — И не только чует, представляете? Она всё слышит! Удивительная девушка!

Пироги на противне в печи действительно не горели, тут уж стряпка права, хозяйка упрекнула её, конечно же, зря. И так же напрасно обвиняла Дуняшку в лени, в том, что от рук отбилась,

а между тем «деревня-матушка», медлительная на первый взгляд, всё делала быстро и аккуратно. Пироги же предназначались Марку в дорогу, в его путешествие по земским трактам, неизвестно сколько времени длившееся от подставы к подставе, через Ачинск и Минусинск, аж до самой границы с Китаем. И в том, что деревенская девка — «удивительная девушка», полковой атаман Александр Степанович не погрешил против истины: и Дуняшка вот уже которую зиму служит у Суриковых, привыкла к хозяевам и нанимается только к ним по окончании осенне-полевых работ; и сама Наталья Афанасьевна хоть и ворчит, но другой стряпки, исполняющей ещё и обязанности горничной, пожалуй, найти ей было бы не так просто.

Уже ступив ногой на порог, прежде чем толкнуть плечом дверь, Александр Степанович спросил Марка, вышедшего к нему навстречу, когда он вознамерен отправиться в путь, и тот ответил, что, может быть, денька через три, всё будет зависеть от того, как скоро полковая канцелярия выдаст ему на руки соответствующие документы, а полковой казначей — денежные суммы, отпускаемые от казны офицерам на удовлетворение всех их потребностей.

— Тот край мне совсем не знаком, — сказал Марк, — и хотелось бы знать, сколько потребуется времени, чтобы преодолеть весь этот путь от Красноярска до Таштыпской станицы.

Атаман ответил не сразу, подумал, покусал тронутый сединой чёрный ус, пощурился, обозначив сеточки морщин вокруг глаз, после чего заговорил с твёрдым нажимом в голосе:

— Считай: от Красноярска до Ачинска — сто шестьдесят семь вёрст, это десять часов быстрой езды. До Минусинска — более трёхсот вёрст — ещё двадцать часов. Потом до Таштыпской — двести двадцать вёрст... Хорошо, если не будет задержки со сменными лошадьми на подставах, то суток четверо, я думаю, ты будешь в пути. Командировочные получишь на пять суток. На продовольствие тебя поставят на месте. С лошадью, думаю, у тебя проблем не будет: купишь там у Чирки Картина — у него несметные табуны; русских казаков он обожает, может и за бесценок отдать, может и подарить. На него как найдёт: то скупердяй до бесчувствия, то щедрый как Бог... А Карку не бери, не надо, пускай свой пенсион при хозяйке отбывает как память о туруханском сотнике, да и без лошади в хозяйстве нельзя — дров подвезти, сено... И вообще, на вершнем в эту пору куда-то ехать — безумие! Лошадь подковы сотрёт, ноги собьёт, да и самому побережись бы надо — кашляешь. Простыл-то где?

— А, ерунда, — отмахнулся Марк.

Через три дня он уехал. Была середина второго месяца осени — октября, а по сибирским

понятиям — последнего, потому что зима здесь начинается рано. Это в Минусинской котловине, куда едет Марк, ещё держится бабье лето, это там ещё можно увидеть цветущие скабиозы, донник, а в Красноярске уже властвовала зима. Снег, что выпал на неделе, уже повывуло со всех улиц, земля стала каменной, и колёсные экипажи грохотали по дорогам, как по брусчатке. По Енисею шла густая шуга — значит, вот-вот река станет.

В полковой канцелярии дали Марку список с приказа о назначении его командующим пятой казачьей сотней, подписанный исправляющим должность полкового адъютанта сотником Суриковым Василием Матвеевичем, двоюродным братом Марка. Затем у казначея он получил положенные ему денежные оклады: жалованье на месяц вперёд, столовые и квартирные суммы, порционные деньги как командировочному, а также прогонные — на уплату за проезд на лошадях по почтовым трактам или на уплату обывателям за подводы. Напоследок вышел к нему и сам адъютант, в отутюженном чекмене со свисающим с правого плеча аксельбантом, перевитым золотой канителью, темнолицый, скуластый, с густыми усами, как два вороньих крыла, отливающими синевой. И прозвище Василий Матвеевич носил соответствующее — Синий Ус. Братья обнялись, будто не виделись, по крайней мере, лет десять, и Василий Матвеевич подал Марку ещё одну бумагу:

Билет

Предъявитель сего, Енисейского казачьего конного полка хорунжий Марк Суриков, следует из города Красноярска в Таштыпскую станицу Минусинского округа, в место своего прохождения внешней службы, а потому все градския и земския полиции благоволят давать ему свободный пропуск до означенной станицы, по прибытии куда обязан он явиться к тамошнему станичному начальнику. Дан в губернском городе Красноярске, за подписом моим и приложением полковой казённой печати.

В правом углу, внизу, очень чёткая подпись полкового атамана майора Сурикова, рядом, чуть ниже, менее чёткая — его адъютанта, а в левом углу, внизу, чернел отгиск полковой печати, круглой, величиной с пятак, на котором чётко выделялись двуглавый орёл на фоне двух красноярских гор — Такмак-скалы и Ермак-скалы — и надпись: «Енисейскаго казачьяго коннаго полка».

— Это твоё «Проходное свидетельство», не потеряй, будь бдительным и на постоялом дворе, и на станциях, кабы какой варнак его у тебя не стянул. — Да уж постараюсь, — пробормотал Марк, засовывая бумаги за подкладку шинели, в потайной карман. — Красивая у тебя форма, брат, — заметил он, разглядывая стройную фигуру адъютанта,

которому так к лицу и синие шаровары с красными лампасами, и тёмно-зелёный чекмень с серебряными газырями, и мягкие погоны-ватрушки с вензелем «Е. П.» на плечах. — Новое «Положение об Иркутском и Енисейском казачьих конных полках» я читал, а вот новую форму вижу впервые. — Ничего, скоро и у тебя такая же будет. Пока только штабные получили да начальство повыше нас, остальные — потом. Как дома-то дела? Все живы-здоровы?

— Матушка прихварывает, еле ходит. Как прошлым летом с паломниками от Феодора Кузьмича вернулась, так и обезножела. Но виду не показывает, изо всех сил держится.

— А казачок?..

— Растёт казачок, да таким разбойником, что только диву даёшься! Вчера угольком стену в кухне каракулями расписал, ну, отец ему, конечно, ремня всыпал и в угол поставил. Стоит, сопли на кулачок мотает и молчит, не плачет! — Марк хихикнул, потряхнул головой — видно, приятно ему рассказывать о племяннике. — Настоящим казакom вырастет тёзка твой, господин сотник! Вот вернусь — начну обучать его верховой езде, джигитовке. . . Помнишь, как нас с тобой дед, Иван Петрович, обучал? Век не забуду его науку!

Полковой адъютант вызвался проводить Марка до деревни Бугачёвой, что в двенадцати верстах от Красноярска, и они на атаманской коляске, стоявшей у крыльца, с разрешения Александра Степановича доехали аж до села Арейского, откуда ежегодно в девятую пятницу после Пасхи организуется крестный ход в Красноярск — через Воскресенский собор на Караульную гору, к часовне Параскевы Пятницы. Здесь братья опять обнялись, и Василий Матвеевич, пожимая Марку руку, посоветовал ему нанести визит окружному начальнику, князю Кострову, в Минусинске, человеку умному, образованному, историку и этнографу, окончившему юридический факультет Московского университета и оказавшемуся в Сибири по не зависящим от него обстоятельствам. — Князь Николай Алексеевич — удивительная личность, — сказал сотник, — мы недавно познакомились. Бездна знаний, масса впечатлений, наблюдений, рассказов!.. Кстати, почти наш ровесник. Настоятельно рекомендую! Он тебе про всё расскажет: и про Таштып, и про Минусинск, и про здешних татар, коли интерес возникнет. . .

2.

Наталья Афанасьевна Сурикова умерла двадцатого мая 1852 года. Так всё и произошло, как предсказал блаженный Феодор Кузьмич в тот заснеженный октябрьский вечер, святой образ которого одна только она, старая казачка, и увидела через окно. Старец был в длинной белой рубахе, перехваченной в талии пояском, — точно такой же, каким она

узнала его ещё раньше, на богомолье. Он сказал ей: «Зиму переживёшь!»—и этой зимы хватило, чтобы достойно подготовиться к смерти. Она умерла в день памяти святого Фалалея—врача Алексия, митрополита московского. Накануне исповедалась и причастилась.

В России установлены церковью поминальные дни покойника: третий, шестой, девятый, двадцатый и сороковой. Отсчёт ведётся с точной даты смерти, записанной в синодик. И все эти дни положено отмечать. «Бог не попустил ничему быть в церкви своей небогупотребному и бесполезному, но устроил в ней небесные и земные таинства и повелел совершать их»,—говорится в уставе православного богослужения. Но в Сибири отмечают лишь третины, девятины и сороковины.

На девятый день—к девятинам, когда в продолжение шести дней душа Натальи Афанасьевны созерцала радости праведных, а потом вознесли её ангелы снова на поклонение Богу,—неожиданно приехал в Красноярск зауряд-хорунжий Марк Суриков. Всё-таки вызвал его полковой атаман Александр Степанович личной депешей—не на похороны, а раньше, когда старуха ещё была жива,—чтобы сын простился с матерью. Но то ли почта по дороге застряла, то ли ещё какая задержка случилась, только Марк не успел даже на похороны.

На девятины сошлись только самые близкие покойной. Марк приехал как раз вовремя.

—Как только я получил депешу, так сразу и выехал, назначил за себя командовать сотней старшего урядника Тита Чанчикова,—рассказывал он.—До Минусинска скакал, чуть лошадей не запалил, оставил их у князя Кострова. От Минусинска до Усть-Абаканска сам князь доставил меня в своём экипаже. Там пришлось ждать, пока сплотят плот люди купца Ананьи́на. Енисей-батюшка домчал меня до Красноярска, да вот... не успел я!

На кладбище он встал на колени перед могилой, перекрестился и заплакал.

—Прости меня, матушка родимая, что не смог проводить тебя в последний твой путь!..

Потом он долго кашлял, катаясь по земле. И когда наконец успокоился, встал, отряхнулся, вид его был жалок: лицо сухое, бледное, с синюшным оттенком, щёки ввалились, карие глаза болезненно блестели. «Как он постарел, несчастный мальчик!»—подумала Прасковья, разглядывая деверя. И вправду, за этот год Марк сильно изменился и в свои двадцать три года выглядел на все тридцать: в чёрных усах и на висках просверкивала на солнце ранняя седина, под глазами набухли серые мешки, на высоком лбу просеклись тёмные морщины.

—Ничего, брат, ничего, крепись,—неопределённо пробормотал Иван Васильевич, наливая в стаканы водку.

Прасковья вынула из корзинки закуску: солёные огурцы, блины, кутю в чашечке и кисель в бутылке, несколько ломтей чёрного хлеба.

Братья выпили, пожелав покойной матери царства небесного, Прасковья лишь помочила губы. Остатки вылили на могильный холмик, на котором уже начала пробиваться трава. Прасковья достала блюдечко, положила в него ложку кутю и три блина, поскольку Бог троицу любит, и пристроила его под крестом на разровненном ею пятачке земли. Иван Васильевич поставил рядом стакан с водкой, сверху накрыл куском хлеба—это чтобы душа покойницы, которая всё ещё витает где-то рядом, видела, что её помнят, и чтобы какой-нибудь бродяга выпил бы за помин этой души.

От спиртного Марк ожил, повеселел и стал рассказывать, как ему хорошо там, в Таштыпе, служитя, и он бесконечно благодарен дядюшке Александру Степановичу, пославшему его туда. Рассказывая, он то и дело повторял: «У нас в Таштыпе» или «А у нас в Таштыпе»,—как если бы там родился, вырос и вот после долгой разлуки воротился назад.

—У нас в Таштыпе великолепная кедровая тайга,—мечтательно говорил Марк, отщипывая от блина маленькие кусочки и бросая их в рот.—Заготавливаем орехи, масло сбиваем—дело выгодное и для нашей сотни, и для полковой казны. Нынче пойдём на Саяны, к пограничному знаку, и товар с собою берём на продажу иноземцам. Любят они наше масло. А в кедрачах в изобилии—белка, изюбр, косуля и другие звери, есть и боровая дичь. Можно и капитал нажить. Только не ленись.—Ну а со здоровьем-то у тебя как?—поинтересовался Иван Васильевич, обеспокоенный худобой брата, его тяжёлым, изнуряющим кашлем.

—А что здоровье! Вот выпью—и вроде как полегчает. У нас в Таштыпе один только воздух чего стоит! Там почему-то мне легче дышится.

—Живёшь-то как?

—Хорошо живу, весело. С казаками лажу, татары меня любят. Ни в чём не стеснён пока. Первое время скучно было, а сейчас привык. Так что на жизнь я не жалею, брат!

—И татарочки, поди, там есть славные?—вставила Прасковья.

—Есть, конечно,—засмутился Марк.

—А станица-то большая?

—Как вам сказать? Таштып—это казачий форпост, а станицей он стал именоваться совсем недавно...

Для Ивана Васильевича это сообщение не было новостью: в Казённую палату пришла бумага из Иркутска, и он, коллежский регистратор, одним из первых с нею ознакомился. Приказом генерал-губернатора Восточной Сибири, говорилось в той бумаге, бывшие казацкие форпосты станичных казаков Шадатский и Кибезский

переименованы в казачьи станицы Каратузскую и Суегукскую. Документ подписан генерал-лейтенантом Н. Н. Муравьёвым двадцать третьего марта 1852 года. А тремя днями позже другая бумага предписывала: бывшие казачьи форпосты станичных казаков Таштыпский и Саянский впредь именовать казачьими станицами Таштыпской и Саянской. Реформирование Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв начал с укрупнения и усиления казачьих полков «на случай могущих встретиться при занятии Амура надобностей». На Амур же были выведены губернские пехотные батальоны.

Ещё в прошлом году, по получении в Сибири «Положения об Иркутском и Енисейском казачьих конных полках», утверждённого четвёртого января, муравьёвская реформа действовала уже вовсю. Для усиления, например, Енисейского казачьего полка были опрошены крестьяне «заранее намеченных местностей, не пожелают ли они перечислиться из государственных крестьян в казаки». После некоторого колебания деревни Дрокина, Торгошина, Базаиха, Мининская, Бугачёвская, Солонцы, Еловка, расположенные в Красноярском округе, изъявили своё согласие и были перечислены в военное ведомство — в Енисейское казачье войско, управление которым сосредоточено было в городе Красноярске. Здесь же располагалась и первая сотня полка. В казаки была также обращена и часть городских мещан. Красноярская станица имела в своём составе сто шестьдесят дворов с населением триста семьдесят девять душ мужского и двести семьдесят душ женского пола...

— За четыре года управления Восточной Сибирью генерал-губернатор Муравьёв сделал немало, — сказал Марк.

— Да, размахнулся наш генерал-губернатор! — прибавил Иван Васильевич. — Умная голова! Это же надо: тихо, мирно — и мещан в казаки! А крестьянам, понятное дело, было не по вкусу, но ведь согласились же! Гениальная голова!

И дома, за столом, во время поминовения, выпив водки, Марк опять плакал и говорил, что без матушки он вовсе теперь сирота и что сам он долго, наверное, не протянет: один татарский шаман посмотрел на него и сказал, что жить ему осталось четыре года.

— Вздор! Всё вздор! — вспыхнул Иван Васильевич. — Ни один шаман и никакая гадалка не могут знать, сколько лет жизни нам Богом отпущено! И думать об этом, дурак, не смей, понял?

— Прости, брат! — Марк вытер слёзы, улыбнулся, пряча глаза.

В Красноярске Марк пробыл три дня. И все эти дни дети не отходили от него ни на шаг, прося дядю то почитать книжку, то покачать на ноге, то покатавать на жеребце Карке.

Только Лиза оставалась грустна и смотрела на их ребяческие шалости со стороны печальными глазами. Потеряв бабушку, видно, и она, как дядя Марк, ещё сильнее почувствовала себя одинокой.

Катя и Вася своими играми, капризами, шалостями, на которые была так богата их детская фантазия, немного отвлекли Марка от грустных мыслей, и он по-прежнему шутил, даже бывал остроумен. Однако Прасковья, отвыкшая от его грубоватых острот, чаще всего обижалась и как-то даже оскорбилась, когда деверь назвал её потомком Чингисхана.

— Да чё ж ты, батюшко Марко Василич, выдумывашь-то? — сердито выговорила она ему своё несогласие. — Пошто ж это мы от нехристей-то, всяких там немых туземцев произошли? Такого не может быть!

— Я и не говорю — от нехристей, а всё же... непременно чужая кровь примешалась. Вот матушка сказывала...

— Не надо покойницу поминать всуе, душа её ещё над нами летат, всё слышит.

Марк умолк, замкнулся в себе и больше не заговаривал на эту тему.

Перед отъездом в свою сотню он ещё раз побывал на кладбище, попрощался с дорогой могилкой матери, потом сходил в полковую канцелярию: отметил командировочное предписание, получил новенькое офицерское обмундирование, выложив за него кругленькую сумму.

Новая форма казачьей одежды, утверждённая положением 1851 года, очень Марку понравилась, особенно чекмень с чешуйчатыми эполетами на плечах, пристёгнутыми белой металлической пуговицей. Эти парадные эполеты с вензелем «Е. П.», красным просветом на серебряном поле и двумя звёздочками сразу же казаки в шутку прозвали «ватрушками», они и впрямь походили на домашнюю сдобную булку.

Шитый из тёмно-зелёного сукна чекмень, с красным воротником и тёмно-зелёными обшлагами, застёгивающийся изнутри металлическими крючками, плотно облегал стройную фигуру молодого офицера и даже по длине оказался впору — не доставал до колен ровно пять вершков, как и указано в положении... Чекмень был снабжён двумя патронниками на груди, слева и справа, по типу кавказских газырей; чёрные, бархатные, с внутренними карманами, они обложены были вокруг широкой серебряной тесьмой; втулки газырей выточены из карельской берёзы, с высеребрёнными головками, на восемь патронов каждая. Вместо обычного казацкого ремня из чёрной кожи тонкую талию Марка обхватывал пояс из серебряной тесьмы, подшитый чёрным сафьяном, с серебряными же — двойной и малой — пряжками, наконечником и гайкой, а через плечо перекинута

портупея, и тоже из серебряной тесьмы, без про- света, и также подбитая чёрным сафьяном.

Серого сукна шаровары, с кожаными стре- менами и красной выпушкой, заправлялись в блестящие хромовые сапоги с железными шпора- ми; сапоги хрустко поскрипывали, шпоры сочно позвякивали, издавая тонкий звон, и было видно, что Марку это нравилось. Обязательным прило- жением к сапогам выдавались и полусапожки, носимые с шароварами навывпуск.

К форме полагались чёрный шёлковый гал- стух, белые замшевые перчатки, обыкновенный кавалерийский темляк, чушка для вкладывания пистолета, считая из чёрного сафьяна, с двумя ушками, со строчкой по краям, и сам пистолет— огнестрельное оружие, употребляемое в кавале- рии; чушка с пистолетом крепится слева на поясе, там же, где и казачья шашка.

Оглядев себя в зеркало, хорошо ли подогнаны чекмень и шаровары, Марк похвалил Прасковью и Лизу, что постарались на славу, и стал пример-ять шинель.

Офицерского покроя шинель, серого сукна, с таковым же серым воротником и красными на нём клапанами, застёгивалась на белые гладкие металлические пуговицы, ярко блестевшие на солнце. Марк подвигал плечами, сделал руками движения, будто машет шашкой,—нет, не стес- няет, не сковывает шинель,—и остался доволен. Надев шапку и чуть сдвинув её к правой брови, он придиричиво всмотрелся в зеркало, в собственное отображение. Шапка тоже была особенная: из красного сукна, верх круглый, стёганный на вате, обложен вокруг широкой серебряной тесьмой и переложён четырьмя полосами узкой—серебря- ной же—тесьмы. Околыш казацкой шапки—из чёрной мерлушки, подбородник—из чёрного ко- жаного ремня.

Сняв шинель и шапку, Марк примерил фуражку. Сшитая из тёмно-зелёного сукна, с красным око- лышем и красной выпушкой поверху, с чёрным блестящим козырьком, она сидела на голове плот- но и немного сдавливала надбровные дуги—ну да ничего, обносится.

Похрустывая сапогами, Марк прошёлся по ко- нате, испытывая некоторую неловкость от ещё не обмятого обмундирования, и, придерживая шаш- ку, сделал несколько строевых приёмов—чётко, по- уставному, повернулся через левое плечо, при- стукнул каблуками, отозвавшимися мелодичным звоном шпор, и, печатая шаг, направился к выходу. — Чисто генерал! — похвалила Прасковья.

— Это вам не голубые мундиры жандармов! Не полиция со стоячим красным воротником! Ка- зачья форма—лучшая из всех! Это вам не сол- дат—кислая амуниция!—прихвастнул Марк, а про себя тоскливо подумал: вот посмотрела бы на него сейчас родимая матушка!..

Уезжая, он попрощался с каждым домохозяином в отдельности: обнял брата, поцеловал в щёчку его жену, поцеловал протянутую руку Лизе, отчего она смутилась и покраснела, взял на руки Катю и пощекотал её усами. Васю он отыскал наверху, в комнате постояльцев: тот сидел на полу и что-то рисовал на клочке серой бумаги. Марк опустился рядом на корточки и в неумелом детском рисунке сразу узнал то, что отдалённо напоминало скачу- щего коня, а на нём—казака с пикой в одной руке и саблей в другой. И этот рисунок, и это поведение мальчика, уединившегося в своём творческом пор- рыве, растрогали Марка до слёз. Он сгрёб Васю в охапку и, задыхаясь от волнения, от болезненной стеснённости в груди, от любви к этому тёплому родному существу, дрожащим голосом произнёс: — Рисуй, рисуй, милый ты мой казачок! В другой раз я тебе карандаши и бумагу привезу. — Дядя, это я тебе нарисовал. На память,—сказал мальчик, польщённый похвалой.

Он уже говорил чисто, не присусыкивал, как, бывало, посмеивалась над ним Лиза, поддразни- вая: «Зелебёнок с колокольчиком!» Но вот оканье, на которое раньше никто не обращал внимания, осталось как отголосок далёкого-далёкого родства с первыми завоевателями Сибири.

— А ты когда приедешь, дядя?—спросил он, об- нимаемая Марка.

— Не знаю, Вася, но я напишу тебе письмо...

— Я ещё читать не умею.

— Научись. Лиза тебя научит, она грамотная.

— А когда бабушка вернётся?

Марк опешил.

— Она не вернётся, Вася, она умерла.

— Совсем-совсем?

— Совсем-совсем. Тело её закопали в землю, а душа осталась; она с Богом сейчас разговаривает. Вот они поговорят, и Бог решит, куда бабушкину душу отправить—в ад или в рай.

— Рай—это на небе, я знаю, туда все хотят, там сады, реки и всегда лето! Там все святые собрались и живут припеваючи...

— В сороковой день Божий судия и определит ей место в раю. Там хорошо ей будет, Вася!..

3.

Из города Минусинска в Таштыпскую казачью станицу ведёт земский тракт. Он идёт правым берегом Енисея через сёла Лугавское, Шушен- ское, Каптыревское, пересекает реку у форпоста Означенный и оттуда степью через село Бейское направляется к Таштыпу. Это последняя казачья станица в Минусинском округе. До китайской границы всего двести вёрст.

Чтобы видеть все прелести дикой природы этого райского уголка Сибири, нужно ездить по тракту летом, а потом—золистую осенью, а ещё лучше—весной, когда всё кругом цветёт

и благоухает. Известный золотопромышленник Николай Васильевич Латкин тоже восхитился однажды. «Благодатные степи, — писал он, — покрыты роскошной растительностью, благоухающими цветами и питательными травами, представляющими превосходный корм для многочисленных стад проживающих здесь оседло или отчасти кочующих минусинских татар. Кроме того, степи эти покрыты местами солончаками, горько-солёными и солёными озёрами».

— Господин Латкин — молодой человек, ему едва ли за двадцать, — вознамерился описать наш округ, а читал его рукопись, — говорил князь Костров своему спутнику, казачьему офицеру, ехавшему из Красноярска в Таштып, к месту своей службы. — В отличие от Степанова, автора известной книги, всё-таки скупко отзывается об этих местах начинающий краевед. Конечно, он был наездом тут, многого и не видел. А я здесь уже несколько лет чиновником. Как приехал после окончания курса юридического факультета в Московском университете, так и служу по административной части, и мне обидно читать и слышать дилетантские рассуждения. И решил я составить обширную статью, в которой бы отразились русская и туземная этнография, статистика, история, экономика, география Минусинского края. Вот ездю, мотаюсь по улусам как учёный-этнограф и как окружной начальник. Меня тут все инородцы знают, а я знаю их. Даже язык выучил. Не совсем, правда, хорошо, но довольно сносно могу общаться. Не возражаешь, Марк, если я провезу тебя по улусам, заскочим и в Абаканскую инородческую управу?.. — Отчего же? Пожалуйста! Ты хозяин, а я твой гость, — сказал Марк Суриков, поёживаясь. — Только чертовски холодно в твоей кибитке.

— В доме управы отогреемся!

Зауряд-хорунжий Марк Васильевич Суриков, отбыв наказание на гарнизонной гауптвахте с исполнением обязанностей караульного начальника, возвращался в Таштыпскую станицу, где он командовал стоявшей здесь пятой сотней Енисейского казачьего конного полка.

День быстро угасал. Пасмурное небо нахмурилось, и вскоре густыми хлопьями повалил снег. «Удивительно, март — месяц весенний, а здесь всюю хозяйничает февраль», — подумал Марк, привычно кутаясь в воротник шинели. И, как бы подслушав его мысли, князь кивнул на залепленное снегом окошечко:

— И снег, и метели, и ураганные ветры здесь, в Абаканской степи, явление обычное...

Абаканская инородческая управа находилась в ста верстах от Минусинска — это зимним путём, и хорошо, что нынче выпало много снега, а то пришлось бы ехать на колёсах.

Сначала зимник шёл протокою Енисея, где стоит Минусинск, но в пяти верстах от него повернул

в самое русло Енисея, закованного в ледяной панцирь. Правый берег могучей реки нависает громадной каменной стеной, засыпанной снегом, левый более полог и лесист. Проехали Синий камень — самый высокий зубец этой стены, миновали острова при впадении в Енисей реки Абакан, и наконец мелькнул впереди огонёк из окна домика Абаканской инородческой управы.

— За что тебя наказали, Марк? — князь повернулся к молчаливому спутнику, то и дело покашливающему в кулак. — Ты меня извини, можешь не отвечать, если не хочешь, а спрашиваю так, по привычке: от природы я очень любопытный. Ездю повсюду и всех расспрашиваю...

С минусинским окружным начальником Николаем Алексеевичем Костровым Суриков познакомился в тот год, когда был назначен в Таштып командовать сотней. Князь тогда ещё служил земским заседателем. Несмотря на разницу в возрасте в шесть лет, они как-то сразу сошлись, подружились, и с тех пор Марк, едучи через Минусинск, останавливался в доме Костровых. Ему нравилась эта скромная семья своей приветливостью, открытостью, честностью, граничащей с простецкой наивностью, отчего и сам хозяин, и его супруга, бывало, попадали в неловкое положение.

Жена князя — дочь управляющего Петергофским дворцовым правлением, артиллерии подполковника Фёдора Андреевича Бердяева, Маша, — была миловидной и умной женщиной, хорошего воспитания и изысканных манер. Она была на год старше мужа, однако выглядела почти девочкой, даже беременность не портила её лица. Умение со вкусом одеваться, носить причёску, высоко держать голову, любезно раскланиваться, заразительно смеяться, изображать — когда надо — удивление, испуг, радость, восторг или печаль, — всё это делало её неподражаемой. По-разному относились к Марье Фёдоровне минусинские обыватели: одни считали её ветреной, другие — ещё не созревшей для супружества, третьи — кокеткой, место которой в заведении для девиц лёгкого поведения. А муж в ней души не чаял, говорил, что досталась она ему «с большим боем» и что он, князь с ничтожным чином губернского секретаря, всё же повёл её под венец. Венчание состоялось в Спасском соборе города Канска, где в то время служил Костров, и поручителем по невесте был её родной брат, окружной стряпчий коллежский регистратор Сергей Бердяев.

В том же сорок шестом году, в ноябре, молодожёны переехали в Минусинск, к новому месту службы князя Николая Алексеевича. И тут они узнали, что вдова покойного декабриста Мозгаевского Авдотья Ларионовна сильно бедствует с семерыми детьми одна и уже готова пойти на любую крайность. Друзья-декабристы не оставили безутешную вдову без внимания: шестилетнюю

Поленьку⁴ взял к себе на воспитание декабрист Басаргин, а восьмилетнюю Леночку⁵, девочку энергичную и смышлёную, — супруги Костровы, у которых к тому времени уже была своя дочь Варенька. Остальные дети-сироты — Павел, Валентин, Прасковья, Александр и Виктор — оставались при матери, получающей хоть и мизерное, но всё же пособие из кассы взаимопомощи, организованной декабристами ещё в Петровском Заводе. — В хорошее летнее время встречаются по дороге такие ландшафты — это надо видеть! — князь Костров посмотрел на Марка. — Что молчишь, хорунжий?

— Думаю.

— О чём же твои думы?

— Как ответить, за что меня наказал командир полка.

— Ну и за что же?

Марк переменил позу, передёрнулся, сгоняя вползший под шинель озноб, надвинул на уши папаху.

— Я и сам не знаю за что, — ответил он мрачно. — Придирается. При дядюшкином атаманстве я был примерным офицером, при Мазаровиче рожей не вышел. В приказах пишет: «...замечен мною в медленном исполнении своей обязанности...» — или: «...продолжал быть неисполнительным...». И всякий раз — арест, гауптвахта. В последнем полученном мною списке с приказа велено было приехать «на собственный свой счёт» в Красноярск, где был арестован и посажен. Я уж эти приказы наизусть выучил! — Марк сухо покашлял, потом тихо рассмеялся. — Вот хотя бы самый свеженький. Казак Байкалов наряжен был дежурным по полку и по моему приказанию принял под арест младшего писаря полкового управления урядника Терентьева. Мазаровичу об этом не доложил — то ли забыл, то ли на меня понадеялся, за что и предписано было сотнику Переслени наказать Байкалова розгами.

— Ну и?

— Байкалов получил пятьдесят ударов, а я отделался строгим выговором.

Первую от Минусинска станцию они одолели быстро, менее чем за час.

В доме Абаканской инородческой управы несколько чистых комнат — и светлых, и тёмных — просто роскошь в степи. Князь пытался объяснить: — Несколько лет тому назад здесь сосредоточивалось управление татар Качинского родоначалия под названием Качинской степной думы. Но так как качинцы кочуют на огромнейшем пространстве между Абаканом и Юсом, то признано удобным вместо одной думы учредить две инородческие управы: одна — Абаканская, другая — Юсская, на реке Юсе.

В доме шло общественное собрание, на полу сидело около пятидесяти инородцев, и никто на

приезжих не обратил внимания. Спорили. Шумели. Курили табак.

— Толкуют о разных предметах, а по окончании, конечно, все порядком погуляют, — сказал князь, посмеиваясь. — Ну, отогрелся? Поехали. Наш путь — к Сагайской думе, Марк!

Ехали вдоль левого берега Абакана. По льду здесь никто не ездит — река сплошь зияет полыньями.

— «Абакан» по-русски — «медвежья кровь», — пояснил князь. — У татар есть предание, что в этой реке утонул богатырь по имени Абакан, знаменитый истребитель медведей. Река состоит из Большого и Малого Абаканов, первый вытекает из болот близ Телецкого озера на восточном склоне Алтайских гор, называемых в том месте Горбусскими, а второй — из острогов Саянского хребта, близ китайской границы. Если бы какой даровитый художник решился пробраться в эти безлюдные места, соседние с истоками Абаканов, можно сказать наверное, что он не раскаялся бы. По крайней мере, известный английский пейзажист Аткинсон уверял, что ему редко где приходилось видеть подобные места, несмотря на многочисленные его путешествия. Здесь можно встретить всё то, чем мы привыкли любоваться в швейцарских ландшафтах: и покрытые снегом горы, и зелёные, испещрённые цветами долины, и бурные водопады, и зеркальные, неподвижные озёра... Всё это величественно и грандиозно!

Татарин-ямщик, умеющий скакать на лошади только верхом, и причём без седла, неуклюже впрыгнул на козлы зимней кибитки. Сел по-турецки, поджав под себя ноги, крикнул: «Гайда», — и понеслись кони во весь опор, обдавая его облаками снежной пыли.

Дом Абаканской инородческой управы потонул в снежной замети, а вскоре и вовсе исчез из виду.

При двадцатиградусном морозе вся эта обширная степь казалась без предела белой. Даже горы, окружающие степь со всех сторон и цветущие летом, были окутаны туманом. Лишь левее синела гора Изых, у подошвы которой в Абакан впадает первый её приток — Уйбат, а направо, вдалеке, — Кунь и Оглахты...

— Признаюсь, ничего нельзя себе представить скучнее и однообразнее этой дороги, — признался князь. — Хорошо, что снег здесь — редкость. Зато ветры — постоянно, всё сдувают. Почти всю зиму ездим на колёсах.

Пересекли приток Абакана Уйбат. Князь сказал, пересекли именно в том же месте, где более ста лет назад проехал путешественник Гмелин.

.....

4. Поленька стала женой Н. И. Менделеева, старшего брата будущего учёного Д. И. Менделеева.

5. Леночка выйдет замуж за обер-аудитора 4-го драгунского дивизиона Симанского.

Проехав по южному берегу речки, углубились в широкую степь с многочисленными старинными могильниками, миновали стоячий камень, называемый татарами «Медвежий идол», — грубо высеченный медведь, сидящий на задних лапах, в аршин высоту.

Ехали зимними улусами, почти все они жались к Абакану. Некоторые отступили в сторонку.

То там, то здесь виднелись купы кустарников. Изредка вздымались могильные курганы с ограждающими их камнями. Вдали, отпущенные на подножный корм, бродили лошади и рогатый скот.

В одном из улусов переменяли лошадей. Этот улус ничем не отличался от других: несколько зимников, разбросанных как попало, несколько берестяных юрт, и всё это огорожено жердями, полузасыпано навозом. Издали походит на бедную русскую деревушку. Убогатых татар в таких улусах имеются добротные дома, куда они перебираются на зиму; бедные же, несмотря на холода, постоянно живут в юртах.

Пока переменяли лошадей, окружной начальник и казачий офицер вошли в татарский зимник погреться. Это была обыкновенная изба без крыши, с узкими лавками вдоль стен, заваленными разнообразной конской сбруей, и с двумя узенькими оконцами, затянутыми бычьим пузырём. Пол в избе деревянный. Направо от входа ярко пылал чувал — печь, что-то вроде камина, — из глины, с трубою. Этот чувал топится день и ночь и угасает разве только тогда, когда все крепко уснут и некому будет подложить дров. От чувала, заметил князь Костров, нет ни малейшего дыма. Зимники можно даже сравнить с курными избами великорусских губерний, но здесь не всегда можно встретить скот, как там, в курных избах крестьян.

Подле чувала сидели две смуглые татарки, облитые пляшущим отсветом огня. Одной — лет сорок пять, другой — около девятнадцати. Одеты они в простые овчинные тулупы с небольшими отложными воротниками и обшлагами из чёрной овчины. Полы и подола были опушены мехом, но теперь отпороты напрочь. Книзу подол суживался, образуя оборку, падающую в складках. По замечанию князя, эта оборка, а равно и обшлага и воротник, богатые татарки обшивают «чем-то узорчатым, вроде какой-то ковровой ткани». Волосы пожилой татарки были разделены на две пряди и заплетены в две косы, как у русских женщин; голова повязана ситцевым платком, концы которого стянуты на затылке в узел; обе косы чёрными витыми плетями опускались по плечам на спину. Девочка была в шапочке из алого бархата, отороченной мехом выдры. Волосы разделены на несколько прядей и заплетены в мелкие тонкие

6. Как ты поживаешь? (*татар.*)

7. Много есть! (*татар.*)

косы — по шести с каждой стороны. В ушах у обеих женщин сверкали серьги из дешёвенького серебра. — Эзень! — поздоровался князь по-татарски.

Женщины слегка кивнули головами.

— Канди синь чуртанчи дырзан?⁶ — обратился князь к старшей.

Та пристально посмотрела на него, потом всем корпусом подалась к чувалу и стала молча помещивать в огромном чугуне большой деревянной ложкой.

Князь достал табак и взялся набивать трубку. Девушка вскочила, выхватила из чувала уголёк и подала ему — прикурить.

— И много у тебя детей, таких, как эта красавица? — спросил князь по-русски, обращаясь к старухе, а сам поглядывал на зардевшуюся от смущения девушку.

— Конь бар!⁷ — неожиданно и довольно громко ответила старая татарка, указав рукою на дверь, за которой послышались крики, гам, лай собак, ржанье лошадей.

В зимник вошли, и не вошли даже — втолкнулись один за другим несколько мужчин.

Между тем, попыхивая трубкой, князь говорил Марку:

— Здешний татарин — лихой наездник не только трезвый, но даже мертвецки пьяный; он так крепко сидит в седле, что редкая лошадь собьёт его. Но что до кучерского искусства, то здесь он никуда не годен. Он едва в состоянии запрячь лошадей, а уж об управлении ими лучше и не говорить. Сбруя у него самая древняя, верёвочная, десять раз порвётся, пока доедет от одной станции до другой в десять вёрст. Нет у него даже кнута, чтобы иногда подогнать лошадей; он заменяет его обыкновенно талиновым прутом. Кучерское искусство у здешнего татарина находится ещё в «младенческом» состоянии...

Наконец вошёл сам хозяин, татарин лет пятидесяти, следом за ним — четыре его сына, женатых, имеющих каждый по своему зимнику.

Хозяин кое-как говорил по-русски. На вопрос князя, почему он не отдаёт свою дочь замуж, охотно ответил:

— Года, сударь, ваша светлость, не вышла!

— Сколько же ей лет?

— Лет двадцать будет, а то и не будет. У тебя ребятишка есть?

— Есть.

— О, спасибо, спасибо! — неожиданно рассыпался в благодарностях старый татарин. — И парнишка есть?

— Дочка. А парнишка будет скоро.

— Вот спасибо! Вот спасибо! — татарин с благодарностью пожал князю руку. — Парнишка — это шибко хорошо! Давай парнишку!

— Чего это он радуется? — тихо спросил князя Марку.

— Забота о продолжении рода...

Вошёл ещё один человек, сообщил, что лошади для «его высокоблагородия» готовы, ямщик — тоже.

Новый ямщик, должно быть, из бедняков — одет в женский тулуп, отметил князь, умащиваясь поудобней на кошме рядом с Марком.

— Должен заметить, — сказал он вслух, — что мужчины-татары носят зимою обыкновенно русский тулуп, только с клапанами на груди. И пошив женский.

— Почему же грудь открыта?

— Думаешь, простудится? Не волнуйся, татарин и зимой спит в юрте почти голый. Заиндевет спина — повернётся к огню, и все дела. И ездит часто в самую холодную пору без шапки. Да и зачем она ему? У него до плеч густые волосы — тоже шапка! Только ноги свои он бережёт, он постоянно носит унты. «Унты» по-татарски — «маймак». А ямщик наш — бедняк. Работник, нанятый хозяином за неизвестную плату и на неизвестное время. Я спрашивал — живёт на хлебах.

И опять они ехали степью, засыпанной снегом. И опять проплывали мимо татарские зимники, голые кустарники, пасущийся вдаль скот. И курганы, курганы, курганы...

«И скучно, и грустно...» — усмехнулся Марк.

Почему-то вспомнились именно эти печальные строки Лермонтова, с которым лично общался на Кавказе брат Марка, казачий сотник Иван Суриков, сопроводивший в действующую армию против горцев декабриста Мозгана, зачисленного рядовым стрелком. Впрочем, и Мозган был убит в бою, и Суриков умер от горячки, а поэт пал от руки своего же, русского, убийцы, и оба они — и убитый, и убийца — были хорошими друзьями.

«И всё же Лермонтов оставил потомкам свои удивительные стихи, которые будут читать и через пятьдесят, и через сто лет. Но вспомнит ли кто меня, казачьего офицера, когда умру? Я знаю, что умру скоро. Я больной, конченный человек... Старший полковой фельдшер Смелянский сказал: это чахотка... Лечиться надо. Высокогорный воздух нужен... И он был прав, этот симпатичный сухопарый доктор. В Таштыпе мне легче дышится — воздух сухой и чистый; дядюшка знал, куда меня послать. Человечный был Александр Степанович, царство ему небесное. Он спасал меня. А Мазарович убьёт...»

— Слышь, хорунжий, — князь толкнул Марка плечом, — когда мы ночевали в Абаканской управе, встретился мне там богач здешних степей Чирка Картин. Ты узнал его?

— Узнал, да он меня не хотел узнать.

— Немудрено! За те четыре года... с тех пор, когда мы у него коня выбирали, ты сильно изменился, Марк. Высох, как щепка, щёки ввалились, одни усы остались те же. Но усы, дорогой хорунжий,

не являются особой приметой... А меня татары по колокольчику узнают, — похвастался князь. — Еду во-он ещё где, а они перед улусом стоят. Ждут... — Что-то я этого не заметил, — с иронией произнёс Марк.

— Лошади-то почтовые! На каждой станции к дуге привешивают свой колокольчик, по нему знают: почта едет — значит, готовь подставу. А у меня особый колокольчик! Часто я на своих лошадях езжу, так татары издали чувят: окружного начальника чёт несёт!.. Ха-ха-ха!.. Так вот этот Картин взял с меня слово, что я непременно побываю у него. — Что ж, посмотрим ещё раз на его степное богатство, — сказал Марк. — Да и Соловому копыта обмыть надо бы...

За несколько вёрст до улуса Чирки Картина в степи стали попадаться стога сена, огороженные пряслом из жердей.

— А ведь ещё совсем недавно, — сказал князь, — татары нисколько не заботились о заготовлении на зиму корма для скота и лошадей. Это уже прогресс! Картин пробует перенимать всё лучшее у русских крестьян. И всё равно у татар случаются частые падежи и лошадей, и крупного рогатого скота...

В своей тетрадке князь Костров записал:

«Когда-то качинские татары щеголяли своим скотоводством... Скотоводство, единственное, можно сказать, богатство здешних татар, пришло у них в некоторый упадок сравнительно с прежними годами, не потому, что они весь скот свой распродали на золотые промысла, — от частых падежей. А эти падежи, кроме эпидемий, весьма часто бывают оттого, что татары, по лености и беспечности, мало заготавливают сена для скота на зиму, и в этом отношении они стали несколько заботливее только с недавнего времени. Не имея достаточно корму, они постоянно пускали весь скот, на всю зиму, на подножный корм. Если зима случалась холодна, а снега глубоки, то падеж был совершенно неизбежен. Чтобы показать, как велики бывали иногда падежи скота, достаточно упомянуть, например, о 1826-м и 1828 гг.: в это время у одних качинцев пало, по их собственному показанию, до 26 тыс. одного рогатого скота».

«Картины — их два брата — первые богачи не только среди качинцев, но и среди татар других племён Минусинского округа. В самый пик развития здешней золотопромышленности их дед и отец очень выгодно торговали скотом, оставили после себя „значительные деньги“. Нынешние Картины изо всех сил стараются приумножить унаследованное богатство. Имеют около 3 тысяч голов рогатого скота и более 5 тысяч лошадей. Распахивают свыше 20 десятин пашни. На зиму заготавливают корма для своих стад и табунов».

«Дом у Картиных такой, каким не погнушался бы иной помещик из России. Подле дома огромнейшие, хотя и худо сделанные, навесы и стойла

для лошадей и рогатого скота. Все строения занимают пространство около десятины. Вокруг них дощатый забор с двумя воротами друг против друга. Но какая нечистота вокруг! Десятки тысяч возов навоза, который в России принёс бы несомненные деньги, здесь гниют и только портят воздух. Внутренность дома также не может похвалиться чистотою. Полы, кажется, не мыты с незапамятных времён; пыль на окнах и на стульях в полпальца толщиной... В этом доме Картины живут только зиму, а лето, как и все другие татары, кочуют по степи в двух огромных юртах. Теперь эти юрты стоят на дворе, хотя в них никто не жил».

— Так... делаю заметки для статьи, — на удивлённые взгляды Марка ответил князь, пряча тетрадку в карман шинели.

— Мой двоюродный брат Василий, сотник, адъютант командира полка, тоже всё записывает, а потом у него стихи получаются, — сказал Марк.

— Стихов я не пишу.

— А я рисовать люблю. Акварелью. Маслом не пробовал. Да у нас в родове сплошь художники! Хозяиновы, к примеру... Даже племяшек мой, Василий, от горшка два вершка, а уже рисует! Мои старые акварели перекопировал, за иконы принял. И, однако, недурственно у него выходит! В Хозяиновых пошёл! Может, иконописцем станет...

Вместо Чирки Картина в доме они застали старика-татарина, сильно пьяного, сидевшего на грязном полу перед пылающим зевом чувала. Он держал в руке коротенькую, давно потухшую трубку и, раскачиваясь всем телом, дребезжащим голосом заунывно пел:

Табарги сыпкан таг барба?
Тарыхпин ескен ир барба?
Кызыл кич пачкан кас барба?
Кызылбан ескен кзи барба?

-
8. Есть ли гора, которую не посещала бы кабарга?
Есть ли мужчина, выросший без стеснения?
Есть ли горка, где бы не хаживал красный козёл?
Есть ли человек, выросший без горя?
Есть ли таскыл (гора, покрытая дремучим лесом),
в который не хаживал бы медведь?
Есть ли мужчина, не заблудившийся?
Есть ли озеро, через которое волк не переплывал бы?
Есть ли человек, выросший без разлику?
(перевод с татар. князя Н. Кострова)
 9. Хан — национальное блюдо хакасов, приготовленное из свежей конской крови со специями. Набивают кишки и варят на медленном огне, подают к столу горячим (татар.).
 10. Тутпас — хакаское национальное блюдо, схожее по приготовлению с сибирскими пельменями (татар.).
 11. Айран — хакаский национальный напиток из квашеного молока, хорошо утоляющий жажду. У хакасов принято айраном встречать гостей. Подают в пиалах или деревянных чашках (татар.).

Аба Чарбен таскыл барба?
Аспин кончин ир барба?
Бюрь киспен кель барба?
Белсимин ескен кзи барба?⁸

Появился и сам Чирка Картин, в облике которого «очень много сходного с своими соседями, горными калмыками». И, подобно калмыкам, Чирка стриг свои редкие волосы на бороде, а на затылке заплетал в косу. Он вошёл неожиданно, приветливо улыбался и раскланивался, как китайский божок. — Затарастуй, ваши плагоротия! Шибко ратый, шибко ратый! Тавно начальника мой дом не хотил... Пошто так, а, ваша светлость?

— Дела, друг мой, — пожал плечами князь. — Служба!

— Тела... тела... Плюнуть нато — и все тела! Шибко опижаешь. Тавай ночевать бутем! Гулять бутем! Хан⁹ кушать бутем! Тутпас¹⁰ кушать бутем! Айран¹¹ пить бутем!

Про старика-татарина, поющего свою бесконечную песню у чувала, Чирка сказал, что он похоронил недавно единственного сына и напился с горя.

«Отец оплакивает единственного сына... А кто будет оплакивать меня?..»

Чирка легонько дотронулся до плеча Марка: — Пошто затумался, госпотина офицер? Тавай гулять бутем! Горячий тевка обнимать бутем! Хороший тевка есть у меня. Ух какой слаткий тевка!..

«И верно, я, видно, так изменился, что Чирка не узнаёт меня», — подумал Марк.

Но нет, у Чирки глаз острый, память незамутнённая; он всё прекрасно помнил, вспомнил и этого офицера, с молодым азартом торговавшего у него лошадей. Тогда он был цветущим юношей, живым, горячим, с тёмными сверкающими глазами, точь-в-точь он сам, Чирка Картин, в отрочестве!.. И он не взял с него денег, отдал Солового так — подарил.

Конечно, Чирка узнал Марка. Но что стало с ним?! Почему так исхудал? И кашляет беспрестанно.

Он спросил про Солового, и Марк ответил: конь в исправности, сыт, вычищен, ухожен, стоит в отдельном стойле сотенной конюшни, и пожилой конюший, из шушенских крестьян, записавшихся в казаки, ежедневно делает на нём десятивёрстную пробежку, чтобы не застоялся.

Чирка остался доволен тем, что Марк бережёт коня.

Он опять стал упрашивать гостей остаться у него до утра, однако князь был непреклонен и сказал, что им позарез надо ехать. В конце концов Чирка сдался.

Видя такой дружественный исход, ямщик молча выскочил за дверь, поймал тройку картинских лошадей и запряг их.

Сам Чирка, его брат и какие-то женщины, которых ни князь Костров, ни Марк в доме не видели,

вышли проводить «их благородия». К кибитке вдруг подбежала девушка-татарка и смущённо протянула князю «тулуп» — мешок с гостинцами; князь наперёд знал: гостеприимный хозяин положил куски варёного мяса, замороженные хан, харту¹², хыйму¹³... Таков обычай у качинцев — не отпускать гостя без гостинца.

...В сорока верстах от улуса Картина путники переехали ничем не примечательный приток Абакана — речку Камышту. Это граница. Здесь кончается кочевье качинцев по Абакану и начинается кочевье сагайского родоначалия.

От первого сагайского улуса до Сагайской степной думы двадцать пять вёрст. Остановились в улусе выпить чаю.

«Сагайцы кочуют по правому берегу р. Абакана, с устья речки Табат до Енисея, потом от речки Аскиз до вершин Абакана. Качинцы кочуют от Енисея до речки Аскыз, по Белому Юсу с его притоками и по Салбе, впадающей в реку Тубу.

...При открытии Енисейской губернии в 1823 г. качинцев насчитывалось 4513 душ мужского пола; по последней ревизии — 4711 душ мужского и 4727 женского пола».

— Начинает темнеть, и поднимается ветер, — сказал князь, пряча тетрадку. — Надо поспешить: пурга в голой степи ночью — вещь очень неприятная.

На другой день утром, переменяв лошадей, они отправились дальше — к селу Аскыз, или Аскызскому, как его здесь называют русские.

Здесь особенно часто стали попадаться на глаза древние могильники, слышущие у русских под названием «чудские бугры». Татары приписывают их какому-то народу аккаррак — голубоглазому, светлоокому. А в обыденном разговоре и те, и другие называют эти могильники курганами. Одни курганы рассыпаны преимущественно поблизости рек и озёр — это могильники, другие воздвигнуты в отдалении от воды, по степям и на возвышенности, — это маяки, отмечавшие пути, по которым шли воинственные орды. На некоторых плитах имеются зарубки или черты, как будто бы какие-то знаки, — это тамга, означающая род покойника. Иногда высечены неизвестные письмена. Внутренность могил почти всегда одинакова: деревянный склеп, скелет человека, положенного головой на восток, обожжённые и необожжённые горшки с золой растительного свойства, шлемы, бердыши, копыя, стрелы, кинжалы, оправа седел, удила, серебряные сосуды, круглые металлические зеркала, бляхи с изображениями животных и людей, подвески, серьги, кольца, разные погремушки...

— У губернатора Степанова было довольно большое собрание подобных вещей, — всё более увлекаясь, рассказывал князь, — но где они находятся теперь, мне неизвестно. Два другие значительные собрания были, как мне помнится, у почётного гражданина Кузнецова и чиновника Титова...

— Некоторые предметы я видел в доме Петра Ивановича, — сказал Марк. — Всё это ему дарили.

— Недавно в музеем Сибирского отделения Русского географического общества наш губернатор Василий Кириллович Падалка доставил весьма замечательную вещь, найденную также в одной из подобных могил. Это было бронзовое изображение одного из божков ламайского верования. Фигурка очень густо позолочена и была вынута из земли мало повреждённой. Член-сотрудник отдела Банзаров и агинский лама Сультим Бадмаев не могли определить название этого изображения. Первый утверждал, что оно, должно быть, занесено во времена отдалённые прямо из Тибета и что, по утраченным атрибутам, трудно сказать о настоящем имени этого божества...

— Стало быть, ради золотых вещей разрывают могильники?

— Этим промыслом занимались многие. И уже второе столетие роют и роют... Иногда попадается золото. Могильное золото! — подчеркнул князь. — История знает немало примеров. Когда в тысяча семьсот семнадцатом году Красноярск посетил сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин, на серебряном блюде горожане поднесли ему древние вещи — «могильное золото». За такой подарок он выставил двадцать пять вёдер вина: пей, православные! Четыре года спустя царь Пётр повесил его за лихоимство. Древности Пётр передал в известную сибирскую коллекцию и издал указ, чтобы золото из могил, годное на переплав, «покупать настоящею ценою без передачи, а курьёзные вещи, находимые в Сибири, — покупать тоже настоящею ценою, но, не переплавляя, присылать в Бергколлегию и доносить о том государю».

— Выходит, своим указом Пётр Великий разрешил разрывать могилы, нарушать покой древних? — заметил Марк с любопытством и удивлением: как же много Костров знает!..

— Совершенно верно, — согласился с ним князь. — Лет шестьдесят тому назад крестьяне целыми ватагами ходили разрывать могилы в надежде отыскать в них зарытые клады. Понятно, сколько от этого грабежа потеряла наука!..

«...Инородцы здешнего края приписывают эти могилы народу, который был аккаррак, светлоглазый, голубоглазый. Русское население приписывает их чуди, которая в старинных наших песнях почти всегда называется белогазю. Что это был за народ — неизвестно; но русские предания, сохранившиеся также у инородцев и даже, вероятно, принятые от них, говорят, что это был народ сильный и богатый; вместо лошадей у него были огромные стада верблюдов; вместо

12. Харта — толстая кишка коня, из которой хакасы готовят это блюдо (*татар.*).

13. Хыйма — мясная домашняя колбаса (*татар.*).

коров—сохатые. Перед путешествием русских в Сибири вдруг стала произрастать берёза, об которой до той поры никто и не слышал. Удивлённые белым цветом коры этого дерева, чудаки создали своих шаманов и стали спрашивать их: что бы это значило? Шаманы отвечали, что появление белого дерева значит то, что скоро придут воины белого царя и покорят их. Чудаки пришли от этого в такой ужас, что вырыли ямы и заживо погребли себя в них...»

«Китайские летописи сообщают, что это были рослые люди европейского облика с рыжими волосами, румяными лицами и голубыми глазами. Чёрные волосы и карие глаза считались у них „нехорошим“ признаком. Народ был грамотным, образованным, о чём говорят предметы, обнаруженные при раскопках, с надписями, выполненными тюркоязычной рунической письменностью, а также на китайском, киданском, тибетском, персидском, арабском и сирийском языках.

В крепостях и специальных поселениях мастера выплавляли железо, медь, олово, свинец, серебро, золото, мышьяк...»

...Стемнело. Ветер усилился, обратился в буран. Слабыми огоньками манило к себе село Аскызское—центр Сагайской степной думы, которая помещалась в здании, построенном по типу дома Абаканской инородческой управы. Так и кажется, что воротился туда и вот-вот выйдет к тебе Чирка Картин...

Здесь путников встретили почти все члены думы: сам родоначальник Иван Сергеевич Чика, два заседателя и другие, одетые в разноцветные халаты. Заслыша колокольчик, они выбежали с фонарём на крыльцо. По всему видать, окружного начальника с казачьим офицером ждали давно. — Ты смотри-ка, неужели встречают?—удивлённо воскликнул Марк, поёживаясь: его изрядно знобило.

— А как же!—воодушевился князь, привыкший к подобным почестям.— Весть о проезде важного чиновника разносится по степи необычайно скоро. Чёрт знает, как это у них происходит, но вот видишь—осведомлены...

Ветер ярился и ревел всю ночь. На Марка он действовал угнетающе. Казалось, в этом тёплом приюте, где заранее протопили чужал, на мягком войлочном тюфяке и под плотным одеялом, ветер выдувал из его хилого тела горячую кровь.

К утру он уснул—то ли забылся, то ли провалился в беспмятство, а в шесть часов его разбудил князь.

— Мы приглашены к утреннему чаю,—сказал он.— Отказываться здесь не принято.

— К сагайскому родовичу?—спросонок пробормотал Марк.

— Нет, хорунжий! К местному купцу Ананьину. Ни свет ни заря явился Гаврила Мефодьевич

самолично, и никакие отговорки не могли уволить нас от приглашения.

Купцы Ананьины—уроженцы Кузнецовской области, но уже и сами не помнят, когда поселились в Аскызе. Начали выгодную для себя торговлю с инородцами и довольно скоро приобрели богатое состояние и уважение татар. Гаврила Мефодьевич построил в селе каменную церковь, украсил её великолепным иконостасом. Ссужал деньгами и товарами односельчан. Почти все сагайцы были его постоянными должниками.

В доме Ананьиных путников ожидали радушный приём и наваристый борщ. Очень старая, но всё ещё бодрая, мать Гаврилы Мефодьевича из каких-то тайных мест извлекла бутылку шампанского. Берегла для особого случая, и вот он, как она поняла, пришёл.

После первого же бокала за столом начались разговоры о золотопромышленности в этих местах, о варварски разграбляемых могильниках, о выгодной торговле с инородцами, о простодушных и честных сагайцах. Вспомнили между прочим и анекдот, ходивший из улуса в улус и как нельзя лучше характеризующий здешних татар.

— У старшего брата,—рассказывал Гаврила Мефодьевич,—была книга, куда он записывал долги инородцев. Раз как-то лежала она на столе, перед образом, у которого теплилась свечка. В комнате никого не было. Свечка возьми да и упади, книгу и сожгла. Тогда брат, знавший только один общий итог своих одолжений татарам, пришёл в ужас. Делать нечего, поехал по улусам и стал спрашивать: нет ли тут кого из его должников? Должники сейчас же явились. Далее брат предложил вопрос: сколько каждый из них должен? Все отвечали так, как кто мог припомнить. Так составила новая книга, по которой общий итог долгов инородцев оказался совершенно верным с итогом прежней книги. Не правда ли, простота?..

Гости сдержанно посмеялись, хозяин—тоже. Эту историю он рассказывал всем.

Потом заговорили о древних могильниках и могильных древностях. Князь Костров сказал, что изучение древностей Енисея и Абакана началось в Петровскую эпоху, а впервые начал раскопки на Абакане учёный немец Мессершмидт в 1721 году. История помнит и другие имена...

— Лет десять назад,—вспомнил вдруг и Ананьин,—в сорок пятом году дело было, крестьянин деревни Табатской, что в пятнадцати верстах от деревни Иудиной, некий Полежаев, нашёл в горе довольно интересные вещи: серебряную дощечку длиною до шести вершков, с четырьмя строками надписи, да две большие и две маленькие серебряные чашечки и до пяти штук серёг. Эти вещи я у него купил и повёз в Красноярск. И что же? При ближайшем рассмотрении надписи на дощечке оказалось, что она вычеканена тибетскими

литерами на монгольском языке. Так мне специалисты сказали.

— И что же там было написано?— оживился Марк, заинтересованный рассказом Ананьина.

— Надпись содержит приказание: «Силою вечного неба имя Хана да будет священо. Кто не уважит, тот погибнет, умрёт». Специалисты-историки, в частности Антоний Климентьевич Мошкин, полагают, что этот ярлык принадлежит царствованию пятого монгольского хана Хубилая и дан был какому-нибудь сановнику, который правил здешними народами или собирал дань.

Князь Костров прибавил к сообщению Ананьина то, что знал об удачных находках.

— Между Абаканским и Саянским форпостами,— сказал он,— по слухам, в могильниках находили столько золота и серебра, что лет пятнадцать тому назад «золотник золота» в Красноярске и Енисейске можно было купить за полтину. В большинстве случаев серебро оказалось поддельным.

От шампанского Марку стало тепло. Он разомлел, впалые щёки покрылись нездоровым румянцем, в груди ровно бы отворились трубы, дышать стало легче...

У здешних татар обычай таков: уезжает чиновник— провожают его, по крайней мере, вёрст десять. По обеим сторонам кибитки окружного начальника, подобно почётному конвою, скакало по семи-восьми всадников; сидели они в седлах ловко, красиво, пригнувшись к луке, в корпусе ни тряски, ни колебаний, как бы приросли к лошади,— не скакали, а словно плыли по воздуху. Да, наездники они отменные, а в телеге ездить не умеют...

Верстах в десяти от Асқыза они отстали, потом и вовсе растворились в степи.

От Сагайской думы до деревни Усть-Есь вёрст тридцать. Дорога идёт степью. За всё время пути встретился лишь один верховой татарин, да и то пьяный; бросив поводья и качаясь в седле, он тягуче напевал один из своих напевов.

Деревня Усть-Есь— это несколько летних и зимних юрт и два весьма достойных внимания деревянных дома, по-русски срубленных. В одном живёт минусинский купец Корнилов, другой принадлежит какому-то кузнецкому помещанину, занимающемуся скотоводством и хлебопашеством. Окрестности довольно живописны, протекающая неподалеку речка Тея изобилует рыбой, так что татары здесь не бедствуют. При обильных сенокосах грех было бы жаловаться на жизнь!

— Во время сбора ясака,— говорил князь,— у инородцев можно купить двадцать больших возов сена, и всего-то за два и не более как за три рубля серебром. А вот есть одна деревенька— это на речке Нине, называется она Сенявина,— верстах в трёх-четырёх от неё стоит гора Сеяк, так в ней весьма часто попадаются аметисты...

— Скоро ли мы приедем в Таштып?— зевая, спросил Марк; ему уже надоело трястись в холодной кибитке.

— От деревеньки Усть-Есь, через деревеньку Иmek, вёрст тридцать пять осталось,— посчитал князь.

Но Марк уже не слышал его; он крепко спал, уронив на грудь голову, папаха съехала ему на глаза.

Проснулся Марк от какого-то гула, этот гул даже приснился ему: мимо лавиной мчится табун диких лошадей,— и ничего сразу не мог понять. Кибитка стояла, князя рядом не было, снаружи слышалось лошадиное ржание, скрип снега и топот копыт, русская речь— какие-то отрывочные фразы, команды, приказания...

Поправив папаху, опустив воротник шинели, Марк взялся было за ручку дверцы, но она сама распахнулась вдруг, и в проёме показалось усатое, улыбающееся во весь рот рябое лицо старшего урядника Чанчикова, станичного начальника.

— Здравия желаю, ваше благородие, Марк Васильевич!— от Чанчикова попахивало вином и луком.— С приездом! С утра ожидаем.

— Какой день сегодня?— спросил Марк.

— Пятница! Первый день весны!

— Что в сотне?

— В сотне как в семье: чинно, благородно, всё в порядке!

— А где князь?— Марк оглядел внутренность кибитки.

— Князь?... А, да вон с татарами калякает. А что, окружной начальник и вправду— князь?

— Князь,— подтвердил Марк.— А тебе зачем знать?

— Да вот казакам в диковинку: есаул Будберг— фон-барон, а Костров— князь. Вот и получается: в России всяких там баронов, князьёв и графьёв— как грязи, а у нас— по одному на город. Вроде как на расплод присланы. Сроду без баронов жили— и ничего, теперь вроде как нельзя...

— Не болтай глупости!

— Слушаюсь, ваше благородие!

Голова Чанчикова исчезла. Вернулся князь Костров и насмешливо заговорил о том, что не только его, окружного начальника, встречают с почестями. Для встречи своего командира чуть ли не вся казачья сотня в Имеке собралась.

— А я тут местных татар пытал: что означает название деревеньки— Иmek? И что, ты думаешь, слово сие означает? «Иmek»— значит «грудь». Едешь от Таштыпа и видишь впереди два одинаковых холма— будто женщина упала навзничь...

— А ты, Николай, настоящий князь?

Костров с недоумением уставился на Марка.

— Настоящий. А что?

— Единственный на весь Минусинск?

— Нет, ещё один князь живёт. Владимир Васильевич Вяземский. Служит смотрителем горных работ на Кызасских золотых промыслах, это в верховьях

Абакана. Умный, образованный человек! Его хлопотам обязано существование кызасской метеостанции, наблюдение и записи на которой он производит единолично... А ещё—декабристы, тоже не из простого звания.

Минусинский окружной начальник, он же юрист, историк, этнограф, обдумывал содержание своих бесед с качинскими и сагайскими татарами. Он ещё не знал, во что они выльются, в статью или очерк, который он отправит в Петербург. Не хватало единственного штриха в его путешествии—конечного пункта. В Таштыпе он сделает последнюю запись и поставит точку...

Таштып—село, вернее, казачья станица Бейской волости,—стоит на границе Томской губернии. Князь недоумевал: «По какому-то странному способу межевания, употреблённому при отводе земель для алтайских горных заводов, не только половина самого села, но и половина ограды его церкви отведена к Кузнецкому округу».

Голая, ровная долина окружена лысыми и слегка залесёнными горами причудливых очертаний. Горы каменные, но не столь острые и менее высокие, чем Саянские. Направо—река Абакан, а за ней—опять горы, и тоже голые. Впереди идёт ряд хребтов, один другого выше, покрытых лесом, за ним—снеговые горы. Станица Таштыпская стоит на речке Таштып.

Ещё в Имеке татары рассказывали: по-русски «таштып»—«камень-мигун». Вероятно, такое название местности дано не случайно, ибо окружена со всех сторон горами, которые летом, во время сильной жары, представляются издали как бы колеблющимися, мигающими. А некоторые утверждали, что «таштып»—«каменное дно»: «таш»—«камень», «тып»—«дно»... Может, и так. Окружённое горами, селение стоит будто на дне каменного мешка. Значит, и так, и этак будет верно.

«Таштып считается одним из самых красивых мест Минусинского округа, и совершенно справедливо,—записал в своей тетрадке князь Костров.—Равнина, на которой он стоит, змеевидно прорезается речкою Таштыпом; к востоку видны горы Джилан и Бонза, а к юго-западу взор теряется на горизонте, как будто бы заваленном огромными снеговыми горами.

В особенности вид на эти горы хорош в жаркую пору лета. От ярко блестящей белизны снега глаза невольно обращаются на ближайшие предметы и с удивлением встречают густую тёмную отрадную зелень травы и деревьев...»

— В нём есть, я вижу, такие дома, которые можно было бы перенести в любой сибирский город. Везде и во всём я вижу не только довольство, но даже изобилие,—похвалил Костров станицу, в которой Марку ещё предстояло жить.

— Да, всё так,—согласился Марк.—Наши казаки считаются богатейшими в округе. Многие имеют

стада рогатого скота и табуны лошадей, ведут выгодный торг звериными шкурами. У таштыпских казаков, кажется, только и можно приобрести рога изюбра, их очень ценят китайцы на Кяхте. — Любопытные сведения! Позволь, Марк, я запишу?

— Записывай!.. В прежние времена близ Таштыпа было деревянное укрепление, состоящее из равностороннего четырёхугольника с башнею над воротами и рогатками в два ряда со всех сторон. Теперь это укрепление не существует.

— Ну и... выгодно торговля рогами для казаков? — Как тебе сказать?.. — Марк помолчал, обдумывая ответ.—Зверопромышленники не понимают своих собственных выгод. Убив изюбра, они отрубают рога. А между тем китайцам они нужны с лобовой частью, и притом не сухие, а такие, чтобы в оконечностях своих заключали жидкую кровавую материю, имеющую, по словам китайцев, запах мускуса, который придаёт какую-то особенную целебную силу. За пару таких рогов на Кяхте платят иногда до двухсот рублей серебром. Но такие рога из Минусинского округа почти не вывозятся. Говорят, кстаги, будто бы у китайцев есть обыкновение дарить рога новобрачным...

— Вроде намёка?—хототнул князь.—Ладно, шутки в сторону. Если хочешь, подвезу тебя до Арбатского форпоста, — и прибавил, как бы оправдываясь: — Арбатская, правда, не в моём ведомстве—в казачьем, и я мог бы махнуть из Таштыпа прямо в Монок. Но могу и через Арбаты... Форпост называют Абаканским потому, что стоит на реке Абакан, а по урочищу—Арбатским, что значит—«жертвоприношение». Ежели и впрямь здесь приносимы были жертвы деревьями, то выбрали они место удачно. «Утёсы гор составляют великолепную ротонду, на которой покоится лазурный купол неба, озаряемый, в известное время дня, присутствием божественного света...»—так писал в своё время Степанов.

— Казаки Таштыпа и Арбатов составляют одну станицу,—сказал Марк.—За Арбатами уже нет никакого жилья. А до Монока—тридцать вёрст. До Монока через Арбаты не проедешь.

— Почему?

— Летом из Арбатов обыкновенно спускаются в Монок по Абакану, а это опасно. Стремление реки ужасное! Лодка готова разбиться в щепки о каменистые берега, поверь мне, князь, а по льду... лёд ещё хрупок, вода подточила его снизу.

— Жаль,—вздыхнул князь.—А ведь я там ещё не был!

— Летом съездишь. Из Таштыпа прямо на Монок! Места чрезвычайно живописны! Сперва дорога идёт лугами, потом горами. Напротив Монока, над берегом Абакана, горы образуют несколько отдельных башен гигантской фантастической крепости. Зрелище поразительное, князь!..

4.

Старший урядник Тит Чанчиков горячился, бегал из угла в угол—от облупленного шкафа со станичными бумагами до обшарпанного стола, за которым сидел и листал рыхлую шнуровую книгу командир сотни,—и кричал:

— Устал я от пустой переписки, ваше благородие, Марк Васильевич! Сил нет! Измучился! Не слушаются меня казаки! Всё!..

То и дело хлопала дверь—входили и выходили казаки, у всех находились какие-нибудь вопросы к «его благородию». На самом деле, «по секрету» объяснил сотенный писарь урядник Иван Зырянов, «они соскучились» по своему командиру.

Не подымая головы, Марк старательно изучал бумаги, накопившиеся за тот месяц, пока он отсутствовал: приказы, подписанные Чанчиковым, постовые ведомости, ведомости на выдачу жалованья и посуточного склада.

«Разболтались... Ох, разболтались без отца-командира!—начал он постепенно злиться.—Одежды как попало: вместо куртки—сюртук, вместо шинели—однорядка... Одно отличие—сабля на боку. И от каждого несёт как из винной бочки. Вот что значит—нет офицера! Не сотня, а Шоша да Ероша... Ну, я вам гриву-то сломаю...»

На глаза попался ему один документ—список с «Положения сибирского комитета», полученный месяц назад, после его отъезда в Красноярск, с которым он ещё не был ознакомлен. Положение предоставляло шестой сотне право «беспощинной мены с китайцами собственных сельских производств».

«Слава Богу, нас оно не касается»,—облегчённо вздохнул Марк. Такое же положение, как он помнит, было около двух лет назад, и касалось оно пятой сотни. Содержание его почти не изменилось и тоже давало такое же право.

— Кстати, ты готов отправиться к пограничному знаку, урядник?—наконец подал голос Марк.

— Старший урядник,—поправил Чанчиков.—Меня ещё пока не разжаловали...

— Ладно тебе обижаться-то! Я же не обижаюсь, когда ты обращаешься ко мне не «господин зауряд-хорунжий», а «господин хорунжий».

Чанчиков хмыкнул:

— Сравнил... Я ведь не унижаю, наоборот, возвышаю тебя!

— Ладно, ладно! Так что? Готов к надзору за пограничным знаком, господин старший урядник?

— Не готов. На другой год—с удовольствием, а none... Жена прихворнула, фельдшер говорит—по-женски что-то... Ей лежать велено, а мне, стало быть, хозяйство вести.

— Хорошо, сам пойду,—решительно заявил Марк.—Подбери мне семь казаков, да помощней, повыносливей!—повернулся к писарю:—А ты, Иван Иванович, подготовь приказ. За меня остаётся старший урядник Чанчиков. Всем всё ясно?

— Ясно, чего уж там...

Это уже традиция—надзор за пограничными знаками.

Таких знаков, расположенных по монгольской границе на протяжении двухсот пятидесяти вёрст, всего три: Сабин-дабага, Хоин-табан и Бом-Кемчуг. На первый ходят казаки станицы Абаканской (или Арбатской), на второй—Саянской, а на третий—из обеих станиц сразу.

На пограничный знак Сабин-дабага идут казаки Арбатского форпоста обычно в сентябре. Поднимаются вверх по Абакану до устья Джебаша и потом по Джебашу—до устья Чехони. Эту петляющую речку пересекают несколько раз. Таким образом, от Арбатов до горы Сабин-дабага, на голой вершине которой и утверждён пограничный знак, уходит четыре дня.

К Хоин-табану (эту гору называют ещё Гурбан) казаки Саянской станицы ходят в конце августа и в сентябре. Пересекают реку Шадат, впадающую в Амыл, и идут сначала по одному, затем по другому берегу Кебежа, текущего змеей по равнине. Затем переправляются через Большую и Малую Ои, преодолевают утёсистые горы, переходят болотистую реку Арадан, а после и Ус,—и вот она, гора Хоин-табан. Путешествие к ней занимает пять дней.

Зауряд-хорунжему Сурикову с группой казаков предстоит нелёгкий поход к Сабин-дабага. Обычно возглавляет его станичный начальник или кто-нибудь из опытных урядников, но Марк, жалея этих уже немолодых, семейных людей, отправлялся сам, тем более что он уже туда один раз ходил.

В марте же—особый сбор у общего пограничного знака Бом-Кемчуг, и опять Марк поведёт туда своих казаков.

В Означенное съезжаются казаки по семь человек—от Саянского, Кебежского, Шадатского, Арбатского и Таштыпского форпостов. И вот отряд из двадцати конных казаков и одного головы какой-нибудь станицы, коему поручается возглавить поход, отправляется на Бом-Кемчуг.

Русские казаки встречаются с китайцами и монголами на пограничных знаках, отстоящих от форпостов на сто пятьдесят и даже триста вёрст, несколько раз в году. Причём в строго определённое время. Традиция съезда и обряд встречи поддерживаются издавна и наиболее для того, «чтобы не огорчать китайцев, ибо малейшее нарушение их народных привычек возрождает в их подозрительном управлении большой переполох». — Что там у тебя за скандал со священнослужителями?—спросил Марк, обращаясь к станичному начальнику.— Чем они тебя огорчили? Они готовятся крестить татар, и мы должны помогать им, а у тебя какие-то нелады... В чём дело?

— А ну их к бесу!—выругался Чанчиков.— Тянут время, как кот за хвост. А тут ещё заседатель

Гоштофт... Сидит в волостном селе Бейске, завёл следствие, депешами забросал. Второй год это проклятое дело тянется! Я уже отчаялся...

Есть отчего Чанчикову прийти в отчаяние! Внеслужебные нарушения и беспорядки, учинённые казаками, падают на погоны прежде всего станичного начальника. Вот и приходится разбираться, во всякое дело вникать.

Со священниками суть дела такова, что сразу и не расхлебашь—такая заварилась в станице каша. Лошади священника таштыпской Христорождественской церкви Афанасия Гриценкова потравили хлеб у казака Борзова, тот подал жалобу, требуя возмещения убытка, однако отец Афанасий упорствует. Новый заседатель Минусинского земского суда Симон Карлович Гоштофт начал расследование. Следственное дело распухло до восьмидесяти страниц, а конца ему так и не видно. Гоштофт пишет отцу Афанасию, тот—священнику аскызской Петропавловской церкви отцу Иоанну Токареву, а оба вместе—благочинному Георгию Бенедиктову, благочинный—заседателю...

— Уже и не знаю, по какому кругу пошла писать губерния, — кипятился Чанчиков. — А тут и другая напасть свалилась: ещё одна переписка, в январе дело было...

Марк поднял на станичного начальника всё понимающие тёмно-карие глаза, казавшиеся на бледном сухом лице необыкновенно большими и блестящими.

— Бейский священник Пётр Евтюгин, — продолжал Чанчиков, — будто бы нанёс жене казака Дениса Кузнецова Ирине побои, а когда заседатель Гоштофт начал следствие, то оказалось, что и Евтюгину была нанесена обида, причинённая крестьянкой Надеждой Шарыповой. Кто там прав, кто виноват — сам чёрт не разберёт! А заседатель сидит в доме крестьянина Беспалова, где имеет квартиру, и рассылает повестки: Токареву, Бенедиктову в Минусинск... Благочинный назначает депутатом по делу с духовной стороны священника Токарева, а Евтюгин от него отказывается, говорит мне: «По известным причинам...»

— Отец Пётр довольно приличный священнослужитель, — сказал Марк. — Ещё в пятьдесят втором году, помню, он изъявил согласие ясачных инородцев крестить и венчать без замедления и без всякого даже вознаграждения. В Таштыпе он окрестил семь человек да в Аскызе восемнадцать. — Да что там — семь! Заштатный священник Спаской церкви в Минусинске Николай Пудовиков окрестил двадцать семь! А потом пошёл и ещё сто двадцать восемь... И татар Качинской думы пять душ... А твой Евтюгин только всё пыжится. — Отец Иоанн Токарев тоже хорош, — встрял в разговор писарь Зырянов. — Ездил я как-то в Монок, возвращаюсь через три дня и узнаю, что казачья дочь Наталья Иконникова выдана отцом в

замужество за ясачного Сагайской степной думы Долго-Карпинского улуса Ончепова сына.

— Это когда же было? — недоверчиво спросил Чанчиков.

— В ноябре пятьдесят третьего.

— А где же мы с хорунжим были?

— Ты ещё не воротился с Сабин-дабага, а хорунжий — из Красноярска. Я тогда за вас обоих начальником остался и всё уладил: послал депешу отцу Иоанну в Аскыз, потребовал отменить венчание, а если обвенчаны, то просил уведомить меня об этом и объяснить, по какому свидетельству обвенчаны и за чьим подписом, какая приложена к сему печать...

— И что, были обвенчаны?

— Отец Иоанн помедлил...

— Почему не доложил мне? — строго спросил Марк.

— Подумал: зачем командира беспокоить по пустякам?

— Докладывать надо. О каждом пустяке докладывать! А то у нас тут чёрт-те что происходит, а я ничего не знаю. Какой ещё «пустяк» выяснится?

— Евтюгин доносит...

— Опять Евтюгин... — раздражённо протянул Марк.

— Евтюгин доносит, что инородец Бакланов вступил в брак с девицей Сагайской думы Епинерией Баклановой, и брак сей совершил в бейской Покровской церкви священник Токарев.

— Ну и что с того?

— Заседатель Гоштофт велит прислать и эти сведения, чтобы приобщить к делу.

— Не нам попов судить, на то есть черти, — Марк захлопнул шнуровую книгу и подвинул её Чанчикову под руку. — Какие за последний месяц приказы были, давай сюда.

Из вороха бумаг извлёк список с приказа, коим предписывалось «к первому числу каждого месяца представлять в полковую канцелярию краткие сведения о следственных делах, в производстве находящихся», обратил внимание на дату: документ свежий, только вчера получен урядником Зыряновым и ещё не занесён в сотенный реестр.

Дочитав до конца, Марк распорядился подготовить требуемую ведомость и дать ему на подпись.

И ещё один приказ — требовательный и строгий: «Усматривая из переходящих чрез полковое управление следственных дел, что казаки 5-й и 6-й сотен командуемого мною полка нередко обращают на себя подозрение в корчемной винокурке хлебного вина, а в сентябре 1853 г. в дачах Таштыпской станицы корчемным поверенным найдены инструменты и материалы в значительном количестве, способствовавшие для винокурения. Относя это к слабому надзору местного ближайшего начальства, строжайше предписываю гг. командующим 5-й и 6-й сотнями и местным станичным начальникам употребить самые деятельные меры к пресечению

этого зла из опасения в противном случае, на основании 526 ст. Уст. воен. уголов., подвергнуться военному суду...»

— А вы-то, господа урядники, читали? — ядовито спросил Марк, держа за уголок двумя пальцами бумагу и поглядывая то на Чанчикова, то на Зырянова тёмными от гнева глазами.

— Ну как же, ваше благородие, конечно же, читали!

— И что скажете на это?

— Какая-то скотина донесла...

— С этим безобразием надо кончать! Никакого корчемства! И чтоб я не читал впредь подобных приказов!

Марк сердито смахнул бумаги в ящик стола, со стуком задвинул его, встал и направился к выходу. У двери обернулся и бросил Чанчикову:

— Собери казаков — тех, кто свободен от караулов, и тех, кто от караулов освободится. Зачитай им эти приказы. Скажи: ответственность будет нести каждый соответственно Уставу...

— Ясно, ваше благородие, — вяло отозвался Чанчиков.

Он, конечно же, сделает всё, как и должно, Марк ничуть в этом не сомневался. Но послушаются ли казаки? Тотчас же выбросят корчемские инструменты?! Какая наивность! Казак и пальцем не шевельнёт. Но сделать внушение, строго пригрозить шпицрутенами и розгами всё равно придётся, хотя Марк старался избегать применения в сотне телесных наказаний. Правда, приходилось наказывать, и довольно сурово: сажал под арест. Казаки не обижались, тем более что арестованным нижним чинам, не имеющим содержания, выдавались из казны кормовые деньги в размере семидесяти одной с четвертью копейки серебром в сутки, издержки относились на счёт полкового капитала. Но часто Марк только создавал видимость наказания с тем, чтобы только записать в журнал и чтобы сведения о проступках и наказаниях легли на стол командующего Енисейским конным казачьим полком войскового старшины Мазаровича. По ним Иван Семёнович судил о способностях сотенного начальства держать нижних чинов в узде. Однако доставленные в полк сведения часто не соответствовали истине, и тогда Мазарович строго наказывал командира сотни, реже — станичного начальника, «за непорядки и упущения». Когда наказания участились, у Марка и Чанчикова возникли подозрения, что кто-то является доносчиком...

Назавтра Чанчиков собрал казаков, свободных от постов и караулов. Одетые как попало, казаки сидели на крыльце, на завалинке, курили, рассказывали друг другу байки, а молодёжь, в том числе и малолетки, образуя круг, топталась, приплясывала, смеялась и шутила. День был тёплый, солнечный, снег подтаивал, с крыш капало.

В ожидании сотенного командира станичники завели разговор о новом командующем полком:

дескать, зверь зверем этот Мазарович, наказывает казаков без оглядки, бывает, и засекает розгами насмерть. И приводили примеры. Совсем недавно в енисейской городской больнице скончался урядник Пётр Полигузов — будто бы его до смерти избил заведующий казачьей командой урядник Митрофанов. Этот слух тут же опровергли: Митрофанов ни при чём, а Полигузов умер сам по себе, простудившись в карауле. К тому же урядники, как и офицеры, телесным наказаниям не подлежат. А вот Прокопий Дрокин за чрезмерное пьянство получил сто ударов розгами — и ничего, жив! Так что вздорные слухи нельзя принимать за чистую монету. Разве может свой же брат казак бить со всей силы? Ну, ударит легонько, вроде как погладит, а размах сделает — ну, думаешь, сейчас зашибёт! Казаки не верили, что в Красноярске на конюшне могут забить насмерть, однако приказный Хрисанф Караполов доказывал обратное:

— Да чаво там, дерут нашего брата, ещё как дерут! Вон и сотенный не даст соврать. Как помер атаман Суриков, царство ему небесное, так и пошло-поехало: батоги, розги, шпицрутены... Оно, может, и за дело дерут — пить надо меньше! — но не насмерть же...

— С этого бы и начал! Ха-ха-ха!..

— А вот надясь помер мой знакомый, из крестьян, — вспомнил старый казак Пётр Сипкин. — Запечатальный мужик был! Корчемством занимался. Каждый Божий день выпивал по два штофа водки.

— А отчего помер-то?

— Откуда я знаю? Помер и помер!

Наконец появился на крыльце командир сотни зауряд-хорунжий Марк Суриков. Казаки встретили его знакомым дружным приветствием:

— Здравия желаем, господин хорунжий!

— С возвращеньцем!..

— Уж мы тебя, Марко Васильич, ждали-ждали...

— Как там, в Красноярске-то, шибко начальство лютует? — поинтересовался Пётр Сипкин. — Мы тут про всё такое кажин день разговоры говорим, да толку-то! Поговорим да на ту же задницу и сядем.

Сипкиных в Таштыпе много — и родственники, и однофамильцы, а может, все они связаны кровными узами, только забыли, кто от кого пошёл. Одних только малолеток — восемь человек, с будущего года будут повёрстаны в службу. Пётр Алексеевич Сипкин — самый старый, больной, вот-вот умрёт, а вот на станичный круг явился, как делал это всегда. Марк сразу же выделил его по белой бороде, встретился с его внимательным взглядом и подумал, что жадный до новостей и разных слухов старик так просто от него не отстанет.

Сегодня Марку особенно нездоровилось. Вчера они с Чанчиковым изрядно выпили, Марку было хорошо, а ночью его душил кашель. Забылся лишь

под утро, и если б не разбудил денщик, вероятней всего, проспал бы до обеда.

Марк велел Чанчикову построить сотню, и Чанчиков зычно подал команду:

— Со-отня-я... во фронт ста-но-вись!

Казачи нехотя построились, недовольно ворча, что, дескать, какой может быть строй без коня, вот ежели бы наверху были — это был бы строй, сразу видать казака, а так вроде как пешая команда, сброд...

Проаживаясь вдоль фронта, Марк заметил: — Теперь я вижу вас всех: кто как одет, кому надо постричься, кому побриться...

— А кому и похмелиться! — ввернул озорник, один из Сипкиных, Константин, который согласился в будущем году служить вместо брата Прокопия, просившего не посылать его в Арбаты «по причине расстройства домашнего хозяйства».

Реплику Марк пропустил мимо ушей и, похаживая перед строем, вглядываясь в знакомые лица, гадал: кого он взял бы с собой на пограничный знак? Семёна Сипкина? Или Михайлу Козьмина? А может, Андрея Байкалова?.. Нет! Станичный начальник наверняка заметил охотников, и в кармане у него лежит список на шесть человек — холостых, здоровых, выносливых, умеющих вести торг с китайцами, отъявленных балагуров и озорников. И непременно должен быть среди них толмач.

— Должен вам сказать, господа казаки, — заговорил Марк хриплым голосом — болело надсаженное ночным кашлем горло, — что командующий полком недоволен тем, как мы относим государеву службу. Плохо мы её относим! Не выполняем предписаний начальства. Несвоевременно отчитываемся. В караулах и на постах дремлем — стоя, как лошади. Сам наблюдал: стоит караульный, спиной к стенке, ружьё рядом прислонено — подходи и бери его, тёпленького, под микитки. А одеты как? Гляньте на себя: не казаки — банная запука... Михаил Медведь! У тебя что, по чекменю куры топтались? А ты, Борзов, когда последний раз сапоги чистил? Терсков! Иван Терсков, к тебе обращаюсь: нечего языком ляскать, слушай в оба уха, что командир говорит! Почему на тебе однорядка, а не родной казачий чекмень? В чём дело, казак Терсков?

— Дык... ведь я не на службе нонче!

— Все мы на службе государевой! Военной! И одяние у всех должно быть форменное, а не статское. Ну, я возьмусь, однако, за вас... Старший урядник Чанчиков! В другой раз буду проверять амуницию, лошадей, конюшню... Чтоб везде был порядок!

— Слушаюсь, ваше благородие!

— И ещё хочу от себя прибавить, — продолжал Марк, остановившись перед строем, чтоб отовсюду его было видно и слышно. — Среди казаков не должно быть доносчиков. Грех большой

на товарищей доносить! Что бы ни случилось в станице, в сотне — сами разберёмся. Как говорится, нашёл — молчи, потерял — тоже молчи...

— Верно говорит сотенный! — поддержал Марка Чанчиков. — Что нужно будет — мы в ежемесячном отчёте начальству отпишем. Но зачем же сор из избы выносить? Креста нет на том, кто доносит...

Казачи молчали, переминаясь с ноги на ногу, и угрюмо смотрели в землю.

Выдержав паузу, Марк заговорил снова:

— А теперь — приятные новости. Первая. Казаки нашей станицы Фёдор Александров и Ефим Сипкин ещё по осени, если помните, подали помощь утопавшим в реке Абакане с разбитого плота четверым крестьянам, подвергая риску свои собственные жизни. И вот на наши ходатайства получен приказ из Иркутска с объявлением благодарности Сипкину и Александрову самого генерал-губернатора.

Строй ожил, зашевелился, зашумел, кто-то крикнул:

— Александрову и Сипкину — ура!

— Ура! Ура! Ура! — троекратное эхо отозвалось в горах.

— Вторая новость! — Марк вынул бумагу и стал читать. — «Казак Василий Каргаполов, вследствие предписания его превосходительства господина председательствующего в совете Главного управления Восточной Сибири генерал-майора и кавалера Венцеля от третьего февраля за номером сто восемь за усердную службу и хорошее поведение произведён в младшие урядники...»

И опять грохнуло в горах:

— Ура! Ура! Ура!

— Сей час он в отлучке, на золотых промыслах, но как только воротится в станицу, то будет приведён к присяге.

Марк передал бумагу писарю Зырянову и, дав команду:

— Вольно! Разойдись! — тотчас же был окружён казаками, жаждущими услышать от него последние новости.

Вопросов было много, они сыпались отовсюду, и поначалу Марк растерялся, не зная, с чего начать и что им всем так ответить, чтобы сразу было понятно.

И начал он издадека. В январе урядник Путинцев сопровождал в Курск политического преступника Бардаховского и на днях вернулся в Красноярск. Генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьёв организовал сплав экспедиции по Амуру и пригласил участвовать в ней красноярского купца Кузнецова. Экспедиция завершилась удачно, государь щедро наградил всех её участников. А ныне намечается новый сплав под начальством командующего Забайкальским пешим казачьим войском полковника Корсакова, зятя генерал-губернатора... И потянулась цепочка:

вопрос—ответ... В ответах Марка ничего не было примечательного, обычное дело—частица жизни Енисейского конного казачьего полка, чем, собственно, казаки и жили: ревизии, поверки, смотры, гауптвахта, развод караулов, парадные построения, трубаческая команда, цейхгауз, офицеры и урядники, писаря, оружие, поощрения за поимку беглых каторжников и наказания за... В общем, всё-всё интересовало казаков, удалённых от культурных центров на долгие пять лет.

О кадровых перемещениях Марк говорил особо. В феврале прошлого года в полк прибыли и зачислены в списочный состав шестой сотни поручик барон Александр Готгардов фон Будберг, остзейский немец, переведённый из лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, и уже—есаул. Поговаривают, что скоро его заберут в Иркутск. Есаул Кребер уже переведён в Забайкальское казачье войско. Не зря генерал-губернатор Муравьёв обрастает хорошими офицерами! Хочет окончательно освоить Амур, сделать эту пограничную реку русской, укрепить дальневосточные российские рубежи. И его торопливость с амурскими экспедициями становится понятной: Крымская война открынулась и на нашем Дальнем Востоке—американские и английские корабли ищут устье Амура, чтобы проникнуть в пределы богатой Сибири. Муравьёв настроен решительно: не только не пустить интервентов, но и отразить любую их провокацию силой оружия.

— Пусть токо сунутся!—потряс в воздухе кулаком Дмитрий Байкалов. Ныне он пожелал служить за своего отца, Петра Григорьевича, задумавшего продлить себе льготу, и потому был нетерпелив и воинствен.— Мы этих америкашек так турнём—не возрадуются! И англикашек турнём!..

Отец по-свойски хлопнул его по затылку: — Помолчи-ка, алёха сельский! Плетёшь несвойку, а чё плетёшь? Ишь, турнёт он... До их ишо добраться надо!

— Муравьёв доберётся!

«Откуда в русском человеке такая вера?—спросил сам себя Марк. И сам себе же ответил:— Потому что он—русский! Сколько их, иноземцев, пыталось взять Россию силой—и ничего не вышло у них. А ведь хотели: и шведы, и немцы, и французы... Все получили по мордам...»

После падения Севастополя Англия радовалась. Лорд Пальмерстон потирал руки: «Нет страны на свете, которая так мало проиграла бы от войны, как Англия!»

«Нет, не радоваться им! Русский патриот не побоится вражеских пуль и способен даже на самопожертвование!..»

— А не бросят ли русские Амура?—спросил Иван Терсков.— Мы—далеко, а американцы—рядом. Ежели торговля там процветёт, здешним жителям выгоднее иметь ближайших покровителей, а нам

же за безмерной отдалённостью неудобно будет их защищать.

— Амура русские не бросят,—уверенно заявил Марк.— Уже сейчас контр-адмирал Завойко успешно отразил неприятельские нападения на Петропавловск в Камчатке.

— Отразил, а что дальше-то будет?

— Мы прочно оседем в устье Амура. Туда перенесём учреждения из Петропавловска, укрепим форты пушками. Муравьёв продумал всё до мелочи. Купец Кузнецов рассказывал...

И тут Марка внезапно схватил приступ кашля. Обняв рукою балясину крыльца, он кашлял долго, мучительно; казалось, выворачивало его наизнанку, и маленькое, тщедушное тело содрогалось, как у больного падучей.

Казаки молча расступились и с младенческой открытостью, с материнской жалостью в глазах растерянно смотрели, как мучается их командир, как надрывает он свои слабые лёгкие и как трудно ему достаётся каждый глоток свежего воздуха. Кто-то вдруг выкрикнул, догадавшись:

— Казаки! У кого есть вино?

И следом раздалось несколько голосов сразу, нетерпеливых и зычных, как иерихонские трубы: — Вина-а со-отенному!! Вина-а!! Дайте ему вина-а!!!

Нашлась бутылка с вином, нашлась и жестяная кружка; вино быстро вылили в кружку и протянули зауряд-хорунжему.

Трясущимися руками Марк схватил кружку и, припав к ней губами, торопливо и жадно стал пить, расплёскивая и смачивая усы, с невероятным усилием сдерживая себя, чтобы не кашлянуть; зубы стучали по железу, а мучительные позывы к кашлю выталкивали вино обратно.

С последним глотком ослабевший Марк почувствовал облегчение, но сил не было даже на то, чтобы передать пустую посудину. Её почти выхватил у него из рук Дмитрий Байкалов. Кто-то услужливо подставил стул, и Байкалов усадил на него Марка, совсем ослабевшего и безвольного. Такого приступа у него ещё не было.

Вино сделало своё дело: хмель горячо ударил в голову и начал согревать отравленную болезнью кровь; дышалось легко, исчезло щекотанье в груди, и тупая боль между лопатками отступила. И вскоре Марк почувствовал, что захмелел.

— Спасибо, братцы,—сказал он, кажется, громко, но только пошевелил губами.

Старый казак Пётр Байкалов жалостливо поглядывал на Марка и вздыхал:

— Ах ты ж, Божечки, такой молоденький здоровьем скудался!.. Да какой из тебя, милый, ходок на Бом-Кемчуг? Загнёсся в горах-то! Не ходил бы ты, а?

— Ничего, отец, дойду. В горах мне, наоборот, легче дышится.

В назначенный день станичный начальник передал Марку список лиц, отобранных им для похода на пограничный знак, а потом представил и самих людей—пятерых казаков и толмача из местных сагайцев.

— Как зовут?—спросил Марк татарина-толмача.

— Кызылчак, ваше блакоротие!

— Будь спокоен, Марк Васильевич,—сказал Чанчиков, похлопав маленького татарина по плечу,—этот сагаец три языка знает: русский, китайский и, разумеется, свой. Много всяких легенд помнит, не скучно будет с ним коротать длинную дорогу. Да и казаков я тебе подобрал в самый раз, вот полюбуйся!

Казаки и впрямь были что надо: Семён Юданов, Михаил Юшков, Семён Сипкин, Дмитрий Байкалов, Николай Чанчиков, сын станичного начальника,—молодые, рослые, и все как один зубоскалы, за словом в карман не полезут.

Марк улыбнулся: «Ну Чанчиков... Ну прохиндей, ухо с глазом... Специально подобрал таких, чтоб командира веселили!»—и казаками остался доволен.

Лично осмотрев строевых коней, чтоб не больны были да чтобы подковы не стёрты, чтоб не было под седлом потёртости, обратив особое внимание на вальтрапы, тебеньки, решмы, Марк приказал казакам одеться строго по форме:

— Не к тёще на блины едем, всё должно быть хорошо подогнано!

Сам же отправился к сотенному фельдшеру, с которым давно хотел познакомиться ближе, но всё как-то не получалось.

Младший фельдшер Константин, «для пользы службы» переведённый из Соляноозёрной станицы в Таштыпскую, был тщательнейшим образом ознакомлен с историей болезни Марка Сурикова, которую вёл прежний фельдшер Богушевский. В отличие от Богушевского, а ещё раньше—от Николая Неводчикова, который впервые прописал Марку алкоголь при кашле, Фёдор Константин был человеком неопределённого возраста, лысеющим, в движениях медлительным, на язык болтливый, норовом славным.

Марк пришёл, чтобы попросить в дорогу пилуль от кашля, а принужден был обнажиться до пояса и дать себя осмотреть.

Фельдшер удивился худобе своего пациента, но сделал вид, что и не такие экземпляры прошли через его руки.

Сначала он осмотрел Марка внешне—как учили в фельдшерской школе, про себя отмечая: длинная шея, плохо развитый слой подкожной жировой клетчатки, слабая мускулатура и таковой же костяк, плоская длинная и узкая грудная клетка, широкие и глубокие межрёберные промежутки, косо поставленные ключицы, отстающие и далеко расставленные лопатки, бледная слизистая

оболочка носоглотки... «Богушевский прав: лёгочная чахотка! И, кажется, давно прогрессирует. Лечение чисто симптоматическое...»—с уверенностью сказал сам себе Константинов, улыбаясь и посматривая на Марка так, будто у него обычное простудное заболевание.

— Прекрасно... Гм, в общем, недурно,—бормотал он, выслушивая и выстукивая пациента.

Он вертел Марка и так, и этак, приставлял то к спине, то к груди слуховую трубку, а то и ухо; ухо было неприятно холодным, а пальцы, касающиеся обнажённого тела,—твёрдыми, как пороссячи копытца. При этом он рассказывал, как однажды спас от смерти крестьянскую девку, укушенную змеей:

— Страдания её были ужасны. Опухоль по всей ноге—ни сесть, ни лечь. Я велел мазать ногу деревяннным маслом, а сам побежал домой почитать в книгах... У меня есть лечебник Лоевского. Из всех средств мне показалось удобоприемлемым только одно описание. Змея укусила девицу. Приложили живую лягушку брюхом к ранке. Лягушка сперва сильно шевелилась, потом ослабела. Её отняли, и она околела. Приложили другую, третью... И так до десяти. И все они околевали. Одинадцатая же осталась жива, что и послужило признаком, что яд уничтожен... Страх миновался, осталась только боль. Девица стала поправляться и через три дня вышла на работу... Ну, я присоветовал моей крестьянке прикладывать к ранке лягушек. И представьте, вылечилась! Лягушки должны быть употребляемы луговые, тонкобрюхие, но не земляные, черепахообразные—кожа у них толстая, не пропускает яда... И такие лягушки не колеют.

— Ну а мне, доктор, на какое место лягушек прикажете ставить?—съязвил Марк.

Фельдшер глянул на него по-детски наивными светлыми глазами и пролепетал что-то вроде того, что это у него привычка такая—разговаривать с пациентом во время осмотра: успокаивает, мол, обоих...

— Ты мне зубы не заговаривай, а дай что-нибудь от кашля. И скажи, что мне можно, а что нельзя потреблять.

Фельдшер с готовностью взялся перечислять: — Питайтесь предпочтительней всего животной пищей, ваше благородие. Можно и молоко, и масло коровье, и рыбий жир... Сладкое исключить вовсе. Уксус—ни в коем случае! Но всякому пищевому веществу надо прибавлять немного соли.

— А из питья—что?

— Противохорадочное—отвар хинной корки с красным вином; лёгкие отхаркивающие—минеральные воды «Зальцбрунн» или «Эмс»... При сильном кашле принимайте кодеин. Ну и, разумеется, полезны свежий лесной или горный воздух, утренние холодные обтирания.

— Мне вино помогает,— сказал Марк, одеваясь.—
Прежний фельдшер прописал...

— Вино— это хорошо,— согласился фельдшер.—
Алкоголь в форме крепкого вина или коньяка— не
повредит. Последний, например, пить с молоком
вечером перед сном или ночью— знаете ли, улуч-
шает деятельность сердца. К тому же вы избежите
изнурительного ночного пота...

Марк спешил поскорей отделаться от болтли-
вого фельдшера, который опять стал рассказывать
свои дурацкие побасенки, совсем не заботясь о
том, слушает ли его пациент:

— Идут по степи трое— жадный, неумный и во-
все дурак. Идут и видят: яма, в ней что-то копо-
шится. «Ты чё такое?»— спрашивают, а в ответ:
«Я— счастье!»— «А коли счастье, так сделай меня
богатым»,— говорит жадный. И только прогово-
рил— бац!— лежит перед ним мешок с деньгами.
«Сделай меня умным»,— попросил неумный— и в
мозгах у него прояснение возникло. «А тебе чего
надо?»— спросило счастье дурака. Дурак поче-
сал в затылке: «Да уж ладно, чё в яме-то сидеть,
вылезай!»— и протянул руку. Счастье и вылезло.
Дурак пошёл дальше своей дорогой, а счастье
следом за ним... Счастливым вы человек, ваше
благородие!— неожиданно заключил фельдшер.

Лицо у него умное, добродушное, рыжее, как
кирпич, глаза жёлтые, смеющиеся, лукавые.

— Насчёт счастья— сомневаюсь, а что дурак—
может быть, ты и прав,— пожал плечами Марк.— Но
почему— дурак-то?

— Не в обиду будь сказано, ваше благородие, но
если б вы только осознали, как опасно больны, то
не собирались бы на Бом-Кемчуг.

— А я знаю, доктор. И знаю, что больше года не
протяну. Но я не хочу умирать, и пока держусь в
седле— живу. И на Бом-Кемчуг пойду, и на Сабин-
дабага в сентябре...

— Храни вас Бог, Марк Васильевич,— произнёс
фельдшер изменившимся, печальным голосом.—
И возьмите в дорогу побольше вина...

5.

Общий пограничный знак Бом-Кемчуг водружён
был на невысокой каменной горе между двумя
реками— там, где Бом-Кемчуг вливает свои хо-
лодные бурные воды в Енисей. Идти туда десять
дней. Но сперва все казачьи отряды— Саянского,
Кебежского и Шадатского, Арбатского и Таштып-
ского форпостов— сойдутся в селении Означенное.

...Таштыпский форпост, наравне с Саянским,
ещё в марте 1852 года генерал-губернатор Во-
сточной Сибири переименовал в станицу. С тех
пор центром казачьего управления стал Таш-
тып, стоявший на левом берегу речки Таштып.
В селении— до двухсот домов, каменная церковь,
приходская казачья школа, по воскресеньям бы-
вают значительные базары. А форпост Арбатский

ничего этого не имел. Форпост есть форпост—
фортификационное сооружение, состоящее из
четырёхугольного рва, обнесённого рогатками в
два ряда из толстых, заострённых сверху брёвен,
с башнею над воротами и высокой казармой с
одного бока, обращённой к реке Абакан и почти
висящей над каменным обрывом. Казаки там несут
караульную службу, сменяясь каждые три недели,
после чего возвращаются в станицу, где продол-
жается их служба в строевых сборах, учебных
занятиях, инспекторских смотрах, в ремонте аму-
ниции и обмундирования, в уходе за лошадьми...

Марк Суриков только что воротился из Ар-
батского форпоста, где провёл инспекторскую
проверку наличного состава казаков, и сразу же
собрался в другое путешествие, уповая только
на Бога, выносливость Солового и крепкое вино,
которым запасся в избытке.

Придержав коня, он оглянулся, залюбовался
окрестностями станицы, лежащей на овальной
возвышенности по крутому левому берегу мел-
ководной речки, петляющей под раскидистыми
тополями. Направо, и весьма близко, тянулись
зелёные хребты гор, налево, за речкою, и в неко-
тором отдалении— синие горы, а за ними— уже
белые, снеговые тасхылы...

Здесь Марку нравилось всё: и эта ровная со-
лончаковая степь с древними могильниками, и
эти такие разные горы, и быстроструйные, с буй-
ным характером, реки, и это чистое голубое небо
с редкими, точно пушинки, белыми облаками,
и сама станица Таштыпская с её людьми. О де-
вушках здешних некогда губернатор Степанов
сказал, что они «стыдливы и прелестны собой».
Он бесконечно благодарен старшему полково-
му фельдшеру Смелянскому и своему дядюшке,
покойному атаману Александру Степановичу,
которые направили его сюда. «Бедный дядюшка!
Я тебя даже похоронить не смог...»

К пограничным знакам казаки шли охотно,
и даже не столько потому, что избавлялись от
повседневных скучных занятий, предписанных
уставом, сколько из-за счастливой возможности
что-нибудь у монголов или китайцев выменять.
Они вели с собою лошадей, навьюченных фура-
жом, провиантом и товарами для мены, тем более
что торговля с иноземцами с недавних пор им
дозволена беспопытно.

Отряд вышел к реке Абакан, стеснённой здесь
величественно дикими, но повсюду живописными
берегами, прошёл по ещё крепкому льду на север,
мимо зубчатой горы Тигрыгыш, за устьем Кара-
джуля, мимо высокой горы Кемзе, от которой горы
левого берега Абакана отклоняются далее на запад,
к устью Иссы и высотам Тюртюба, и в селении
Монок остановился на ночлег. Развьючив лошадей,
казаки повели их к утёсам, где днём подтаивало
и где проглядывала старая трава. Таковую траву

казаки называют «ветышь» — какой-никакой, а подножный корм, лошади пока обойдутся этим.

Монок — небольшая и чистая деревенька, заселённая отчасти казаками, отчасти крестьянами и оседлыми инородцами. В просторном доме сагайского родовича, куда казаков привели на ночлег татары, было грязно и людно. Посреди избы на подстилке из конских шкур сидел старый седой хайджи¹⁴ с реденькой бородкой, одетый в длинную и широкую в подоле красную рубаху из китайского ситца, и, держа на коленях чатхан¹⁵, задумчиво перебирал пальцами тугие струны из воловьих жил. Временами он оживлялся, и тогда его тонкие пальцы быстро-быстро бегали по струнам, извлекая то тихие, то бурные звуки незнакомой восточной мелодии. Кружком расположились перед ним татары и слушали, замерев, как каменные идолы в степи.

Марк и его спутники не мешали им. Сытые после обильного ужина, устроенного для них татарами, лёжа на мягких кошмах¹⁶, на перемётных сумках вместо подушек, они тихо переговаривались. Хайджи, настроив чатхан, запел мягким, переливчатым, как журчанье ручья, хаем¹⁷. Смуглое лицо его, оттенённое чистой сединой, одухотворённое светлой мыслью, внезапно преобразилось, что-то древнее, неведомое чудилось и в лице, и в раскосых глазах, и в горловом пении, которое завораживало, держало в напряжении.

— О чём поёт хайджи? — спросил Марк.

— Это старый-старый сказка, косподина офицер, — тихо ответил толмач. — Курган поёт — их зовут чатас, народе поёт, который нет Белого царя. — Переводи подробней, — попросил Марк.

В старое время, переводил толмач шёпотом, в абаканских степях жил народ храбрый и никого не боялся. Шаманы-апсахи узнали судьбу его и всем рассказали, что как только появится дерево берёза, которое никогда раньше не произрастало в этих краях, то сейчас же придёт с несметным числом своих воинов Белый царь и покорит Сибирь. Берёза появилась. А вскоре и слухи пошли, что богатыри Белого царя уже подходят к минусинским землям.

Далее хайджи пел, что придёт время, когда ни одного инородца не останется в Сибири, что все они перемерут под тяжким бременем русских, — и этот последний мрачный аккорд поверг слушателей в смятение. Некоторые мужчины плакали, женщины голосили, дети испуганно жались к матерям.

14. Хайджи — сказитель, исполняющий песни, сказания, легенды (*татар.*).

15. Чатхан — щипковый музыкальный инструмент (*татар.*).

16. Кошма — кочма, войлок из овечьей шерсти (*татар.*).

17. Хай — горловое пение, отсюда — хайджи (*татар.*).

Но тут хайджи внезапно сильно ударил по струнам и как бы воспарил над чатханом. Беспристрастное лицо его оживилось, в тёмных глазах щёлках засветилось торжество.

Русские, переводил толмач, не такие варвары, какие были в старое время, теперь они — лучшие наши друзья...

Едва наметился рассвет, а хозяева гостеприимного дома были уже на ногах. Поднялся, кряхтя, и старый хайджи. Сейчас молодые парни Кулай и Микель запрягут в коляску лошадь и отвезут его в Табат, где он также будет петь, прославляя храбрецов незнакомою племени, похоронивших самих себя с приближением русских.

Сопровождавшие отряд наверх татары воротились в Таштып. Далее — до Иудиной, где живут молокане, до Табатской, Бейской, Сабинской, до самой Означенной деревни — сопровождать его будут качинцы.

Через Иудину и Табат — всего тридцать вёрст, отряд пройдёт без остановок, решил Марк, и заночует лишь в селении Бейском, одном из лучших в Минусинском округе. Но от Табата до Бей восемнадцать вёрст: смогут ли выносливые лошади одолеть весь путь от Монока почти в пятьдесят вёрст по горным тропам? Согласятся ли казаки поспешить, если в Означенном всё равно они будут к сроку?

И Марк отказался от первоначальной затеи. Значит, с хайджи они ещё могут встретиться.

После обильного ужина с аракой казаки спали крепко и раскидисто. Марк растолкал их и велел собираться в путь, пристыдив, что вон и старый хайджи уехал, и татары уже сидят на конях, ждут. — Чё так рано-то? — ворчал Семён Сипкин.

Фёдор Юданов ткнул его пяткой в спину: — Эх ты, назузился, как суслик... мякинное твоё брюхо!

Сипкин зашевелился, встал на карачки и сел, обхватив голову руками.

— Чё, башку обнесло?

— И не говори, Федя, — простонал Сипкин, шаря по кошме руками. — Ремень куда-то запропал...

— А ты его вместе с саблей и ружьём под голову положил. Чё ли, забыл? Или спьяну ничё не помнишь? — Юданов посмотрел на Марка. — А ты, ваше благородие, так и не спал? Вид у тебя — впопугу в гроб уложить. Оно, конечно, разве уснёшь? Сперва этот певец до полуночи горло драл, потом этот зюзя Сипкин на дурничку надрался, всю ночь шилом вертелся, а потом храпел, как старый конь. Я его пну в бок — затихнет, потом опять его раздирать начнёт. И ты, хорунжий, всю ночь кашлял... — Отоспимся в Табате, — сказал Марк, застёгивая шинель на все пуговицы и крючки. — Придём рано, покормим лошадей — и сразу спать.

Надел португепю с пистолетом и саблей, продёргнул наплечный ремень в прорезь под эполетом, поправил папаху и беззлбно пригрозил:

— Но смотрите мне, больше так не напивайтесь!..

Так уж со времён Степанова повелось — на земском тракте, со станции к станции, до самого Минусинска, сагайцы и качинцы добровольно сопровождали и статских чиновников, и вооружённых казаков, тем самым выказывая русским своё безмерное уважение. И казаки не отказывались от услуг татарских доброхотов.

От Монока и далее, до Иудиной, места ровные — луговые и хлебопахотные слева, а справа тянутся холмы гор Сабинских, изредка покрытые лесами. Отдохнувшие лошади шли легко и даже, несмотря на тяжёлую поклажу, пробовали рысать; казаки придерживали их, чтобы не запалились.

Не останавливаясь, прошли сквозь деревню Иудину, заселённую сосланными сюда из разных мест России субботниками и молоканами. Князь Костров говорил, что «эти люди весьма кротки, послушны и как нельзя более трудолюбивы».

— Почему их так прозывают? — поинтересовался Дмитрий Байкалов. — Молока много пьют?

— Кто их знает? У князя надо спросить...

— Точно, много молока пьют, — сказал Байкалов, глядявая по сторонам на белёные мазанки, на богатые подворья, на чистеньких молоканок, хлопчущих по хозяйству. — Эвон как, по две-три коровы держат! — и, помолчав, спросил: — А пошто деревня Иудиной прозывается? Вроде не евреи живут. Не иуды вроде... Пошто Иудино-то?

— Деревню они построили сами, назвали Обетованною. Но как-то побывал здесь губернатор Падалка, походил, посмотрел — ни церкви, ни икон, ни божественных книг — и возмутился: «Обетованная? Вот я вам покажу Обетованную, иуды, безбожники! Иудина, а не Обетованная!..» Воротился в Красноярск и переименовал деревню. — И давно это было?

— Кажется, в пятьдесят первом году...

Версты три от Иудиной ведёт в сторону небольшой горный хребет. По словам иудинцев, здесь найдена была медная руда, откуда её возили на частный медеплавильный завод, стоявший на реке Лугавке, близ села Лугавское. Отсюда дорога плавно поползла вверх, казаки спешили и повели лошадей в поводу. Марк оставался в седле — его Соловый менее навьючен, только мешок с фуражом да аргымах с провизией и вином — вот и вся поклажа. В другое время он с удовольствием прошёл бы пешком, но сегодня его чаще, чем обычно, донимал кашель. Портилась погода: с вечера бушевал ветер, а к утру степь оголилась до земли, — и Марк эту перемену чувствовал на себе. Он всё чаще доставал бутылку с вином, делал несколько глотков, успокаивался, но ненадолго: едва кончалось действие алкоголя, как начинался кашель...

В Табате, прислонившейся к подножию горы деревне, отряд переночевал. Набрался сил и отправился дальше, до Беи.

За Табатом кончается кочевье сагайских татар и начинается родоначалие небольшого бедного племени койбалов, хорошо говоривших и по-русски, и по-татарски.

— В тридцатом году, — рассказывал Фёдор Юданов, — красноярский мещанин Пороховщиков нашёл на Табате признаки золота листочками, но весьма слабые. Была осень, ранние морозы не дали сделать ни единой хорошей промывки. Уехал до весны. А потом и он, и многие другие промышленники побывали там, но ничего не нашли.

— Знать, не далось им золотишко-то, — позавидовал Сипкин. — Эх, я бы на месте того мещанина... Такой фарт упустил!

По обеим сторонам дороги всё чаще стали попадаться кладки необмолоченного хлеба. Потом рано выпал снег, и крестьяне оставили в кладях часть урожая до весны, когда можно будет обмолотить его и пустить на фураж.

Но вот и село Бейское. Оно стоит в голой, довольно скучной степи, лишённой даже бурой осенней травы. Отсюда на Означенное путь лежит через деревни Калы, Сабинку. Кругом безводная степь. По правую руку синеют вдаль Саянские горы.

Недалеко от Означенного некогда путешествовавший здесь доктор Кастрен обнаружил на одном из чудских курганов камень с рунической надписью, о которой ещё раньше упоминал Паллас. Минусинский окружной начальник князь Костров тоже о нём рассказывал. Марку захотелось увидеть этот знаменитый камень, и он свернул с дороги. Следовавшие за ним казаки забеспокоились:

— Ты куда, ваше благородие?

Марк махнул рукой:

— Идите, я догоню вас! — и пустил Солового вскачь к одному из курганов с торчащими из земли плоскими камнями, обнимающими древний могильник.

Но тот камень, о котором говорил князь Костров, со временем упал и так был занесён песком, что Марк едва отыскал его. Он имел вид грубо отёсанного параллелепипеда длиной в три аршина, шириной в сто четыре вершка и толщиной в пять вершков — такой, каким описал его небезызвестный Паллас. Он же отмечал, что на трёх его сторонах высечены неизвестные литеры «глубиной от 2 до 3 линий». Четвёртая — ребровая — сторона камня надписи не имела. Очистив поверхность камня от песка, Марк подозвал толмача.

— Что написано тут, Кызылчак?

Толмач долго вглядывался в таинственные знаки — и так, и этак вертел головой, заходил то справа, то слева, то опускался на колени, то ложился на живот и водил указательным пальцем по шероховатым углублениям, — но прочесть не смог. — Шибко трудно, тут учёный люди нужны!

— Ну а что означают эти знаки?

— Конь. Хозяин или хан. Колчан. Стрелы. Герой помирай. Молодой, вот как ты, господина офицера. — Слава Богу, хоть что-то выяснили... А что за герой?

— Чудно, однако! Шибко старое время!

— Ладно, Кызылчак, поехали!

Но, отъехав немного, Марк остановился, вынул из внутреннего кармана шинели карандаш и блокнот в кожаном переплётё с золотым обрезом. По совету князя Кострова он теперь зарисовывал всё, что привлекало внимание. Сделал эскиз и этого могильника.

Сабинские татары сопровождения, не доезжая Означенного, повернули назад и с гиканьем, с гортанными возгласами, будто участвуют в состязании женихов, помчались по степи.

Означенное — последнее селение в русских пределах, дальше нет ни пути, ни поселений. Дальше — Монголия.

Селение стоит на левом берегу Енисея, с юга и запада его обнимают, по уверениям Степанова, мраморные, яшмовые и порфирные горы: «Две цепи их стоят одна против другой...»

История возникновения селения Означенное любопытна и удивительна. Старшины татарских племён упростили русского царя защитить их земли от набегов кочевников. Пётр Первый издал указ, и в 1707 году между горами Унюк и Туран была построена Абаканская крепость. Но поскольку она была удалена от Енисея при выходе его из саянских теснин, казаки решили построить Саянскую крепость и обозначили место на левом берегу реки, вблизи Майнского порога. И снова задумались: ведь крепость, не защищённая Енисеем, может легко подвергнуться нападению со степной стороны. Проект изменили и построили крепость на правом берегу Енисея, а местность у Майнского порога с тех пор так и стала называться — Означенной.

Со временем ойротские, киргизские и другие воинственные племена откочевали за Саяны, в Джунгарию, на Енисее воцарился мир. Абаканская и Саянская крепости потеряли оборонительное значение. Казачьи гарнизоны занялись земледелием. Вблизи крепостей стали селиться крестьяне, возникли заимки и деревни.

В 1830 году на «означенное место» приехал на четырёх подводах крестьянин из деревни Очуры Василий Саломатов с тремя сыновьями. Огляделся — место понравилось: кругом обилие сенокосных угодий, целину можно распахать под пашню, в тайге водятся соболь, белка, марал, медведь, лось... Срубили мужики каждому по избе — вот уже и деревня, а как назвать её — и выдумывать не надо.

Енисей здесь узок, несётся стремительно. Посреди реки торчит огромный гранитный камень, вода бьётся об него и кипит белым ключом. Чуть повыше — другой такой же камень. А по берегам

громоздятся скалы чёрно-бурого кремнистого гранита. В пятнадцати верстах висит над Енисеем с правой стороны огромная голая гора Тасхыл с глубокими расщелинами, сбегаящими вниз и заполненными снегом, — будто вылили на нее нечто белое, и оно растеклось многочисленными ручьями. С левой стороны — другая такая же гора...

Таштыпцев здесь уже поджидали саянские, кебежские и шадатские казаки — с каждого форпоста по семь человек, в Означенное их привёл старший урядник Кузьма Саломатов.

И Саянский, и Кебежский и Шадатский форпосты составляют одну станицу, местоположение её — село Саянское, стоявшее в десяти верстах от Означенного на правом берегу Енисея, «на рукаве... углублённом в материк наподобие прекрасного канала, над которым навислые деревья составляют густой свод».

Саянский форпост, состоящий из редута с башнями по углам, «сидит в равнине» и совершенно разрушен.

Форпост Кебежский — и старый на речке Ое на юго-востоке от села Шушь, и новый на холме при устье двух речек Суетук, которые, соединяясь, впадают в Ою, — тоже не пощадило время.

Форпост Шадатский стоит на отлогой возвышенности и никаких укреплений не имеет. К нему надо ехать из Кебежа степной дорогой, через гряды холмов, через берёзовые перелески, до речки Казга-губе, за которой виднеется высокая гора Камыш-таг.

Как пишет Степанов, все эти форпосты «составляют рассадник полка, пополняя его молодыми людьми и поддерживая старинный обычай надзирать над границей». Места здесь прекрасные, лучшие во всей Енисейской губернии, ибо «природа наделила их всем в изобилии».

Поначалу в каждом форпосте был свой управитель или дозорщик, но впоследствии остался только дозорщик, наблюдающий за всеми форпостами. Жил он в Саянске и время от времени объезжал пограничные караулы или посты.

Тобольская губернская канцелярия беспрепятственно повелевала иметь «всевёрдую» и крепкую осторожность и, «буде где паче чаяния, и от чего Бже сохрани! будет приход неприятельских людей или воровское их неприятельское собрание, в каких-либо местах внутри или близ Русских жилищ и Ясашных волостей, и о их шаткостях уведано будет, то за таким злохитрым, ветреным, легкомысленным неприятелем, не упуская нимало времени, чинить крепкие, вооружённую рукою, поиски и воинские отпоры».

Но никто никогда на русские земли в Присяянье не покушался, караулы бездействовали, казаки обленились и оружие применяли, разве только охотясь на диких зверей. Укрепления форпостов постепенно ветшали и к середине семнадцатого

столетия совсем развалились. А когда дозорщик в 1732 году донёс в Тобольск «о дурном положении Саянского форпоста», то починить его было дозволено аж... через десять лет. Но и через десять лет денег на починку не ассигновано, а снаряжено сто пятьдесят казаков «к срубке и поставке леса для поновления заплотов, рогаток, рвов и надобов». Причём было приказано, «чтоб рабочих как наискорее выслать и чтоб они не отговаривались; а также смотреть, чтобы прилежно работали; ибо починка де необходимо нужна». А до починки так дело и не дошло.

Через двадцать лет, испросив дозволения заселить места по берегам Абакана и Таштыпа, близ пограничных караулов с тем, «чтобы поддержать их всегда в исправности как им, так и потомкам их», казаки основали близ форпостов хлебопашеские поселения...

Поскольку командир пятой казачьей сотни Марк Суриков (а до него есаул Кребер) имел квартиру в Таштыпской станице и редко бывал в этих краях, то Кузьма Саломатов, как станичный начальник, избранный казачьим кругом на три года, пользовался в Саянске почти неограниченной властью.

— А ты пошто, ваше благородие, сам-то на знак пошёл? Выдюжишь ли? — удивлённо, с некоторой долей неприязни, потому что придётся уступить власть старшему по чину, спросил Саломатов и кивнул на своих станичников, расположившихся кружком у костра. — Мои-то архаровцы хоть и обвесились перемётными сумами да вьюками, однако же легки на ногу, пойдут быстро!

— Ничего, выдюжу, — озлился Марк, задетый недоброжелательным тоном, заносчивостью своего подчинённого.

Саянцы, кебежцы, шадатцы — молодые, жизнерадостные, свежие, как будто только что подняты с постели, — притихли, поглядывая на приближающегося зауряд-хорунжего, потом нехотя встали. Их лошади, навьюченные фуражом, продовольствием и товарами для мены с монголами, паслись неподалёку, копыта снег. Марк поздоровался с казаками, они ответили ему громко, но вразнойой. — Когда отправляемся, урядник? — обратился Марк к Саломатову.

— Ты командующий сотней, тебе и решать, — холодно ответил Саломатов. — А я готов хоть сейчас...

— Мои ребята устали, должны отдохнуть.

— Отдыхайте, мне-то чё...

Рано утром отправились в путь.

Там, где в Енисей вливается река Бом-Кемчуг, состоящая из двух горных потоков — Бом и Кемь, между обоими потоками на невысокой, но каменистой горе водружены пограничные знаки. К ним надо идти сначала вверх по правому берегу Енисея, потом вдоль речки Голубой через горы и тайгу, по спёкшемуся снегу. Хорошо подкованные лошади,

кроша наст, то тяжело взбирались по кручам, то, оскальзываясь, осторожно спускались в лощины. В день отряд проходил по двадцать — двадцать пять вёрст, через каждые три часа делал привал, развьючивал лошадей. Разговоры у казаков вертелись вокруг скорой выдачи им жалованья и порционных денег.

— В апреле должны выдать деньги на фураж, мясные порции и соль, — сказал казак.

— Как же, жди! — сердито заметил другой. — В прошлом годе выдали аж в июне. А потом — в октябре. Два раза в годе выдают, не знашь, чё ли?

— А ноне, я слышал, раньше дадут: генерал Муравьёв распорядился по случаю грядущей битвы на Дальнем Востоке.

— Ага, дадут... Догонят и ещё дадут!

— Господин хорунжий, ваше благородие, — обратился к Марку первый казак, видя в нём прежде всего авторитетного, грамотного, всезнающего офицера. — Скажите этому Фоме неверующему, что выдают нам деньги в срок из провиантского магазина...

Марк, выпив немного вина и успокоив кашель, привалился спиной к дереву и, кажется, задремал, потому не сразу сообразил, что обращались к нему.

— Да-да... — Марк открыл глаза. — А в чём дело?

— Да вот... в апреле, говорят, мы деньги получим.

— Получите, — подтвердил Марк. — Не в апреле, а в мае.

— Пошто так-то?

— В апреле получают ближайšie к Красноярску станицы, а до нас пока дойдут — вот тебе и набегаёт лишний месяц.

— По сколь хоть дадут-то?

— По девяносто восемь с четвертью копейки серебром каждому служащему нижнего чина. Полковой казначей зауряд-хорунжий Затрутин при мне составлял раздаточную ведомость.

— А походные деньги получим?

— За что тебе походные-то? — насмешливо возразил первому второй казак.

— За поход на пограничные знаки, вот зачем!

— Держи карман шире...

Пришлось Марку вмешаться.

— Походные деньги, — сказал он, — полагаются для мобилизованных на театр военных действий, а вы же не на войну идёте... Это ваша обязанность — наблюдать пограничные знаки. Господин старший урядник! — позвал Марк Саломатова. — Почему не объяснил молодым казакам таких вещей?..

— Ещё объясню, — буркнул Саломатов, и было непонятно, как он это делает: накажет казака за незнание «таких вещей» или же соберёт станичников и прочтёт им «Положение о казачьих полках», — Кузьма Саломатов был человеком непредсказуемым.

— Кстати, — вспомнил Марк, — по окончании посева хлебов распорядись об исправлении дорог,

мостов, гатей, пролегающих в участках казачьего ведомства.

— Что, уже и приказ есть?

— Приказа ещё нет, но опыт подсказывает— скоро будет. Предупреждаю заранее. А то получится как в прошлом году: бумагу ты получил с опозданием, начал работы, а тут— сенокос, ну, всё и бросили... Тогда я не доложил об этом случае в штаб и получил выговор.

— Будет приказ— распоряжусь,— упрямылся Саломатов.

— Господин старший урядник!— Марк повысил голос.— Я тебе приказываю! Нужна бумага? Сейчас напишу!— Достал блокнот и карандаш, черкнул несколько строк, вырвал лист и подал Саломатову.— Это тебе мой приказ! И попробуй не выполнить...

— А не будет ли это подменой высшего командования, ваше благородие?

Хитрый и самолюбивый, коварный и властный, саянский станичный начальник знал, что говорил. В мае 1853 года, когда сотенный командир самовольно разрешил крестьянам устраивать загонные огороды для ловли диких коз на казачьих угодьях «без испрошения на то предварительного разрешения» командующего полком, Саломатов донёс в Красноярск Мазаровичу, в результате Суриков схлопотал выговор. В приказе всем также объявлялось: «Ни в какую переписку мимо полка не входить». И вот тебе пожалуйста— опять самовольничает зауряд-хорунжий!..

Однако и Марк знал, что делал. Он всем хотел только добра, ибо уверен был, что приказ из штаба полка, как всегда, запоздает, время будет упущено, и опять Саломатов ничего не успеет сделать. Он также знал и то, что этот его «самочинный» приказ будет опротестован, о чём Саломатов непременно донесёт Мазаровичу, и всё-таки позволил себе вновь проявить самостоятельность.

— Выполняй приказ,— твёрдо проговорил Марк и поднялся, громко, чтобы слышали все, скомандовал: — Подъё-ём! Отдохнули? Надо идти...

Казачи бросились ловить лошадей, закинули через сёдла тяжёлые вьюки, мешки, перемётные сумы и ждали новой команды.

День был ясным, безоблачным, и воздух на фоне белого-белого снега дрожал голубым прозрачным маревом. Снег, мерцающий радужными искрами, солнце и даже воздух до боли слепили глаза. Казаки низко надвинули на глаза папахи, щурились, чаще смыкали веки и шли вслепую, доверившись лошадям, не раз бывавшим на пограничных знаках. Саломатов шёл впереди, ведя коня в поводу, Марк замыкал растянувшуюся цепочку верхом на своём Соловом.

Кочевье койбальского родоначалия осталось позади, впереди— кочевья кызыльцев, или сойотов. Но ни табуна коней, ни стада сойотских быков,

ни юрт, ни единой живой души впереди— одно немое сверкающее пространство.

Вскоре стали попадаться круглые сойотские юрты в долинах, у горных ручьёв. Остановились на ночёвку в одной из юрт, хозяйин которой, плосколицый кызылец, весь изрезанный морщинами, напоив гостей чаем, перебрался в соседнюю юрту.

Среди ночи Марк проснулся от удушья и, чтобы не потревожить спящих казаков своим кашлем, вышел на воздух, прихватив с собою бутылку с вином.

Ночь была тихая, звёздная, таинственная среди величественных гор. Фыркали пасущиеся неподалёку лошади; вместе с хозяйскими быками они мирно хрупали сеном, разбросанным по поляне. Где-то ревел марал.

Вино помогло Марку и на этот раз. От лёгкого головокружения и свежего горного воздуха, оттого, что не теснило в груди и легко дышалось, Марк пришёл в весёлое возбуждение, хотелось поговорить, и он обрадовался, когда из юрты к нему вышел толмач Кызылчак, во всё время пути не оставлявший сотенного начальника одного. Он спросил, не надо ли чего господину офицеру, и успокоился, увидев улыбку на его болезненно заострённом лице.

— А ты чего, Кызылчак, не спишь?— Марк отечески похлопал его по спине.— Не спится? Или— бессонница у тебя?

— Ты не спишь— я не сплю,— ответил толмач серьёзно.— Велено, однако, беречь тебя.

— Кем велено, Кызылчак?

— Начальник Таштыпа Чанчик говорил: ты, Кызылчак, шибко умный, береги господина офицера...

— Ну что ж, давай поговорим...

Вдруг ночную тишину потревожил чей-то громкий гортанный говор не говор, крик не крик.

— Едет кто-то,— пояснил Кызылчак,— едет и ругает коня.

Затем послышался кашель, свист, как свистят разбойники в тайге, и долину огласило заунывное пение. Всё это приближалось и вскоре обрело плоть и душу: из мягкого полумрака выступила тёмная фигура на тёмном коне. Марк высказал мнение, что человек этот совершенно невоспитанный, если позволяет себе, подъезжая к стойбищу, так вести себя. Кызылчак сказал, что человек, наоборот, хороший и честный, а ведёт себя так потому, что хочет обратить на себя внимание, чтобы живущие в стойбище знали: едет добрый сойот, не вор, который обыкновенно прячется.

...Ночуя в расщелинах скал, в неглубоких пещерах, если ночь застигала в горах, и под сенью могучих сосен в долинах, питаясь размоченными в воде сухарями, варёными куриными яйцами, вяленой сохатиной, копчёными тайменями и домашними постряпушками, обожжённые ослепительным

горным солнцем, усталые, почерневшие, заросшие колочей щетиной и полуслепые, на десятый день пути добрались наконец казаки до пограничных знаков на Бом-Кемчуге, отделяющих Енисейскую губернию от Монголии. Большой деревянный крест стоял на русской территории, высокий деревянный столб, обложенный камнями,— на сопредельной.

Объездный монгольский отряд из пятнадцати верховых сойотов, кочующих на южной стороне Саянских гор, под командой дарги первым взшёл на Бом-Кемчуг.

Дарга терпеливо ждал, пока русские не развьючат своих лошадей и не приведут в порядок самих себя. Ждал, когда русский урядник сделает шаг в его сторону, чтобы дать команду своим людям спешиться и самому двинуться навстречу. Но у казаков произошла заминка, для него непонятная, и он стал заметно нервничать.

А заминка выразилась в том, что старший урядник Саломатов заупрямился: мол, не может он участвовать в церемонии встречи, когда есть на то старший по чину, не может перешагнуть через голову: идти должен Марк...

Промедление могло обернуться дипломатическим курьёзом, и кто его, даргу, знает, что может он в этом случае предпринять? Помогло избавиться от неприятностей то внезапное обстоятельство, что Марк вдруг опять почувствовал удушье.

— Иди, Кузьма Иванович,— взмолился Марк, с трудом сдерживая рвущийся наружу кашель.— Видишь, я долго не выдержу... мне худо.

И Саломатов пошёл.

Марк укрылся за крупом коня, сделал несколько глотков вина из бутылки и только после этого посмотрел вслед удаляющемуся старшему уряднику.

Монголы спешили и молча следили за каждым движением своего дарги. Казаки тоже замерли, и двадцать пар напряжённых глаз впились в широкую спину своего начальника.

Наступал торжественный момент: вот сейчас... сейчас они сойдутся, сойдутся представители двух великих держав—два урядника, неторопливо и с достоинством идущие навстречу друг другу. Сейчас они протянут навстречу друг другу руки, сойдутся и обнимутся, как братья.

Они шли по нейтральной, ничейной земле: дарга—от своего столба, русский урядник—от своего креста,—и остановились друг против друга, но не обнялись, как ожидали казаки, а поклонились в пояс друг другу, после чего соединились в долгим и крепком рукопожатии. В этот момент, как того требовал международный дипломатический этикет, с обеих сторон одновременно двинулись навстречу друг другу оба толмача и встали каждый подле своего начальника, по левую от него руку.

Марк с интересом наблюдал церемонию свидания пограничных дозорщиков, думая о том,

что этой сцены, если бы пошёл он, а не Саломатов, ему не суждено бы увидеть. А потом подумал, что он сделал правильно, что отправил на «свидание» Саломатова: много чести уряднику-иноземцу вести переговоры с русским офицером...

Тем временем, не расцепляя рук, урядники вели через толмачей обязательный в таких случаях диалог.

Дарга:

— Здоров ли ты, голова? Каков был ваш путь? Здоров ли ваш государь? Благоденствует ли народ ваш?

Саломатов:

— Государь наш милостию Божией здравствует, а народ благоденствует. Я здоров, того и тебе желаю. Путь наш сюда был нетруден и в радость нам. А ты здоров ли, дарга? Здоров ли ваш император? Благоденствует ли народ ваш?..

Дарга ответил, что все здоровы и народ благоденствует, что путь их на Бом-Кемчуг был также в радость, после чего оба разжали пальцы и опять поклонились в пояс друг другу. Потом дарга повернулся, выкрикнул какое-то приказание, среди соплеменников возникло движение, и, точно по волшебству, из-за спин своих товарищей выступили два коренастых монгола, держа за ноги на своих плечах по барану. Толмач перевёл: это подарок «урусам» от благословенного дарги.

Саломатов растерялся—надо же чем-то отдалить!—но не подал виду.

— От те раз! Как стал, так и околел,— выругался он. И толмачу:— Кызылчак, это не переводит. А сходи-ка до моего коня и достань из перемётной сумы курительный табак. Брал на мену, а придётся отдавать так...

Дарга и Саломатов обменялись подарками, поклонились друг другу, и каждый подал знак своим товарищам.

И с той, и с другой стороны сошлись на ничейной земле отряды дозорщиков: русские казаки оставили оружие, взяв с собою только товары для мены; монголы отложили колчаны со стрелами и луки—вооружение пикетчиков—и тоже внесли в круг свои товары. Казаки знали: на торге русские товары очень ценятся у монголов, особенно у сойотов, в то время как их товары оказываются совсем дешёвыми. За русские товары стоимостью, например, в один рубль ассигнациями дают товары стоимостью в пять рублей. Саломатов потому и огорчился, что за фунт табаку он мог бы получить «шубу войлока», то есть столько войлока, сколько требуется на шубу, а это—пять рублей ассигнациями. За фунт железа дают две овечьи шкуры, а это тоже немало. Так что такая торговля, или мена, для русских весьма выгодна. Русские ввозят в Монголию юфть, бумажные ткани, сукно, железо, галантерейные изделия и оттуда гонят стада крупного рогатого скота, берут все, что им нужно.

Дозорщики сошлись, здоровались за руку, знакомились через толмачей, хлопали друг друга по плечам, смеялись, были возбуждены и веселы. Это был праздник для обеих сторон, и они использовали этот день как хотелось им, чтоб долго помнился. В общем торгово-меновом действе Марк участия не принимал, а смотрел со стороны на этот маленький шумный «восточный базар». Монголы сильно отличались от русских казаков тем, что были бедны, это сразу бросалось в глаза: короткие кожаные штаны, сапоги, шуба и круглая шапка, обшитая тяжёлым овечьим мехом, — и всё это заносенное, засаленное, дурно пахнущее. Про них говорили, что мужчины в Монголии непривычны к труду, трусливы, беспечны и никогда не ходят пешком, что раньше они много воевали с китайцами, теперь же забыли о своей воинственности, умиротворённые Китаем.

Мена с обеих сторон быстро закончилась, товары отнесены к своим лошадям в безопасное место, и началась традиционная пирушка. У тех и других нашлись немалые запасы вина, китайской ханши, монгольской молочной водки и водки русской. Тут же зарезали дарёных баранов и на костре, обложенном камнями, жарили мясо, ели его полусырым, отрезая кусочки острым ножом прямо возле губ и запивая вином.

Марк тоже пил — молочная водка показалась очень слабой, достал своё вино, — и тоже рвал зубами сочное, подгорелое с краёв баранье мясо, макая его в соль. Скоро он захмелел и тоже веселился, что-то говорил дарге, который лопотал что-то на своём наречии, улыбаясь и пытаясь обнять русского офицера. Вероятно, он был счастлив, этот молодой уже монгольский урядник с бритой головой и жиденькой бородкой, одетый во всё синее — любимый цвет монголов, счастлив тем, что разговаривает с русским офицером. Редко кому из его соплеменников это удавалось.

Марк подозвал своего толмача и спросил, из какого племени эти сегодняшние их друзья, и Кызылчак, не задумываясь, ответил: из халхасцев. Потом он стал объяснять, что монголы распадаются на западных, южных и северных. Северные племена — халхасцы, они ближе к нашим татарам. — А наших татар как называют монголы?

— Халхасцы.

— А китайцы?

— Хягас, хягасы.

— Ты смотри-ка, вот это связь! — удивился Марк.

Пирушка продолжалась, кто-то из казаков затянул: «Не одна во поле дороженька», — монголы тоже запели что-то своё, родное, — получилось нечто сумбурное, полудикое, полуразбойное в пьяной разноязыкости... И, как всегда бывает в широких русских гулянках, один из казаков, самый весёлый и озорной, вдруг пустился в пляс, его поддержали два-три его товарища. Оборвав

пение, и остальные повскакивали с мест. Монголы затеяли свой национальный танец, изображающий, надо полагать, торжество.

— Ие-эха-а!.. У-у-у! — подчёркивали звуками ритм танца.

— И-эх, мать твою!.. — разгорячённые, в неудержимом азарте выкрикивали казаки.

Уже и толмачи никому не понадобились — всё и так было всем понятно: в песне, в пляске, в жесте, в мимике без труда угадывалось то, что могло быть высказано словами.

Мартовское солнце смеялось. Чёрные камни отбрасывали на белый, точно сахарный, снег голубые тени. И голубые же тени отплясывали танец сумасшедших...

Внизу, верстах в двух, в долине паслось стадо сойотских быков, и кому-то взбрело в голову прокатиться на них. Бросили клич, казаки вроде захохотались, а монголы эту затею не приняли: дескать, чужая сторона, не имеем права.

Сойоты, да и монголы тоже, ездят на быках: седлают, взнуздывают, как лошадей, с тою лишь разницей, что на быков у них нет удила, однако уздечку пропускают через кольцо, продетое сквозь перегородку в ноздрях. На быках они перевозят грузы, ездят на охоту, в гости; быки бегут быстро, почти как лошади, и при этом так мрачно режут, что непосвящённому становится жутко.

— А чем же мы хуже туземцев, а? — выпятил грудь колесом один из саянских казаков. — Они на быках могут, а мы чё?.. Попробовали бы они на моём скакуне...

Товарищи подзадоривали его:

— Вот ты и попробуй, Михайла!

— Да ни в жисть ему на быка не сесть!

— Пошто так?

— Да бык, он и есть бык. Скотина.

— Но ведь бык же! Сойоты ездят. Монголы ездят. Михайла тоже сумеет.

— И среди рогатых скотин попадают буйные, без привычки и не сядешь!

— А вот и сяду! — хорохорился Михайла.

Он и впрямь решил позабавить публику. По трезвости, может, и не посмел бы (казак на быке верхом — это же стыд-срам!), но сейчас вздумал показать немытым туземцам, что русский казак не лыком шит. Вскочив на коня, Михайло спустился в долину и несколько минут метался среди быков, выбирая то ли посмирней, то ли поноровистей. Наконец выбрал, прыгнул с коня и мигом очутился на спине быка. Должно быть, бык опешил и лишь глянул: что это такое на него свалилось? — но едва шпоры коснулись его боков, как бык пришёл в неопишемую ярость. Издав отчаянное мычание, тяжёлое и, казалось, неповоротливое животное бросилось полным карьером вперёд и понесло седока, взлягивая, подпрыгивая, крутясь волчком и пытаясь крутым рогом достать Михайлу.

Без седла и уздечки не всякий и на коне удержится, а тут — бык, свирепое создание; видать, добрый казак этот Михайла!..

Далее, как рассказывает очевидец, мычащее животное «унесло всадника при громких взрывах смеха со стороны многочисленных зрителей; после тысячекратных скачков и ляганья наш смущённый вояка растянулся на земле; единственным его утешением было то, что он доставил всему отряду четверть часа добродушного и общего веселья».

Встретили Михайлу как героя: жали руки, хлопали по спине и плечам, добродушно подшучивали. Михайло смущённо оправдывался:

— Ежели б я тверёзый был...

— Да ты и выпимши вон каки фортеля выкидывал!..

Предложили и монголам испытать удовольствие, но и на этот раз они энергично затрясли головами. Толмач перевёл: «В качестве верноподанных Небесной империи они никогда не осмеливались переходить её границы, хотя её начертание и не было определено никаким пикетом...»

6.

В конце марта отряд возвратился в станицу.

В Абаканской степи всю буйствовала весна: под жарким туземным солнцем в равнинах истаял снег, просохла земля, с ближних гор снег сошёл в низины шумными ручьями, реки вздулись, и вот-вот начнёт с грохотом лопаться лёд. На южных склонах пробивалась ярко-зелёная степная трава.

В отсутствие сотенного командира поступающие в канцелярию бумаги писарь Зырянов аккуратно заносил в реестр и складывал в ящик письменного стола, не читая. Не читал их и станичный начальник Чанчиков («А чево их читать-то? Не мне адресованы!»). Сколько Марк ни бился, Чанчиков упорно отказывался «засорять мозги»: не ему адресовано — и всё тут!.. В конце концов Марк отступился.

На каждую бумагу нужно давать ответ. Иногда Марк отписывал сам или диктовал писарю, и никаких недоразумений со штабом полка у него не было. Но стоило на неделю-две отлучиться, как в Красноярске начинали нервничать, слать в сотенное управление угрожающие приказы. Войсковой старшина Мазарович, бывший армейский штаб-офицер и большой педант, не допускал даже малейшего нарушения дисциплины во вверенном ему казачьем полку.

Особое раздражение у Марка вызывала переписка по различным пустякам с минусинскими властями, с родовичами Сагайской степной думы разнородных племён, с русскими священниками аскызской, бейской, таштыпской церквей, с благочинным Георгием Бенедиктовым.

Бумаги Марк разложил на две стороны стола: слева — приказы по полку, справа — жалобы,

просьбы, донесения, распоряжения местных должностных лиц. С этих кляузных и скандальных бумаг он и начал первый свой рабочий день по возвращении из похода.

... По просьбе зрителя минусинских соляных озёр Мизгирёва земский председатель Гоштофт требует распорядиться об охране Тагарского озера, «дабы инородцы, кочующие близ онога, не могли пользоваться самовольно солью в случае садки онога».

— Бумажку эту подшей, — сказал Марк писарю, — мы к ней касательства не имеем: территория шестой сотни...

— А что отвечать по делу о потраве хлеба у казака Борзова лошадьми отца Афанасия? — напомнил писарь.

— Желательно, чтобы отец Иоанн Токарев как можно скорее прибыл в Таштып для спроса людей по этому делу...

По всему видать, кляузные письма писарь читал, и не без удовольствия.

— Там есть бумага от благочинного, — начал он осторожно. — Таштыпского прихода казак Степан Байкалов свенчан в Аскызе без разрешения нашего священника и без сведений о бытии на исповеди у святого причастия. Отец Георгий недоволен.

— Ну и пусть себе сердится. Делать нам нечего, что ли, как только разбираться, кто на ком женился да почему без святого причастия? Бумагу подшей и не отвечай.

Но одна бумага раздражила Марка. Томская духовная консистория выступила с протестом по поводу приговора прихожан таштыпской Христорождественской церкви об удалении дьячка Василия Милицына из прихода «по причине развратной жизни, пьянства и буйного его характера». В это дело Марк не вникал, однако помнит: два года назад двадцать семь служащих и отставных казаков и урядников его сотни составили сей приговор. Тогда он махнул на всё рукой: пускай, мол, церковь сама разбирается. Впрочем, сама она и разобралась. Всё, о чём говорится в приговоре, «не подтверждается и опровергается напроць тем, что из числа подписавшихся... доверяли ему обучить детей, которых у него находилось до 18 человек, что священник Гриценков свидетелем своим заверил, что он ревностно занимался обучением детей, и всегда при трезвой жизни, что подтвердил и исправляющий должность благочинного священник Бенедиктов, и что свидетельство он доставил лично его преосвященству...».

— Да что они там, в самом деле?... Я ещё должен разбираться, почему казаки приговор подписали? Это их дело, — вспыхнул Марк.

— А ты дальше читай, дальше, — ласково посоветовал писарь и лукаво улыбнулся.

«... и это подтверждается тем, что до подачи сего приговора никто из них никакому начальству на

него не жаловался и что, наконец, люди, подписавшиеся под приговором, или не знали силы приговора, или сделали это по приказанию станичного их начальника или хорунжего Сурикова, с которым священник Гриценков, мыслящий против него издавна зло, имеет тесные дружественные связи». — Н-на! — Марк швырнул бумагу писарю. — И зунь её отцу Афанасию в...

Аккуратный писарь, однако, подшил и этот скандальный документ — может, когда-нибудь и понадобится.

Нервничать Марку никак нельзя, об этом предупредил его в Красноярске старший полковой фельдшер Смелянский, однако в последнее время, особенно осенью и весной, раздражался он по любому поводу. Изнутри что-то накатывало, становилось тесно в груди, и тогда Марк начинал кашлять.

Марк достал из стола бутылку с вином. Сделал несколько больших глотков прямо из горлышка, поморщился, подождал, когда отмякнет в груди и лицо опухнет жаром, и придвинул к себе стопку бумаг слева. Она была тоненькой, с десяток бумажек: приказы по полку, большей частью «для сведения и надлежащего исполнения». Сначала он прочёл приказы, дублирующие указы царя, затем приказы, слово в слово повторяющие указания Главного управления Восточной Сибири, и приказы командующего бригадой Иркутского и Енисейского казачьих конных полков подполковника Моллера 6-го, и уж после приступил к изучению приказов по родному полку. Из них он черпал сведения, необходимые ему, урядникам и нижним чинам в их службе, из них же получал и новости, до которых казаки были охочи и всегда спрашивали: «А чё там новенького в полку нашем?..»

«Новенького» в полку было много, и всё интересно.

«О прикомандировании к полку, к военно-судной комиссии, для увещевания подсудимых и привода к присяге свидетелей — градокрасноярского Воскресенского собора священника Иоанна Рачковского...»

«Исправляющий должность полкового адъютанта зауряд-сотник Суриков... дозволил себе войти в переписку с высшим начальством, минуя полкового своего командира, за что арестовывается на одни сутки с посадением на гауптвахту с исправлением должности...»

«...по неблагонадёжности и неисполнительности по службе сотник Неустроев отстраняется от командования 1-й сотней. В командование сотней приказываю вступить хорунжему Голашевскому. Сотнику Перслени принять под своё заведывание караульную и трубаческую команды...»

«...г-н Муравьёв предписал мне назначить на службу в Камчатку только одного урядника Семёна Серебренникова, изъявившего на то желание...»

«Горный исправник частных золотых промыслов в Южной части Енисейского округа уведомил меня, что отставной казак Никита Иванов Фёдоров (он же Карташев) от полоmania правой ноги помер 10 января с.г. в больнице Сергеевского прииска княгини Горчаковой. Фёдорова из списка Красноярской станицы исключить...»

«Его превосходительство г-н бригадный командир, рассмотрев следственное дело о жестоком будто бы наказании некоторых из крепостных людей коллежского советника Коновалова, в решении своём... изложить изволил... отставного урядника Ивана Терского за неимением в деле ясных законных доказательств в отношении возводимого на него жестокого будто бы наказания им дворовой девки Анны Коминой оставить в подозрении и воспретить ему, Терскову, на будущее время определяться к должностям управляющего господским именем...»

«Казака Прокопия Дрокина за ленивые поступки и чрезмерное пьянство наказать 100 ударами розог и употребить на службу не в очередь на один год; взыскать с имущества его и прогонные деньги, употреблённые из казны во время производства следствия 8 руб. 16 коп. серебром, которые отправить по принадлежности...»

Внимательно ознакомившись с приказами, Марк передал бумаги Зырянову и велел сделать три списка с них. Писарь удивился:

— Почему — три?

— Один — уряднику Байкалову, другой — Чанчикову, третий — тебе.

— И куда же мне с ним?..

— Поедешь в Монок, прочтёшь тамошним казакам. А я отправлюсь в Арбаты. Чанчиков с Байкаловым остаются в Таштыпе. Да поговори с казаками, разъясни, что к чему... Фёдор! — позвал Марк своего денщика, скучающего за дверью.

Денщик — расторопный, послушный казак, из вчерашних малолеток, осенью повёрстаный в службу, — вошёл тотчас же и вытянулся у порога в струнку.

— Позови-ка мне приказного Козьмина, братец!

— Которого, ваше благородие?

— Михайлу Козьмина, разве не ясно?

— Это который за станичного начальника был, когда вы на Бом-Кемчуг ходили?

— Чего спрашиваешь, коли знаешь? Дуй, да поживей! Вот каналья! — сказал Марк писарю, когда денщик выскочил за дверь. — Никак не отучу от дурацкой привычки переспрашивать.

Приказный Михайла Кузьмин явился минут через двадцать. Это был пожилой кряжистый казак с седеющими висками, одетый в синий с красным суконным воротником сюртук и шаровары с лампасами, заправленные в запылённые сапоги.

Марк внимательно оглядел его с ног до головы и, придав голосу больше строгости, спросил:

— Почему не по форме? Почему сапоги не чищены? Как смеете являться к сотенному начальнику в таком виде?

— Дык... в огороде грядки копал, а тут позвали.

— Грядки он копал. Садись и рассказывай.

— Чё рассказывать-то?

— В марте было тебе предписано выдать казакам в ссуду хлеб из таштыпского экономического запасного магазина по ведомости за февраль. Так?

— Я выдал восемьдесят две четверти...

— А надо было— семьдесят семь четвертей... Почему перedal?

— Дык... предписание войскового старшины. Там сказано было: выдать половинную часть наличного хлеба. Я и выдал...

— Смотри, Михайло Ананьич, всыпят нам с тобой по первое число! Впредь будь повнимательней к распоряжениям начальства. Ну, иди... И больше в таком виде ко мне не являйся.

Остался ещё один приказ, касающийся лично его, Сурикова. Марк прочёл и понял, где он сделал промашку. Надо было перед походом на Бом-Кемчуг отдать приказание Чанчикову, и он выполнил бы его, но Марк этого не сделал, и вот пожалуйста— очередной выговор, к тому же с предупреждением, что «если ещё встретится какое-либо упущение с его стороны, то будет представлено по начальству для поступления как с нерадивым офицером». А всего-то и дел, что надо было отправить в канцелярию полка ведомость о следственных делах...

«А, одним выговором больше, одним меньше— не привыкать»,—махнул Марк рукой и вскоре забыл об этом, окунувшись в административные и хозяйственные дела сотни.

Весна была бурной, трудной, горячей. Скатившиеся с гор снеговые воды обрушились в реки, взломали изъеденный солнцем рыхлый зеленоватый лёд, отчего возникли заторы на островах. Речка Таштып вздулась и с яростным рёвом неслась к Абакану, покачивая ветви прибрежного тальника.

Ездившие в Аскыз и далее в Минусинск таштыпские инородцы воротились и рассказывали, что не могли пробиться из-за водополицы. Недалеко от Койбальской степной думы пересыхающая летом протока реки Абакан вышла из берегов. Вода поднялась на две сажени, затопила дорогу к селу Аскызскому и все острова, где были зимние кочевья инородцев Таражакова и Абугучаева, в ночь с шестнадцатого на семнадцатое мая разлилась по степи версты на две, причём глубина в низменных местах доходила до аршина и более. Стекая в речку Уты и наполнив её, вода залила дорогу, ведущую к селу Бейскому, и подошла к самому зданию думы и только девятнадцатого мая мало-помалу пошла на убыль. Но сообщение с улусами и селениями пока невозможно. Минусинский исправник запрашивал: «Кому в чём и на какую сумму причинило

вред?»—отовсюду поступали неутешительные ответы: «...При первом удобном приезде в улусы будут составлены подробные сведения и тотчас же представлены к в. в.¹⁸ нарочным».

Вода быстро ушла в песок, и Абаканская степь с тончайшим слоем плодородного гумуса в два-три дня покрылась зелёным ковром. А после зацвели и пикульки— дикие ирисы, похожие на кукушкины слёзки. Стебли большие, сочные, пустотелые, и так же, как у кукушкиных слёзок, по три лепестка в цветке, тоненькие, как язычки или крылья бабочки, шелестящие на ветру. Один недостаток в них: цветы не имеют запаха.

Летом травы стали жёсткими, им не хватало влаги. Жаркое лето выматывало и Марка. Едва добравшись до квартиры, он скидывал с себя португую, пропотевшие рубаху и шаровары, исподнее и совершенно голым падал в кровать на прохладные простыни. В доме стоял тихий полумрак, свет с улицы сочился лишь сквозь щели в ставнях; воздух, прокалённый снаружи, внутри казался почти холодным, спасительным.

В летние месяцы Марк меньше кашлял и пил вино уже по привычке, успокаивая себя тем, что он предупреждает приступы удушья. Напившись, обычно лежал, мечтая, как по окончании срока внешней службы вернётся в Красноярск, в родительский дом, и первые двое суток будет просто спать при закрытых окнах.

Явился посланный им в лавку денщик, принёс две бутылки вина, сказав, что оно вздорожало нынче на две копейки, а посему он добавил свои деньги. «Ну и каналья, непременно обжулит!»—выругался про себя Марк и велел подать ему кошелёк. — Вот тебе пять копеек,—сказал он,—и больше у этого лавочника не бери, иди к корчемщику Ильё... А теперь ступай. Хотя нет, налей-ка...

Денщик сбил сургуч с горлышка, вышиб ударом ладони о доньшко пробку, набулькал полный стакан. Вино было тёплое, кислое, с железистым привкусом и не понравилось Марку.

— Какая дрянь! Уксус, а не вино! Лучше бы водки взял.

— Дак водка-то дороже!

— Пускай. Зато дольше держит.

— С водки у вас обносит голову,—лукавил денщик.

— Ну и что же?

Денщик подумал, пожал плечами:

— Можя, та водка была несвежая?..

— Не болтай чепухи. Ступай.

В другой раз денщик принёс водки и сказал, что переплатил три копейки. Получив деньги, он убежал, а вечером его видели пьяным, шатающимся с девками по станице.

.....

18. В. в.—ваше высокоблагородие—так титуловали татары окружное начальство, чин 5-го класса, статский советник.

В июне, с задержкой почти на месяц, писарь Зырянов получил копию приказа по войскам сухопутным, казачьим и морским, в Восточной Сибири находящимся. Приказ был издан тридцатого марта, в полку переписан пятнадцатого мая, и вот теперь список с него растерянный Зырянов держит в руках и не знает, с чего начать разговор с командиром сотни.

— Приказ, ваше благородие, — начал он, помявшись. — Написано: «Прочесть во всех сотнях». И резолюция: «Срочно к исполнению!» А как можно — срочно, ежели все сроки прошли? Вставят нам опять клистирную трубку... а мы разве виноваты, что водополища нас подпёрла, почта не могла пройти?

Марк взял у него из рук бумагу.

В приказе говорилось:

«Англо-французская эскадра в течение всего минувшего года, крейсируя с ранней весны в Охотском и Камчатском морях и в Тагарском проливе, старалась захватить наши суда, отправленные с командами из Петропавловского порта, но все попытки её остались безуспешны, от благоразумной распорядительности начальников и неумотимых трудов нижних чинов 47-го и сводного флотских экипажей. К осени минувшего года неприятель, заметя постройку наши в Де-Кастри, вознамерился уничтожить их и, разбив находящиеся там войска, хотя сколько-нибудь прикрыть свои неудачные действия во всю навигацию 1855 года. В этих-то намерениях три неприятельские судна, с 3-го по 18 октября, постоянно бомбардировали Де-Кастри, осыпая наши войска, находящиеся на берегу, ядрами и бомбами, и два раза пытались, в довольно значительных силах, сделать десант, но постоянно были отражаемы сперва ротую сводного казачьего полубатальона с двумя горными орудиями под командою есаула Лузина, а потом всем сводным казачьим полубатальоном, двумя ротами Сибирского линейного № 14 батальона и дивизионом горной артиллерии под начальством адъютанта генерал-губернатора Восточной Сибири подполковника Сеславина, причём казаки и регулярные войска в течение 15 дней выдерживали с особенною стойкостью и непоколебимою твёрдостью сильный артиллерийский огонь, что и заставило неприятеля отказаться от всякой надежды на успех, а потому 18 числа последние суда снялись с якоря и ушли в море.

В эти дни убиты: казак Матвей Ваулин — осколком бомбы в правое лёгкое, казак Роман Налимов — бомбою в живот.

Ранены: фейерверкер Алексей Ченский — штуцерною пулею в левую руку, казак Дмитрий Пермяков — осколком бомбы в левое бедро, рядовой горного взвода Македонский — ядром в заднюю часть ляжки.

Государь император на рапорте генерал-губернатора Восточной Сибири Его сиятельству

г. Военному Министру от 10 января с. г. за № 49, о действиях отряда нашего против англичан во время пребывания неприятельской эскадры в гавани Де-Кастри, Высочайше соизволил положить собственноручную резолюцию: „Всех офицеров представить к наградам и объявить благоволение в приказе. Нижним чинам дать пять знаков отличия военного ордена и всем по одному рублю серебром“.

На донесении же г. генерал-лейтенанта Муравьёва Его Императорскому Высочеству генерал-адмиралу Его Императорское Величество изволил собственноручно написать: „Делает честь начальникам и войскам“.

Сделав надлежащее распоряжение о проведении к точному исполнению Высочайшей воли, я вместе с тем почитаю священным долгом о таковом милостивом воззрении и внимании Его Императорского Величества к действиям отряда в Де-Кастри объявить по военно-сухопутному и морскому ведомствам Восточной Сибири, вполне надеясь, что как в 1854 году при Петропавловском порте, а в 1855 г. в Де-Кастри, так и впредь, где бы ни случилось встретиться с неприятелем, начальники и войска будут стараться заслужить столь милостивое попечение и заботливость Его Величества и, движимые чувствами любви и преданности к царю и отечеству, украсят себя новыми подвигами».

— За этот приказ, что поздно прочтём сотне, нам клистирную трубку не вставят, — засмеялся Марк. — Перебели его в четырёх экземплярах, будем знакомить казаков.

Через несколько дней после этого приехал к Марку в гости из Соляноозёрной станицы командир шестой казачьей сотни зауряд-хорунжий Николай Васильевский. Друзья обнялись, Марк повёл Николая к себе в дом, а денщика отправил за вином.

Проговорили они всю ночь. Вспоминали Красноярск, учёбу в казачьем училище, друзей и недругов, помянули покойного атамана Александра Степановича, и каждый припас на такой случай кучу новостей. Большой интерес оба проявляли к событиям, происшедшим на Дальнем Востоке. — Любопытно, что генерал Муравьёв, — говорил Васильевский, — подбирает, назначает, перемещает и повышает в чинах активных людей. Значит, имеет серьёзные намерения в отношении Амура и Дальнего Востока...

— Я слышал, ты недавно воротился из Красноярска. Что там хорошего? — поинтересовался Марк. — Да ничего я там и не видел! На гауптвахте разве только слухами пользовался. Да! — вспомнил Васильевский. — Мазарович на экзамене в полковой школе самолично проверил знания малолетками Закона Божия, задавал вопросы по российской грамматике и арифметике, даже послушал, как

читают казачата, как выводят букочки по чистописанию. Лично придумал и форму экзаменационных листков...

— Да ну его, Мазаровича, к лешему! — прервал друга Марк. — Расскажи, как жена, дети...

Николай Ефимович Василовский на два года старше Марка; его тоже, как и Марка, послал сотенным командиром покойный атаман Александр Степанович, он же и произвёл его в зауряд-хорунжие из урядников. Женился Николай на дочери казака Петра Ошарова — Дарье, вскоре у них родилась дочь Анна, потом Елизавета и ещё одна Анна...

— Всё время сына хотел, и наконец он родился, — похвастался Василовский. — Николаем назвали. Сам-то я весь больной, относить службу устал, подаю в отставку, — и вздохнул. — Дождаться бы, когда сынишка в отцовское стремя вступит!

— В Красноярск переедешь?

— Останусь в Соляноозёрной. У нас там с братом Максимом большой дом на двоих, места всем хватит. И земля есть, и лошади, и коровы... А что в Красноярске? Морду этого Мазаровича лицезреть каждый день? — Василовский поднял стакан. — Выпьем за наше с тобой здоровье, Марк.

Выпив, Василовский опять заговорил о Мазаровиче — он у него, видно, давно в печёнках сидит: — Приехал, понимаешь, в мою сотню с ревизией и навёл шороху. Урядника Матонина отстранил от должности станичного начальника, а меня — на гауптвахту на собственный свой счёт. В Красноярске узнаю: Матонина зачислил на внутреннюю службу при полковом управлении на место казака Бугачёвской станицы Василия Худякова, а в Соляноозёрную послал старшего урядника Александра Кожуховского... А ещё представляешь что удумал? Предписал впредь при занятии караулов чинами полка наряжать при них двух трубачей.

— Зачем?

— Почём я знаю? Блажь какая-то! А ты-то как, Маркуша? В отставку не думаешь подавать?

— Кому я нужен в отставке? У тебя жена, дети, а у меня... Я же потомственный казак! Для меня полк — и дом, и семья; он и кормит, и одевает, и заботится обо мне.

— Ага, заботится! — Василовский желчно рассмеялся. — Мазарович позаботится... Вот мы сидим, выпиваем, а кто-то уже донос пишет: пьянствуют, мол!..

И он как в воду смотрел. Через две недели оба получили приказ, в котором содержалась угроза, что «если они не перестанут предаваться пьянству, то будут разжалованы в казаки».

Лето пролетело быстро и без происшествий. Марк мотался между Таштыпом и Арбатами, Именком и Моноком, проверяя посты и караулы; он ещё больше похудел, глаза ввалились и из тёмных ямок пугали диковатым блеском, синеватые после

бритья скулы заострились, в чёрных усах посверкивали серебристые ниточки. Горный воздух не раздражал больные лёгкие, и Марк радовался, что мало кашляет.

Осень, которую он не любил и страшился её, заявила о себе сыростью, болезнь обострилась, и тут уж без вина обойтись он не мог. Теперь он пил открыто, как только начинался кашель; все знали, что это для него вроде как лекарство, и были весьма снисходительны. И всё же кто-то опять донёс на него.

В середине сентября Марк получил приказ:

«Командующий 5-й сотней зауряд-хорунжий Суриков за нерадение к службе и допущенные по вверенной ему части беспорядки устраняется от настоящей обязанности и прикомандировывается к караульной команде, в г. Красноярске находящейся, и арестовывается на один месяц с посадением на Главную Гауптвахту с отнесением службы караульного офицера чрез сутки. Обязанность же сотенного командира 5-й сотни передать исправляющему должность Таштыпского станичного начальника впредь до особого распоряжения...»

— Как же это, а? Что же теперь будет, Марк Васильевич? — писарь Зырянов жалостливо смотрел на Марка. — Как же мы теперь без тебя-то, ваше благородие?

— Как, как... Свято место пусто не бывает. Другого назначат.

— Пришлют каку-нибудь собаку глазастую — воем взвоем!

— Ничего не поделаешь, такая у нас служба...

Неженатому офицеру собраться — только подпоясаться: бросил на спину Соловому две перемётные сумы да мешок с зимней одежкой — вот и всё его хозяйство. Посмотрел на горы, на речку Таштып, на всё вокруг прощальным взглядом, позвал денщика.

— Я тут, ваше благородие! — возникла в дверях чубатая голова без фуражки.

— Скликай казаков на круг, Фёдор!

— Дак оне ж, которы не в карауле, все тут!

Марк вышел на крыльцо. День был пасмурный, но тёплый, сухой. Слышно, как неподалёку звенела речка Таштып. У коновязи стояли осёдланные лошади, и десятка два казаков топтались около, разговаривали, смеялись, курили и тотчас умолкли, подтянулись, заправляли на себе рубахи, когда увидели своего командира.

— Хорошо, что вы пришли, господа, — сказал Марк совсем не командирским, а скорее отеческим голосом, — а то я хотел посылать за вами...

Он обвёл их медленным взором, как на смотру: вот Семён Юданов, рядом Тимофей Каргаполов, а вот и Сипкины — не братья, а только однофамильцы — Семён, Бенедикт, Роман, Андрей; вот Павел Борзов, Андрей Байкалов, Ефим Ерешнев,

Михаил Медведев... Даже несколько инородцев пришли: Петко, Масха, Качижек, Чогонак, среди них и толмач Кызылчак...

— Братья-казаки, друзья, меня отзывают в полк,— голос у Марка дрогнул.— Плохо ли, хорошо ли командовал сотней—вам судить, но мне тяжело расставаться с вами. Пятая сотня—это моя семья, другой семьи у меня нет, вы знаете... И вот я должен оставить вас. Может быть, навсегда. Прощайте. И простите, если кого обидел, если что делал не так, не от ума ставил на себя... Прощайте!

Казаки загалдели, заговорили разом:

— Да что ты, ваше благородие, Марк Васильевич, каешься-то? Мы тебя не виним!

— И командовал ты хорошо, хвост не задирали, и финтить-винтить не умеешь, честно командовал!

— Что Богу, то и тебе скажем: люб ты нам, хорунжий! Такого, как ты, славного норовом, нам больше не видать!

— А кто писал на тебя доносы, то мы найдём его. Найдём и накажем!..

Марк сошёл с крыльца, отвязал Солового, прыгнул в седло.

— Прощайте, братья-казаки! Прощайте, друзья мои! Не поминайте лихом!

Казаки обступили его со всех сторон: кто взял под уздцы коня и повёл его, кто держался за стремя, кто на ходу поправлял съехавший на бок мешок. А Семён Сипкин, ослабив ремешок, торопливо сунул в перемётную суму бутылку с вином.

— Пригодится,— подмигнул озорным серым глазом.— Мало ли чё? Дорога длинная!..

Казаки проводили Марка до Имека, а дальше уже сопровождали его татары.

7.

Суриковский двухэтажный дом на Благовещенской не пустовал: жили в нём землемер Константинов с двумя помощниками, потом два казака, Леонтий Старцев и Андрей Сидоров, сейчас квартируют казачий сотник Александр Неустроев и старшая акушерка Семчевская.

Квартирная комиссия выдала Марку ордер на постой в его родной дом, и он занял небольшую комнату на втором этаже, по соседству с акушеркой, которая, узнав, что молодой офицер чахоточный, через два дня съехала на другую квартиру.

В первый же вечер сотник Неустроев пригласил Марка к себе отужинать. Они пили коньяк, разговаривали, сотник жаловался, что после атамана Александра Степановича в полку стало невыносимо трудно служить. В своей строгости и придирчивости войсковой старшина Мазарович перешёл всякие границы, и он, сотник Неустроев, наверно, подаст рапорт о переводе в Иркутск или Читу.

— Мазарович не отпустит... из вредности,— мрачно проговорил Марк.

Хотя коньяк и возбудил его, но дальняя дорога дала о себе знать: настроение было паршивое.

— Как это не отпустит?!—самоуверенность сотника, тоже подождённая коньяком, была грубовато-откровенной.— Отпусти-устит, куда он денется! Есаулу Переслени он рапорт подписал? Подписал. И счастливый Володя со своей молодой женой, Катенькой Давыдовой, переводится в Новоархангельский уланский полк с переименованием в ротмистры.

— Казаком Володя никогда не был. Служил в регулярной кавалерии, а это не одно и то же. Просто он возвращается, как у нас говорят, в первобытное состояние... И всё-таки Мазарович его долго держал.

— Меня не удержит. Кто я ему? Что с меня взять? А Володя—зять декабриста Давыдова, Мазарович благоволит ему, потому что сам, я слышал, замешан был в каком-то преступном сообществе.

— Потому он и здесь, в Сибири. Почётная ссылка для латинянина,— подытожил Марк.

— Откуда это тебе известно?

— Брат Василий говорил... Кстати, он что, уже не адъютант?

— Русский немец барон фон Будберг теперь адъютант, а Вася у него—помощником, вроде писаря. Вот так, Марк! Бывший поручик лейб-гвардии Гродненского полка у нас быстро карьеру сделает!

— За что Василия-то подвинули? Немец лучше, что ли?

— А шут их знает за что! Мазарович и сам почти что немец!

В полковой канцелярии, куда Марк явился, чтобы доложить о приезде и получить арестный ордер, Мазарович распекал дежурного по караулам хорунжего Голашевского. И даже не распекал, а занудливым голосом читал нравоучение:

— Проезжая мимо гауптвахты, я заметил, что караул вышел в ружьё для отдания мне чести весьма медленно, а часовые, стоящие у фронта, ударили в звонок слишком поздно. А всё оттого, что часовые вместо того, чтобы иметь глаза, готовые на всё, и заниматься своей обязанностью по званию часового, затевают и разговаривают с посторонними людьми, вопреки уставу о службе в гарнизоне. За всеми моими настояниями о том, чтобы служба в гарнизоне исполнялась в точности, к сожалению, не достигает своей цели собственно от беззаботности господ сотенных начальников. А посему я вынужден сделать вам, господин хорунжий, выговор. Всё. Можете идти.

Чётко повернувшись и пристукнув каблуками, Голашевский вышел, придерживая на боку саблю.

Марк стоял и ждал, когда Мазарович обратит на него внимание, но он, казалось, вовсе его не замечал. Это был светловолосый, светлоглазый мужчина средних лет, в облике которого было что-то скандинавское, рыцарское, мужественное.

Вошел зауряд-хорунжий Цыренщиков, замещающий адъютанта, и доложил, что с золотых промыслов Ачинского и Минусинского округов прибыли бывшие там по наряду на службе казаки Базайской и Саянской станиц. Спросил, куда их определить, на что Мазарович махнул рукой:

— Уволить на льготу!

Он вышел из-за стола, прошёлся по кабинету—стройный, узкий в талии, в отутюженном, без единой складки, чекмене, в блестящих сапогах, хорошо пострижен, побрит, щеголеват.

— Оружие пусть сдадут в цейхгауз, казначей пусть примет по описи. Что ещё?

— Казака Дмитрия Саломатова, что совершил побег, нашли. Сам явился. Добровольно. Тринадцать дней в бегах был, а похолодало—явился!—в голосе Цыренщикова сквозило торжество.

— Дать ему сто ударов розгами при собрании нижних чинов и нарядить вне очереди на службу на один год!

— И ещё, ваше высокоблагородие...—Цыренщиков выдернул из папки, которую держал в левой руке, бумагу, только что полученную из Иркутска, заглянул в неё.—Его превосходительство господин командующий бригадой прислал своё решение по делу о не оказавшихся в пакете семидесяти рублях серебром, который пересылался из Минусинского земского суда в Шушенское волостное правление с казаком Таштыпской станицы Василием Медведевым...

— И какое же решение?

— От всякой ответственности Медведев оставлен свободным.

Когда Цыренщиков вышел, Мазарович обратил наконец внимание на Марка, а его, как назло, начал вдруг душить кашель.

— Ты что, нездоров?—холодно спросил Мазарович и налил из графина в стакан воды.—Выпей, и всё пройдёт.

Марк выпил, но кашель не проходил. «Если бы ты мне вина стаканчик подал!..»—подумал он.

— Ну-с, господин зауряд-хорунжий, что мне с вами прикажете делать?—заговорил Мазарович, позволив Марку стоять по стойке «вольно», а потом и сесть.—Временно командующий вместо вас пятой сотней старший урядник Чанчиков при рапорте представил мне восемнадцать документов, принадлежащих к шнуровым книгам сотни,—о провианте, фураже, мясных и соляных порциях—для утверждения их твоим подписом. Я просмотрел эти книги—и что же? И Чанчиков, и Козьмин, и ты, господин Суриков, даёте повод, в котором усматривается совершенное нерадение по службе и беззаботность до такой степени, что даже при сдаче сотни не позаботились подписать документы с февраля месяца. Ну что мне с тобой делать? Твой формулярный список уже не вмещает записей о наказаниях. Столько арестований, что

вечно тебе быть караульным офицером через сутки на гауптвахте тюремного замка.

— Я нездоров, ваше высокоблагородие,—сказал Марк.

— Нездоров?—белёсые брови Мазаровича подпрыгнули.—Пьянствовать—здоров, а службу нести—видите ли, больной. Зайди к полковому фельдшеру, и если тот найдёт, что ты не можешь относить службу его величества, напиши рапорт и отдай моему адъютанту.

— А что по пятой сотне записать в приказ?—задал вопрос писарь, сидевший за столиком в углу, в таком месте, что его не сразу и обнаружишь.

— Пиши: приказный Козьмин смещается из настоящего звания в казаки. Зауряд-хорунжий Суриков арестовывается на один месяц с отнесением службы караульного начальника через сутки. К сему нужным считаю присовокупить, что если, несмотря на принимаемые мною меры... будет продолжать быть нерадивым к службе и вести себя неодобрительно, то при первом моём замечании будет представлен начальству как офицер, не приносящий никакой пользы службе его императорскому величеству, для поступления с ним на основании законов...—кончив диктовать, Мазарович повернулся к Марку:—Можешь идти, господин Суриков. Надеюсь, фельдшер Смелянский тщательно тебя обследует...

Старший полковой фельдшер Смелянский, давний приятель семьи Суриковых, дотошно расспрашивал Марка: много ли и как обильно отхаркивается мокрота утром и вечером, наблюдаются ли, и как часто, боли в груди и между лопатками, бывают ли носовое кровотечение и ночные поты, а также непродолжительное, но часто повторяющееся повышение температуры тела... Получив интересующие его ответы, коротко и строго спросил:

— Пьёшь?

— Как ты велел, Николай Васильевич: только чтобы не кашлять.

— М-да,—неодобрительно протянул фельдшер,—увлёкся ты, видать, спиртным и только хуже сделал. Не надо было уезжать из Таштыпа.

— Меня отозвали.

— Знаю, всё знаю, Марк!

— Мне там было хорошо, я даже на пограничные знаки ходил и, представь, мало кашлял.

— Какая-то скотина доносы на тебя писала; узнать бы—кто? Василий говорил: конверты подписывались: «Лично командующему»,—их даже адъютант не имел права вскрывать.

— Мне тоже говорили. Казаки обещали найти доносчика.

— Но почему тебе не сказать Мазаровичу прямо: так, мол, и так, болею?... Человек же он, понял бы!

— Да я уж подумывал... а потом поразмыслил: нет, нельзя открываться. Он же меня совсем уволит.

По болезни. А что я есть без казачьей службы? Куда пойду? На паперть? Служба меня кормит, а как только стану от неё свободным—помру с голоду; я ведь ничего не умею и... не могу.

Слушая Марка, Смелянский то хмыкал, то вздыхал, то качал головой, потом, ни слова не говоря, скрылся за ширмой, отделяющей приёмный покой от личных покоев, и долго там гремел рукомойником. Вернулся к столу с ещё влажными руками, сел, взял перо и написал для Марка справку, освобождающую его от занятий в полку во время обострения болезни.

— Таштыпский климат более всего подходил тебе,—повторил он слова, говоренные им не раз, и стал рассказывать о каком-то Германе Бремере, медике из Берлина, который под влиянием замечательных лекций физиолога Иоганна Мюллера пришёл к убеждению, что чахотку лечить надо не лекарствами, а нужно поставить больного в благоприятные физиологические условия, как-то: чистый горный воздух, рациональное питание, глубокое дыхание и укрепление поверхности кожи с помощью водяного душа.

— Эх, Николай Васильевич!—воскликнул Марк с наигранной весёлостью.—Что нам немец? Какой там душ? Я знаю, ничто не поможет мне. Как это у поэта: «И что ж? Чахотка роковая в глаза мне пристально глядит...»

Смелянский скинул халат и сразу стал таким же, как все, казаком, урядником, в обычном чекмене, шароварах и сапогах, только на левом рукаве мундира появилась нашивка из жёлтой тесьмы, которой фельдшер недавно был награждён «за беспорочную десятилетнюю службу».

— Не надо мрачно смотреть на жизнь, дорогой друг,—улыбнулся он.—Бороться надо. Ты ещё молодой. Сколько тебе?

— Тридцать пять.

— Вот видишь—тридцать пять. Организм у тебя ещё крепкий, и если ему помочь—может произойти чудо.

— А если не произойдёт?—Марк оделся и ждал, когда наденет шинель фельдшер Смелянский.

— Всё может быть,—согласился фельдшер.—Все мы в руках Божьих. Но надеяться надо. Надо верить. И давай попробуем жить по методу Бремера. Дядюшка твой до последнего своего часа пешком ходил...

Во второй половине октября умер Василий Львович Давыдов—декабрист, «короб просвещения», совесть красноярцев. Известие о его кончине Марк воспринял с болью отчаяния: всё меньше остаётся на этом свете людей, которых он любил и которые были для него примером во всём. Декабрист давал ему читать книги, приобщил к пониманию прекрасного, всегда интересовался его жизнью, службой, деликатно поправлял, подсказывал, наставлял, он был для него как учитель,

добивающийся не просто затверженного урока, а разумного понимания предмета. И вот теперь его нет в живых. Горько и больно.

Похоронили Давыдова на Троицком кладбище, справа от входа в кладбищенскую Троицкую церковь, рядом с могилой его измученного жизнью друга—декабриста Митькова, недалеко от могилы другого его друга—казачьего атамана Сурикова. Народу было немного, проститься с покойным пришли губернатор, чиновники, городской голова, кое-кто из купцов, друзья и знакомые. В скорбном молчании стояла многочисленная семья Василия Львовича. На обнажённые головы медленно падали, кружась, навевая печаль, мохнатые снежинки. Снежный покров вокруг открытой могилы был затоптан до черноты. «Так и меня когда-нибудь похоронят. И точно так же будет падать снег и чернеть на земле, возле могилы, в которую меня зароят. Может, и не будет падать снег—может, пролёт на мою могилу дождь. А может, будет солнце, и лёгкий ветерок будет шелестеть листвой, только меня уже не будет и ничего не будет»,—Марк укладкой смахнул слезу и оглянулся. Нет, никто этого не видел. Да и кто обратил бы внимание на худощавого офицера, если у всех одна печаль и все в единой печали равны, только не все в такой день могут плакать?

На похороны Марк пришёл тайно, оставив за себя караульным начальником одного из урядников. Конечно же, он нарушил устав гарнизонной службы. Потом нарушил ещё раз, когда помянул усопшего и вернулся на гауптвахту навеселе. За этот проступок Мазарович наладил формальное расследование, назначив следователем зауряд-есаула Артемьева, а сам выехал в Иркутск. Впрочем, Артемьев протянул это дело до января и рапортом донёс, что зауряд-хорунжий Марк Суриков «за неоднократными требованиями не является в его квартиру для дачи объяснений по производимому им, Артемьевым, исследованию». Тем временем Суриков всё ещё находился на гауптвахте и, естественно, к Артемьеву «в квартиру для дачи объяснений» даже при желании не смог бы явиться. Но «являться» он и не хотел. Пусть разбираются сами, а его оставят в покое.

Разбирательство затянулось на долгие месяцы. К факту «об отлучке» прицепились и другие «нарушения и непорядки» годичной давности, что вкпе составляло внушительное по объёму «дело», которое войсковой старшина Мазарович грозился направить в военно-судную комиссию.

И что же это были за «нарушения и беспорядки»?

Два года назад, в сентябре, у казака Арсения Шуваева стогорел амбар, обвинили некоего Яковлева, поверенного в следственно-судных делах, который во время обыска у Шуваева корчемного вина тот амбар якобы и поджёг. Замещавший командира полка зауряд-есаул Артемьев дал предписание

Сурикову, а Марк перепоручил станичному начальнику Чанчикову, тот этому делу и вовсе не дал надлежащего хода «за неявкою депутата с гражданской стороны».

Припомнил Мазарович и неподписанные документы, и шнуровые книги, и несвоевременную отчётность, и пьянки, и ещё какие-то мелочи, на которые не стоило бы обращать внимания. И уж вовсе никакого касательства Марк не имел к пересыльной тюрьме, где один из арестантов, следующих в каторжную работу, оскопил другого арестанта в сарае пересыльного двора, — даже и этот случай часто вспоминали: мол, если бы караульный начальник был трезв, этого не случилось бы...

Артемьев пришёл к Марку на гауптвахту и с виноватой улыбкой заговорил, что не хочет заниматься этим паскудным делом. Но... приказ есть приказ. — Мазарович хочет разжаловать тебя в казаки, Марк. А мне-то, пожилому человеку, с моим ревматизмом, зачем в то дело ввязываться? Вот я и тяну его. А там, Бог даст, всё забудется или Мазаровича повысят в должности.

Марк с беспечным равнодушием ответил, что ему теперь всё равно и собственная судьба его мало интересует. Артемьев растерялся:

— Как это не интересует?

— А так... потому что я скоро умру.

Артемьев решил, что Марк шутит, однако что-то в его словах настораживало.

— Какие-то у тебя, Марк, нехорошие мысли... Ты их из головы немедленно выбрось, понял? — повысил голос Артемьев. — И думать не смей, мальчишка!

Марк нервно рассмеялся ему в лицо:

— Да ладно, ладно, не кричи: я же не завтра умирать собираюсь... Лучше скажи, кто сейчас на мою сотню назначен?

— На твою сотню? Боюсь, что тебе её теперь не дадут. А назначен туда зауряд-хорунжий Семён Серебренников.

— А станичным начальником?

— Урядник Василий Байкалов. Писарь так и остался — Иван Зырянов, а в помощники ему дали Дмитрия Ванькова, казака из Красноярска. После ревизии Мазарович всех позаменил. Ревизует теперь четвёртую сотню. Но там сотенным командиром Андреян Каргин, у него всё должно быть в порядке.

Из Суетукской станицы, где стояла четвёртая сотня, войсковой старшина Мазарович вернулся довольно скоро — видимо, там и впрямь служба шла неплохо — и, ознакомившись с последними донесениями из Иркутска, велел офицерам и классным чиновникам явиться завтра в час пополудни в полковое управление одетыми в парадную форму. Приказ никого не удивил, потому что знали: Мазарович любил парады, смотры, а поспеу и парадную форму. Он выстроил их в одну

шеренгу, поставил по стойке «смирно» и в течение часа говорил о поголовном пьянстве в сотнях, хотя, конечно же, сильно преувеличивал, а для примера привёл недавний случай, происшедший в Суетукской станице, когда казак Иван Седельников в праздник Сырной недели, разъезжая по улицам пьяным, упал с лошади и убился насмерть. Потом он обрушил на офицеров поток обвинений в попустительстве казакам, которые, как ему пожаловался главный комиссионер питейной продажи, не допускают корчемную стражу производить в их домах обыски «без предьявления на это предписания командующего полком».

— Строжайше предписываю станичным начальникам Соляноозёрной, Таштыпской, Саянской, Каратузской и Суетукской станиц, — чеканя каждое слово, будто гвозди вбивал, говорил Мазарович, — немедленно поставить в известность всех подведомственных мне казаков, проживающих между крестьянами в разных селениях, чтобы они не осмеливались оказывать никакого сопротивления корчемной страже. В противном случае виновные будут предаваться военному суду. Сей мой приказ довести до каждого казака, до каждого крестьянина. И ещё... — Мазарович прошёлся вдоль строя и почему-то внимательно посмотрел на Марка Сурикова. — И ещё, — повторил он твёрдо, тоном приказа, — государь император высочайше повелеть соизволил: войскам, вступающим в караул в обыкновенные дни, усов и бакенбардов не фабрить; в воскресные же дни вступать в караул с нафабранными усами и бакенбардами... Государь император также повелел: в случае тревоги войскам выходить в строй не в шинелях, а в полкафтаханах...

Поддав команду «вольно», чтобы строй мог ослабиться и размять застывшие члены, Мазарович вновь скомандовал:

— Господа офицеры... Смир-но! Слушайте приказ государя императора!.. — он протянул руку, адъютант ловко выдернул из папки лист бумаги и подал ему. — Итак, приказ армии и флоту, — начал он торжественно, с чувством. — «Храбрые воины, в воспоминание доблестных заслуг ваших в минувшую войну я Манифестом моим, сего числа данным, установил бронзовую медаль, чтобы на груди каждого из вас был видимый знак моей к вам благодарности и благоволения и который свидетельствовал бы, что вы оправдали моё к вам доверие, доказав вашу неизменную готовность жертвовать собою на пользу веры, престола и отечества. Знак сей возложить на себя войскам по указаниям, мною начертанным». На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою написано: «Александр».

— Слушайте приказ командующего полком от десятого октября тысяча восемьсот пятьдесят

шестого года за номером пятьсот два, — объявил полковой адъютант зауряд-хорунжий Цыренщиков офицерам, собранным в полковое управление спешным порядком к десяти часам утра. — «Завтрашнего числа по случаю совершившегося священного коронавания их императорских величеств занятий по службе никаких не назначается...»

— Ура! — слышались радостные возгласы. — Любо, адъютант!

— Не радуйтесь, — сказал Цыренщиков. — Слушайте дальше: «...от караульной команды имеет быть церковный парад в Воскресенском соборе, вследствие сего предписываю: назначить от караульной команды два взвода, имея по пятнадцать рядов во взводе и потребное число урядников и приказных, парадом командовать господину есаулу Голашевскому, первым взводом — зауряд-есаулу Артемьеву, вторым взводом — зауряд-хорунжему Сурикову. А между взводами, по случаю недостатка офицеров, назначить исправных урядников. Господам офицерам и нижним чинам одетым быть в полной парадной форме, из коих последним быть без ружей и патронташей, за исключением наряженных к дверям церкви; трубачам одетым быть в парадной форме, без патронташей, имея при себе музыкальный инструмент. Собраться во дворе гарнизонного батальона и по совершенной готовности в девять часов утра в должном порядке следовать в церковь...» Подписал войсковой старшина Мазарович.

— С чего это — парад, коли месяц назад коронация прошла? — засомневался сотник Неустроев.

— Начальству видней, — сказал Цыренщиков, — а наше дело — исполнять приказания и приказы.

— Замучили парадными, смотрами, ревизиями... По случаю высотезоименитства его величества — парад. Господин бригадный командир полковник Шелашников посетить нас изволил — парад. Мало парада — смотр учинили... Не много ли парадов? — Разговорчики! — Цыренщиков чувствовал себя при власти, а значит, он выше всех тут. — Вам что, господин сотник, не надоело ещё под арестом быть?

— А пошёл ты в... Тоже мне — начальство!

Сотник Неустроев и зауряд-хорунжий Марк Суриков относили службу караульную на главной гауптвахте и ждали приговора военно-судной комиссии, учреждённой при Енисейском гарнизонном батальоне. Подготовка к параду требовала максимума усилий, смекалки и изворотливости, особенно им, находящимся на гауптвахте безвыходно. Потому и высказал Неустроев своё неудовольствие частыми смотрами и парадными.

— Молчи, Саша, — сказал ему Марк, — а то накинута к сроку ещё срок...

— Плевать! — разошёлся Неустроев, тем более что Цыренщикова он совсем не боялся, пусть проглотит всё, что услышит. — Мне плевать! Парады,

парады, парады... Одни парады! Кого хотим удивить?

— Но ведь по случаю коронации... Ведь понятно же, — слабо защищался Цыренщиков: он не знал, что сказать в ответ.

— Да государь и не знает, что у нас в честь его коронации — парад! Да вы гляньте: все улицы заклеены объявлениями о коронации! Месяц висят! И содрать нельзя — не так поймут...

Марк читал эти выцветшие афиши с размытыми дождями буквами. На одних извещалось о коронации государя императора Александра, бывшей в Успенском соборе в Москве восьмого сентября 1856 года; на других, гораздо больших размеров, — полный текст Манифеста о даровании царских милостей по случаю восшествия на престол: снятие недоимок с крестьян, сокращение сроков тюремного заключения и каторжных работ уголовным преступникам, пожалование титулов и наград верноподданым его величества... Весь город только и говорил об этих «милостях»: вот, мол, декабристы теперь все поедут в Россию... На них надеялись и Неустроев с Суриковым.

Этот год стал переломным в судьбе России. Всюду царил демократический подъём. Ослабли цензурные строгости, русское общество возликовало: кончилось мрачное семилетие! Повсюду проводились собрания, диспуты, велись горячие споры. В великосветских гостиных и салонах трясали вопросы образования, воспитания народа: только невежество, отсутствие школ в деревне, устарелые методы преподавания — вот что мешает!.. В печати появились главы нового романа Льва Толстого, озаглавленные «Утро помещика», в котором автор убеждал русское общество, что крепостническая система и предопределила поражение России в Крымской войне. Из Сибири возвращались амнистированные государственные преступники и ссыльные. Воротился в Петербург и Тарас Шевченко. Петербург не узнал в этом лысом седом старике «с расстроеным здоровьем и угасающим вдохновением» своего бывшего кумира — поэта и художника. А было ему всего лишь сорок два года.

Счастлирое началось время, которое русский дипломат и поэт Фёдор Тютчев назвал достаточно точно — «оттепель»...

Вася Суриков мало разбирался в происходящих событиях, однако из горячих споров отца с земским исправником в Бузиме, из отрывочных сведений, почерпнутых на улице и в училище, он понял: наконец-то пришла долгожданная свобода!..

Крымская война кончилась, однако вражеская армия ещё три месяца была прикована к стенам Севастополя, так и не овладев ни одним из его укреплений. Черноморского флота у нас уже нет, и то, что осталось, мы должны сжечь или потопить собственными руками.

Многие плакали, когда топили корабль «Три святителя». Корабль долго не хотел идти на дно, несмотря на множество смертельных ран; но когда он стал опускаться, то все зарыдали. «Дети не плачут так, опуская свою мать в могилу», — сказал старый капитан с «Крикуна»¹⁹...

— Разве нас победили? — горячился в споре с Марком сотник Неустроев. — Разве все силы наши истощились? Напротив, неприятелям угрожала гибель — банкротство и революция. Мы же наградили его миром... Но я думаю, что это ещё не мир, а нечто вроде перемирия. Думаю, мы усилим Балтийский флот; заведём флот или нечто похожее на Амуре. Полагаю, наш великий адмирал Константин Николаевич обдумывает планы отомстить врагам бесчестие наше...

— Господин Кузнецов на днях получил письмо с устьев Амура, — заговорил Марк, знаком усадив пришедшего в гости Васю рядом с собою на кровать. — Пишут об экспедиции, которую Муравёв отправил в Китайское море к Корейскому полуострову. Но, кажется мне, всё ограничилось отправлением туда коммерческого посольства. — Это имеет какую-то связь с нашим занятием Амура? Неприятель везде ставит рожны... Корея-то близко от Амура! России, думаю, суждено господствовать на востоке Азии...

— А пока там господствуют англичане, — вставил Марк. — В июне прошлого года адмирал Элиот с эскадрой пришёл в Аянский порт, временно оставленный жителями, сбил замки в домах и церкви ограбил все, запасся лесом и водой и ушёл, уведя с собою три судна Русско-Американской компании...

Прежний царь, говорил Неустроев, душил всякое проявление свободомыслия. А новый, должно быть, даст свободу крестьянам и уже сделал послабление в армии. Низшие чины передают друг другу, что Александр Второй «добр и слаб, плачет с офицерами, целуется с солдатами; он разрешил солдатам (в России это равносильно конституции) растёгивать воротник и всем желающим курить на улице». А потом в Сибирь закатился слух о «киевской казатчине» — будто бы в прошлом году в девяти уездах Киевской губернии крестьяне потребовали записать их в казачье сословие, заявив: «Мы готовы идти умирать под Севастополем, но барщины работать не будем».

— И добренький царь это антикрепостническое движение утопил в крови, — подытожил Неустроев с откровенной печалью в голосе.

Марк лежал в постели, мокрый от липкого пота, покашливал, жаловался на общее недомогание, но, тем не менее, сотника от себя не отпускал, говорил шутливо: мол, в одиночку и хворать скучно.

В другой раз Вася не застал дядю дома. Сотник Неустроев сказал, что Марк вышел на службу и найти его можно в караульном помещении.

Главная гауптвахта — приземистое бревенчатое здание, нижний этаж которого утопал в земле, а верхний выступал над нею в виде плотного квадрата с зарешёченными окошечками, — стояла против Покровской церкви, обнесённая высоким заплотом. Здесь, перед тем как отправиться по этапу в Нерчинские рудники, несколько дней содержались декабристы.

Во дворе за плотными воротами разговаривали двое мужчин: у одного голос тоненький, плачущий, виноватый, у другого — зычный, строгий, привыкший командовать. Вася приник глазами к щели. Усагий фельдфебель читал нравоучения молодому солдату:

— ...Все твои неприятности, Маклаков, оттого, что верхняя пуговица расстёгнута. Почему она расстёгнута? Не знаешь, Маклаков, а я знаю: живёшь как свинья в берлоге... Нестрижен, аж на ушах висит... И что это за рубаха на тебе? Будто корова языком постирала. А сапоги почему не чищены? Сапоги надо чистить с вечера, а утром надевать на свежую голову... Ты у меня смотри, Маклаков! Это тебе чревато боком: где я нормальный, а где и беспощадный становлюсь. Понял? Тресну вот по башке — весело станет... Каждый солдат должен быть поощрён или наказан. Тебя, пожалуй, я накажу, Маклаков, чтоб наперёд знал: голова у солдата — чтоб думать, а мозги — чтобы соображать. Понял, нет, Маклаков?..

Попасть во внутренний двор можно только двумя путями: открыто — через охраняемую калитку в воротах, и тайно — через неохраняемый заплот. Вася знал, где можно перелезть, — перелез, прыгнул в лопухи и затаился, потом осторожно подобрался к окну караульного начальника.

— Дядя Марко, — постучал он по стеклу.

Небольшая форточка за решёткой откинулась, и показалось бледное лицо Марка.

— Ты чего, племяшек? Что-нибудь случилось? — встревожился Марк, увидев Васю в лопухах.

— Да нет, всё хорошо, просто караульный — солдат, а не казак, я и подумал: этот не пустит...

— Я и забыл, что караульные — солдаты двенадцатого батальона, сегодня их очередь, — тихо засмеялся Марк.

— А ты болеешь, да? Мне господин сотник сказал, что ты больной пошёл на службу.

Марк поёжился:

— Здесь холодно... плохо топят. Знобит чего-то...

— Это оттого, что ещё не поправился.

19. Пароходы Черноморской компании носили странные названия: «Крикун», «Болтун», «Родимый», «Магушка», «Сестрица», «Братец»... Строились они в Англии, а «крестил» их в России великий князь Константин Николаевич, считавший, что это чисто русские прозвища.

— Утром вызвали в канцелярию, я встал с постели, а раз пришёл — значит, здоров.

— Вызвали-то зачем?

— Зачитали приказ нам: завтра — на парад...

— Опять в одних мундирах?

— Да нет, в шинелях... если будет холодно. Ты-то как учишься? Как живёшь у крёстной?

— Я теперь, дядя, не в старшем отделении, меня в первый класс перевели. Учусь хорошо, и даже всех обгонять стал.

— Рисуешь?

— Рисую. Теперь я ноги у лошади рисовать умею. Дядя Семён показал...

— И что, неужели сгибаются?

Вася достал из-за пазухи тетрадку и карандаш и тут же быстро начертил один сустав, другой, третий, твёрдой и уверенной рукой соединил их в одно целое — получилась передняя нога бегущей лошади.

— Молодец! — похвалил Марк, покашливая.

— А за что ты здесь, дядя?

— О, это давняя история, Вася! Мы тут с Василием...

— С дяденькой Василием? С Синим Усом?..

— Ну да. С нами и сотник Неустроев был... В общем, устроили мы «тёмную» Мазаровичу. Он посты проверял, а мы тут и накинули шинель...

— Будет знать, как над казаками измываться! — сказал Вася. И тут вдруг пугливо дрогнуло у него сердце. — Дядя, а ведь засудят вас, и тебя засудят...

— Худо, что шинель моя была. Но ты не бери в голову, как-нибудь выкручусь.

— Как же это, а?

— Да вот... шинель впопыхах бросили, это уж я потом хватился, да поздно было.

— Но ведь могли и украсть её? Могли ведь, да? Вот и пусть докажут, что ты там был.

Марк поёжился — знобило его, видать, сильно. — Да ну их к лешему: шинель, Мазаровича... Скажи лучше: как мать? Как сёстры? Как отец?

— Да ничего, все живы-здоровы. Лиза вышла замуж за попа, уехала куда-то на север...

— За Лизу я рад, — сказал Марк. — Дай Бог ей счастья. Хороший, нет человек этот поп? Ты его видел?

— Не очень высокий, с бородкой, на Пугачёва похож...

— Почему — на Пугачёва? Ах да, — поправил Марк, — ты его с картинкой сравнил! — и рассмеялся. — Надо же! Наблюдательный, однако!

— А я как увижу кого, так начинаю с кем-нибудь сравнивать: интересно! — расхвастался Вася. — А намедни казака встретил — вылитый Пётр Великий!

— Ну уж сразу и Пётр Великий?..

— Точно! Ростом помене и жидковат против Петра, но... Пётр и Пётр!

Марк опять посмеялся и повернул разговор в сторону:

— Крёстная-то твоя как поживает? Всё своим богам молится? Кстати, ты ведь и мой крестник, Вася! Не забыл? Это я иногда забываю. Прости. Обещал тебе краски привезти. Да какие там в провинции краски!

— Мне купец краски подарил. Кузнецов. От китайцев привёз. Водяные краски, только они по бумаге растекаются.

— Ничего, племяшек, будут у тебя хорошие краски. А про крёстную почему молчишь?

— Тётя Оля про святых рассказывает, говорит — великомученики они...

— Кончится моя смена — приходи домой, — Марк передёрнул плечами. — Я тебе книгу буду читать. Хороший роман беллетриста Загоскина «Юрий Мирославский»... Про старинную жизнь написан. Пока, Вася! Пора на развод караулов! — Марк протянул через форточку руку, рука была горячей и влажной. — Всем передай поклон, скажи: у меня всё хорошо. Так и передай!

Перелезть обратно через заплот не составляло большого труда. Через минуту Вася уже был на улице, перед воротами. Занудливый фельдфебель всё ещё распекал солдатака:

— Я же велел разместить во дворе эту лыву, чтобы господин офицер в темноте не мочился. А то, понимаешь, идёт с караульным, а тут — лыва... Почему не размёл? Ах, Маклаков, Маклаков, стоишь тут, молчишь, а того не ведаешь, что я тебя хочу обратно же наказать...

Свой второй взвод, к которому Марк Суриков был прикомандирован по возвращении из Таштыпа, он вывел на полковой двор раньше других. Вскоре подошли ещё два взвода — сотника Голашевского и зауряд-сотника Артемьева. Взводы построились в каре. Сотник Голашевский не спеша обошёл строй, придирчиво осматривая каждого казака — всё ли у них в порядке: стрижены, бриты ли, нафабрены ли усы и бакенбарды, все ли пуговицы на месте, вычищены ли сапоги и надраены ли музыкальные инструменты у трубачей. Потом вышел на середину и, подражая Мазаровичу голосом и некоторыми движениями, произнёс витиеватую речь:

— С момента реформирования Енисейского городского полка в казачий конный полк прошло уже более пяти лет. Достаточно времени, чтобы привыкнуть к новому порядку службы и ознакомиться с характером оной. Однако зачисленные из крестьян в отставные казаки и доньне не покидают своей крестьянской одежды. Некоторые и на парад в ней явились. Его высокоблагородие господин командующий полком находит неприличным видеть в станицах, а в особенности на смотрах, отставных казаков необмундированными и строго предписал немедленно понудить их завести себе форменные шинели с шароварами и фуражками. Зауряд-хорунжий Суриков? — Голашевский

оставился на Марка светлыми холодными глазами.—А ведь это твои двое: один без шинели, другой в шароварах без лампасов и без фуражки. Что ты на это скажешь?

— Я ему ещё и лампасы к шароварам пришивать должен?—огрызнулся Марк.

— Потребовать должен!

— Да я их и сам-то первый раз вижу.

— Делаю тебе, Суриков, замечание. А этих,—сотник пальцем ткнул в одного и другого,—этих я на парад в честь коронавания его величества в таком виде допустить не могу. Зауряд-сотник Затрутин!—позвал он помощника полкового адъютанта.—Выдать этим бесформенным на время парада из сотенного цейхгауза одному шинель, другому фуражку и шаровары с лампасами...

После праздничной литургии в Воскресенском кафедральном соборе взводы казаков построились и под музыку полковых трубачей прошествовали по Воскресенской улице к новому Богородице-Рождественскому собору, заново отстроенному золотопромышленником Сидором Щёголевым.

Плац ещё был пуст, но возле ограды городского сада и у нового гостиного двора, возле храма церковного стояли толпы обывателей, жаждущих зрелищ.

Вася Суриков держался в стороне от толпы, он стоял на углу Воскресенской улицы и Батальонного переулка, ждал, когда пойдут казаки колоннами, чтобы юркнуть между ними и хоть немного пройти в строю рядом с дядей Марком и дяденькой Василием. Но когда взвод под командованием Марка Сурикова поравнялся с ним и Вася уже готов был сделать рывок вперёд, Марк нахмурился и мимикой лица дал понять, что этого делать не следует.

Вместе с другими мальчишками Вася проводил взводы к месту их построения на плацу и стал наблюдать, как слаженно и красиво перестраиваются они, как чётко выполняют команды и как потом встали: правым флангом к гостиному двору, левым—к квартире жандармского полковника Борка. Нижние чины караульной команды построились в полубатальонные расчёты, развёрнутые фронтом на дистанцию в две разомкнутые шеренги, спиною к городскому саду,—так обычно выстраиваются на инспекторском смотре. Офицеры—впереди, за ними урядники, за урядниками весь казачий фронт, за фронтом—писари и фельдъегеря, потом—нижние чины мастеровой команды, а уж после всех—нижние чины, не способные к строевой службе. Позади нижних чинов, находящихся на службе в Красноярске, стояли льготные казаки Красноярской станицы, за ними—чины внутренней службы, далее—малолетки, обучающиеся в казачьей школе, потом отставные и не способные к службе казаки. Все—в парадной форме.

За казачьими шеренгами выстроились офицеры, унтер-офицеры, фельдфебели и солдаты пехотного линейного батальона номер двенадцать и инвалидная команда под начальством командира Енисейского внутреннего гарнизонного батальона майора Сууровцева.

День был солнечный, с лёгким морозцем, без ветра. Древние сосны в городском саду радовали зеленью. Золочёные кресты на голубых куполах нового собора сверкали таинственным жёлто-красноватым светом. Утоптаный снег посерел, приобрёл стеклянный блеск, и весь плац превратился в гладкий, словно хорошо натёртый воском паркет. Молодые солдатики-первогодки из пехотного батальона зябли в своих тонких, подбитых ветром шинелишках, притоптывали и приплясывали, пристукивали сапогами, потирали пунцовые уши. Казаки же стояли твёрдо, гордо, с достоинством: не чета, мол, вам, пехотные ползуны,—хотя тоже мёрзли. Они, потомки Ермака, не позволяли себе дотронуться даже до уха, от мороза красного, словно облитого кровью.

Ждали командующего парадом войскового старшину Ивана Семёновича Мазаровича.

Наконец со стороны кафедрального собора, от Благовещенской улицы, выехала открытая коляска, в которую впряжён молодой чёрный жеребчик по кличке Ворон.

— Едет! Едет! Едет!—словно шелест пронёсся по толпе.

Приплясывая, высоко вскидывая аспидную свою голову с налитыми кровью глазами, Ворон вынес лёгкую коляску, точно пушинку, в створ Воскресенской улицы и встал как вкопанный как раз против фронта войск. Из коляски осторожно, чтобы не поскользнуться, ступил на землю войсковой старшина Мазарович, начищенный, наглаженный, нафабранный, с отличной выправкой: издали видно—идёт командующий.

— Гар-рнизо-он!..—как из трубы выпорхнул и взлетел ввысь и там замер звонкий голос сотника Голашевского.—Смир-рно!

Войска замерли. Придерживая саблю, Мазарович не спеша направился к ним. Голашевский выдержал паузу и, повернувшись в сторону командующего, пошёл ему навстречу сперва обычным, затем строевым шагом. Трубачи грянули встречный марш и, когда Голашевский и Мазарович, не доходя друг до друга двух сажений, остановились, резко оборвали его.

Отдав рапорт, Голашевский сделал шаг в сторону и, не отнимая ладони от козырька фуражки, держа дистанцию, проследовал за командующим до середины плаца.

Мазарович поздоровался с войсками, в ответ прогремело сперва дружное, а к концу несколько сбивчивое:

— Здра... жла... госп... дин войск... вой старшина!

— Поздравляю вас с свершившимся священным коронаванием их императорских величеств Александра Второго Павловича и его благоверной супруги Марии Александровны!

— Ур-ра-а! Ур-ра-а!! Ур-ра-а!!! — покатило три волнами по площади под неслышим патриотический всплеск ладошек нарядных дам и их кавалеров.

— По случаю священного коронавания государь император всемилостивейшим Манифестом от двадцать шестого августа сего года даровал разные милости всем вообще сословиям, соблюдал волил облегчить участь лиц военного ведомства, впавших в преступления, и высочайше повелеть соизволил. . . — Мазарович ловко выдернул из обшлага шинели бумагу, поднёс к глазам. — «Всем состоящим на день коронавания. . . под следствием или военным судом по таким преступлениям и проступкам, за кои по законам не следуют наказания, соединённые с лишением всех прав и преимуществ, от следствия и суда освободить, распространив сию милость и на тех, которых вины, не подлежа одному из вышеозначенных наказаний, не были со дня коронавания. . . за безгласностию обнаружены. . .»

— Радуйся, Маркуша, государь помиловал нас, — шепнул сотник Неустроев Марку, незаметно тронув его локтем.

Но Марку было всё безразлично. После вчерашнего кровохаркания он понял, что дни его сочтены, и какая разница, как умереть: помилованным или подсудным. . . Вчера фельдшер Смелянский посетил его на гауптвахте, глянул, чем сплёвывает Марк в жестяную кружку, покачал головой и стал уговаривать, чтобы Марк хотя бы на недельку лёг в околоток при лазарете, отдохнул бы, принял нужное лечение. Марк нервно рассмеялся в ответ: «В Европе от чахотки умирает более миллиона человек, а Европа более цивилизована, чем Россия. А что я? Песчинка. Дунул ветер — и затерялась во Вселенной. Нет уж, Николай Васильевич: пока держись на ногах — живи!» — «Но тебе нужен абсолютный покой!» — «Мне уже ничего не нужно, доктор». — «В Швейцарию бы тебе, на Альпы!» Смелянский вздохнул, пряча глаза: какие ещё Альпы?.. Спросил упряма, есть ли кому дома ухаживать за ним, а потом посоветовал отхаркиваться в специальную плевательницу с водой, в которую добавлять дезинфицирующий раствор, причём жидкость менять ежедневно. . .

— И Василия помиловал, — шепнул Неустроев о бывшем адъютанте. — Вместе Мазаровича дубасили. Вместе под следствием были, вместе и помилованы. . . Судьба связала нас, Марк!

— А шинель-то была — моя, а её бросили, — упрекнул друга Марк. — Зачем бросили? Кто бросил?

— Да разве в суматохе об этом думали?..

Вдруг Марк почувствовал теплоту в груди, во рту появился солёный привкус. «Ну всё, началось!» — со страхом подумал он. Сначала кашель был глухой, потому что Марк сдерживался, зажимая рот ладонью, потом сдерживаться уже не было сил.

— «Монаршие милости сии, — читал между тем Мазарович, — изъясняются в сих приказах. . .»

Кашель измучил Марка; припадок был столь сильным, что казалось — это конец и сейчас Марк упадёт. Не выдержали и войска: кто-то шевельнулся, кто-то оглянулся, кто-то лишь повернул голову. . .

Мазарович так же ловко сунул бумагу за обшлаг шинели и недовольным взглядом обвёл строй войск.

— Команда «вольно» ещё не подана, а кто-то уже осмелился кашлять, расстроил дисциплину, — язвительно заметил он.

— Это Марко Суриков, ваше высокоблагородие; он болен, — сказал Голашевский.

— Если болен, то его место в лазарете!

Марк поднёс к лицу носовой платок, сплюнул в него, посмотрел: мокрота была с кровью, алой и пенистой.

— Он ещё и руками машет! — рассердился Мазарович и, не слушая Голашевского, нервным шагом направился к Марку.

Офицеры вытянулись. Марк зажал в кулаке платок.

— Эт-то чтэ тэкое?!

— Платок, ваше высокоблагородие, — сказал Марк.

— Что, не могли дожидаться команды «вольно»?

— Не мог, ваше высокоблагородие: фельдшер не велел плевать на пол, тем паче на землю. Я сплюнул в платок.

— Какой культурный. . . А устав строевой службы нарушать он тоже тебе велел?

Марк не ответил. После припадка кашля он чувствовал себя усталым, разбитым, не хотелось языком шевелить. Сейчас бы ему лежать в постели, и не лежать даже — полусидеть, имея под спиной две-три подушки, чтоб высоко было и чтобы на нём не было стесняющего платья, чтобы на грудь положили ему холодный компресс, а к ногам — горячие грелки, чтоб давали пить небольшими глотками холодную воду и кормили исключительно холодной и жидкой пищей. И кроме того, как предписал фельдшер Смелянский, принимал бы он успокоительное, вяжущее и кровоостанавливающее средства. Но он стоит в этом не нужном ему строю по этой ненужной стойке «смирно» и должен ещё выслушивать ненужные, далёкие от здравого смысла нравоучения.

— Моли Бога, Суриков, что государь милостив, а то быть бы тебе разжалованным в казаки, — прошипел Мазарович, сверля Марка злыми глазами.

Толпа с любопытством наблюдала со стороны за этой, казалось бы, ничем не примечательной сценой.

— Господин полковник, — возмутилась какая-то дамочка, — да оставьте в покое бедного офицера!

Несколько посторонних голосов поддержали её, поддержали не из чувства солидарности с нею или из чувства сострадания к «бедному офицеру», а только лишь потому, что хотели развлечений. — Право, это уж слишком — ругать человека только за то, что он вздумал покашлять, — басил какой-то господин.

— Да вы гляньте, гляньте! Он же еле на ногах стоит, наверно, пьяный! — фыркнула толстая дама.

— Бедняжка... И как же его такого на парад взяли?

— Служба! — многозначительно изрёк обладатель баса.

— А что, на службу и хворых берут?

— Ещё как берут! Раза два под спицрутенами полежит — и куда только хворь денется! Служба! Там ведь как? Не можешь — научат, не хочешь — заставят...

— Разве можно заставить делать то, чего не хочешь?

— Ещё как можно! Этот молодой офицер не умеет вести себя в парадном строю, вот начальник его и воспитывает...

Мазарович оставил Марка в покое. А напоследок сказал, чтобы он после парада немедленно посетил фельдшера.

Сотник Голашевский ждал дальнейших приказаний. Мазарович подошёл, повернулся кругом, стал рядом, стройный, щеголеватый, и что-то коротко сказал ему. Голашевский подтянулся, подал команду: «Вольно, оправиться», — и, выждав две-три минуты, в течение которых казаки и солдаты могли бы расслабиться, размять затёкшие члены, потереть щёки и носы, набрал в лёгкие воздух и протяжно, раскатисто выкрикнул:

— Гар-ни-зо-он!.. Смир-рно!

Очередная команда привела войска в чёткое, слаженное движение. Фронт распался на три казачьих и два солдатских взвода — на пять равных тёмных квадратов, застывших в ожидании новой команды: впереди офицеры, за ними урядники, затем нижние чины, потом офицеры пехотного батальона и подчинённые им унтер-офицеры, фельдфебели, солдаты, одетые в плохо подогнанные тонкие серые шинели. Откуда-то сбоку, доселе невидимая, выступила трубаческая команда с блестящими трубами и, неумело печатая шаг, держа инструменты в левой руке, встала впереди, в голову колонны, с интервалом на полувзвода. — Гар-ни-зо-он!.. Шаго-ом... арш!

И Мазарович, и Голашевский взяли руки под козырёк, вытянулись.

Трубачи грянули походный марш; войска разом ударили сапогами по белой тверди земли...

8.

Осень стояла долгая, глухая, с мокрым снегом, сыростью и ветрами, лёгкие морозцы то прижмут, как бы играючи, и тут же отпустят, словно в насмешку, с утра и не узнаешь путём, во что одеться, чтобы не насмешить людей. Обыватели ворчали: погода, мол, отвратительная, такой не помнят и старики. Погубительной она была и для Марка Сурикова: опять замучили удушья, причём в ещё большей степени, чем две недели назад; и днём, и ночью бил кашель, кровь прилиwała к голове, отчего начинались дикие головные боли. К вечеру появлялся жар, сменявшийся лихорадочным ознобом; силы Марка с каждым днём таяли.

По возвращении из Таштыпа Марк выглядел гораздо свежей, был бодр и весел, в друзьях возбуждал надежду, что молодой организм справится с болезнью. Да и сам он стал верить в это. Осень была для него мучительным испытанием. Таяли физические силы. Падали и силы духа. Теперь он редко выходил из дома, а если и выходил, то садился у крыльца на скамейку и жадно ловил ртом холодный воздух. Иногда собирались у него друзья, заходили двоюродные братья Иван и Василий, забегали справиться о здоровье Артемьев, Цыренщиков, Терсков, Голашевский, Затрутин. Племянник Вася бывал у него каждый вечер. Марк уже не воодушевлялся их приходом, в разговор почти не вступал и всё повторял, что жить ему осталось от силы недели две, что смерть уже стоит за его плечами, на долгую жизнь не рассчитывал и мечтами о будущем давно уже не тешил себя.

Верная суриковскому дому Дуняшка на зиму снова перебралась из своей деревни в город и теперь была для Марка и стряпкой, и сиделкой, и в какой-то степени лекаркой — поила больного то отваром купены, то водным раствором стручкового перца, наивно веря в их чудодейственную силу. Бывало, к её радости, Марк получал облегчение и тогда шёл на службу. Днём чувствовал себя получше. Но к вечеру — от различных огорчений и слезных неприятностей, от смутных предчувствий чего-то недоброго, от неблагоприятных для него разговоров и слухов, сильно огорчавших его, — он едва добирался до дома и, обессиленный, падал в кровать. Дуняшка раздевала его, укладывала в постель, отпаивала своими снадобьями и потом усаживалась рядом, чтобы Марк не чувствовал себя одиноким.

В конце ноября Ольга Матвеевна со своим крестником Васей на время перешли жить в дом на Благовещенской.

Болезнь быстро разрушала Марка: бледные щёки провалились, глаза потухли, грудь впала, дыхание стало тяжёлым, страшным. Он слабо улыбнулся Васе, в безжизненных глазах возгорел лихорадочный огонёк.

— Худо мне, племяшек!..— Марк протянул руку, покрытую холодным потом.

— Даст Бог, поправишься, Марко Васильич,— заикнулась Ольга Матвеевна.

Марк приподнялся на локтях, грустно покачал головой и снова упал на подушки, тяжело дыша.

— Как учишься, племяшек?

— Хорошо, дядя,— ответил Вася.

— Слышал я, что ты шибко дерёшься в училище?

— А пусть не лезут!

— Правильно, пусть не лезут. А что тебе крёстная читает?

— Тётя Оля про боярыню Морозову рассказывала.

Про святого царевича Димитрия: как убили его...

— Зачем было убивать несчастного мальчика в Угличе? Жил бы себе и жил: он никому не мешал.

— Он припадочным был.

— Он здоровым был. Кому-то было выгодно, чтобы смерть его повлияла на падение царя Бориса...

А ещё что у тебя?

— На днях комедию в жандармском манеже смотрел,— оживился мальчик и стал рассказывать.—

«Царь Максимилиан» комедия называется. Там у царя сын, его Адольфом звали, такой парнище!

А приближённые царя... одного смешно звали— Марк-гробокопатель...— он осёкся, оглянулся на

Ольгу Матвеевну и переменял тему рассказа:— А вот ещё такую комедию смотрел— про Стеньку

Разина. Там разбойники пьют, гуляют, красных девиц вином угощают...

— Вот полегчает мне, мы продолжим читать хорошую книгу. На чём остановились мы, помнишь?

— Помню. Там Кудимыч с Киршей беседуют...

— Дуняшка!— позвал Марк стряпку.— Ты куда девала книжку, что мы читали?

— Да она ж у вас под подушками!— певуче отозвалась Дуняшка из кухни.

На другой день Вася летел домой из училища как на крыльях— учитель Егор Яковлевич впервые похвалил его за прилежание к учёбе.

День был сухой, морозный, тихий. Марк сидел на кровати, свесив босые ноги и кутаясь в одеяло. Старший полковой фельдшер Смелянский, устроившись перед ним на стуле, внимательно слушал, что говорил ему его пациент.

— Физически я совершенно ослаб, Николай Васильевич. Проклятый кашель затыкает горло. Ночью обливаюсь потом. Колотье в груди— постоянное. Кровохарканье душит... Чувствую полное изнеможение тела и слышу, как надсадно стучит сердце: тук-тук-тук... Мне лень вставать с постели, но думаю: а гулять-то надо! Собираюсь. Но долго ходить не даёт одышка. Возвращаюсь, падаю на кровать, закрываю глаза и слышу—кто-то крадёт-ся ко мне, осторожно склоняется, и я чувствую ледяное дыхание... Открываю глаза—никого.

— Гулять надо, больше гулять!— фельдшер встал.— Давай-ка, дружок, одевайся— и на чистый воздух...

Марк послушно откинул одеяло и стал одеваться. Кряхтел, кашлял, тяжело и шумно дышал, ворчал, что не может попасть ногой в шаровары, а когда наконец оделся, то от усталости повалился на диван в передней.

С помощью Дуняшки и фельдшера он вышел во двор, походил немного и в изнеможении опустился на заветную скамейку. Рядом присел племянник. Марк приобнял его и с виноватой улыбкой, как бы оправдываясь, произнёс:

— Вот я и нагулялся. Когда я так сижу, мне лучше.

— А давай, дядя, будем книжку читать!— вдруг предложил Вася; он хотел подольше задержать Марка на свежем воздухе.

— Правильно, читайте,— одобрил фельдшер и ушёл.

Вася вынул из-за пазухи книгу, протянул Марку. Тот полистал, нашёл нужную страницу. Однако читать не спешил—ждал, когда успокоится расходившееся сердце. Потом поднёс книгу к глазам и стал читать:

— «...Тут вдруг Кудимыч побледнел, затрясся, и слова замерли на языке его. „Ну, что ж у них на хуторе?— сказал запорожец.— Да кой прах? Что с тобой сделалось?“ Вместо ответа Кудимыч показал на окно, в которое с надворья выглядывала отвратительная рожа с прищуренными глазами и рыжей бородою. „Омляш!“— вскричал Кирша, выхватив свою саблю, но в ту же минуту несколько человек бросились на него сзади, обезоружили и повалили на пол. „Скрутите его хорошенько!— закричал в окно Омляш.— А я сейчас переделаюсь с хозяином. Ну-ка, Архип Кудимович,— сказал он, входя в избу,— я всё слышал: посмотрим твоего досужества, как-то ты теперь отворозишься!“— „Винovat, батюшка!— завопил Кудимыч, упав на колени.— Не губи моей души!.. Дай покаяться!“— „Ах ты, проклятый колдун! Так ты всякому прохожему рассказываешь, где живёт наш боярин?“— „Батюшка, отец родимый! В первый и последний раз проболтался! Век никому не скажу!“— „И не скажешь! Я за это порукою...“ Омляш махнул кистенём, и Кудимыч с раздробленной головой повалился на пол...»

Марк устал, откинулся к стене, книга выпала у него из рук. Вася поднял её, сунул за пазуху. Сказал:

— Пойдём домой, дядя...

Ольга Матвеевна и Дуняшка помогли Марку раздеться, уложили в постель, напоили чаем.

Марк закрыл глаза, и опять почудилось ему—кто-то осторожно крадёт-ся. Вот он положил рядом с его рукой свою сухую холодную руку. Рука эта медленно поднялась и резко схватила Марка за горло. Сопrotивляясь, он напряг все свои силы, но тщетно: костлявая рука душила его, душила, боль становилась всё невыносимей, но вдруг ослабла, и Марк, изловчившись, оттолкнул эту

холодную отвратительную руку. И сразу сделалось ему хорошо, даже приятно. Однако ощущение, что кто-то всё ещё стоит у кровати и смотрит на него пристально злыми бесцветными глазами, не проходило...

— Я, кажется, бредил?— заговорил Марк, открыв глаза.

— Да нет,— сказала Ольга Матвеевна, вязавшая носки для Васи.— Но спал беспокойно...

— Дурацкий сон... Вася!— позвал он.— Давай почитаем...

Дальнейшие события в книге развивались быстро, почти стремительно. Омляш велел повесить Киршу на сосне у самых ворот. Удалой перекинул через толстый сук верёвку, Омляш сам сделал петлю и сам набросил её Кирше на шею...

— И повесят? Неужто повесят, ироды?— Васе было жаль Киршу.

— Не перебивай, слушай дальше!

Конечно же, Кирша оказался хитрей, чем о нём думал Омляш; недаром его колдуном зовут; он и тут вывернулся, придумал сказку про зарытый клад, и ему развязали руки жадные до золота разбойники. Вася радовался и восхищался его настойчивостью, с нетерпением ждал развязки.

— А правда, что там есть клад?

Марк, не ответив, читал дальше:

— «Когда Кирше развязали руки, он спросил заступ, очертил им большой круг подле часовни и стал посредине; потом, пробормотав несколько невнятных слов и объявляя, что должен послушать, выходит ли клад наружу или опускается вниз, прилёг ухом к земле. Сначала он не слышал ничего: всё было тихо кругом; наконец ему послышался отдалённый конский топот...»

— Казаки на выручку скачут!— догадался Вася, хлопнув в ладоши.

Да, это были казаки. Омляш спохватился, но было поздно. Крикнув: «Измена!»— он занёс над Киршей нож, но был сражён казачьей пулей.

От радости Вася чуть не упал с кровати.

— Ай да Кирша! Ай да молодец!— повторял он.— А Юрия Милославского они выручат?

— Завтра узнаем,— Марк в изнеможении откинулся на подушки.

И снился в ту ночь Васе сон: будто сидят Шалонский с Турепиным в избе, ждут Омляша с товарищами, а вместо них врываются Кирша и Алексей с пистолетами, и где-то рядом он, Вася, тоже с пистолетом в руке. «Если из вас кто-нибудь пикнет, то тут вам и конец будет»,— говорит Кирша и нацеливает пистолет в Шалонского. Вася нацеливает свой пистолет в Турепина. «Говори, где запрятан у тебя Юрий Милославский?» Шалонский потянулся за ножом, но его удержал Турепин: «Бога ради, боярин, не губи нас обоих!» Потом казаки идут с ним в подземелье, отпирают железную дверь и видят: лежит на соломе, прикованный толстой

цепью к стене, несчастный Юрий Милославский. С него сняли цепи, а в подземелье втолкнули Шалонского с Турепиным...

Продолжить чтение им больше не удалось. Марку опять стало худо. Сознание неизлечимой болезни мучило его, и он говорил Ольге Матвеевне: — Чего бы, кажется, лучше— не знать, что болен чахоткою? Болен и болен, придёт время умирать— умру. Но эти страдания души и тела... зачем они? Я знаю, дни мои сочтены, я скоро умру, и после меня ничего не останется. Так для чего я ещё живу? Может, взять да и сразу...

— Теперь я тебе скажу, Марко Васильич,— перебила его Ольга Матвеевна.— Не гневи Бога!— Ольга Матвеевна просунула руку под голову Марка, чтобы поправить, подбить выше подушку; затылок был горячий.— И не смей даже помыслить об этом! Ты жил достойно, достойно и умереть должен! — О Боже, за что? Я же ещё почти и не жил! Не хочется расставаться с товарищами, с родственниками, с небом, солнцем... А что смерть? Гадкая штука. Против неё бессильны все— и наука, и вера. Почему же Господь так жесток ко мне, умирающему?

— Тебе нельзя много говорить. Постарайся уснуть. — Я скоро усну совсем...

Исхудавший, с горящими лихорадочными глазами, со свалывшимися волосами, заросший чёрной бородой, в которой запуталась ранняя седина, он лежал в жару, без сил и часто— без памяти.

С первых же дней декабря завернул мороз под сорок, разрисовал окна замысловатым узором, в доме по два раза— утром и вечером— стали топить печи. Роскошь, конечно, при дороговизне дров на базаре, но ради Марка Ольга Матвеевна денег не жалела.

В эти дни Марку опять полегчало, и он даже выходил на несколько минут во двор подышать свежим воздухом. За это время женщины сменили ему постельное бельё, проветрили комнату, вымыли плевательницу и налили в неё воды.

Марк вернулся в сопровождении зауряд-хорунжего Цыренщикова, недавно утверждённого в должности полкового адъютанта, который тоже, как и Марк, выбился в офицеры ещё при атамане Александре Степановиче. Молодой, энергичный, исполнительный, он выбился и при Мазаровиче— стал адъютантом, сменив есаула барона фон Будберга, уехавшего в Читу командиром шестого батальона Забайкальского казачьего войска. До этого Иван Козьмич Цыренщиков долго ходил в помощниках у полкового казначея Александра Затругина, потом у Василия Сурикова, когда тот был адъютантом.

— Скажи, Ваня, что с Василием?— спросил Марк. Тяжело, со свистом, дыша, он как вошёл, так и сел на диван в передней, не снимая шинели.— От меня все что-то скрывают, Ваня,— продолжал он,

откашлявшись и выплюнув в платок пенистый сгусток крови.— А ты, Ваня, скажи мне правду, не жалею меня!

Цыренщиков помялся и небрежно произнёс: — Совершенно глупая история, Марк!

— В чём глупая? Василий ждёт решения военно-судной комиссии. За что его судят, Ваня?

— Если помнишь, летом прошлого года счётная комиссия проверяла полковое имущество и доложила, что по сделанному учёту в числе прочего оружия недостаёт тридцати двух карабинов и одиннадцати пик. Правда, три карабина потом нашлись. Стали выяснять, когда эти проклятые карабины и пики пропали. А пропали они ещё во время командования полком атамана Александра Степановича. — Ну, об этом все знали, Ваня,— сказал Марк.— Покойный дядюшка распорядился, чтобы казаки оружие сдавали в цейхгауз, уходя на льготу... При чём тут Василий?

— А вот при чём! Как-то на смотрю Мазарович возьми да и скажи, что карабины эти треклятые покойный атаман вместе с его адъютантом неизвестно куда сплавил, и ещё неизвестно, кто стреляет из них. Тут Василий Матвеевич вскипел: «Как вы смеете говорить такое, не узнав истины?» Мазарович ему: «Молчать! Вижу, не дорожишь офицерскими эполетами, можешь и потерять их...» Ну, Василий Матвеевич и взорвался. «Ах,— говорит,— вам эполеты мои дороже чести покойного атамана?... Так возьмите! А честь возьмёте только у мёртвого!...» Сорвал эполеты с плеч и хлесть, хлесть Мазаровича ими по лицу. Бросил к его ногам и ушёл...

— Вот оно как дело-то было!— Марк покачал головой.— А мне говорили, будто какую-то казачку плетью наказал...

— Мазарович не может простить вам и той шишнели...

— Значит, дуэль?

— Дуэли запрещены, Марк. Самое худшее, что грозит Василию Матвеевичу, так это разжалование в рядового казака и увольнение в отставку без пенсии.

— А Василий-то—я знаю его!—наверняка готов был стреляться,—сказал Марк. Он опять закашлялся, сплюнул в платок, сунул его в карман и спросил:— А ты чего явился ко мне, а, Ваня?

Цыренщиков не успел ответить—вошла стряпка, молча стянула с Марка папаху, шинель, пимы и отвела в комнату. Немного помедлив, вошёл туда и Цыренщиков.

Марк лежал в кровати с вытянутыми вдоль тела тонкими руками.

— Рапорт напиши, что хвораешь,—сказал ему Цыренщиков.—Порядок есть порядок. В приказ надо...

— За этим и пришёл?—Марк усмехнулся, шевельнув мокрым кончиком левого уса.— Напиши

сам: зауряд-хорунжий Суриков заболел двадцать восьмого числа ноября ломотою в ногах, пояснице, болью в груди, животе и голове, не может впредь до выздоровления исполнять службу его императорского величества... Написал? Давай сюда!

Не читая, Марк расписался и поставил дату: «2 декабря 1856».

— Ты, Ваня, всё знаешь,— снова заговорил Марк.— Скажи: что в мире-то делается?

— О, мир живёт и меняется с каждым днём!

Новости были поистине любопытны и представляли немалый интерес для Марка; он как-то даже ожил, слушая, подымался и дух его; он и радовался, и огорчался при этом, хотя и то, и другое было ему противопоказано. Настораживало то, что Муравьёв постоянно передвигал кадры—тасовал, как игральные карты. Бригадный командир генерал-майор Аничков награждён орденом Святого Владимира III степени и уволен в запасные войска. Государь велел производить ему пенсию в одну треть получаемого им жалованья. На его место назначен временно войсковой старшина Сухотин, командир Иркутского казачьего конного полка, но вскоре бригадным командиром становится полковник и кавалер Шелашников. Адъютант генерал-губернатора подполковник Моллер 5-й награждён орденом Святой Анны II степени с императорской короной и уволен в отпуск за границу «для излечения болезни от раны, происходящей в ляжку при бомбардировке Николаевского порта английской эскадрой в прошлом году». Моллер 5-й два месяца жил во Франции, в Марселе, а по возвращении в Иркутск был переведён в Амурский пехотный полк. Из Николаевского поста прибыл в Иркутск капитан-лейтенант сорок седьмого флотского экипажа Чихачёв, которого Муравьёв посадил на должность дежурного штаб-офицера по морской части. Барон фон Будберг получил чин войскового старшины и, оставаясь командиром шестого батальона, назначен старшим членом войскового правления Забайкальского казачьего войска.

— А что в нашем полку?—перебил словоохотливого Цыренщикова Марк.

— И у нас изменения: Мазаровичу государь пожаловал орден Станислава II степени. Старших урядников Василия Оглоблина и Василия Тюменцева генерал-губернатор произвёл в зауряд-хорунжие. Андреян Каргин произведён на вакансию в зауряд-сотники.

— На чью вакансию?

— Вероятно, Василий Матвеевич уже того... уволен. И ещё,—продолжал Цыренщиков.—Мой помощник Саша Затрутин получил очередной чин—зауряд-сотника. А я пока—зауряд-хорунжий!—в голосе промелькнули нотки зависти.—Но ничего, командир и на меня представление подал... за отлично-усердную и ревностную службу.

...Марк уже не слушал его — забылся или уснул и во сне начал дёргаться, двигать руками, стонать, потом захрипел. Цыренников с испугу ретировался, а в комнату вбежала Дуняшка, за нею — Ольга Матвеевна.

Страхи оказались ложными. Марк открыл глаза — кашель душил его. Дуняшка держала наготове плевательницу с крышкой, Ольга Матвеевна — полотенце, чтобы промокнуть мокрый лоб Марка. — Сон мучает меня, — сказал Марк, успокоясь. — Один и тот же сон: смерть приходит и начинает душить. Спрашиваю: «За что душишь?» — «А ты разве не знаешь?» — «Нет», — говорю. Смотрит на меня долго в упор, и улыбка у неё мерзкая. «Я, — говорит, — возьму твою жизнь. Только не сейчас...» Значит, скоро, — Марк попробовал улыбнуться. — Похороните меня рядом с дядюшкой...

Несколько дней он не выходил гулять — не мог встать с постели, и комнату по совету фельдшера стали чаще проветривать. Больного укрывали ещё одним одеялом и открывали форточку. Читать он тоже не мог, не мог долго и говорить.

— Прости, племяшек, так и не дочитали мы, — едва слышно произнёс он, когда Вася подошёл к его кровати.

— А я теперь сам читаю, — похвастался мальчик. — Я даже знаю: в Сибири, на Ангаре, есть деревня Милославская. В тысяча шестьсот восемьдесят девятом году Пётр Первый сослал в Сибирь бояр Милославских, они деревню своим именем и назвали. Так учитель Егор Яковлевич говорил.

— Егор Яковлевич — это кто?

— Мясников его фамилия.

— Ага, знаю. А ещё что он говорил?

— Говорил, что Иван Милославский — наверно, брат Юрия. Погубил Артамона Матвеева; его стрельцы на пики подняли, когда он вышел на крыльцо, чтобы прекратить бунт. А ещё говорил: пол в доме Артамона Матвеева выложен из плит, которые ему принесли богатые горожане с могил своих отцов.

— Да, — подтвердил Марк. — И Державин о том же писал: «Свят дом, под кой народ гробницы Матвееву принёс!»

— Представил я, как это всё было, — и такая картина получилась!.. Нарисовать хочется...

— А ты рисуй, племяшек. По частям. По членам. Соединишь — будет картина. У тебя вся жизнь впереди...

Каждое слово давалось Марку с трудом; он скоро устал, впал в забытье, но через четверть часа очнулся и — счастливый — сказал, что у него ничего не болит, только вот слабость, угнетающая всё его тело... Потом он стал говорить — будто бы речь, обращённую к Богу, из которой трудно было

что-либо понять, — речь сбивчивая, сумбурная, обрывочная: о честности, о верности... Он спешил, задыхался, вскакивал и падал, его поддерживали, укладывали в постель, а он всё порывался куда-то идти, но не мог сделать и шага. Блестевшие лихорадочным блеском глаза источали безумие. Прибежавший фельдшер глянул на него и сказал, чтобы приглашали священника, а он уже ничем не сможет помочь умирающему.

Священник Пётр Попов не заставил себя ждать, явился тотчас же и начал приготовления к священной службе. В короткий миг просветления сознания Марка он исповедал его и приобщил к святым тайнам.

Через несколько минут Марка не стало.

Отец Пётр, в епитрахили, с кадилом в руке, запел отходную:

— Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная...

Сын туруханского сотника и гордой казачки из рода мятежных черкасцев — «седьмой сын», как его называла мать, — ушёл из жизни, не оставив после себя ни детей, ни капитала. И только маленький отросток, пригревшийся подле и уже набравший силу, всегда будет помнить уроки своего дяди, которые со временем дадут прекрасные плоды...

9.

Приказ по Енисейскому казачьему конному полку. В Красноярске декабря 12 дня 1856 г., № 720.

Зауряд-хорунжий командуемого мною полка Марк Васильев Суриков от одержимой его болезни, ломотою в ногах и болию в груди 11 числа сего месяца волею Божиею помер.

Объявляя о сём по командуемому мною полку, предписываю умершего зауряд-хорунжего Сурикова исключить из списочного состояния полка и при погребении его поступить согласно 848 воинскому уставу о пехотной службе.

Командующий полком войсковой

старшина Мазарович.

Полковой адъютант Цыренников.

Выписка из метрической книги градокрасноярской Троицкой кладбищенской церкви.

11 декабря скончался, 13-го погребён Енисейского казачьего конного полка зауряд-хорунжий Марк Васильевич Суриков, 36 лет, от чахотки. Исповедал и причащал священник Пётр Попов.

Совершал погребение священник Василий Хаов с дьяконом Павлом Арефьевым, дьячком Сергием Соловьёвым и пономарём Иоанном Трусовым на Троицком кладбище.

Сати Овакимян

Огни большого города

Антонио¹

«Седьмого января 1926 года в столице Каталонии царил радостная суматоха. Взрослые и малыши, студенты и влюблённые, даже улицы и здания города восторженно приветствовали новичка — трамвай...»

— Мам, смотри что показывают! Ты когда-нибудь такое видела? — удивлённо спрашивает Арман.

— Да, конечно, сынок, но сейчас не до этого, выключи телевизор и займись уроками, быстро! — одёргиваю я, после чего перехожу на кухню и открываю кран.

Перемыв посуду, поворачиваюсь и замечаю, что желтолистая тарелка-сиротка забыта в углу обеденного стола.

Мокрые кончики пальцев касаются керамической тарелочки цвета солнца. На полпути к мойке от неожиданного телефонного звонка приютившееся в моей ладони блюдце переживает взлёт и падение, разделяясь на большие и маленькие кусочки.

Тщедушный семилетний мальчик, щуплый и выглядящий старше своих лет, поднял с пола цветные кусочки разбившейся тарелки, спрятал их в карманах брюк, более крупные осколки собрал в ладонь и, заметив, что матери нет поблизости, прерывисто дыша, робея, вышел из дома, пошёл в сторону отцовской кузницы, затем, осторожно пройдя мимо двери, незаметно забрался в заднюю часть мастерской.

Цветные осколки керамики так увлекли молчаливого и почти ничему не радующегося мальчика, что он то показывал извлечённые из кармана кусочки солнцу, то прикладывал к стене.

— Ты изменишь цвет своего города, сынок!

Застигнутый врасплох мальчик обернулся, думая, что это отец, но вскрикнул от удивления.

Доктор послушал лёгкие мальчика, сердце, проверил зрачки. Убедившись, что ничего особенно нет, посоветовал родителям держать ребёнка подальше от прямых солнечных лучей, чтобы избежать очередного обморока и приближения неизбежного случая.

Родители, подобно бледным тающим свечам, упали друг на друга, и намёк доктора мгновенно стал понятен и маленькому Антонио.

На следующий день, рано утром, Антонио всыпал в котомку семнадцать керамических осколков, вышел из дома с «Отче наш», приглушая боль в суставах молитвой, которой научила мать, и еле дошёл до склона высокой горы, той самой, где длиннотелые облака набрасывали свои белые вуали на напоминающие истуканов выступы.

Пока Антонио рассматривал извлечённые из котомки осколки и, пересчитывая их, осторожно раскладывал на земле, рядом с мальчиком появился плечистый и кудрявый мужчина с пучком перьев в руке.

— На этот раз, прошу, не пугайся меня, хорошо?

Мальчик, слегка сжавшись, кивнул:

— Хорошо.

— Я Дал, помнишь, нет? В задней части кузницы твоего отца...

— Да. Но кто ты и почему следишь за мной? — маскируя страх гневом, ответил Антонио.

— Ничего подобного. Просто я живу в кузнице твоего отца, а здесь мой омфал, я часто сюда прихожу, давно уже тебя знаю, решил наконец познакомиться, а ты испугался, сынок. Я занимаюсь ремёслами, изобретаю инструменты, создаю и творю всё, что захочу.

— Всё, что захочешь? А что ты сделаешь из перьев?

— Крылья.

— На них можно будет летать? Если не умру, надо будет попробовать.

Щёки и уши мальчика стали цвета розы, глаза увлажнились.

— Я подарю тебе. Доктор — дурак, ты бессмертен, понял? — отечески ободрил Дал, затем добавил: — А ну сядь поближе, скажу, с чего начать.

Звонившим по телефону оказался записанный женский голос, который сообщал, что из-за аварии сутки не будет воды. Не только вода, но и привезённая из Испании моей светлой памяти бабкой и доставшаяся мне в подарок тарелка попала в аварию.

Школьная тетрадь Армана, раскинув пустые строки, растянулась на столе, я ищу тему сценария

1. Перевод с армянского Анаит Татевосян.

для короткометражного фильма. Размазывая по губам красный цвет, готовлюсь выйти в магазин и требую, чтобы сын немедленно занялся уроками. Хочу добавить, что иначе он «получит», попавшую под трамвай «тройку», но тут же вспоминаю, что это выражение отныне потеряло свою актуальность.

Чтобы добраться до магазина, я вынуждена подняться на двадцать метров выше нашего здания, добраться до «трамвайного круга», а затем, уже с покупками, кряхтя, спуститься вниз.

Это был 2003-й или 2004-й, уже не очень хорошо помню, но мэрия Еревана решила, что трамвай стал старше некуда и пора его отправить на пенсию. Собравшиеся в «круге» дедки схлестнулись в споре. Половина собравшихся говорила: разорили страну, вот и несчастные трамваи вместе с рельсами съели; другая: да и, мол, хорошо сделали, маршрутки работают — и хватит. «Возвращаясь из школы, будь осторожнее, берегись трамвая, и без того твой ранец больше и тяжелее тебя», — настаивала меня мать.

Теперь рельсов нет, хмурое лицо трамвая больше не пугает малышню. Присевшие в «круге» впригирку, как птицы на жёрдочке, таксисты направляют рентгеновские лучи взглядов в мою сторону, а я безропотно спускаюсь в пропасть, туда, где тянется бетонный «Тёщин язык» — очевидно, один из взлётов коммунистического модернизма. Предполагаю, архитектор во врождённую меру сил ненавидел свою непревзойдённую тещу, а я ненавижу это здание, которое, извиваясь, как змея, сожрало около тысячи едва сводящих в нём концы с концами жителей.

Антонио отдал Далю осколки, получив взамен инструмент, состоящий из двух движущихся ножек. — Это то, что подарит тебе бессмертие, сынок, — сказал Дал.

— Циркуль? Его тоже создал ты?

Дал унёсся мыслями далеко, сжал руку в кулак, но ничего не сказал. Чтобы прервать тишину, он предложил сесть у двери кузницы — послушать самую красивую и звонкую в мире музыку.

В задыхающейся кузнице яростный молот безжалостно бил по наковальне. Воздух звенел, и день ото дня растущему Антонию казалось, что весь мир — огромная кузница. Дал научил его избегать прямых линий, взамен показывая людям изгибы и разнообразные формы, щедро предложенные природой, — в виде зданий и мебели.

— Взгляни, сынок, морские волны бесчисленны, но ни одна из них не повторяет предыдущую. Забудь о прямых, ни о чём не говорящих линиях, учишься и твори.

— А зачем тебе осколки?

— Я не люблю, когда ты задаёшь мне вопросы, природа тоже не любит вопросов. Сынок, умей

выделять голоса из шума, в пыли видеть то, что тебе нужно увидеть.

Малая родина в виде чертежей и книг поместилась у Антонио в чемодане и попала в одну из крохотных комнаток студенческого общежития в большом городе.

В столице Каталонии рассветы окрашивались в лимонный цвет, воздух выдыхал гипнотический аромат рождающихся в местных открытых кафе обмакнутых в шоколад чуррос и арабики, днём город был апельсиновым и многообразным. На узеньких улочках, из квадратов стоящих друг против друга шестиэтажных зданий, появлялись женские руки, споро прикрепляющие партии стирки к бельевым верёвкам, студенты с пчелиным гулом вылетали из учебных заведений, широкие улицы города сменялись кривыми неосвещёнными переулками, аромат дорогого женского парфюма гасил-стирал реющий в воздухе солнечный запах стирки. Рядом со средневековой архитектурой появлялась готическая, затем классическая, неоклассическая — не мешая друг другу, как в театре не смущает соседство разнообразного большого и малого, старого и нового реквизита. Кованые железные ворота были здесь повсюду. Такие удавались и отцу Антонио, по которому юноша часто скучал.

Днём в ворота церкви Санта-Мария входили верующие, а на чёрном фоне ночи в районе красных фонарей алые женские туфельки на шпильках приглашали войти в ворота желающих выплеснуть во тьме густоту дня.

— Сынок, ты не грусти, настоящей любовью была не та, что покинула тебя.

— Опять ты, Дал? Зачем ты сюда пришёл? Уходи, ничего не хочу.

Молодой, но выглядящий как мужчина средних лет, Антонио крупными руками закрыл лицо, обрамлённое бородой-гирляндой цвета ржавчины. Плечи приподнялись и опустились, горчичного цвета пальто прильнуло ещё плотнее и как будто вызвало во всём теле саднящую боль.

— Сынок, настоящая любовь здесь, рядом с тобой. Ты — тот, кто одаривает любовью каждого из живущих тут. Нет неразделённой любви, Антонио, люди преходящи, а город будет жить твоей любовью ещё очень долгое время.

— Замолчи, — закричал Антонио, вскочил со ступенек, ударил ногой по оказавшемуся пред ним камню размером с кулак и, не оборачиваясь, зашагал вперёд.

— Арман, сейчас я выброшу телевизор, чёрт возьми, выключи, займись уроками.

Разносящийся из телевизора женский голос наконец смолкает, морковь отдаёт остаток тела скребку, ворчание Армана укладывается в строчки учебных тетрадей.

Включаю ноутбук. В дверь стучат:
— Хорошее постельное бельё, тебе дёшево отдам, сестрёнка.

Стоит закрыться двери, как Арман подсказывает:

— Лучше этого человека ты темы не найдёшь, мам, точно тебе говорю.

Одиссея путешествующего от двери к двери дешёвого постельного белья, быть может, и покажется многим исключительно злободневной и интересной. Мой продюсер— тридцатипятилетняя Наргиз, от яростного вопля которой готовы разбиться вдребезги стёкла всех окон ближайшего здания одновременно,— завтра снова позвонит. Услышав от меня: «Знаешь, мне нужно время на то, чтобы придумать тему»,— она закричит так, что крикун Мунка закроет рот от страха.

Чем дальше Антонио шёл, тем больше выросел, тем более зрелым становился, а телеграммы о смертях родных не заставляли себя ждать. После каждого придуманного им здания Дал дарил ему новый инструмент и один из керамических осколков, но советов больше не давал, поскольку в этом не было необходимости. Созданные Антонио здания были роскошны, бесподобны, они были застывшими морскими волнами, изогнутыми ветвями толстоствольного дерева, выглядывающими головами Монсеррата, дыханием ветра, теплом и светом солнца...

Дал из перьев делал для себя и для Антонио крылья на протяжении дней, месяцев. На протяжении месяцев, лет Антонио становился всё более известным, более неразговорчивым, религиозным. Часто забывал поесть, но молитву «Отче наш», как и в детстве, хранил на губах; забывал переодеться, но купить красные гвоздики и поставить их перед образом Богородицы не забывал. В мешочке Дала оставалось всё меньше осколков— всё больше становилось городских зданий. Та из женщин, что стала бы самой верной для Антонио, так и не нашлась, любви растворились в фиолетовом тумане сумерек, взамен город поверил и с распротёртыми объятями принял сегодня известного, вчера незнакомого, но подающего надежды студента, которому даже нагадали в годы учёбы, что он или гениален, или безумен.

Дал уже смастерил предназначенные для себя и Антонио крылья. Свои испробовал, а Антонио упрямылся.

— В этом возрасте? Ты мне родной, о чём говорить, но я,— указав пальцем вверх, сказал старик,— я подожду, пока позовут оттуда, взлечу, и в крыльях не будет необходимости, ты зря мучился.

Антонио объяснил, что строящийся сейчас и напоминающий песчаный замок храм будет

2. Перевод с армянского Анны Варданян.

всеобщим молитвенным домом, что крылья есть у всех людей, и, если поверят и помолятся, полетят куда хотят и когда хотят. Дал обиделся, но попытался притвориться спокойным. Отдал ещё один осколок и сказал, что этот был последним.

— Пусть тогда станет лабиринтом: если разберутся, что ты придумал,— значит, войдут и помолятся,— заявил Дал, затем добавил, что его крыльям сегодня же найдётся работа, потому что он больше не хочет оставаться рядом с кем-то, кто не ценит его многолетний труд, и ушёл.

На следующий день утром Антонио, как обычно, вышел из дома, прошёл мимо скромных лавочек сапожников, портных и ювелиров; как всегда, купил три красные гвоздики у морщинистой черноглазой цветочницы, неспешно направился в сторону церкви.

Выйдя из церкви, старец Антонио, погружённый в свои мысли, переходил с улицы Жирона в сторону улицы Байлен. Он не заметил, что в этот день столица Каталонии торжествует; возможно, не узнал и о том, что протянутые посреди улицы две непереносимо прямые линии заставят его хоть раз в жизни обратить на них внимание. Идущий в направлении линий Антонио услышал голос с небес, это был Дал:

— Антонио, когда будешь лететь, не поднимайся к солнцу, слышишь?

В то время как Антонио поднял голову, чтобы взглянуть на Дала, откуда ни возьмись к нему подобрался трамвай цвета крови, словно лыжник, опирающийся на две прямые линии...

— Да, Наргиз, слушаешь? Вроде бы архитектура интересует тебя, так ведь? Ну, тогда не отключай телефон, читаю сценарий...

Месяцы спустя, в известном парке города, на ступеньки рядом с украшенным керамическими осколками хамелеоном присел высокий и худой юноша с большими глазами и напоминающими антенны длинными, устремлёнными в небо усами.

Через несколько минут будто с неба спустился и устроился рядом с ним плечистый и кудрявый мужчина. Юноша подскочил от страха, но мужчина успокоил:

— Здравствуй. Назовёшь своё имя?

— Сальвадор, а что?

— Я Дал, художник, занимаюсь ремёслами, строю и создаю что захочу. Ты изменишь цвет своего города, сынок...

Огни большого города²

С горизонтального положения смотрю вверх. Наверху мерцают звёзды. В школе пытались донести до наших маленьких умов, как можно найти Орион, Большую Медведицу, Стрелу, Лиру и другие созвездия, о которых сейчас и не вспомню; но вдруг на ум приходит Малая Медведица— её легко можно

было найти по характерной форме ковша. Сейчас сверкающие у меня над изголовьем небесные светила—фосфорные звёзды, собственноручно приклеенные к потолку хозяином квартиры—мудрым евреем. При мысли о звёздном ковше параллельно вспоминаю историю «бумажного черпака»³. Она имеет свойство повторяться, как самовращающаяся мелодия из шарманки, оказываясь из раза в раз в руках нового исполнителя. Ловлю слёзы кончиком языка, помня, что это дело бессмысленное и неблагоприятное, ведь этот город—слезам не верит...

День начинается, день заканчивается—стремительно, ничуть не подлаживаясь под твой внутренний ритм, твой бег, твои желания и нужды. Отец постоянно звонит знакомым армянам, знакомым знакомых армян и их знакомым. Работа жалует лишь ищущих. Сын каждую ночь направляет в небо игрушечный телескоп.

—Мам, как только упадёт звезда—мы станем счастливыми.

—Солнышко моё, мы и сейчас счастливы.

—Нет, мама... если упадёт звезда, то исполнится моя мечта, и мы уедем домой, в Ереван.

Мама шерстит сайты объявлений о работе. Брат собственными нервонитями строчит бесконечно скапливающиеся на столе Дома быта блузки и брюки.

День пятый, десятый, пятнадцатый, сороковой. Отец пошёл освещать московские здания, мама нашла просвет в своей горестной жизни в стенах кондитерской «Сладкая жизнь». Брат сегодня вернулся с работы немного печальный, но—счастливый. Получил первую зарплату. Во фруктовом-овощном ларьке азербайджанца купил армянские абрикосы. Я ем и плачу. Сын просит деда закопать абрикосовые косточки в землю во дворе дома, чтоб рядом с рябинами выросли абрикосовые деревья. Всхлипываю, тихо напевая под нос грустные народные песни, а на подоконнике, между уместившимся в глиняном горшке «денежным деревом» и цветущей орхидеей, печально улыбается примостившаяся на маленькой деревянной досочке Матрона, надписью подсказывая: «Да любите друг друга»...

Ночь. Все спят. Небо покрыто тёмной бархатной завесой. Я снова поднимаю голову. Фосфорные звёзды смотрят на меня жёлто-зелёными глазами. Пытаюсь мысленно воспроизвести Орион. В старину армяне называли его созвездием Айка—по имени нашего наречённого пращура...

Сигареты с ментолом⁴

Было солнечно. Я вышла на улицу, думая, что можно немного прогуляться, прежде чем пойду к Марине, однако солнце тут всегда обманчиво, и часто сияющему солнышку внезапно приходит на смену нахальный хохот проливного дождя.

Всего пару минут назад казалось, что всё на своих местах: немигающие деревья, неподвижно висящие посреди двора качели, безмолвно сидящие у подъезда бабушки, время от времени машинально рассыпающие перед бесстыжими, ненасытными голубями сухие хлебные крошки. Напоминающая отвисший зев паралитика туча наконец разверзлась, и улица вдруг крупными глотками испила дождя.

Я, с самозабвением Нарцисса, на секунду замерла, опустила голову, ища в дождевой воде свой мокрый портрет, однако отпечаток крохотной ножки спешащего домой маленького шалуна одним ударом по моему отражению вмиг заставил меня ускорить шаг и отправиться к симпатичному, но одновременно пугающему киоску Марины, куда по просьбе брата я зачастую захожу за сигаретами. В одной части тесного пространства в два шага располагаются бутылки с пивом, в другой части—коробки сигарет. Аккурат в центре киоска сидит миниатюрная продавщица—с демонической улыбкой, с горящими, как угли, глазами,—которую я часто в шутку называю Мораной, что ничуть не расстраивает её, а скорее забавляет.

—Ты в хороших отношениях со смертью, правда?
—Сомневаешься? Тебя снова брат за сигаретами послал?

Она уже готова достать из ящика коробочку, но я говорю, что на этот раз сигареты понадобились мне и я даже не знаю, что выбрать.

Я внимательно изучаю коробки, и вдруг мой взгляд привлекает надпись «Эссе».

«Лучший вариант для писателя»,—думаю я и прошу дать мне именно эти сигареты, желательно с ментолом.

—Значит, хочешь с кнопочкой?

Заметив моё замешательство, Марина ставит на стол коробочку и объясняет, как нажать на кнопку и привести в действие капсулу. Меня всё это привлекает, однако прошу заменить сигареты на другие, потому как гангренозная картинка на

3. «Бумажный черпак»—1 июня 1878 года в Берлине начался конгресс, который шёл по сценарию Великобритании. Участники форума, не внявшие просьбам Хримяна, не допустили армянскую делегацию к участию в конгрессе. В Берлине 16-й пункт Сан-Стефанского договора, гарантировавший армянам различного рода права, переместился на 61-е место, после чего армянский вопрос был предан забвению. 1 июля, в последний день конгресса, Мкртич Хримян и Минас Чераз направили послание великим державам. Известны слова Хримяна, где он сравнил конгресс с поеданием харисы. Хримян с юмором подчеркнул, что у великих держав есть железные черпаки, которыми они могли легко брать причитающееся им, а он, в отличие от них, не смог взять свою долю ввиду того, что у него был бумажный черпак, оставшийся в харисе.

4. Перевод с армянского Анны Варданян.

коробке вызывает у меня тошноту, неприятное зрелище...

— К сожалению, запрещено курить без таких прекрасных картинок. Все дороги проходят через мой магазинчик, ты особо не беспокойся.

Мы выходим из магазина, чтоб вместе сделать маленький, но верный шаг навстречу неизбежному. — То, что нас не убивает, заставляет купить ещё одну пачку сигарет и попытаться снова,— пытаются шутить Марина и неожиданно всхлипывает.

Хозяйка квартиры выселила её за неуплату, любовник резво нашёл другую (не оставаться же ему на улице), хозяин магазина, дагестанец, предупредил, что если она ещё раз воспользуется напитками из киоска, то вылетит с работы, как пробка от шампанского.

— Знаешь, сегодня мне стукнуло сорок. Давай пропустим по стаканчику, я угощаю... Хозяин не узнает, а если узнает—плевать! Найду другое место, мне пофиг, всё равно моя жизнь состоит из бухла и сигарет. Смотри-ка, я нашла своё место в этой жизни! Э-э-эх... А ведь было время, когда мне казалось, что я знаю, кто я и что меня ожидает. Как ты меня называешь? Морана?

— Да, это богиня смерти. По большому счёту, я правильно к тебе обращаюсь. Но ты особо не пользуйся своим служебным положением, пить

тебе ни к чему,—пытаюсь как-то её утешить и глубоко затягиваюсь ментоловой сигаретой.

— Мы друг друга никогда не поймём,—пускает мне дым в лицо Марина.

Взгляд у неё холодный, равнодушный.

— Я такая же эмигрантка, как и ты. Зря ты так говоришь,—пытаюсь оправдаться я.

— На этой заблудшей планете мы все—эмигранты. Жаль, что не все об этом знают. Когда-то у меня была однокомнатная квартира, собственная однокомнатная квартира в центре Донецка и класс из тридцати двух учеников! А теперь я живу в этой железной коробке, где даже туалета нет. Я—вне времени. Здорово, правда? И, кажется, мне пора выпить, извини.

Марина затушила сигарету, повернулась ко мне, выпалила:

— Да пошли вы все на х...!—и зашла в киоск.

Я, пытаясь не смотреть на картинку, достала из коробки ещё одну сигарету, с силой надавила на затаившуюся внутри капсулу и глубоко вдохнула рассеявшийся по сигарете ментол, разделяя боль всех одиноких, но сильных женщин мира.

После дождя небо прояснилось, но солнца всё равно не видно. Вместо солнца сияют белокурые головы женщин, а между пальцами у них алеет огонёк сигарет-маяков...

ДиН РЕВЮ



Анна Мамаенко

Некрополь еретиков

Краснодар, 2011

Заревые кочевники по руслам извилистых рек,
где на дне золотые крупницы напитаны солнцем.
По течению вверх поднимается сонный Ковчег,
да в стрекозьих кустах золотые звенят веретёнца.

Да на сонное солнце кузнечик даёт стрекача.
Из горячей травы костерками колышутся маки.
На серебряных ниточках пляшет десант паучат.
Заревые кочевники спят в ожиданье атаки.

Здесь на тысячи вёрст, как на тысячи лет,—никого,
только сонный Ковчег из ещё допотопной газеты.
Заревые кочевники чалятся от берегов
и на крыльях стрекоз отлетают в звенящее лето.

Раскалённые маки горят в пожелтевшей траве.
На запасном пути бронепоезд калачиком дремлет.
В позапрошлом газетном Ковчеге уплыли мы все,
чтобы больше уже никогда не вернуться на Землю...

Коснись рукой доверчивых плодов—
и звёздная пыльца останется на пальцах.
Печальные глаза испытанных скитальцев
мерцают меж созвездий светляков.

Уснувший пёс у верного костра
один с тобой остался в целом свете
на полпути к разбуженной планете,
когда рука и рукопись пуста.

Плоды плывут в беременной воде.
По берегам стоят чужие дети.
Слова теряют силу на рассвете,
уснув на свежескошенном дожде.

Легко струятся пальцы меж воды.
И мальчик-крысолов уводит день вчерашний.
И машет флюгер крыльями на башне
в неверном свете тающей звезды.

Анна Михайлова

Моби Дик

Чадра

Когда называешь хорошим
кого-нибудь на земле,
будь тысячи раз ты брошен,
будь бешеной псины злей,
небесного света цунами
сквозь сотни телесных пор,
по трещинкам, меж камнями
прорывается под напором.

В тебе, как во всех, любовь есть,
и сколько ни говори
о том, что оставила совесть,—
ты истинный спрятан внутри...

Порою отбросит зреньё
уродливую чадру,
и свет, в темноту Вселенной
проникнув, согреет вдру,

позволив увидеть душу,
понять, что её томит...

И даже когда свет потушен,
не верь, что любовь—это миф...

Пи

Из воды выходить
на поверхность
довольно зябко,
где ветер отнимет тепло,
что так долго копил...

Кошка,
доселе спящая на груди,
отселе скребётся лапкой...

В отрезок пути
вкрадывается пи...

Как окружность
делить на него,
никто не припомнит,
несмотря на учёность
и неисчислимость книг...

Я прижимаю колени к груди,
энергию экономя,
а земля окружает меня,
как вода—материк.

Моби Дик

1.

Вода,
накрывающая волной,
не даёт напиться.
Слепнут глаза,
прозревая глубинную
мглу.
Сорвана дверь,
расколот сосуд,
сломана спица...
Свет нестерпим,
играющий на полу...

Вздывается на поверхность
засоленная машина
древнего корабля,
что пропитался злом...
Призрачные гребцы
восстанут,
одетые в чёрные схимы,
и спустят вельботы
на воду
за дублон.

Мысли единой целью—
око за око—
живут, собираются,
не разлетаясь на сор,
вербуют матросов,
стучат молотками—
корабль в доке...

Нитями мысли вьются—
ткут полотно парусов...
Становятся мачтами,
палубой, килем,
кормой Пекода.

Из закоулков души
с идолом и гарпуном
выходит язычник,
ибо для небосвода
рождённый христианин
не отправляет
врагов
на дно.

Нужен безумец,
чтобы зажечь команду
на чуждого монстра
охоту начать, убить
воплощение зла и бед,
исчадие ада...

Но кит — орудие, средство,
возмездие, бич...

II.

Китовый фонтан на горизонте
близко...

Склеит глаза
предрассветной дымки
камедь...

В Нантакете камни тверды,
лучезарны улыбки близких...
Ни проповедь бывшего моряка
не остановит,
ни смерть...

Трое суток погони,
как муки распятыя...
Под свист заряжённой команды
разворачиваться —
позор.

Мир станет чист,
как только
левиафан — заплатит...

Мысли стучат,
убеждают,
плетут узор.

Молниеносен рывок
мускулистой
туши,
к которой
примотан линем
отменный гребец,
взглядом Медузы
пронзающий:

лучше
остановись,
остынь,
прости,
наконец.

Иона, Иона,
остерегавший в порту
полоумный,
помолись за меня,
коль оказался
врачом...

Поздно мне отступить,
не отпустят
неводы-думы...
Хвостом перерублено судно,
и я обречён.

Рассвет
суров и прекрасен,
будто постиран...
Погрузились обратно призраки,
затаились
меж донных камней.

Должно кита отпустить,
и гроб унесёт
язычника
мёртвым для мира
и принесёт
спасение,
может быть,
мне.

Акустика

Нырять под воду кит,
мир кренится...
пойманный якорьком...
теряюсь...
но сквозь вековечный пласт
наносится йодная сеточка
на душу чьей-то рукой...
Иона молится
и за нас...

Чёрствым горохом слова
из засушенного стручка...
Они обладают свойством частицы,
но не волны,
словно неандертальцы,
недоразвитые пока, —
покоряют стены
только посредством
войны...

Не пропороть потолка,
крыши и облаков,
материи не прорвать
словами мёртвого живота,
как бы заточены ни были
кончики их штыков...
Божьего хлеба ком...
и немота...
немота...

В безвремяе вводит не магия—
вера, храня...
Словом проникни туда,
откуда не выходил,
молитвою непрестанной
настрой всех грешников
за меня...
Прости, моё слово—
одна из попавшихся
в сеть сардин...

Правый глаз косит в сторону,
правда, не вру,
но правое, как и левое,—
нехорошо,
ибо награда похитит рай,
будь ей хоть слово,
хоть рубль...
Сетями акустики ловят молитвы
от адского пламени
за вершок...

Завет радуги

Позволь обрести Тебя, Господи, и успеть
испросить прощения, пусть и в последний миг...
Не узнал лица Твоего в многоликой толпе,
в тысячах копий, вылепленных людьми...
Я—испугавшийся боя воин добра
армии терракотовой, здесь захороненной гнить
вместе с владыкой противного мне двора,
чужой религии, чужой войны...
Восставшие ангелы—дождь, низвергнутый в океан...
Бог, подними волну, выброси ей на брег...
Мне не найти истины, выберу истукана,
что обратит в добродетель тягчайший грех.
Тщетно старался, как мог, проповедовал свет,
но без Тебя он не полон, не радужен и раним...
Солнцем в капле росы исполняешь завет,
цветами от «каждого» до «фазана»,
сплетёнными в нимб...

Я далеко за ним...

ДиН РЕВЮ



Нина Веселова

Ласточка

Роман в стихах

Вологда: ип Киселёв А. В., 2016

Книга эта—исповедь нашей современницы, которая в молодости оставила большой город и перебралась жить в село. Попытка вписаться в новую среду, тяжкий опыт перестроечных лет, поиски веры и смысла жизни, зигзаги семейных отношений, изучение наследия предков и стремление передать традиционные ценности детям— всё это составляет канву событий, но не исчерпывает содержания. «Ласточка» это и поэтическое погружение в северную природу, и низкий поклон человеку-труженику, и горестный гимн умирающей русской деревне, тающей в себе неразгаданные секреты духовной силы народа. Роман пронизан глубинными раздумьями не только о современной России, но и обо всём мире.

В парке плакала девочка:

*«Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка,—
Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю...»
И отец призадумался, потрясённый минутою,
И простил все грядущие и капризы, и шалости
Милой маленькой дочери, зарывавшей от жалости.*

Игорь Северянин, 1910



...Одна из семьи я на свете осталась.
И мне по закону сегодня досталось
Итоги итожить, балансом владеть,
С утра и до ночи заботливо бдеть,
Чтоб корни не сохли и ветви росли,
Плоды налитые достойно несли,
Чтоб после ушедших, истаявших вместо
Здесь поросли новой хватило бы места.

Дмитрий Шорскин

Философия движения

Эмигрантское

Париж в ночи мне чужд и жалок...
М. И. Цветаева

Давай зайдём с тобой на улицу Дарю,
Как в бухту корабля, пережидая шторм.
Париж в ночи мне чужд. И жалок тёплый бряток.
Бульвары и кафе—ужасное ничто.

России больше нет—у трона вор и хам,
Кто не лизал сапог—отправлены за борт.
Нас бросила волна к французским берегам,
Нас вынесла молва, как подковёрный сор.

Как жаль, что не избыть себя из той избы,
Где мы давно, как дым, чернеем над свечой.
Как жаль, что не принять, как жаль, что не забыть...
Как жаль, что человек, как жаль, что ни при чём.



Когда казалось время тягучим леденцом,
Так верилось, что сделаюсь богатым!
Крутилось барабаном Садовое кольцо,
А сектор «Приз» маячил у Арбата.

Прошли года, не нашёл ни белку, ни свисток,
И к возрасту Христа—огарок свечки...
Купил билет на поезд Москва—Владивосток,
Понять, что значит слово «бесконечность»!

Воочию увидеть места, где деньгопад
Обычен, как осадки в Черепунджи!
О стройки века! Схема «проект-распил-откат»—
Дороже самой крупной из жемчужин!

Я обошёл спокойно свой жизненный тупик,
Присвоив номер банковскому счёту.
А дальше нужно было неистово копить,
Достичь покоя, счастья и почёта.

На улице тишайшей Матросской Тишины
Безветрие, и в камере угрюмо.
А в памяти, как эхо, звучат слова жены:
«Не в деньгах счастье... Не о том ты думал...»

И можно жить

Усталый, нервный, хворый, пожилой
И злой от одиночества мужчина
Проснулся... Слава Богу, что живой.
Как дети? В мире что-нибудь случилось?

Под дверью гадит враг—соседский кот,
На кухне препираются хабалки,
За стенкой—пьют, а в целом—без хлопот,
И можно жить в обрыдлой коммуналке.

Готовить то глазунью, то омлет,
Жевать, бездумно пялясь в телевизор,
Хранить тепло, укутываясь в плед,
Пить чай и знать, что вечный холод близок.

Под панцирной кроватью—чемодан
Из фибры, в паутинке мелких трещин.
Хранитель документов, мест и дат,
Медалей и монет людей ушедших.

День тёмный, а поэтому старик
Достанет банк своих воспоминаний
В отчаянной надежде подарить
Себе себя. В утробе чемоданьей

Перебирая разномастный скарб
И глядя в чёрно-белые портреты,
Услышит ветер, бляеные отар,
Почувствует тепло и радость лета.

Коричневая фибра оживёт,
Как на экране, замелькает детство:
Пригорок, речка, травы, стук ворот
Заброшенного дома по соседству.

В тандыре мама сделала обед—
Густой и белый дым в прозрачном небе...
...Разулыбался вечно хмурый дед,
Томится, старый, в чемоданной неге.

Под дверью всё шуршит соседский кот,
За стенкой мужа бьёт тяжёлой скалкой
Крикунья с кухни. А старик налёт—
И можно жить в обрыдлой коммуналке.

Наша дорога

В путь призвала колокольчиком Родина-мать,
Вёл от ворот одурманивший Родину отчим.
Верить спокойней, но время пришло — понимать:
Наша дорога — по хляби да рытвинам-кочкам.

Стройно шагали, месили тяжёлую грязь,
Брызги и брань долетали до белого неба.
Голоду-дядьке в хлебало плевали, смеясь,
Он утирался и складывал трупики в невод.

Пыл поутих, осмотрелись, и кто-то сказал:
«Братья и сёстры, для нас нет печальней известий:
Синее небо чернеет, и будет гроза,
Мы же, наверное, просто топтались на месте!

Верить спокойней, но время пришло — понимать:
Наша дорога — по хляби да рытвинам-кочкам!
В путь призвала колокольчиком Родина-мать,
Вёл от ворот одурманивший Родину отчим!

Братья и сёстры! Обычный народ и князья!
Бросили нас, позабыли! Мы — лишние в буре!!!
Синее небо — чернеет, и медлить нельзя:
Красный закат предвещает кровавое буйство!»

Люди молчали. Давили на лицах угри...
«Родина — мать! А ты — точно не новый мессия!»
Быстро убили смутьяна и сели курить.
И дожидаться, когда их накроет стихия.

Вербное

Я пробудился. Был, как осень, тёмн...

Б. Л. Пастернак

Я пробудился. Был, как осень, тёмн
Тягучий сон.
Метался по кровати в полудрёме,
Искал Сион.

Сквозняк вернул убогую реальность —
Скрипела дверь.
Вот воскресенье: на обоях пальмы
Да ветви верб.

Сандалиями шаркал в коридоре
Среди белья,
Туда, где запах сигарет и хлора,
Медь и фаянс.

Там, окропив лицо водой с-под крана,
Припомнил сон:
Искал ворота и кричал: «Осанна!» —
Тому, с ослом.

Я — сопричастный, следствие, причина!
Свинья — не съест!
Пост медсестры — Великий пост отныне,
В нём жизнь и крест.

Пасха

Белы ризы расшитые.
И надеждой на лучшее
По асфальту разбитому
Растекаются лучики.

И надеждой на лучшее —
Звон «во вся» с колоколенки!
Как эфиры летучие,
Мимо шмыгают школьники.

По асфальту разбитому,
По весенним проталинам,
От халуп до элитного,
От холопа до барина

Растекаются лучики
Воскресенья Христова, и
Тропарями певучими
Вторит Русь бирюзовая.

Философия движенья

Проезжая город Чехов,
Вижу дачников и виллы:
Вишни нет, кирпич и мрамор
(Тут Лопухин не соврал).
Но не я, казалось, ехал,
А деревня — вниз скатилась,
Как орущий глупый мамонт,
Провалилась гнить в овраг.

Что там слава Мачу-Пикчу...
Вдоль шоссе, наверное, тоже
Инки в древности селились
И пахали — будь здоров:
Ржавый «Беларусь» в масляных,
Будто после злой бомбёжки
Склад и сгнившие стропила
Покосившихся домов.

В горизонт идут дороги
Черноземья, и Россия
Среднерусскою равниной
Красит полотно стекла.
Над берёзками — сороки
Или вороны... Как символ
Скоротечности — калина
Красной кровью налилась.

Философия движенья,
Тихих и несвязных мыслей
Век наш делает короче,
Перемальвая нудь.
Вот и город. Машет жезлом
Пыльный и уставший мытарь.
Хочешь ехать, но не хочешь
Приезжать куда-нибудь.

Безвременье

Маленький принц, но не Гамлет... Гвидон?
Орешки у белки, а фраеру—
Жалкая жизнь и уродливый дом,
Напоминающий камеру.

В сумерках люстра—живой осьминог:
Лениво шевелятся щупальца.
Лампы погасли. Разлилось вино.
В тапках намокло и хлюпало.

Страшно не сделать, и страшно посметь—
Вцепилось и держит безвременье.
Бряд ли отметят ещё одну смерть
В списках пропавшего племени.



Предзимье безжалостной памяти.
Тропинки петляют без логики...
Истлели пробитые панцири
И—павшие первыми—лошади.

Бездарно, безрадостно прожито,
Прикрыто потрёпанным зонтиком,
Трясётся озябшее прошлое,
Считая бездействие—золотом.

Отчаянный, близкий к безумию,
Плетусь на всенощную службу, как
Домашняя псина беззубая,
Что может лишь слушать и слушаться.

Под сводами—фрески размазаны...
Ворота небесные пробую
Открыть, но чудовищной массой
Вниз тянет убогое прошлое—

В предзимье безжалостной памяти.

Что-то главное

Небо брызгало холодным дождём,
Был рассвет, как лисий мех, чёрно-бур.
Ожидаемо тяжёлый подъём—
Хмурил брови-облака Петербург.

Ожидаемо тяжёлая жизнь—
Камень улицы, колодец двора...
Что-то главное не смог завершить:
Ярко вспыхнув, стал коптить, догорать.

Что-то главное... Зевнул и забыл.
Шаг в толпу, и—закрутил колесо.
Шаг в толпе, и, перетёртого в пыль,
Ветер северный разнёс над косой.

Только луна

Тундра. Растительность низкая.
Лета короткого нудь.
Небо тяжёлое, свислое—
Можно потрогать луну:

Мёдом и маслом намаarana
Общевселенская злость.
Смотрит в тревожное марево
Редкий в безлесеце лось.

Ярко! Безрадостно... Матово...
Жёлто-красная муть
Льётся в глазища сохатого,
Не позволяя уснуть.

Сутки разрублены, смешаны—
Только луна, солнца нет...
Брызнуло время черешнево
И окропило рассвет.

Павел Великжанин

В едином свитке

Стремительные спицы

Я рос в далёком Зауралье.
 Был небогат, но дружен дом:
 На велике одном гоняли
 По очереди всем двором.

Распугивая кур и уток,
 Железный конь летел вперёд.
 И я, как счастья, ждал минуток,
 Когда наступит мой черёд.

Один в седле—ватага следом
 Бежит со всех ребячьих ног.
 Дозваться из окна к обеду
 Нас никогда никто не мог.

Но шина старая латалась
 Почти что каждые два дня,
 И в мягкой почве оставалась
 Одна такая колея—

Не перепутать! И нередко
 По ней в безбожно поздний час
 Отцов суровая разведка
 В лесу разыскивала нас...

Катилось солнце катафотом
 По безмятежным небесам,
 Но с каждым днём менялось что-то,
 А что—не ведал я и сам.

Зубчатки всё быстрее вертелись,
 Велосипед, увы, не рос...
 И мы с друзьями разлетелись,
 Как спицы лопнувших колёс.

Теперь с трамвайного маршрута
 Мне никуда не повернуть.
 Вот только сердцу почему-то
 Тесна порой бывает грудь,

И по ночам всё чаще снится
 Звучанье ветра в струнах арф,
 Когда стремительные спицы
 Дороги вяжут длинный шарф.

Как будто вновь рулём рогатым
 Велосипед мой воздух рвёт,
 И я, как в детстве, мчусь куда-то,
 Куда—не зная наперёд.

Вспышка магния

Говорят, остаётся на фото частичка души.
 Хорошо, если б так... Видел прадеда я лишь на фото:
 Опьяняющий запах сирени в объятьях душил
 Одно, кто остался в живых из всей маршевой роты.

Он смотрел в объектив, как до этого тысячу раз
 Он заглядывал смерти в свинцово-пустые глазницы,
 Когда прочь её гнал от испуганных девичьих глаз
 По изрытой металлом земле через три госграницы.

Эта девочка станет когда-нибудь бабушкой мне,
 Но об этом мой прадед уже никогда не узнает.
 Для меня он навечно остался в берлинской весне—
 Вспышкой магния вырванном миге победного мая.

Он глядит на меня: ну-ка, правнук, ровнее дыши!
 Дескать, всюду протопаёт матушка наша пехота...
 Говорят, остаётся на фото частичка души—
 Хорошо, если б так. Ну хотя бы для этого фото...

Бронекатер

Шум выхлопов пряча под плеск переката,
 Маскетью скрывая лицо,
 К воде прижимаясь, ползёт бронекатер,
 Матросским солёным словцом

Моля, чтобы сумрак непрочного неба
 Не треснул от трассеров пуль
 И, шнапса набулькав, заев нашим хлебом,
 Уснул бы фашистский патруль,

Не выдала полночь, волна не плеснула,
 Не дав бронекатер засечь.
 И ввысь поднялись орудийные дула,
 Сверкнув, будто огненный меч...

Став памятью прочной о грозном моменте,
 Когда сотрясались столпы,
 Плывёт он теперь на своём постаменте
 Средь праздничной майской толпы.

Нечасто глядят благодущные люди
 На свод безмятежных небес,
 Что держится только стволами орудий,
 Когда-то сражавшихся здесь.

Военная тематика

Войну лишь в телевизоре
Ты видел. Что же, брат,
Стихов своих дивизию
Выводишь на парад?

Ведь там не по-парадному—
Колонной общих мест—
С разрывами снарядными
Срифмован насмерть Брест.

Какая, к чёрту, строфика,
Рефрены для баллад?
С отчаяньем дистрофика
Там бился Ленинград.

Врастая в землю стылую,
За сердцем спрятав даль,
Дивизия Панфилова
Рвала зубами сталь.

Мосту, на нитку шитому,
Молился эшелон,
С живыми и убитыми
Ползущий через Дон...

Ведь правда кровью пишется,
Пробившейся сквозь тромб.
Поймём ли мы, как дышится
В обвалах катакомб

Не знающим заранее
Судьбы своей страны,
Чьи летние экзамены
Войной заменены,

Чьи строки в школьных прописях
Черкает красный цвет?
А время не торопится
Подсказывать ответ.

Но мы, врастая нервами
В свою эпоху, брат,
Пошли бы так же первыми
В свой райвоенкомат.

Ежедневное чудо

Не устал удивляться
Я обычным вещам:
Аромату акаций
И наваристым щам,

Появлению света
На небесной слюде,
Щебетанию с веток
И рождению людей.

Происходит повсюду,
И далёко, и близ,
Ежедневное чудо
Под названием «жизнь».

В едином свитке

Туман заполнил узких улочек листки,
Молочной тайнописи между строк подобен.
Слепцы-троллейбусы, держась за поводки,
Едва нащупывают Брайлев шрифт колдобин.

А я сижу в одном из них, к стеклу припав,
Как в перископ смотрю из домика улитки:
Вокруг меня—семь миллиардов смутных глав,
Что пишут—каждая себя—в едином свитке.

Спускowej крючок

Он как будто попал на крючок спусковой,
Чёрный пластик игрушки манил, как металл,
Лип к ладони: нажми! Но с пружиной тугой
Не справлялся малец—только молча мечтал.

Пальцы крепили, всё чаще сжимаясь в кулак,
И в пацанской войне, не смертельной пока,
Сбитый пулей пластмассовой, падает враг,
Сквозь прицел отразившись в зрачке паренька.

А потом поднимались с дворовой пыли,
Кто сильнее и ловчей—звал его тюфяком.
Дни летели, как пули, и годы прошли,
Обточив ему взгляд, стружек выбросив ком.

Тренировок итог, наступил этот день,
Неизбежный, как в школе последний звонок:
Он увидел в прицеле живую мишень
И замедлил дыханье, спуская курок...

Командир хлопнул парня рукой по плечу:
Мол, награда за мной, салажонок-молчун.
А стрелок всё глядел на того, кто лежал,
Будто ждал, что он встанет. Но тот не вставал.

В метро

Давно отдавлено нутро
Тисками тесноты.
Стоишь ты, сплющенный в метро
Таковыми же, как ты.

Из лёгких воздух выжат весь
До нормы итк.
Людская распирает взвесь
Вагонные бока.

Чужие ауры в тебе
Впечатывают след.
Летишь куда-то по трубе,
Не видя белый свет.

И вот—конечная. Трубят:
«Освобождай вагон!»
А что осталось от тебя?
Похмелье похорон.

Ополченцы сорок первого

До сих пор стоят, обуглены, пни —
 Не утешить: смерть, мол, смертью поправ.
 Это поле под Москвой чуть копни —
 Зазвенит металл очковых оправ.

Позабыв латинских буковок вязь —
 Древо истин оплела, как лоза, —
 Прилипали к чёрным мушкам, слезясь,
 Устремлённые на запад глаза.

Вместо скрипки лёг приклад на плечо,
 Вместо мела пальцы сжали цевьё.
 Небеса заштриховал паучок,
 Будто судьбы им недолгие вьёт.

С четырёх сторон ударят враги,
 Кроме почвы с небом — выхода нет.
 Смертоносными мазками сангин
 На снега ложится братский портрет.

Не оставлен тот рубеж был никем
 Из живых. А мертвецов жгли дотла.
 И навстречу «мессершмиттов» пике
 Плыли души, уходя из котла.

Всё твердили затихающий хрип,
 Что исторгла помертвевшая плоть.
 И, мольбы услышав тех, кто погиб,
 Пожалел Россию, видно, Господь.

Гумилёв

Навстречу волнам эмиграций
 И волнам северного моря
 (А в рундуке лежал Гораций,
 С Басё и Ведами не споря),

Навстречу огненному шторму,
 Где жаром книг дома согреты,
 Где, придавая грязи форму,
 Морзянкой пуль неслись декреты,

Он шёл подтянутым фрегатом,
 Открыто флагами сигнала
 О том, что дорого и свято,
 Что навсегда в его скрижалях.

Погон оторванные крылья
 Вросли в расправленные плечи.
 Отозвалось творимой былью
 То слово, что казнит и лечит.

Святым Георгием крещённый
 В кроваво-огненной купели
 Он шёл путём, бедой мощённым,
 И плахи жалобно скрипели...

Пред тем, как смолкнуть, в миг последний,
 Щелчком отбросив папиросу,
 Он прошептал слова обедни
 И «Пли!» скомандовал матросу.

Христу, приземлившемуся в Гродно

Посвящение В. С. Короткевичу

Шли по дороге двенадцать
 Вслед за одним:
 Жулики, воры, паяцы,
 Фокусник, мим.

Был среди них я, ломая
 Ту же комедь...
 Только дорожка кривая
 Стала пряметь:

В жизнь превратились спектакли,
 Правда сквозит
 В прорезях масок. Не так ли,
 Пан езуит?

Страх мой, зайчишкою порскни!
 Нас не жалеи!
 Шли мы, а крест бутафорский
 Всё тяжелел.

Отсвет костра лёг на лица,
 Будто бы нимб.
 К истине стоит рубиться
 Следом за Ним.

Скрипач под землёй

Пустел подземный переход.
 Скрипач потёр плечо:
 В последний раз переплывёт
 Стремнину струн смычок.

Под звуки музыки живой
 Кружат лишь сквозняки,
 А мы все двери за собой
 Закрыли на замки.

Забиться нам бы, задремать,
 Чтоб телек бормотал...
 Зачем тревожишь ты опять
 Натянутый металл?

Зачем смычок взмахнул крылом
 Над вечностью листа?
 Ведь шапка на полу сыром
 Останется пуста.

Но, разбивая толстый лёд
 Безликих серых стен,
 Над нами музыка плывёт,
 Не требуя взамен

На землю брошенных монет
 И хлопающих рук.
 Плывёт, даря незримый свет
 Всеми, что есть вокруг.

Хоронили эпоху по имени «Сталин»

Хоронили эпоху по имени «Сталин».
«Что же дальше?» — всех мучил вопрос...
В этот день на снегу было много проталин
От горячих и искренних слёз.

Колыма развернула теченье к истокам,
Пена слов потекла с языка,
И схватились за власть два бульдога жестоко,
С беспощадностью беглых зэкá.

Уводили манящие дудочки брючин
Избалованных дочек-сынков,
И опричники мётел железно-колючих
Превращались в домашних совков.

Большинству же — ни жарко, ни холодно в целом:
Что тогда, что потом, что сейчас...
А иначе не выжить под вечным прицелом
То Господних, то дьявольских глаз.

Баллада о собаке

На работу придорожной рощею
Люди шли — кто с мыслями, кто без.
Вдруг с утробным лаем псина тощая
Выскочила им наперерез.

Люди тормознули, шансы взвешивая:
Электричка тронется вот-вот.
«Да она, наверно, просто бешеная!» —
Крикнул чей-то искривлённый рот.

«Бей её, а то сейчас набросится!» —
Камни слов гремят меж слюнных брызг...
Но над суеты разноголосицей
Жалобно взлетел щенячий визг.

Шум затих. Все повернули головы:
Под кустом, на травянистой кочке,
Копошились маленькие, голые
И подслеповатые комочки —

Мира новорожденные жители...
Замер торопившийся народ.
Расступился очень уважительно
И пошёл тихонечко в обход.

Мне до тебя было десять шагов

Мне до тебя было десять шагов:
Пальцами по телефонной цифири.
То я стрелял в камуфляжных врагов,
То по бакланке на зоне чифирил.

Трясса по вахтам: Хабаровск, Чита.
Водкой от нефтебабла отмывался.
Но до сих пор в голове на черта
Номер держу? Он давно поменялся.

1917

Кумач вывешивал на щеках
По Петрограду февраль-злодей.
Толпа хлестала свои бока
Хвостами хлебных очередей.

Мечтами грелись: весна идёт!
Монарх отрёкся — вся власть тузам!
Тысячелетний ломался лёд,
Мосты вздымались руками «за».

Братанья всюду — и на фронтах,
О, как же радостна та пора!
Да только воздух уже запах
Предвестьем дыма и топора.

Так долго зрело вино свобод
В подвалах тюрем и крепостей,
Что без разбора крушил народ,
Не слыша собственный хруст костей.

Отец — на сына, и дочь — на мать,
Ржавели кровью родной ножи...
Чтоб было правнукам что снимать
На чёрно-белые плёнки лжи.

Крохотный хрусталик

Рыбьими глазёнками дождя
Небеса ощупывают землю.
Тишину отбойником гвоздят
За окном, а я тут мелкотемлю.

Кариес дорожный не лечу
И не жду с брезента урожая.
Крохотным хрусталиком лечу,
Небеса и землю отражая.

Ломоносов и бичи

«Запах рыбы бил в носы
Академиков почтенных:
Холмогорец из бурсы,
Растолкав плечами стены,

Вышел в мир, где сквозь стекло
Диск Венеры ясно виден...»
В мир, куда векам назло
Мы с тобой навряд ли выйдем.

Ну да это не беда:
На Олимпе тесновато.
А у нас тут и еда,
И постель из стекловаты.

Тёплым трубам ляг под бок
И мою пустую речь
Позабудь скорей, сынок,
Чтобы душу зря не жечь.

Алексей Борычев

Время вырастает из земли

И был этот день...

И был этот день... и земля, и звезда.
По рельсам осенним неслись поезда,
По лунным блистающим нитям,
По мгле, по судьбе, по событиям...

И кто-то стоял, разливая вино
По тёмным бокалам и глядя в окно,
Где олово дня остывало,
Темнея лилово и ало.

И, спички тревог зажигая во тьме,
В осенней кисельно текущей сурьме,
Блуждали пространство и время,
Как гости иных измерений.

А кто-то стоял у окна и курил,
Допив из бокалов остатки зари,
И слышал, как тихо шептались
Пространство и время-скиталец.

И слышал гудки неземных поездов,
И осень ему показалась звездой,
По небу летящей на север,
Где ветер бессмертье посеял.

Этот день похож на кролика...

Этот день похож на кролика—
Те же глупость и испуг.
Страх катается на роликах
В окружении подруг.

Боль и жалость— червоточины
В зыбком яблоке души.
А на ней клеймо: «Просрочена».
В мыслях ползают ужи.

Разливается чернильница.
Пятна— осень на холсте.
Мгла могильная пружинится.
И не где-то, а везде!..

То ли буквы, то ли нолики
На снегу— не разберёшь...
Этот день похож на кролика.
Потому— и страх, и дрожь!

Полночь

Я помню тебя, одинокая полночь!
И ты не забыла, ты многое помнишь...
Обрезав ножом темноты
Незримые нити с былым расставаний,
Пронзаешь бестелость времён, расстояний
И после, снежинкой застыв,

Холодным свеченьем приветствуешь вечность,
Плывущую тьмою над белою свечкой,
Горящей снегами зимы...
И кажется краткой дорога в бессмертье,
Но в это не верьте, не верьте—
Обманет спокойствие тьмы!

Бессмертие— шарик на тоненькой нити,
Подвешенный чьей-то мечтою в зените,
Колблемый небытием...
И все, одолев над собою высоты,
Попробуют мёда полночного соты
Пред тем, как пребудут ничем!

От полночи вдаль разбегутся столетья,
И полночь рассыплется на междометья,
Секундами тихо звеня.
Останутся в кипени прошлого света
На солнечных струнах игравшие дети,
Смотрящие в мир сквозь меня.

Час закатный. Фонари...

Час закатный. Фонари
Пьют настой сентябрьской ночи.
Что не делится на три—
Кажется, мешает очень.

Ты, подруга, не гляди,
Что в углу темно и пусто—
Так же, как в твоей груди,
Где живёт шестое чувство.

Потому что в час, когда
Фонари лакают темень,
Легче кажется беда
И стремительнее время.

Осенний яд

Кто сказал, что шипение осени—
 Это навий дымящийся яд,
 Принесённый уснувшими осами,
 Что не могут вернуться назад
 И вонзиться укусами в плотное
 Тело ясного летнего дня,
 Пробуждая дыханье болотное,
 Колокольцами влаги звеня?..

Кто сказал?.. Но глухое молчание
 Оглушило меня, отняло
 Чувства, мысли, и даже отчаянье
 Обратило в предельное зло.
 Потому что так много молчащего
 Ядом осени поздней шипит,
 И оса моего настоящего
 Жалит сердце, а вовсе не спит!

Оттенки

Ловец хрустальных состояний,
 Не кратных тридцати семи!
 Поймай пятнадцать расставаний,
 А на шестнадцатом— пойми,

Что обретенья и потери
 Взаимно отображены
 То многоцветностью истерик,
 То белым тоном тишины.

Когда в пыли истёртой ночи
 К нам страх врывается, как тать,
 То все оттенки одиночеств
 По пальцам не пересчитать,

И опрокинутое завтра
 В ещё глубокое вчера
 Чернильной каплею азарта
 Стекает с кончика пера.

Сентябрьский день

Стекает утро вязким солнцем
 С покатых крыш,
 И день стоит над горизонтом,
 Кудряв и рыж.

Осенней солнечной слезою
 Позолочён,
 Он ловит блик под бирюзою,
 Хрустит лучом.

И пусть сентябрь горчит повсюду
 Сырой строкой,
 Но этот день подобен чуду,
 Живой такой!

И что ему угрюмый невод
 Земной тоски,
 Когда задумчивое небо
 Кормил с руки!

Время вырастает из земли...

Время вырастает из земли,
 Кучерявясь летними цветами...
 Сорняком, желтеющим меж нами,
 Времени соцветья расцвели.

Смотрят одноглазые на нас
 Корневища, в наше беспокойство,
 Отвергая всё мироустройство,
 Что мы видим в профиль и анфас.

Прошлокрылых буден мотыльки—
 Абрисы известных нам событий—
 В том, что было намертво забыто,
 Растворятся, чувствам вопреки.

Сорняки времён заглушат всё,
 Вырастая стеблями до неба,
 Жизни обжигающую негу
 Обращая в бесконечный сон.

Февральские вариации

Февраль. Играет небо в бадминтон,
 Ракеткой мглы подбрасывая солнце...
 Одетый в снежно-льדיстое пальто,
 Кивает лес в морозное оконце.

И стены у избы не изо льда—
 Из воздуха, который крепче стали,
 А окна—многоцветная слюда
 Времён, смотрящих в палевые дали,—
 Туда воланчик солнца упадёт,
 Когда вдруг небеса играть устанут...

Потом придёт полночный лунный кот
 И слижет с неба звёздную сметану.

Ночная миниатюра

Синей бабочкой лесною
 В паутине темноты
 Билась позднею весною,
 Тронув крыльями цветы,

Полночь, звёздною пылью
 Опыляя небеса,
 Где—луны полукольцо и
 Бездны тёмные глаза.

От биенья крыл полночных
 Трепетала темнота.
 Паутина хоть и прочно
 Полночь сцапала, но та

Порвала её, на запад
 Улетела. А клочок
 Паутины трогал лапкой
 Злой рассветный паучок.

Беспокойное утро

Задохнулся, пропал мой мир в бытии трёхосном.
Ускоряясь во много раз, уплывало время.
На окне рисовала тьма то ли знак вопроса,
То ли ставила знак «тире», как черту на кремне.

Утро, горечи лет испив, обжигалось болью,
И восток покраснел — подобно больной гортани.
Прострелил облака рассвет, разрядив обойму
Нетерпения темноты... От пустых скитаний

Побледнела луна в петле, облаками свитой,
На звезде — на гвозде она, приуныв, болталась.
..И брела, обретая тень, обрастая свитой
Потускневших картинок дня, королева Старость.

Закрутилась позёмка лет по лихой спирали.
Замелькали снежинки дней, дорогих, ушедших;
На судьбу сединой ложились и... умирали.
И врывался в окно октябрь — беспокойной векшей.

Полдень

Памяти мерцанье. Летних дней изгиб.
Солнечные вазы полнятся покоем.
Тянутся минуты, что годам близки,
Растворяя в полдне брэнное, людское.

Полдень — суетливый, словно зыбкий уж.
Только не молчит он, а всюю стрекочет.
Но бегут вприпрыжку через чащу, глушь
Времена босые по тропинке к ночи.

Перед холодами (Ante Frigora)

Перекликаясь поездами,
Как птицы, станции живут...

Не знаю, свет поёт меж нами,
Полнясь густеющими снами,
Иль сумрак плачет наяву...

Живёт в тоске осенней время,
В уста целуя пустоту.
И сквозь простор сквозных прозрений,
Считая стук тоскобиений,
В себя из памяти бреду.

Лесов осенних злое жало
В меня вонзают холода,
И время столь лилово, ало,
Что кажется — оно устало.
Замедлились часы, года.

Но ледяной, декабреносный
Свет набирает высоту
И снова поджигает сосны;
Ступает север гулко, грозно,
Считая за верстой версту!

Полночная вода

Вода этой полночи слишком чиста,
Чтоб в землю пролиться.
На вытканых звёздами синих холстах —
Весёлые лица.

А полночь другая — темна и грустна,
И чёрной водою
Омоет просторы, где в утренних снах
Заблещешь звездою.

..Пока чернота из одной черноты
В другую струится,
Ты полночи первой попробуй воды,
Успей насладиться.

Сказка

Холодное небо коснулось Земли
Сырым снегопадом,
А в полночь созвездия тихо зажгли
Цветные лампы.

По снежной пустыне плыла тишина,
Как воздух, густая,
Смотрела задумчиво с неба луна,
Совсем молодая,

На лес и упавшую ночью звезду,
На снежные скалы.
Но долго звезду на подтаявшем льду
Созвездья искали.

В ночи замелькают и дни, и года —
Метелью, порошей;
Исчезнет под ними навеки звезда
И прошлое тоже...

Осенний фрегат

Небесным лоцманом ведомый
В цветную бухту сентября,
Корабль осенних окоёмов
В туманы бросил якоря.

На мачтах корабельных сосен
Качнулся парус облаков
Фрегата под названием «Осень»,
Плывущего в простор веков.

А утром якоря подняли,
И, разрезая гладь времён,
Поплыл в тоскующие дали,
Сливаясь с призраками, он,

Пройдя все зимы и все вёсны,
Вернётся в гавань сентября,
И эти мачты, эти сосны —
Спалит прощальная заря...

Карусели осени

Цветной лишайник. Скал скупой оскал.
Сосны болотной щупальца кривые.
Тропинка та, которую искал
Среди трясин. Елани вековые.

Брусника. Клюква. Вороника. Мох.
И—ничего, что может быть иначе.
Озёрный край. Тайги неспешный вздох.
Таёжный мир—и чуткий он, и зрячий!

И—никого! Леса. Холмы. Леса.
Рябиновая осени улыбка.
Озёр суровых серые глаза.
Кругом—пестро, нестройно, зябко, зыбко.

И крутит блики солнечных лучей—
Раскачивает осень карусели
По пёстрому простору ярких дней,
Качает блики звёзд в ночной купели...

Но человек, незримый человек
Откуда-то всю жизнь идёт куда-то.
На юг: в простор степей, полей и рек...

Багровой лихорадкой заката
Прошита тьма, тревоги гулкой тьма.
Дойдёт ли человек до южной цели?
Тайга грустна, тайга почти нема.
Раскачивает осень карусели.

Собрав озёр окрестных звоны

Собрав озёр окрестных звоны
В темнеющую чистоту,
Слепой покой взошёл на склоны
Туманных скал. Ночная ртуть,
Мерцающая мелкими огнями,
Как пробуждение меж снами,
Кагилась в клюквенную тьму...

Сентябрь. Ночей осенних бритвы
Кромсали смысл всего. Всему
Ломали схемы, алгоритмы...
Но кто-то шёл на тихий звон
Под тихий свист иных времён.

Плутая в онеменья леса,
В сетях бесчисленных колец,
Не замечая жизни веса,
Не чуя стука злых сердец,
Он останавливался где-то
И слышал смех былого лета,

И сквозь себя он шёл к нему,
Просторы осени разрушив,
Презрев «зачем?» и «почему?»,
Сплетая жизнь из сотни кружев
Воскресшей юности. Покой
Мерцал озёрной чистотой.

ДиН РЕВЮ



Александр Кердан

Приснилась мама мне

Киров: ид «Герценка», 2018

● ● ●
Апрель принёс свои законы:
Вот лужи—посреди двора,
Их, словно океан бездонный,
Осваивает детвора,

Бродя сначала ближе к краю,
А после—вдоль и поперёк,
Глубины жизни постигая
Размером собственных сапог.

Для каждого открытия—внове,
Идут, не ведая преград,
И никого не остановит
Крик материнский:
— Стой! Назад!..

● ● ●
Дачный посёлок, и солнце в зените,
Пташки порхают, звенят на весу.
Перед тобою стакан земляники:
Мама её собирала в лесу.

Чтобы—по яголке, сладкой, пахучей—
Цену любви ты распробовать мог,
Самоотверженной, лучшей из лучших;
Только расти поскорее, сынок!

Только запомни минуту простую,
В сердце её сохрани навсегда:
Глядя, как ты землянику смакуешь,
Мама так счастлива, так молода...

Эльдар Ахатов

Серебряный ангел

Серебряный ангел

Впервые она заметила его в шевелящихся лунных изломах воды близ набережной Лиссабона, города, в котором ей мечталось оказаться с тех пор, как однажды, повествуя о великих путешествиях и открытиях, упомянул о нём отец—сам заядлый путешественник. Ангел шевелил полупрозрачными крыльями и улыбался ей младенчески нежной улыбкой. И она улыбалась в ответ. Девушка и ангел... так длилось некоторое время, пока чудесное существо окончательно не растворилось в водных глубинах...

Через два месяца он возник снова—в узорах на морозном окне её квартиры. Теперь он куда-то терпеливо летел среди намороженных кудрявых облаков. Долго-долго. Целых несколько кратких сибирских дней поздней осени. Пока крылатый гость не исчез полностью в облачных узорах на промороженном оконном стекле.

Папу чаще можно было увидеть на телеэкране, чем встретить дома. Его бесчисленные экспедиции всё никак не могли кончиться. Лишь одно правило соблюдалось нерушимо из года в год: первого января все папины дети, в том числе, разумеется, и она, собирались в одном из лучших городских ресторанов на праздничную встречу с отцом. Исполнялись любые детские мечты о новогодних подарках. За столом каждый имел право заказать любое самое экзотическое или дорогое блюдо. Никаких ограничений. Словно в волшебной сказке...

Она давно выросла. Окончила университет. Работала в крепкой туристической фирме, в той сфере, которая лично ей нравилась всегда. Но новогодних папиных подарков и встреч ждала по-прежнему с детским ощущением чуда.

Незадолго до Нового года её осенило насчёт папиного подарка: это должен быть серебряный ангел-хранитель. Тот самый, который уже являлся ей дважды. Теперь он должен явиться в третий раз и остаться с ней навсегда, чтобы оберегать её всюду в странствиях земных, морских и небесных. Она сообщила о своём желании папе по Интернету. И он заказал дочери ангела, но его не успели доставить к первому января. А следующие семь дней страна традиционно не работала...

Наступил восьмой день нового года. Отец был уже далеко от её города. Он готовился к новым северным маршрутам, складывал необходимые вещи в своём временном пристанище, когда вдруг неудержимо захотел спать и ненадолго прилёг на диван. Сон длился не более часа. Без сновидений—словно глубокий провал в никуда. Очнувшись, он не сразу сообразил, что именно изменилось. Попытался встать. Не получилось. Не слушалась правая нога. Попытался взять в руку телефон. Но правая рука так и осталась лежать на месте, словно мёртвая. Попытался возмутиться, но вместо слов из его горла вырвалось одно лишь натужное мычание. За следующие полчаса ему удалось добраться до входной двери, невероятным усилием воли одолев пять или шесть метров, и отпереть её левой рукой. Затем он позвонил товарищу. И тот сразу догадался зайти к нему, почуяв неладное.

На его счастье, скорая явилась почти моментально. Замерили давление, поставили капельницу, дали лекарство и начали спускать по подъезду к медицинскому реанимобилю. И тут раздался звонок телефона, с которым он теперь не расставался ни на миг, удерживая его левой здоровой ладонью. Звонила дочь. В её громком взволнованном голосе было такое несомненное счастье, каким оно бывает только у детей, встретивших Деда Мороза с мешком волшебных подарков. Только что курьерская почта доставила ей серебряного ангела-хранителя—новогодний подарок отца. Из телефонной трубки нескончаемым потоком звучали слова благодарности, восхищения и дочерней любви. Больного занесли в автомобиль. Машина направилась к больнице. А он всё продолжал лёжа разглядывать присланную дочкой фотографию чуда—серебряной подвески-ангела, хранящего отныне его живое сокровище...

Семь роз

Однажды на Крайнем Севере, в середине лета, а точнее, в день моего рождения, друзья подарили мне семь высоких голландских роз, как обычно, напичканных химией для того, чтобы им просто-так до следующего после продажи дня и умереть, как говорится, «с чувством исполненного долга». Розы были столь прекрасны, что хотя я и понимал,

какая участь ожидает их в ближайшее время, но мысленно всё же взмолился, обращаясь к Тому, Кто Может Всё, с просьбой продлить жизнь хотя бы на сколько-нибудь семи моим красавицам. И чудо случилось: розы не завяли, а засохли — примерно через неделю, но рядом с засохшими веточками появились новые, более мелкие с изящными молоденькими листочками.

А через месяц все семь роз расцвели снова. На этот раз распустились не семь, а несколько десятков небольших пылающих бутончиков. Наступила осень. Грянула зима. Но розы продолжили цвести. Одни бутоны сменялись другими.

Наступило время моего отпуска. Время, которое я посвящаю родным и семье. Мне нужно было ехать на юг, чтобы навестить маму. Уезжая, я попросил коллег по работе присматривать за моими розами. Они старались. Но напрасно. Когда я вернулся, то увидел, что из всех семи роз живой осталась только одна веточка с единственным ярким бутончиком, а все прочие — умерли... Десять дней и ночей я отчаянно боролся за жизнь своего последнего цветка. Но всё было напрасно. Одинокая розочка умерла, так и не пожелав оставить своих подруг.

Прошло несколько лет, но каждый раз в день своего рождения, едва проснувшись, я невольно бросаю взгляд в сторону пустого подоконника, словно всё ещё надеюсь на чудо...

Хорошее мнение

Не следует огорчаться тому, что не у всех о вас хорошее мнение. Это неизбежно, ибо если у негодьяв о вас плохое мнение, то за вас можно только порадоваться, а если — хорошее, то пора задуматься: всё ли с вами в порядке? Хорошее мнение о вас у кого-то или плохое — мне лично всё равно, потому что у меня есть своё, если я о вас знаю, или нет никакого, если мы незнакомы... Всё относительно — и хорошее, и плохое. Всё сущее имеет тень... И если вы удаляетесь от света, ваша тень бежит впереди, указывая путь во тьму. Если стоите перед светом, тень прячется за вашей спиной. Если идёте к свету, тень нехотя волочится позади вас. А если источник света находится прямо над вами, тень исчезает. У света нет тени.

Будьте источником света.

Война кончилась

Война закончилась за пятнадцать лет до моего рождения. Естественно, что ни я, ни мои младшие сестры её не видели. Мы читали повести, рассказы и стихи о ней, ходили с родителями на парады Победы, смотрели художественные и документальные фильмы. Но нам повезло: всё, что мы знаем о войне, нам не довелось испытать на себе. Видеть на экране и читать в книге — это совсем другое. Ты ведь знаешь, что, как бы ты ни

переживал описываемое или показываемое, на сам деле всего этого сейчас уже нет. На самом страшном месте книжку можно закрыть, а телевизор — выключить. И всё. И нет никакой войны.

Во дворе я играл с ребятами в войну. Тогда во всех дворах можно было увидеть, как мальчишки бегали с вырезанными из досок «автоматами», а то и просто палками, в «атаки», кричали «ура» и в итоге всегда побеждали всех «врагов». Ими назначались такие же мальчишки, но помладше, потому что «пленными немцами» добровольно не хотел быть никто.

Я любил фильмы про войну, такие как «Отец солдата», «Баллада о солдате», «Подвиг разведчика», «Два бойца», «Жди меня» и другие. Тогда было много хороших фильмов, в том числе и документальных. Вместе с нами их смотрела мама. Однажды я заметил, что в определённые моменты просмотра она вдруг исчезает из комнаты. Поскольку это повторялось постоянно, я обратил внимание на эти моменты из фильмов. Они были разными, но общим в них было одно: с жутким воем пикирующие немецкие бомбардировщики. Как только возникал этот звук, иногда даже без показа самих самолётов, мама буквально испарялась из помещения. Долгое время это оставалось загадкой для меня.

...Когда началась война, моя мама была пятилетним ребёнком и ни в каких сражениях, естественно, не участвовала. Но она, как и её старшие сёстры и моя бабушка, оказалась тогда в особом месте — в блокадном Ленинграде. В её детской памяти запечатлелись от той войны на всю оставшуюся жизнь два момента: ощущение вечного, непрекращающегося голода и этот невообразимо страшный вой пикирующих самолётов.

Много раз она пыталась рассказать об этом и не могла, потому что вспоминать было невыносимо.

В сорок втором году семью мамы эвакуировали. Во время переправы через Ладожское озеро их в упор расстреливали с самолётов. Представьте себе: маленькая, худенькая русоволосая девочка с большими глазами, какой я видел её на единственной сохранившейся довоенной ленинградской фотографии, и огромные, пикирующие на неё с воем и стрельбой фашистские самолёты. Каково было этому ребёнку? Какой безумный ужас пережила её детская душа в те мгновения? С чем это сравнить? Не знаю. Не с чем. Мама помнит, как моя бабушка обняла плачущих дочек, накрыла их собой и начала молиться о том, чтобы их убили вместе, чтобы не оставляли страдать никого...

Прошло много лет. Очень много. Моя старенькая мама ещё жива. Но всякий раз, когда где-нибудь случайно она слышит тот самый знакомый ужасный звук, она прячется. Да, прячется ото всех, и нужно бежать скорее за ней, найти, обнять и сказать тому плачущему ребёнку с морщинистыми

старческими руками: «Мама! Война кончилась, мама! Кончилась война...»

Харам

Однажды мои стихи спасли меня от рабства, а может быть, и сохранили жизнь... Это было очень давно, в предгорьях Памира, в Таджикистане, где только что отгремела гражданская война. Я случайно оказался в руках вооружённых моджахедов, собиравшихся перейти реку Пяндж и доставить контрабандные товары в Афганистан. Они чрезвычайно обрадовались своей удаче в моём лице.

Их переводчик объяснил мне, что меня собираются завернуть в ковёр и перевезти через Московскую погранзаставу на реке Пяндж, чтобы выгодно продать в рабство в Кандагаре. Что я могу? Ничего. От безысходности и отчаяния я начал читать свои стихи. На русском, разумеется. Конечно, они, кроме переводчика, не понимали ни слова. Но догадались, что это не обычная речь. Переводчик спросил меня, чьи это стихи, и я ответил, что мои. Следом всё вдруг изменилось в их поведении. Меня в итоге отпустили, да не просто отпустили, а прежде того растелили передо мной дастархан (подобие скатерти-самобранки, расстилаемой на полу) с пловом, чаем и восточными яствами. И проводили как уважаемого человека до того дома, где я перед этим находился...

Долгое, очень долгое время я не мог ни понять, ни объяснить себе столь странного изменения в поведении моих «тюремщиков». Пока не обнаружил аналогичный случай, изучая историю жизни Лермонтова на Кавказе. Говорят, на Востоке, в горах, легенды живут долго. Гораздо дольше людей. Всем известно, что Лермонтова сослали на Кавказ за правдивые, обжигающие душу строки стихов о смерти Пушкина. Его отправили на войну с горцами, надеясь, что живым с войны он уже не вернётся. И Лермонтов тоже понимал, для чего его отправляют. Но он был не из тех, кто кланяется пулям в бою или прячется за спины солдат, он и в сражении оставался самим собой, втайне полагая, что однажды его действительно убьёт меткий противник. Может быть, поэтому у него — столько печальных стихов о неизбежной смерти в бою. Лермонтов был фаталистом.

Перед боем он надевал красную рубашку и, как фаталист, искал смерти. Но каким-то образом горцам заранее стало известно, кто перед ними. Врага на Востоке ненавидят, но поэтов чтят за их живое слово, за голос народа, звучащий в их голосах, чтят в особенности тех, кто пострадал за правду. Лермонтов бросался в самую гущу боя и, конечно, не подозревал, что в это самое время командиры горских отрядов кричали своим стрелкам: «Видите вон того русского офицера в ярко-красной рубахе? Того, кто впереди, на виду? Не стреляйте в него. Это — поэт! Харам!» — кричали

они своим бойцам, и те намеренно стреляли мимо Лермонтова. «Харам» — означает «табу», «запрет», смертный грех перед Богом. В представлении горцев Лермонтов был ашугом, так называли на Кавказе странствующих поэтов и менестрелей. Ни одна пуля так и не задела Михаила Юрьевича ни в одном сражении, ни в одной стычке. Поэтов на Востоке не убивают, даже во время войны. Этот мудрый восточный обычай, вероятно, сохранился до нашего времени у некоторых афганских племён: ни при каких обстоятельствах нельзя трогать дервишей и поэтов, ибо Аллах накажет. Именно это правило и спасло меня при встрече с отрядом моджахедов. Поэтов трогать нельзя. Харам!

Кстати, именно это слово повторял своим учителям перед смертью Муаммар Каддафи. Но это не возымело на них никакого действия. То ли в Ливии было уже иное время и прежние обычаи порядком забылись, то ли Каддафи не признали поэтом...

Тишина

У них была большая дружная советская семья, где всё внутреннее, семейное держалось на материнских плечах, поскольку отец вечно был занят своей важной государственной работой и широкой общественной деятельностью. А в доме фактической хозяйкой являлась мама, которая, впрочем, никогда этого не показывала, тем более в присутствии мужа. Она была мудрой женщиной. Со взрослыми. Детям же доставалась вся её не растратенная нежность. Особенно младшенькому сыночку. Красавчику и живчику. Не только она, но и его старшие сёстры и братья всячески баловали мальчишечку, не звавшего отказа ни в чём.

Поскольку семья была большая, а папа — крупный государственный человек, в доме в папином кабинете стоял на столе телефон, а второй — параллельный — висел в коридоре возле двери. Днём в квартиру приходила специальная домработница Нюра, много лет помогавшая маме по хозяйству. Нюра так свыклась со всеми в доме, что ощущала себя практически членом этой семьи. Другой у неё и не было...

Однажды в южном приморском городе, куда вся семья приехала отдохнуть в санатории вместе с отцом, папа решил посетить местный рынок. Дружное семейство перемещалось вслед за папой, безотказно, как Дед Мороз, покупавшим детям всё, что они пожелают. Когда руки у всех уже основательно отяжелели от фруктов и ягод и папа уже искал взглядом дорогу к выходу с рынка, младший сынок заметил прилавок с ярко-красным кизилом. Он подбежал к прилавку и начал визжать, требуя немедленно отдать ему все эти красные красивые плоды. Для папы такое сыновнее поведение стало неприятной неожиданностью. С каменным лицом он подошёл к ребёнку, попытался взять

его за руку и увести: всё, на сегодня хватит, надо слушаться старших. Однако ребёнок, истерично крича, вырвался, упал навзничь и начал кататься по земле. Отец от неожиданности застыл на несколько мгновений, затем сгрёб сына и быстрыми крупными шагами направился к поджидавшему их автомобилю. Ребёнок продолжал визжать и брыкаться. Дома папа вынул ремень из брюк и выпорол сына...

Прошло очень много лет. Дети выросли, завели свои семьи, разлетелись по другим городам. Мама, увы, умерла. Отец и приходящая домработница Нюра остались единственными людьми, оживлявшими пустую огромную квартиру с высокими потолками. Отцу шёл уже девятый десяток, младшему сыну — пятый. Уже дети младшего сына сделали его, известного на всю страну учёного-биофизика, молодым дедушкой.

Он прилетел в город на крупную международную конференцию. Вечером, поселившись в отеле, позвонил старенькому отцу и договорился о встрече. Но случилось так, что на следующий день светило биофизики почувствовал себя плохо. Врачи определили у него... детскую болезнь — корь. Ему предложили госпитализацию, однако он помнил о намеченной встрече с отцом, созвонился, чтобы извиниться, и услышал его предложение: не ложиться в больницу, а отлежаться у него, поскольку места для «карантина» в квартире предостаточно, а добросовестный уход папа и домработница Нюра, безусловно, гарантируют. И сын согласился.

Это были удивительные дни, когда престарелый папа ухаживал за своим сыном. Они часами общались обо всём на свете, чего раньше не случалось никогда. Папа, опираясь на трость, степенно ходил в ближайшую аптеку за лекарствами для взрослого сына. На ночь он даже отключал телефон, чтобы ничто не тревожило сна его выздоравливающего пациента. Им было хорошо вдвоём, поэтому Нюра заходила ненадолго. Лишь раз, когда во время разговора сын спросил его: «А ты помнишь, как выпорол меня однажды?» — отец с отсутствующим взглядом ответил: «Не помню», — и вышел из комнаты...

Сын выздоравливал. Неумолимо приближалось время расставания. Оба избегали разговора об этом. Но однажды наступило утро, когда сыну надо было уезжать. Он собрал вещи, вышел в коридор и услышал громкий разговор, доносившийся из кабинета отца.

Заглянув в кабинет, он увидел отца, беседующего с кем-то по телефону, и стал показывать знаками, что уезжает и надо бы попрощаться. Отец кивнул ему и помахал свободной рукой, продолжая разговаривать. Сын подождал. И повторил знаками то же самое. Отец опять кивнул и помахал рукой. Раздосадованный сын вышел. Ему было и обидно,

и больно. В коридоре у выхода он не выдержал и поднял трубку параллельного телефона, чтобы понять: чья же беседа оказалась для отца дороже и важнее прощания с ним?

Приложив трубку к уху, он застыл в изумлении, не в силах положить её обратно, только теперь понимая всё... В трубке стояла глубокая, нестерпимо долгая, мучительная тишина. Аппарат не был подключён к связи.

Нинико

Забавно, когда человек трижды моложе тебя увлечённо рассказывает о чём-то, особенно если ты это уже не раз слышал, причём очень недавно. Худенькая, небольшого росточка девчушка приглашает прохожих, гуляющих по набережной возле моста, на прогулку по реке. А я особо и не возражаю: поехали! Рукой, сжимающей рекламный проспект, она, тараторя на ходу, приглашает следовать за собой, и мы с ней пересекаем реку по мосту.

Возле пристани на скамейке сидит круглолицый розовощёкий плотенький паренёк. Предлагает взять с собой на катер вина. Оно тут же, перед ним, в кувшинах на столике не первой свежести. Рядом — поднос с ячеекками для стаканчиков и сами пластиковые небольшие стаканчики. Жарко. Вечереет, но солнце ещё высоко. Соглашаюсь на вино, но прошу девчушку добавить к винным стаканчики с водой. А воды нет. Есть только вино. Девушка вопросительно смотрит на меня. Я настаиваю. Паренёк слышит меня, вскакивает и бежит к пожилому мужчине через дорогу за водой. Вскоре он возвращается с прохладным запотевшим стеклянным кувшином, в котором плещется вода. И передаёт его девушке, скороговоркой, словно дразнясь, повторяя её имя: «НиникоНиникоНинико!..» Странная улица: с одной стороны вино, с другой — вода...

Нина смущается, опуская взгляд, и, кажется, краснеет. Её смущение действует на розовощёкого Гию как красная тряпка на быка. Он распаляется и уже почти вопит на всю улицу: «НиникоНиникоНинико!!!» Внешне она — почти ребёнок, и лишь приглядевшись, понимаю, что скромница в сереньком платье с по-школьному гладко зачесанными к затылку волосами, скорее всего, учится в местном университете, а у моста подрабатывает вечерами на желании таких же заезжих туристов, как я, прокатиться по Куре. Да, чуть не забыл: мы на набережной в центре Тбилиси.

Подъезжает (чуть не сказал «подскакивает») речной катерок. Рыжий кудрявый подросток сжимает руль и вопросительно поглядывает на берег. Нинико с подносом в пластиковых стаканчиках с вином и водой аккуратно перешагивает с берега в покачивающуюся и подрагивающую от нетерпения посудинку. Мотор набирает обороты. Берега

отплыли от нас. И вот мы уже на середине реки, а над нами — тот самый мост. Ажурное творение итальянца Микеле де Лукки — пешеходный мост Мира, соединяющий улицу Ираклия II с парком Рике. Покрытый голубоватым стеклом, он находится между Метехским мостом и мостом Бараташвили. Как раз об этом и рассказывает мне сейчас Нина. Заслышав фамилию «Бараташвили», взглядываю в небо сквозь голубоватый стеклянный купол над мостом и невольно вспоминаю гениальные стихи грузинского поэта в вольном переложении Бориса Пастернака:

Цвет небесный, синий цвет,
 Полюбил я с малых лет.
 В детстве он мне означал
 Синеву иных начал.
 И теперь, когда достиг
 Я вершины дней своих,
 В жертву остальным цветам
 Голубого не отдам.
 Он прекрасен без прикрас.
 Это цвет любимых глаз.
 Это взгляд бездонный твой,
 Напоённый синевой.
 Это цвет моей мечты.
 Это краска высоты.
 В этот голубой раствор
 Погружён земной простор.
 Это лёгкий переход
 В неизвестность от забот
 И от плачущих родных
 На похоронах моих.
 Это синий негустой
 Иней над моей плитой.
 Это сизый зимний дым
 Мглы над именем моим...

А наш катерок, ведомый рыжим Авто (так представился мне наш юный речной капитан — Авто, то есть если целиком, то Автандил), уже приближался к Метехскому мосту, сразу за которым высоко над обрывистым берегом высился памятник царю Вахтангу Горгасали, восседающему на мощном гигантском коне. А за спиной его — Метехская церковь тринадцатого века. Нина с явным удовольствием повествует мне о подвигах святого грузинского царя, правившего здесь в незапамятные времена — в пятом и начале шестого веках, когда ещё не было никакого Тбилиси, а вокруг Куры стояли широкошумные леса с обильной дичью. Здесь однажды, охотясь, царь Иберии набрёл на тёплые целебные источники, которые и дали название будущей столице Грузии.

Мы поворачиваем влево вслед за рекой. Над изумрудными волнами то парят, то садятся на воду чайки! Слева — уходящая вдаль каменная стена перевозданного скалистого берега, увенчанная сверху непрерывной чередой зданий с балконами

и балкончиками, нависающими над рекой, словно гроздь ласточкиных гнёзд. А позади — фантастический вид на гору с медленно опускающимся к ней палящим солнцем. На горе старинная мощная крепостная стена с башнями — крепость Нарикала. Время её основания точно никому неизвестно, однако, говорят, уже в четвёртом веке на этом месте стояла крепость Шурис-Цихе. Цитадель обрела современные очертания в семнадцатом-восемнадцатом веках, но, увы, как горестно продолжает рассказывать мне Нинико, сильно пострадала от взрыва порохового склада в 1827 году. А то она была бы ещё красивей. Хотя лично мне кажется, что и в нынешнем состоянии Нарикала просто неотразима. Особенно — на закате.

Странное ощущение: пустынная стихия зеленоватой куринской речной воды и буквально рядом — шумный, смеющийся крышами город. И сухощавый подросток (это внешне, а на самом деле, наверное, всё-таки старше) Авто, в шортах, разлапистых сандалиях и коротенькой рубашонке, лихо управляющий рулём. И щебечущая воробушкой Нинико, которую я иной раз почти и не слышу из-за шума мотора и прохладного встречного ветра при ослепительном солнце... Мы возвращаемся. С берега уже доносится дурашливое звонкоголосое торжествующее «НиникоНиникоНинико! НиникоНиникоНинико! НиникоНиникоНинико!»

Я счастлив.

Три поросёнка

Если вы спросите меня, случилась ли вся эта история на самом деле, я вам не отвечу. Может быть, именно так всё и было. А может быть, и не совсем так. А может быть, и совсем не так. Ведь каждый помнит по-своему и своё. Но то, что мой рассказ родился не на пустом месте, — наверное, очевидно каждому.

Давным-давно в одном южном городе Советского Союза жил-был очень дружный школьный класс. Восьмой «В». Ровно сорок человек — мальчиков и девочек. Они знали друг друга и друг о друге всё или почти всё, потому что почти все учились вместе с первого класса, да и жили рядом со школой. Помимо уроков, многие участвовали в школьном хоре, играли в гандбол в одной команде, маршировали строем в военной игре «Зарница», собирали металлолом и макулатуру, как примерные пионеры. И с уроков на «шталу» в кино сбегали тоже все вместе. Никто не отставал.

Так было до восьмого класса, так же происходило и в восьмом. Школа являлась обычной десятилеткой, в которую приходили в семь лет. То есть каждому из одноклассников в ту пору было примерно пятнадцать. Изменилось в восьмом только одно: в школе появился новый учитель математики. Молодой. Интеллигентный. Выпускник

университета. Атлетически сложенный. В роговых очках. С неисчерпаемым багажом знаний буквально обо всем. Умеющий рассказывать так увлекательно, как не способен был никто из педагогов. Харизматичная личность, как сказали бы сейчас, но тогда таких слов не знали. Половина старшеклассниц школы тут же влюбилась в него, а мальчишки слушали его на уроках так, как слушают мудрого гуру где-нибудь в Тибете. Юрий Гаврилович. Он свободно владел французским, немецким, итальянским и английским языками. Прекрасно разбирался в истории, географии и литературе. Знал наизусть массу стихов в оригинале и переводах. Некоторое время спустя вокруг него образовалось нечто вроде общества любителей всех гуманитарных дисциплин. И поскольку на всё это школьного времени никак не хватало, Юрий Гаврилович стал приглашать наиболее увлечённых учеников к себе домой. Разумеется, с разрешения их родителей. Таких ребят оказалось трое. Все — мальчишки с одного класса, восьмого «В».

Дома его рассказы были такими же интересными, как и в школе, но более специфичными. Он рассказывал детям о Великой французской революции, о её деятелях — Марате, Дантоне, Робеспьере. Прекрасно декламировал стихи о революции, о свободе, равенстве и братстве. Мальчишкам запомнилось, как однажды он поставил для них пластинку с «Марсельезой» и подхватил эту песню на французском вместе с голосом певца. Учитель с искренним возмущением и скорбью говорил о том, как высокие идеалы революции со временем подменяются обывательщиной населения и фарисейством руководства на всех уровнях власти. Ребята слушали его, затаив дыхание.

Уходили мальчишки домой вместе. По дороге и поздней в классе, а по выходным — встретившись во дворах возле школы, они горячо обсуждали услышанное от молодого учителя, уже сами находя примеры вранья взрослых, замеченные ими самими, подхалимства и взяточничества, услышанные от родителей, обсуждавших дома на кухнях то, что нередко случалось у каждого из них на работе или в быту. Но если в семьях всё заканчивалось обычными «кухонными» разговорами, то для их юных романтически настроенных головушек этого казалось совершенно недостаточно. Им хотелось каким-то образом выразить свой протест так, чтобы все вокруг поняли: не все согласны с подобным положением, существует реальное сопротивление всеобщему злу, каждый имеет право на свои убеждения. Короче: «Да здравствует свобода!»

Как раз в это время город готовился к приезду первого лица государства — Генерального секретаря ЦК КПСС, увешавшего себя в тот период уже тремя Звёздами Героя всего-всего наигероического. Огромные портреты Брежнева с тремя Звёздами на груди были размещены местным руководством

по всему городу, в том числе и по предполагаемому пути следования правительственного кортежа.

В горячих юных головах созрел дерзкий и детски наивный план, которым они поделились со своим идейным «вождём» — Юрием Гавриловичем. Тот восхитился дерзостью и простотой плана, но предостерёг ребят от реальных действий, из-за которых у них могут быть неприятности. И тут подростки впервые возразили ему, так им стало обидно отказываться от задуманного. Возник спор, который, впрочем, никого не переубедил. И ребята ушли, поскольку приезд генсека ожидался на следующий день, и если действовать, то действовать нужно было именно в эту ночь... Мальчишки подготовили целую пачку листовок формата А4 для расклейки по городу. Слова на листовках были написаны от руки: «Да здравствует Свобода!» Листовки ночью были расклеены. Но главным было не это. «Изыюминку» протеста жители города заметили, когда рассвело. На одном из самых крупных плакатов с изображением генсека, расположенном на автотрассе, по которой ожидался проезд высокого гостя, на месте трёх золотых Звёзд Героя красовались фигуры трёх грязных поросёв... КГБ принялось за работу. Конечно, генсек ничего такого не увидел. Во-первых, потому что прибыл на сутки позже. Во-вторых, плакат довольно быстро заменили, но жители города всё-таки успели им «полюбоваться» и веселились от души.

Часам к одиннадцати утра в школу, где училась тройка свободолюбивых подростков, прибыли сотрудники госбезопасности. Они знали всё. Бледная от страха, трясущаяся директриса Ида Львовна немедленно собрала всех педагогов школы и в присутствии кагэбистов, с их разрешения, рассказала им о случившейся истории, позорящей всю школу, после чего слёзно попросила работников карающих органов дать школе последний шанс продемонстрировать глубокую сознательность своих учеников, их приверженность принципам социалистического сознания... и так далее и тому подобное. План директрисы был и суров, и прост, и по её мнению, справедлив... Госбезопасники в целях воспитания в детях приверженности к социалистическим ценностям любезно согласились подождать конца придуманного Идушкой Львовной «спектакля».

Вскоре весь восьмой «В» был выстроен во внутреннем школьном дворе, закрытом от сторонних глаз с трёх сторон (с четвёртой двор закрывала высокая тенистая изгородь). Ребят и девчат расставили по восемь человек в пять рядов так, чтобы между каждым из них было расстояние примерно в один метр. Директриса приказала детям стоять по стойке «смирно», как бывало (правда, в общем строю, не отдельно) на тренировках к строевому маршу в «Зарнице», до тех пор, пока кто-нибудь из них не сообщит имена трёх «бунтовщиков»

и учителя, который их вдохновил на «позор всей школе». Она не посмела даже сообщить классу о том, что же произошло прошлой ночью, но была уверена, что кто-то из детей об этом непременно уже знает. Она не ошибалась в этом. Если не все, то многие знали. Она ошиблась в другом...

Прошло полчаса, миновал час. Никто из детей не пошевелился и не издал ни звука. Наконец одна из девочек потеряла сознание. Её унесли. Завуч Екатерина Теодоровна с грубым солдафонским голосом и мужскими кулачищами продолжала следить за остальными. Прошло четыре часа. Продолжавших стоять на школьном дворе осталось на ногах меньше половины, когда кагэбистам надоел «весь этот театр» и они молча забрали с собой «бунтовщиков»... Никто из троих мальчиков не выдал учителя.

Класс расформировали. Детей разместили по другим школам. С родителей юных «бунтарей» взяли подписки об ответственности за поведение и воспитание и, разумеется, о неразглашении. Дети, все трое, были несовершеннолетними, иначе им их поведение обошлось бы гораздо дороже. Юрий Гаврилович за всей экзекуцией над восьмым «В» классом наблюдал в окно, поглядывая из-за занавесочки. Он сильно переживал, но не смог заставить себя выйти к своим воспитанникам, поскольку его мучила совесть: это он предал их и написал донос в КГБ вечером после ухода детей. Потому их сразу и «нашли». В своём предательстве учитель признался мне позже. Гораздо позже. Через много-много лет... в письме. Издалека. Наверное, ему от этого стало легче.

А у меня перед глазами до сих пор та ужасная и в то же время потрясающая картина: дети, одиноко стоящие на плацу, не выдавшие никого. Их родители были разных наций, ныне нередко враждующих между собой, разных вероисповеданий, разного социального уровня: обеспеченные и не очень, рабочие и врачи, музыканты и вчерашние сельские жители... Всем им низкий до земли поклон, они правильно воспитали детей: никого нельзя предавать. Даже если очень страшно.

Бабочка

В пятницу духота продолжалась. Окна открыты настежь — надежда на сквознячок. За полярным кругом вентиляторами не принято запасаться. С улицы несёт гарью лесных пожаров. У нас здесь лесов нет: чахлое редколесье в речных долинах и возле — не в счёт, большая часть окрестных земель — заболоченная тундра с одинокими низкорослыми деревьями и кустами. А то и без них. По радио в новостях передали, что в течение трёх ближайших августовских ночей в разных уголках планеты можно будет наблюдать уникальный метеоритный дождь: тысячи звёзд упадут на землю, и самый сильный звездопад случится завтра в ночь.

Усмехнулся: какие звездопады? Дымчато-серое небо сплошь покрыто облаками. Ни единого прогала. К вечеру стало заметно прохладнее и сырее. Заморосил, зашуршал еле слышно мелкий дождичек.

За окнами шипит невидимый мокрый асфальт под колёсами автомобилей. Падают отдельные дождевые капли с карниза. А это что за шорох — непонятный, громкий и совсем рядом? Вроде и не на улице, а в соседней комнате. Заглянул туда и обомлел: бабочка! Большая, красивая, яркая. С густо-оранжево-коричневыми крыльями в чёрных и редких белых пятнышках, с чёрно-белой, мелкими зубчиками, каймой по всему периметру. Машет ими часто-часто, то прижимаясь к плоскости оконного стекла, то зависая в уголке рамы. Что за чудо! За три лета на Севере нигде ни разу не видел бабочек. Комаров, мух, оводов, ос, мошки — видимо-невидимо насмотрелся, но бабочек — не доводилось. А тут — нате, сама в дом залетела. Да такая нарядная и крупная. «Окна открыты, улететь ей несложно», — подумал я и поспешил за фотоаппаратом: хоть сфотографировать на память, не то после сам себе не поверю, решу, что приснилось.

Вернулся: нет, не улетела ещё. Чтобы фотография получилась чётче, приблизил руки с фотоаппаратом к бабочке. Она испугалась, замахала крылышками ещё чаще. Никак снимок не получается. Взмолился мысленно: «Да не бойся ты меня! Не трону. Замри, пожалуйста!» И вдруг, словно услышала, замерла на месте. Снимок получился, и я ушёл, довольный, на кухню — готовить ужин. Потом, как обычно, сидел допоздна в Интернете и незаметно уснул.

В субботу с утра стало ясно, что дождь не прекращался, усилился ветер. Проснувшись от холода, я решил, что давно пора закрывать все окна. Честно сказать, и не думал о бабочке. Просто зашёл в ту же комнату и... обнаружил её на месте. Не улетела. И правильно: на улице зябко, в квартире гораздо комфортнее. Она вновь запорхала вертикально по стеклу, но не испуганно, а как бы приветствуя меня. Я невольно улыбнулся. Привет, привет! Не хочешь ли ты сказать, что решила поселиться у меня? Вот и ладно. Живи сколько хочешь. Я тебя не гоню.

День был выходной, и потому я занялся всякими личными делами: то ходил в магазин, то подметал и пылесосил полы, то стирал и гладил рубашки, ну и в Интернет опять-таки зашёл. Потом на меня снизошло очередное вдохновение, и я начал записывать что-то очень важное для себя на тот момент. Забылся и вдруг почувствовал чьё-то присутствие совсем рядом. Кто это? Начал озираться и заметил краем глаза... бабочку на своём плече. Она сидела спокойно, чуть покачивая раскрытыми крыльями. Я затаил дыхание. Надо же, какие нежности! Так продолжалось некоторое время. Затем я не сдержался, шумно выдохнул. И бабочка улетела в свою комнату.

Нет, она больше не появлялась возле меня, но продолжала скромно сидеть там, у себя, на краю окна. Прошла суббота. Дождь, мелкий, морозящий, продолжался. В воскресенье утром бабочка приветствовала меня так же, как вчера. Я уже как-то привык к её сосуществованию рядом со мной. словно так и было всегда. На следующее утро, в понедельник, внезапно подумал: а ведь её бы надо кормить! Но чем? Кормят обычно собачек, кошечек, этих понятно чем. Только вот бабочки не едят такую пищу. Чем же её угостить? Решил обратиться к друзьям через Интернет с этим вопросом. Задал его и ушёл на работу. Зябкий, промозглый, скучный день.

Поведал коллегам о бабочке. Все подивились. Одна женщина заявила, что за свои двадцать девять рабочих лет, проведённых здесь, на Севере, никаких таких бабочек сроду не видела. Оленей— да, псцов— да, мух— навалом, а чтобы бабочек... Я показал фотографию. Некоторые отнеслись и к ней с недоверием. Однако новость не осталась незамеченной. Коллега из соседнего отдела сообщил следующее: обычно бабочки питаются нектаром цветов и соком перезревших фруктов. Ну да, об этом и я догадывался. Но дома может и не быть нектара, а держать в квартире гнилые фрукты что-то не очень хочется. Оказывается, нужно развести пару чайных ложечек сахара или мёда на половину стакана с водой. Чтобы бабочка догадалась, что это— еда, ей нужно дать попробовать приготовленное на вкус. Для этого необходимо острой тонкой иглой или зубочисткой раскрутить бабочке хоботок и окунуть его кончик в сладкий раствор, после чего бабочка успокоится и начнёт питаться. Желательно подкармливать её раз в сутки, тогда она дольше проживёт...

Где там у неё хоботок и как всё это сделать, не повредив ей ничего, ума не приложу, но моя бабочка не ела уже три дня! Кое-как дождавшись обеденного перерыва, я помчался домой. Мёд у меня был, поэтому я сразу направился на кухню, развёл его в воде, налил медовую воду в блюдце и вошёл с ним в комнату к бабочке.

В комнате было тихо. Ничто не шуршало. На краю подоконника лежало нечто маленькое, хрупкое и тёмное. Я подошёл, поставил блюдце. Моя бабочка лежала на боку со сложенными крыльшками и не двигалась. Осторожно положил её на свою ладонь и медленно открыл окно. На улице тоже было тихо. Дождик кончился. Может быть, это звездопад принёс тебя ко мне? Зачем ты прилетала? словно в ответ, лёгкий ветерок пошевелил безжизненные крыльшки, и первые солнечные лучи пробились сквозь облака...

Рабочий день завершился, настал вечер, затем— ночь... Она так и лежит сейчас там, на подоконнике. А я не знаю, что теперь делать и почему мне так нестерпимо грустно...

И всё-таки жизнь— умнее и добрее нас. И всё было не зря! Наступило утро. Только что, десять минут назад, собираясь на работу, я не удержался и заглянул в ту комнату. Она вся залита утренним солнечным светом. И что я вижу на тёплом подоконнике? Бабочка ожила! Она стоит на тоненьких лапках, обнимая ими оконное стекло, и греется! Я дотронулся до неё: она тут же замахала крыльшками быстро-быстро, как раньше. Торжествуя, как мальчишка, я ринулся за вчерашним блюдцем на кухню. Поставил его перед ней... и почти сразу же догадался, что солнечный свет ей нужнее.

Я распахнул окно и легонько направил её к нему. И она улетела! Красивая. Яркая. Живая! Такое сокровище не может принадлежать одному человеку. Она принадлежит всему миру. И весь мир— принадлежит ей...

Друзья

Когда-то, уже давным-давно, жили в Баку два товарища, два ровесника: Ильяс и Гурген. Ильяс был деревенским азербайджанцем из старинного села на берегу реки Куры, а Гурген родился жителем города, в котором и вырос. После окончания школы Ильяс приехал в Баку и поступил в институт одновременно с Гургеном.

Очень они разные были. Ильяс— молчаливый, сосредоточенный, слова лишнего не вытянешь, говорит тихо, а Гурген— шумный, громкоголосый, юморной, без шутки минуты не проживёт. Но сдружились они как-то сразу, с первого дня, пока экзамены вступительные сдавали. Именно Гурген был первым, кто показал Ильясю самые красивые места приморского города, который знал с детства, что называется, «с закрытыми глазами». И в общежитие их поселили в одну комнату. На студенческую стипендию особо не пошпикуешь, жили скромно, всем, что есть, делились друг с другом: и хлебом, и нитками, если что-то подшить надо было. И с девушками вместе знакомились, и женились почти одновременно. И квартиры от завода в один год получали. И дети у них почти одновременно на свет появились: у Ильяса— сын, у Гургена— дочка. Потом у Ильяса— опять сын. У Гургена— опять дочка. И в третий раз— то же самое.

Приходит Гурген с женой в гости к Ильясю, просит того на гитаре сыграть, тряхнуть студенческой юностью. Ильяс поручает своей жене принести ему ту самую гитару и играет, а Гурген поёт, громко поёт, совсем неправильно, но зато жизнерадостно: «Мы с тобой два берега у одной реки-и-и!» И все смеются, понимая, что пусть и неправильно, но ведь от всей души. Потом, уже без гитары, за столом с чаем и сладостями пели поочередно оба. То Ильяс на азербайджанском напевал «Сары гялин», то Гурген по-армянски— «Ов, сирун, сирун». И ещё, и ещё песни вспоминали. Подолгу сидели.

Приходит Ильяс в гости к Гургену, просит того шахматы достать. Гурген достаёт шахматную коробку, они расставляют фигуры и начинают партию. А жена Гургена тут же приносит шахматистам ароматный чай в стаканах-армуды. И обязательно — сахарницу с кусочками наколотого щипцами крепкого сахара. Ильяс долго думает над каждым ходом, у Гургена терпения не хватает, он делает ошибку, потом вторую и, наконец, сдаётся, шумно, но как-то по-доброму возмущаясь медлительностью соперника. А тот, довольный такой, смеётся в ответ. Потом они начинают обсуждать нюансы всесоюзного чемпионата по футболу. Один болеет за «Нефтяник», другой — за «Арарат», но за сборную переживают и болеют оба одинаково...

Прошли годы. Наступили странные, тяжкие времена. В городе стало тревожно. Появились беженцы из дальних горных азербайджанских деревень — голодные, жалкие, бесприютные, с детьми, одетые кое-как, некоторые — со следами побоев. Вскоре начались погромы городских армян. Пролилась невинная кровь. Всюду чувствовалось незримое присутствие смерти.

Однажды поздно ночью в квартиру Ильяса кто-то тихо, но настойчиво постучал. «Странно, — насторожился Ильяс. — Звонок же работает. Почему стучат? И почему так тихо?» Жена проснулась и встала, чтобы открыть дверь, но Ильяс решил сделать это сам. За дверью стоял Гурген, бледный как полотно. За его спиной виднелись его плачущая жена в ночной сорочке и наспех накинутой шерстяной шали и три испуганные дочки. Гурген и Ильяс посмотрели друг другу в глаза. Обоим всё было ясно. Ильяс знаком пригласил несчастных в дом. Следующие два месяца пятеро армян жили в семье Ильяса. На улицу не выходили. Жена Ильяса готовила им еду вместе с женой Гургена. Ильяс делился с ним всем, что было в доме, так же как они оба делали это в юности, когда жили в общежитии.

Эта история закончилась вроде бы благополучно. Гурген и его семья не пострадали, окольными путями им удалось выехать в Ереван. Но Гурген был бакинцем до мозга костей и не смог привыкнуть к новым местам обитания, он очень изменился, перестал шутить, начал часто и серьёзно болеть и однажды не проснулся: может, вспомнил во сне свой Баку, и... сердце остановилось.

Когда Ильясу сообщили об этом, он молча вышел на балкон, закрыл за собой дверь и не выходил несколько часов. Плакал ли он там в одиночестве или просто не мог говорить, об этом никто теперь не узнает. Нет больше Ильяса. Он ушёл вслед за своим другом туда, где уже никто и ничто не помешает их вечной дружбе и любви к той мирной добродушной жизни, о которой когда-то пели они оба на своих родных языках.

Радоваться жизни...

Не горластые трубы гудят, не лобастые барабаны трещат, а ползут по занесённой снегом, продутой ветром земле железные вездеходы. И воют надсадно натруженные моторы. И грохочут неустанно, словно перемалывая смёрзшееся время, стремительные гусеницы.

И пусть вокруг чуть посветлело, но чумазый седой вездеходчик Денис не выключит фар своего «газона» (ГАЗ-71), ибо солнышко не взойдёт над замороженными снегами, не покажется над горизонтом: что впереди, что позади — всюду полярная ночь.

И двинутся, двинутся упрямые машины, оставляя за собой едва различимые издали, снегом переметаемые колеи — следы будущей зимней дороги. И становятся одна за другой на расстоянии усталого водительского взгляда деревянные веши со светящимися отражённым светом крашеными вершинками.

Измотанные полусонные люди пересекают всеми тремя вездеходами широкую реку, скрытую льдами и снегом, и останавливаются на узкой прибрежной террасе перед подъёмом. Вокруг — пронизанная ветром сумеречная зона с низкими полупрозрачными облаками, а позади — дотлевающая, словно Денисова сигарета, узкая полоска горизонта: и рассвет, и закат одновременно.

Всю дорогу ветер дул в «спину» вездеходам, и потому весь поднятый гусеницами снег — мелкая пыль — на стёклах. Налип капитально, «дворники» не успевают смахивать. Боковые окна и снаружи, и изнутри покрыты толстым слоем не сдираемого ничем инея. Передние же, обогреваемые водительской печкой, ещё кое-как поддаются. Денис, чертыхаясь, отдирает налипшие и примёрзшие куски.

Спать ложимся вповалку внутри кабины от ГАЗ-66, установленной на «плечах» «газушки». Между правым и левым сиденьями на выдвинутых из них брусках Гамза и Денис раскладывают заранее припасённые лаги. Так места хватает для троих спящих. Двигатель на время сна никто, естественно, не глушит: во-первых, тут же выйдет из строя; во-вторых, даже если б и не выходил из строя, потом его по-любому никакими силами до самого лета не заведёшь.

Просыпаюсь в темноте от лютого мороза, всё ж таки пробравшегося внутрь кабины. Сквозь замороженное заднее окно ничего не видно, но слышно, как кто-то ходит, топчется. Вдруг в кабину начинает идти густой смрадный дым из выхлопной трубы. Дышать невозможно. Глаза открыть — тоже: щиплет чертовски.

Выскакиваю из кабины наружу. Напротив кабины стоит коренастый крепкоскулый Эдик Ковалёв, начальник дорожно-строительной группы, и довольно посмеивается. Это он таким образом

будил нас: закрыл руками выхлопную трубу, чтобы газ пошёл внутрь... Гамза с Денисом, кашляя и щурясь, вываливаются из кабины следом за мной.

Только собрались ехать дальше, как у нашей передней машины перестаёт работать самая мощная «искательская» фара. Денис в зачуханных перчатках пытается найти место обрыва провода. Рукавицы мешают, и тогда он, невзирая на утренние минус пятьдесят два, скидывает их. Начальник с недовольным видом садится в заднюю вторую «газушку» и захлопывает с собой дверцу. Минут через двадцать фара восстановлена, Денис с обломанным ногтем и почерневшими пальцами берётся за рычаги. Взревел мотор. Мы двинулись дальше. И остальные—за нами.

Почему именно эта «газушка» впереди? Потому что мне её вести по навигационному прибору, а Денис уже ходил здесь со мной дважды в прошлые зимы, в отличие от других водителей, которые здесь первый раз, впрочем, так же как и Ковалёв.

Тот уже несколько раз выпрашивал у меня: когда же, наконец, мы доберёмся до скважины номер семьдесят три?

Да, оказывается, он не совсем горит желанием нести с нами тяготы пути. Вернее, совсем не... Он здесь только до семьдесят третьего номера—и ни метром дальше, поскольку, как сам же и сообщает, главный инженер треста дал ему указание возвращаться с этой точки нашего маршрута назад для проезда на другие «особо важные» дороги. Не знаю, был ли он там, но что спустя десять дней в той стороне, куда его якобы срочно отправили, я не заметил ни единого гусеничного следа—факт. А я своим глазам в тундре пока что верю больше, чем чужим словам. Были на то причины. И не раз.

В общем, «свалил» начальник из доблестного отряда первым. Хотя и просили его проехать ещё всего лишь десять вёрст—не по целине, как здесь, у реки, нет, а по хорошей накатанной нетерпеливыми буровиками дороге, отстроенной ими между рабочими скважинами правого фланга разведочной площадки ещё до нашего появления. Там, у другой скважины, в десяти километрах от семьдесят третьего номера, находилась сейчас основная масса техники, горючего и людей.

По-хорошему, можно было бы скоординировать наши действия с ними, договориться о взаимодействии, о взаимопомощи, уточнить, что именно сейчас важнее сделать, кому и для чего: ведь дорогу-то мы для этих людей и строим, а не просто так—покататься. Они, по сути, и есть главные заказчики зимника. Их водителям здесь на нём всю зиму работать.

Бесполезно. Глаза в ответ тут же остекленели, а уши не слышат ничего. Мало того, что сам уехал, так ведь уехал-то на вездеходе. И вместо трёх у нас осталось две машины. И ведь ни одного дорожного указателя не догадалось доблестное начальство

изготовить заранее. Вроде—тьфу, мелочь какая. А для кого-то из тех, кто тут по зимнику сквозь пурги да метели будет до поздней весны грузы перевозить, точно погибелью обернуться может. Ладно, авось придумаем что-нибудь. Русский авось—хороший авось, деваться-то некуда. Ну и что, что начальство удрало? Работать-то всё равно надо. А то ж ведь это самое начальство потом не себя (естественно), а с тех, кто остался, не сбежал с ним, ох как строго спросит, последнюю рубаху сдерёт—не пожалает (глаза-то стеклянные, уши-то просьб не слышат).

Третья машина, шедшая с нами, не наша—подрядчиков. И не «газушка», а ГТТ. Вроде посolidнее выглядит. Увы, только выглядит. Гнильё натуральное. Три десятка лет машине. Всё латанное-перелатанное, менянное-переменьянное внутри этой гремящей «консервной банки» на гусеницах...

Вешки у нас со второй машины на ходу ставят два молодых, укутанных в тёплое по самые глаза (и правильно, что укутанных) ненца.

Всю дорогу мы впереди, а ГТТ постоянно останавливается. Приходится поджидать. Интересная штука с ней происходит. Остановишься, ждёшь второй вездеход, ждёшь, а его нет и нет. Пару раз по три часа ждали. Потом возвращались. И как только наша «газушка» появлялась в пределах видимости того вездехода, как он тут же начинал встречное движение. И при встрече с нами дорожный мастер, сидевший в нём, опять бодро объяснял, что они ужасно поломались, долго чинились и только что починились окончательно. Странная тенденция... Очень странная. Похоже, что ни фига они не ломались, а просто стояли. Пока стоишь—риска ведь никакого нет: другие всё за тебя сделают, а ты потом отважно отпарпуешь начальству о выполненном задании и о том соврешь, как храбро подстраховывал первую машину и, конечно, всегда был наготове немедля вытащить её из любой передраги.

Только нам без вешек идти вперёд никак нельзя. Потому что путь надо размечать для тех, кто придёт потом. А все вешки там, в ГТТ.

Один лишь раз—на хорошем участке дороги, отстроенной до нас буровиками,—ГТТ вдруг рвануло вперёд с неописуемой скоростью. «У меня жена на семьдесят третьей поварахой работает!»—донёсся торжествующий удаляющийся голос дорожного мастера. И больше, пока не добрались до поварахи, мы никакого ГТТ догнать не смогли.

Нас в «газушке» трое: Денис, Гамза и я. Мы с Денисом впереди, Гамза—в кабине. Он, в качестве техника, помогает Денису в каждом случае, требующем какого-либо ремонта или осмотра технической части нашей «боевой» машины. Кроме того, Гамза замечательно готовит чай на газовой горелке во время остановок на перекус. Вообще,

с ним веселее и Денису, и мне. Гамза и Денис постоянно подтрунивают друг над другом.

Ловлю себя на мысли: вот мы — думаем по-русски, говорим между собой на русском, осваиваем Север России. И, по сути, сейчас все трое мы — русские, абсолютно русские, хотя при этом Денис — фактически молдаванин, а я и Гамза — азербайджанцы. Но мы делаем то, что нужно России, потому что наша дорога помогает осваивать богатства этой страны и по большому счёту верой и правдой служит её народу.

И не дай Бог, чтобы о ком-то из них, делящихся сейчас и здесь, в лютой мороз, посреди неоглядной тундры, поровну с товарищами своими куском хлеба и глотком воды, какой-нибудь юный бездельник в большом суетливом городе завопил вслед: «Эй! Черномазы! Понаехали тут!» Я не знаю, не знаю я, что тогда сделаю, но я что-нибудь сделаю обязательно. Ради них, потому что они оба — настоящие. Во всех смыслах этого слова.

В свете фары на мгновение что-то ярко блеснуло впереди: песец! Луч света попал прямо в округлый глаз зверька. И глаз этот сверкнул драгоценным камнем в ночи. Белое пушистое существо заметалось на свету, прячась за кустиками и сугробами. А потом успешно исчезло. Оленей диких нам с Денисом в этот раз не встретилось ни одного, а вот с зайчиком возле тридцать шестой скважины и превеликим множеством снежных куропаток по всему нашему пути нам довелось увидеться. Иной раз куропатки, словно заколдованные, сами летели на наш свет, сворачивая в сторону лишь в последний момент, чуть ли не из-под движущихся гусеничных траков. Впрочем, оказавшихся совсем уж под ними — не было. В этом отношении наша совесть чиста.

Помимо мороза, наши неприятели — глубокие и узкие, как рвы, овраги, способные объявиться в любой момент, и речной лёд, местами вздутый, мутный, с буграми предательских трещин, под которыми могут оказаться пустоты.

Снег цепляется за любые препятствия на ровной поверхности, практически на глазах образуя надувы и сугробы там, где наши следы продавили ровную, почти лишённую снега поверхность тундры.

Петляя среди озёрных обрывов, мы приближаемся к тёмным кустам, похожим на «белогвардейские цепи», которые у реки, как в известной песне о том и поётся. Сквозь них приходится продираться вслепую. Я знаю, где мы находимся, но что конкретно предстанет перед нами в следующий миг, я, конечно, знать не могу. Продвижение вслепую длится бесконечно долго, но всё-таки и оно когда-нибудь кончается.

Перед нами широкая, бугристая, ледяная река Нюдаяха. Берег низкий. Зато вдали под фарами виднеется противоположный — обрывистый.

Подходим к нему и начинаем искать место для выезда с реки. К нашему счастью, замечаем не-большую «полочку» среди обрывов и осторожно поднимаемся по ней. В самом вершине приходится весьма опасно накрениться вбок (для вездехода всегда безопасней подниматься в лоб, чем идти боком), смять несколько кустов и всё-таки... И всё-таки удаётся выбраться. Теперь впереди нет кустов, практически голое ровное пространство, но там, за ним, через несколько километров, серьёзная река — Мессояха. С ней шутки плохи. Проверено.

И вот снова перед нами выскакивают отдельные кусты, а потом — сплошная их стена. Река. Берег обрывистый. Нам не спуститься. Начинаем разведку вправо. И снова удача! Метров через двести — более-менее пологий спуск, летом, вероятнее всего, песчаный. Коса. По ней съезжаем на реку. И теперь идём левее, напротив того места, где сквозь кусты увидели реку. Кругом кромешная тьма. Полярная ночь долгая, за обычное время не кончается.

Нет выезда с реки. Зато есть какой-то ручей, в неё впадающий. Идём по ручью, больше похожому на длиннющий окоп времён Великой Отечественной войны. Ни влево, ни вправо не вылезти. А вот куропаток вокруг — видимо-невидимо. Так и вылетают из-под нашей машины. Как на птицефабрике. Наконец наша «траншея» сужается настолько, что по ней удаётся подняться вверх. Последние два километра, и мы у цели — металлического репера с названием будущей скважины. Такие реперы я оставлял в тундре прошлым летом, когда размечал места под буровые и вахтовые посёлки при них.

Пройдёт немного времени, и сюда по нашим следам придут люди, доберётся техника, закипит жизнь. Радостно вздыхаю, выскакиваю из вездехода и прошу Гамзу сфотографировать репер и меня. Не ради бравады — для дела. Поскольку было время, когда кое-кто из подрядных организаций сомневался в том, что дороги действительно проложены. И только такие вот фотографии, бесстрастно фиксировавшие этот момент, снимали досужие домыслы и подозрения. Оказывается, мало дойти куда-либо — надо ещё уметь доказать, что ты и впрямь был там, где утверждаешь, что был.

Мы горопимся с восточной дороги на западную, которую ещё только предстоит сделать. Идут уже третьи сутки без сна. Товарищи мои устали, но у нас нет времени отдыхать: зимник должен начать работать как можно раньше. Весной, когда вместе со снегом тает и зимник, каждый час его работы — на вес золота. И потому чем раньше пойдут по нему грузы, тем спокойнее будет весной. Пока мы спешим с восточной ветки к развилке на западную, весть о дороге уже впереди нас. Мы видим, как взбодрился народ в буровых посёлках, как засияли глаза у людей. Ещё бы: есть дорога — есть связь с Большой землёй! А это здесь для каждого много значит.

Мелкий снег крутится и сверкает, играет под фарами. Мы уходим с развилки и рвёмся к реке. К той же Мессояхе, которая там, на западе, шире, крупнее, мощнее её же самой в том месте, где мы её уже пересекли. До реки четырнадцать километров... двенадцать... девять... шесть... два. С вездехода во все стороны, как осенние листья, слетают клочья снега. Впереди зеленоватым светом беззвучно полыхают ночные небеса. И кажется, что там, впереди, где всё полыхает в воздухе, действительно—край света. И земля обрывается. И нет уже ничего, кроме бездонного, сияющего изнутри, живого неба!

А мы едем прямо туда! И доходим до края... Распахиваем люки и прыгаем из машины в снег, над которым высоко-высоко шевелится, переливаясь, нечто совершенно волшебное. Вот оно—северное полярное сияние!

Мы стоим на краю высоченного обрыва. Внизу сверкает река. Обрыв тянется в обе стороны нескончаемой в длину вертикальной лентой. Красиво, конечно. Но нам нужен выезд к реке. А вот его здесь не предвидится никак. Пытаемся из последних сил найти хоть что-то, хоть какой-то намёк на съезд. На это уходит ещё три часа. Бесполезно.

Остаётся последнее: вернуться к ближайшей буровой и попросить там бульдозер. Знаю: если есть, не откажут. Денис и Гамза поддерживают идею. Ну что ж, едем назад.

Назад всегда легче идти. Потому что идёшь по следу. А значит, идёшь уверенней. И это расслабляет. Не нужно всматриваться вправо и влево, нужно просто идти по монотонному следу. Но мы измотаны. И всюду ночь. И нестерпимо хочется спать.

Кажется, что след впереди раздваивается, течёт, течёт, расслаивается на ходу.словно в тёплых волнах. Едешь и покачиваешься, покачиваешься. А на ласковых волнах сияют солнечные арабески, вдали белеют парусники. Ни ветерка. Тишина. Как хорошо, покойно, безмятежно... Чей-то голос чуть слышен. Что-то знакомое. Голос такой знакомый, такой родной. Это же... Да это же доча моя поёт! Ах ты! Что там за слова?

Радоваться жизни самой,
Радоваться вместе с тобой
Я не разучусь, если только рядом,
Рядом будешь ты!..

Ах ты, голубка моя, Ланочка моя, доченька! Где ты сейчас? Где прячешься, пятилетняя моя принцесса? А она всё смеётся и поёт. Ну-ка выходи! Я улыбаюсь и начинаю искать. Может, под столом? Справа? Слева? Я тянусь руками и... дотрагиваюсь до Дениса. Это был сон. Просто сон. Глаза Дениса закрыты, голова мерно покачивается.

Мы едем в вездеходе. Едем под гору. Всё быстрее и быстрее. А водитель спит. И я спал. Куда? Куда

мы едем?! Там, впереди, огромный овраг! Овраг! Овраг!!! Денис! Не спи!

Он открывает глаза. И тормозит. И тормозит... Мы спасены.

Девочка моя, доченька, кровиночка моя! Как же ты догадалась? Как? Как смогла прийти во сне и спеть самое главное? Именно то, что папе нужно сейчас: «Радоваться жизни самой! Радоваться вместе с тобой!» Ты ждёшь меня, маленькое моё солнышко. Ты не разучишься радоваться, папа тебе обещает. Я обязательно вернусь, доченька. Я же не хочу, чтобы ты разучилась радоваться, кроха моя родная...

— Денис!

— А?!

— У тебя дети есть?

— Есть! У меня уже и внуки есть! Трое пацанов!

— Ты их любишь, Денис?

— Не-а! Не люблю! Я их а-ба-жа-ю! Ты что спрашиваешь? Это же внуки мои—бессмертные моё! Понимаешь?

Я смотрю, как он усиленно трёт глаза грязной от тосола и соляры ладонью, пытается закурить и не может... А мы—едом. Едем.

— Денис! Ты умеешь петь?

— Нет.

— Тогда пой!

— Так я же не умею!

— Всё равно! Главное—пой!

И мы поём, поём всю дорогу, Ланочка. Глупые, смешные дядьки песню поют. Ночью. Далеко-далеко. Среди снегов. В гремящем железном вездеходе. Всю мелодию переврали. «Ра-до-вать-ся жиз-ни са-мо-о-о-ой! Ра-до-вать-ся вмес-те с та-бо-о-о-ой!!!..»

Мы обязательно вернёмся... Слышите?! Вы слышите нашу песню?

Лапшин

Памяти главного врача
Красноярского родильного дома № 4
Виктора Николаевича Лапшина

Этой ночью снился мне странный сон... Огромные-преогромные врата посреди неба. Резные, вроде как из наиценнейших пород деревьев: и чёрного, и красного, и коричневого, и белого, и жёлтого—всех цветов и оттенков, какие только бывают. Резьба искусная, тонкая, всё до самых мелких деталей разглядеть можно: тут и виноградные лозы с гроздьями, и львы рычащие, и медведи, и зайчики, и птички поют, и леса широкие, и реки текучие, и горы высокие, дальние, серебристые... Стал я вглядываться—а оно всё живое и есть! Шевелится, дышит, ветрами шумит...

А перед вратами теми облака белоснежные клубятся, и выглядывают из них отовсюду, как

из кустов, малыши-ангелочки. Видно, что много-много их там. Выглянут и снова прячутся.

«Да что ж это делается?! Куда вы поразлетелись, поразбежались-то опять, а?! Ну-ка быстро сюда! Эй, малышня! Хватит копошиться, в кошки-мышки играть, а то я сейчас уже рассержусь!»

Громыхая зычным голосом, прохаживается вдоль врат насуленный здоровенный дядька с широкой стриженной бородой и зорко посматривает на ребятню. Раз! Ухватил одного, который зазевался, приоткрыл врата и подбросил его легонько туда. И полетел малыш, ревя и посверкивая крыльшками, полетел на землю, в новую свою жизнь...

Чей же это голос был? Знакомый же, а вот спростонья не разберу никак.

— Ах вы, курвы такие! И как это вам на ум такое взбрело?! Уволю! Завтра же заявление на стол — и вон из роддома к... матери! Кольца, серьги нацепили, косметики килограмм на рожи свои бесстыжие! Это ж родильное отделение, а не бордель! Совсем ума нет!!! Какие вы медработницы?! Бабё натуральное! В родильном отделении всё должно быть стерильно!... вашу мать! Вам же русским языком сказано было!

Разъярённый главврач Лапшин выпроваживает из родильного двух дамочек в халатах. Обе в слезах. Новенькие. А ведь действительно говорил он им обо всём при приёме, предупреждал, но дамы, видимо, решили, что указания местного начальства можно корректировать по своему усмотрению. Ошибочка вышла. У Лапшина с этим строго. Не порезвишься.

Вот он, большой, как самовар, стоит со стаканом горячего чая перед окном в своём кабинете и смачно ругается уже по другому поводу. Лапшин — в матерщине мастер уникальнейший. Как закатит «соловьиную руладу» — залюбуешься разнообразием могучего русского языка. Сколько же в нём нюансов и коленцев неведомых кроется!

Мат я как бы пропускаю, но в остальном смысл произносимого примерно таков:

— Вот же какие девчонки нехорошие, нехорошие совсем, очень нехорошие! Это ж надо! Я их только что в туалете поймал курящими, нехорошие они такие, и выпроводил на нехорошо! Их, нехороших, сюда на сохранение привезли, обеим семнадцати нет, вместо мозгов одно нехорошее, а они, глянь, курят стоят за уличными дверями! Нехорошо! Нехорошо, нехорошо! Попростужаются же, нехорошие такие девочки! Какие из них будущие матери? Как они детей растить будут? У обеих на локтях синё, поистыкано уже с такого возраста, да и по глазам нехорошим видно, чем занимались. Вот эта, нехорошая такая, отказную хочет написать на младенчика своего. Ещё не родила,

а уже отказывается, ах, какая же она нехорошая матушка!

Девушки в махровых халатах с большими выпирающими животами тем временем накурились, намёрзлись на осеннем ветру у порога роддома и, разговаривая друг с другом, вальяжно зашли обратно. Им-то не слышно...

В роддоме номер четыре обычного сибирского города, в котором служил врачебную службу главврач Лапшин, пусть было так же бедно, как и везде у бюджетников, но, по крайней мере, чисто и ответственно по отношению к роженицам и малышам.

Здесь невозможны были ситуации, чтобы женщину в предродовой оставили одну, чтобы кому-то сделали кесарево сечение и забыли убрать послед, чтобы шов на матке нечаянно подшили к тканям мочевого пузыря, чтобы кого-то случайно заразили лишаём или чем-то ещё, чтобы родившую вывезли в коридор и оставили там на полдня зимой под открытым окном, чтобы кормящим матерям давали гороховый суп или салат с огурцами, чтобы посетители проходили прямо в палаты в верхней одежде и грязной уличной обуви...

Вроде бы так и должно быть, но если честно, без вранья: всегда ли и везде ли у нас по жизни есть то, что должно быть?

Да, Лапшин матерился, да, устраивал жуткие разносы персоналу, если находил за что. Да, в райздраве он вырывал «своё» для роддома, за каждую бюджетную строку боролся до последнего и потому всегда был «неудобным» для любого начальства. Начальство его, естественно, не любило, но, хотя придрачься, чтобы уволить, у нас можно и к забору, Лапшина не увольняли, потому что охочих на его место почему-то всякий раз не находилось. А ещё потому, наверное, что у роддома Лапшина были самые низкие показатели детской смертности и заболеваемости во всём регионе.

Лапшин любил порядок на своём «корабле». Однажды, по какой-то сантехнической причине, поздно вечером сломался душ. Ну как в роддоме без душа? И работники районного ЖКХ, попытавшиеся сопротивляться отговорками про то, что «давайте утром разберёмся», познали на своей шкуре смысл выражения «вальпургиева ночь». Слово за слово, и — Лапшин учинил им драку. В самом прямом смысле. С приездом милиции и прочими разборками. Тут уж все думали, что его уволят...

И случилось-таки два чуда. Первое: к трём часам ночи душ работал как часы. Второе: Лапшина оштрафовали, лишили премий, дали строгий выговор, сделали наипоследнейшее предупреждение, но главное... всё-таки оставили на работе.

А вот он коллег щадил не всегда. Раз довелось ему услышать в операционной, как молодой

ассистент смачно называет кричащего, только что родившегося красного младенца кусочком мяса. Через два часа мрачный, как осенняя туча, Лапшин в своём кабинете нарочито вежливо предложил юноше написать заявление об увольнении по собственному желанию. Никакие извинения приняты не были.

— Молодой человек, нам с вами не по пути, у нас тут есть только люди. Большие и маленькие. А мясо ищите, юноша, в мясных лавках. Мы не сработаемся. Прощайте...

У главврача, который, кроме всего прочего, ещё и сам частенько принимает роды и делает операции, свободного времени не бывает. Но если каким-то чудом оно возникало, то, помимо общения с семьёй, где его с радостью ждали жена, дочка и маленький внучок, любил Лапшин подремать с удочкой где-нибудь на озёрке или речке, коих в сибирских краях превеликое множество.

Ну и выпить дома, как всякий русский, он мог, конечно. Иногда. И закусить, естественно. И неплохо закусить, поскольку и жена, и дочка готовили отменно. С годами, к сожалению, стал одолевать лишний вес. Перешёл на диету. Шутил, что вместо ожидаемого похудения живота первым похудело то, что поправилось последним, — лицо. Из спиртного в кабинетном сейфе всегда имелся хороший коньячок. Нет-нет, сам Лапшин на работе никогда не употреблял, исключительно для гостей...

Никто ни разу не видел его плачущим. Лишь однажды, после многочасовой борьбы за жизнь новорождённого, когда врачам пришлось всё-таки отступить, из операционной, громыхая матами на всю больницу, вышел в коридор усталый Лапшин с ещё не снятой повязкой на лице. Он кричал и грозил неизвестно кому, потрясая немойтой

окровавленной перчаткой... а глаза его над повязкой как-то странно влажно блестели, и такая неизбывная боль в них была, словно ушёл из жизни не маленький безымянный чужой человечек, а кто-то очень родной и близкий.

Что могло стать последней истинной причиной его ухода — так и осталось неизвестным: может быть, вся эта дёрганая, взбалмошная, какая-то неправильная жизнь, — но в пятьдесят три года сердце Лапшина остановилось...

Прощание с доктором Лапшиным проходило в огромном зале местного Дворца культуры при громадном стечении народа. Пол возле покойного был покрыт альми цветами вровень с гробом, в котором лежал вроде он, а вроде уже и не он: черты лица его заострились, и исчезло с них то, что делало его знакомым громыхающим Лапшиным.

Более же всего поражало воображение количество детей, пришедших на прощание со своим первым в жизни Главным Врачом. Их были многие и многие тысячи, их невозможно было сосчитать и даже увидеть всех сразу... Кого-то вели за ручку, кого-то везли в колясках, но были и те, кого просто несли на руках...

— Мама, а кто это такой там лежит?

— Дяденька Лапшин, сынок.

— А зачем мы здесь, мам? Тут так тесно, столько народу...

— Сейчас пойдём, сынок. Попрощаемся с доктором и пойдём, потерпи.

— А он что, уезжает куда-то?

— Да, сына, уезжает...

— И куда? В Африку?

— Дальше, сынок, далеко-далеко, там его ждёт много-много детишек, которым он должен помочь. Он уходит для того, чтобы они появились на свет... и пришли к нам...

Анатолий Бимаев

Бегом по сияющей радуге

— Давай её закопаем? — предложил Саша.

— Зачем? — произнёс Ваня, заворожённо разглядывая ярко блестящую на солнце серёжку.

Гуляя, мальчики случайно нашли её на земле и теперь не могли оторвать от неё глаз. Такой она была красивой. Даже не серёжка, а почти что маленькое ожерелье, состоявшее из переливавшихся синим и красным стекляшек. Такое сокровище, конечно же, стоило целое состояние. Мальчики в этом нисколько не сомневались. Единственное, что они пока не решили, — это как им быть дальше? Серёжка была одна, а мальчиков — двое. Таких сложных задач в школе им ещё не задавали.

— Как зачем? — воскликнул Саша. — У нас будет свой собственный клад, о котором будем знать только мы и никто больше. Представляешь, как это здорово?

Ваня, явно не разделявший восторгов друга, пожал плечами.

— Нужно выбрать подходящее место, — продолжал тем временем Саша. — Вот здесь, под деревом.

И, взяв плоский камень с острыми кромками, он принялся раскапывать ямку. Земля под тополом была мягкой. Её совсем недавно рыхлили. Дислоцированная в городе военная часть с маршировавшими по утрам на плацу солдатами-срочниками обеспечивала в посёлке образцовый порядок. Земля под деревьями не только регулярно рыхлилась, но и сами деревья каждой весной белили известью. Тротуары мелись, скамейки красились, кусты подстригались, а газоны косились, отчего город напоминал нарисованный. Аккуратные пятиэтажки, туго затянутые, точно ремнём, пешеходными тротуарами, стояли посреди стерильного, стоявшего по стойке «смирно» зелёного парка.

— Готово, — сказал Саша. — Давай серёжку сюда.

— Может, не надо? — произнёс Ваня.

— То есть как это не надо? — удивился товарищ, вставая. Он посмотрел в глаза Ване. — Разве ты не хочешь иметь собственный клад? Не хочешь нарисовать пиратскую карту и спрятать её в бутылке, а бутылку выбросить в озеро? Разве будет не здорово сказать пацанам, что мы закопали сокровище? И пусть попробуют его отыскать. Разве ты не хочешь всего этого?

— Хочь, — невесело произнёс Ваня.

— Ну и всё, — шмыгнув носом Саша. — Давай серёжку.

Однако Ваня не спешил выполнять распоряжение друга. Его одолевали сомнения. Они явственно читались на его угрюмом лице. Что-то нехорошее, если не сказать — враждебное, по отношению к нему чувствовалось во всей этой затее. То же самое он ощущал годом раньше, когда один мальчик из соседнего двора попросил у него велосипед показаться. «Я проеду всего один раз вокруг дома. Что тебе, жалко, что ли?» — говорил он. А потом велосипед пришлось возвращать, позвав на помощь отца. Вот и сейчас он чувствовал нечто похожее. Словно кто-то тихонько шептал ему: «Не отдавай, Ваня, серёжку». Но в том и заключается вечное проклятие сомнений, что они расплывчаты и пугливы, и стоит о них хорошенько подумать, как они тут же рассеиваются, словно туман под первыми лучами встающего солнца.

Поколебавшись с секунду, он опустил в открытую ладонь друга серёжку. Тот немедленно положил её в ямку и засыпал землёй. Он не притоптал почву ногой. Наоборот, тщательно взрыхлил её пальцами, чтобы всё выглядело натурально. За свою долгую детскую жизнь он прочитал много книг о пиратах и знал о кладах практически всё. — Нужно запомнить дерево, — сказал Саша, осматриваясь. — Гляди, какой у него изогнутый ствол. По этому-то стволу мы и запомним, где зарыто сокровище.

— Может, стоит сразу нарисовать карту?

— Нет, завтра. Сегодня мне нужно пораньше домой. К нам приехали родственники из деревни. Будем играть с двоюродным братом в танчики. — Везёт тебе, — как-то отстранённо произнёс Ваня.

Мальчики помолчали.

— Ну, значит, до завтра? — сказал Саша.

— Да, до завтра.

Однако с места они не сдвинулись. Возле дерева, вблизи клада им было как-то спокойней.

— Пойдёшь сразу домой? — спросил снова Саша.

— Пойду домой, — сказал Ваня.

— Правильно.

— Почему?

— Нечего ошиваться. Кто-нибудь, заметив тебя, догадается, что мы что-то здесь спрятали. И ночью откапает нашу серёжку.

- Без карты не сможет, — произнёс Ваня.
- Сможет. Мы с тобой уже полчаса тут стоим.
- Тогда пошли отсюда скорее.
- Конечно, пошли.

И они зашагали — каждый в сторону своего дома, то и дело бросая друг на друга украдкой взгляды. Правда, Саша, который шёл чуть позади Вани, хитрил. Сам он хорошо видел друга и, когда тот на него не смотрел, сбавлял шаг, чтобы отстать ещё больше. Ваня, казалось, ни о чём не догадывался, что можно было назвать непростительным. Ведь Сашин дом стоял в какой-нибудь полусотне шагов прямо по курсу от дерева с кладом, в то время как Ванин располагался значительно дальше. Чтобы к нему пройти, нужно было преодолеть двор наискосок, свернув за угол пятиэтажки товарища, то есть совершить путь примерно на треть больший, чем требовалось совершить Саше.

Но мир держится на леговерных. Вместо того чтобы обеспокоиться, Ваня как будто совсем успокоился и перестал оборачиваться. Чем тут же воспользовался его друг. Он обнаглед до такой степени, что сделал несколько шагов в сторону дерева, а потом принялся просто ждать, стоя на одном месте, когда товарищ скроется из виду.

Вскоре во всей округе о кладе не знала ни одна живая душа, кроме Сашиной. Бросившись к дереву, он принялся лихорадочно разбрасывать землю. Он торопился, опасаясь возвращения Вани. Признаться, он до сих пор не верил, что ему так легко удалось обвести его вокруг пальца, и ему постоянно мерещился силуэт друга, коварно выглядывавшего из-за угла пятиэтажного здания. Он пытался себя успокоить, внушая мысль, что Ваня давным-давно дома, но это не помогало. Разгулявшаяся фантазия рисовала перед ним невероятное. Будто Ваня стоит у него за спиной и сейчас — нет, не накинется на него, не станет с ним драться, что, пожалуй, было бы не так страшно, — а презрительно рассмеётся, не удостоив даже бранного слова. Почему-то такая, абсолютно не свойственная другу, которого Саша привык видеть смешливыми и доброжелательным, реакция представлялась сейчас самой ужасной. Всё равно что увидеть в кошмарном сне мёртвого дедушку, радостно броситься к нему в объятия и ощутить ледяной холод, исходящий от его неживой плоти.

Наконец Саша нащупал серёжку. Вытерев её о футболку, мальчик взглянул на сокровище, снова подивившись его красоте. Он не видел ничего подобного прежде. Как только они с Ваней случайно нашли серёжку на улице, ему непременно захотелось ей обладать. Откуда к нему пришло это желание, он не знал. Во всяком случае, никогда раньше он не испытывал ничего хотя бы отдалённо похожего на него. Но незнакомое это желание было столь сильным, настолько неожиданно оно его захватило, что противиться ему не было

никаких сил. Его не покидало ощущение, будто все эти подлые, преступные действия совершает не он, а кто-то другой, посторонний. Саша словно находился во сне, воспринимая происходящее со стороны. В самом деле, не мог же он предать друга, провернув весь этот коварный план, ради какой-то блескучей стекляшки? Нет. Конечно же, нет. А раз так, то и не нужно ни о чём беспокоиться. Пусть этот кто-то другой делает своё мерзкое дело. Разве он в ответе за чужие поступки?

Так размышлял мальчик, а тем временем его руки делали своё дело. Положив серёжку в карман шорт, они сровняли ямку землёй. Затем ноги скорым шагом направили Сашу к дому. Когда же он оказался в детской, за дело опять взялись его руки. Они достали из шкафа картонную обувную коробку, в которой лежали самые ценные вещи мальчика. На коробке так и было написано: «Не открывать! Иначе я с вами не разговариваю. Эти вещи принадлежат мне». Мальчик хранил здесь вкладыши от жвачек, игровые фишки серии «Мортал комбат», несколько мраморных камешков, которые он нашёл прошлым летом на озере, и прочие ценности. Теперь его руки спрятали в коробке серёжку. Пожалуй, её тут как раз не хватало. С ней коробка тут же поднялась в цене. Теперь мальчик не отдал бы её содержимое ни за какие коврижки, пусть бы ему даже пообещали десять картриджей «Денди» или неделю сильнеешего гриппа, которую он провёл бы в постели за чтением «Приключений Незнайки».

Весь вечер, пока Саша ужинал, смотрел мультики, умывался, мысль о том, что он обладает сокровищем, грело его детскую душу. Не раз ему хотелось тихонько улизнуть в комнату и посмотреть, на месте ли драгоценность. Но проснувшийся в нём преступник, который был гораздо хитрей и осмотрительней мальчика, неизменно удерживал его от этого шага. Лишь перед сном, когда родители легли спать, он позволил ему достать из шкафа коробку. Серёжка по-прежнему лежала на месте. В свете настольной лампы она блестела ярче, пленительней, чем на улице. Её блеск завораживал, гипнотизировал мальчика. Она блестела так, будто попала в Сашины руки прямоком из пещеры Али-Бабы и разбойников. К синим и красным оттенкам добавились миллионы новых цветов, среди которых особенно выделялись оранжевый, изумрудный и фиолетовый. Мальчик не мог оторвать глаз от этого великолепия, и если бы не страх, что родители заметят свет в его комнате, он бы разглядывал серёжку до самого утра. Собрав волю в кулак, он положил драгоценность обратно в коробку, спрятав ту гораздо тщательней, чем прятал прежде, и, успокоенный, лёг наконец-то в кровать. Но и во сне, в этом зеркале наших желаний и страхов, ему снилась серёжка. Ему снилось, что кто-то хочет у него её отобрать и он плакал

в бессилии, вцепившись в незнакомца зубами. Ему казалось, что вместе с серёжкой он утратит крупницу себя, будто та стала его неотъемлемой частью, как голова или руки, и без неё он не сможет прожить и мгновения.

Проснувшись на следующий день, он первым же делом вспомнил об обрётённом сокровище. И тут же, словно первая мысль была привязана ко второй невидимой нити, перед ним возник образ Вани.

Он вскочил с кровати. Наспех умылся, проглотил завтрак и выбежал пулей во двор. Ваня уже был на улице. Играл с ребятами в мяч. Отозвав его, Саша предложил нарисовать карту. По замыслу мальчика, это должно было усыпить подозрения друга. «Разве станет преступник напоминать об украденном? — примерно так размышлял Саша. — Но я поступлю умней и первым заговорю о кладе. Тогда Ваня решит, что серёжка на месте, и со временем потеряет к ней интерес». Однако, против ожиданий Саши, его друг оказался не в настроении и карту рисовать отказался.

— Давай её откопаем, — предложил неожиданно он. — Кого? — спросил Саша и тут же понял, что выдал себя с головой.

Говорить так не следовало. Ведь только что он сам заговорил о сокровище, а теперь сделал вид, что не понимает, о чём идет речь.

— Ну, серёжку, — произнёс Ваня.

— Зачем? — не своим голосом сказал мальчик. — Хочешь, чтобы все заподозрили, что мы зарыли здесь клад?

— А мы его закопаем потом в другом месте.

Ваня явно подготовился к возражениям Саши. — Не хочу я искать других мест. Лучше этого всё равно не найти. Тут и приметное дерево, и люди не ходят. И совсем рядом с домом, так, чтобы можно было сторожить наше сокровище.

— Я хочу откопать серёжку, — сказал твёрдо Ваня.

— Ладно, как хочешь. Откапывай, — вспылал Саша. Он понимал, что противиться дальше нельзя, иначе это вызовет подозрения. — Но я мараться в грязи не хочу.

— Покажи, где копать.

— По-моему, здесь. Или здесь. Я уже точно не помню.

Опустившись на корточки, Ваня принялся разбрасывать землю руками.

— Её нет, — сказал спустя мгновение мальчик.

— Как нет?

— Сам посмотри.

Подойдя к другу, Саша взглянул ему под ноги, словно действительно не доверяя зрению товарища.

— Значит, попробуй в другом месте.

Ваня снова принялся раскидывать землю. Он копал в разных местах, но серёжки нигде не нашёл. В конце концов к поиску присоединился и Саша.

Вместе они перевернули всю почву под деревом, но, кроме жирных лиловых червей, ничего обнаружить в земле не смогли.

— Нет её. Говорю же.

— Да, серёжки тут нет, — подтвердил Саша.

Какое-то время мальчики молча сидели под деревом.

— Послушай, — сказал первым Саша. — Кто-то вчера похитил наш клад.

— И кто это сделал?

— Откуда я знаю? Мало ли кругом было ребят? Предупреждал же я, нечего тут ошиваться, нас могут заметить. И был прав. Если бы ты сделал всё, как я говорил, ничего бы этого не было.

Ваня сидел, обхватив ноги руками. Его голова безвольно свисала вниз, между коленями. Острые плечи, высоко поднимавшиеся над склонённой шеей, делали его похожим на грифа. Он сидел, тихонько раскачиваясь в такт собственным мыслям, и не спускал взгляда с носков своих босоножек. «Он обо всём догадался», — подумал Саша. Он не умел читать чужих мыслей, но сейчас буквально слышал, как те медленно щёлкали и скрипели, словно шестерёнки в часовом механизме, в голове у товарища. Ему даже казалось, что он может с невероятной точностью воспроизвести все слова друга, которыми он сейчас мысленно выносил ему приговор. И нужно было срочно вмешаться, помешать этому самому страшному из правосудий, которые вечно проходят при закрытых дверях и на которых виновный лишён права голоса.

— Чего ты молчишь? — сказал зло Саша.

— Просто.

— Что просто?

— Просто так.

— Ты понимаешь, что теперь мне должен серёжку?

— Перестань, — устало произнёс Ваня.

Он наконец поднял голову и взглянул на товарища. В этом взгляде не было презрения или обиды, но тем не менее Саша похолодел.

— Да, должен, — буквально выкрикнул он.

Ваня поднялся и молча двинулся прочь. Тщедушный мальчишка, казалось, на ровном месте готовый споткнуться и ободрать все коленки с локтями, — вот кого видел в уходящем товарище Саша. Но в этой угловатой фигуре читалась сейчас огромная сила. Саша знал, что остановить Ваню у него не получится, даже если он собьёт его с ног и будет силой удерживать на земле. До него было можно лишь достучаться словами. Выкрикнуть что-нибудь смелое, может быть, святотатственное, какую-нибудь бесстыдную ложь, которой Ваня поверит. Побойтся в неё не поверить, ведь такими словами могут играть только девчонки. Но нужных слов не находилось, и Саша просто смотрел вслед уходящему другу. Тот всё же споткнулся обо что-то, как он и предвидел, но эта оплошность товарища не вызвала в нём никаких

сильных эмоций. Все эмоции в нём вытеснило одно всеобъемлющее чувство стыда. Стыда и невосполнимой утраты, которую, как он ясно предвидел, уже ничем в жизни будет невозможно восполнить.

Оставшийся день он проиграл дома в «Денди». Всё во дворе напоминало ему о случившемся утром. Весёлые игры товарищей, с которыми он поначалу честно пытался разделить досуг летнего дня, только погружали его в угрюмую отрешённость. И он ушёл, чтобы не привлекать к себе чужого внимания, которое под конец стало назойливым.

— Что с тобой, Саня? Никак привидение увидел? — говорили они.

И нужно было им отвечать, как-то отшучиваться, на что у него попросту не было сил. Взгляд Вани, которым тот на него посмотрел перед уходом, так и стоял перед глазами. От этого взгляда нельзя было скрыться. Отныне все мысли, которые так или иначе вращались вокруг истории с серёжкой, приводили к этому воспоминанию. Да, во взгляде Вани не было презрения или обиды. В нём было другое. Жалость. Тоска. И что-то чудовищно взрослое. Что-то совершенно не вязавшееся со всем тем, что знал о товарище Саша. И это было самым ужасным. Взгляд говорил о том, что Ваня теперь стал чужим. Он не ответит ему, если Саша заговорит, никогда не пригласит в гости, не позовёт в поле, окружавшее их небольшой городок, тушить весенние палы или обливаться в день Ивана Купалы водой. И если они когда-нибудь встретятся, Ваня сделает вид, что не знает его.

Слёзы против воли побежали по щекам Саши. Выключив приставку, он достал из шкафа обувную коробку. Серёжка никуда не исчезла, как в глубине души надеялся мальчик. Она была там и больше не казалось красивой. Она была уродливой. Как он раньше этого не замечал?

Зажав стекляшку в потной ладони, мальчик метнулся в прихожую. Буквально впрыгнув в сандалии, даже не потрудившись их застегнуть, он побежал дальше. По лестничным пролётам на улицу, через весь двор, за угол дома, туда, где вчера скрылся Ваня. Он до сих пор должен быть там. Не тот, чужой Ваня, которого он видел сегодняшним утром, а настоящий, которого он знал столько же времени, сколько и себя самого. Он ещё только проснулся и ничего не знает о кладе. Совсем ничего.

Предчувствие не подвело мальчика. Сквозь непросохшие слёзы он увидел вдалеке друга. Тот сидел на лавочке в компании дворовых ребят и играл с ними в карты.

— Я нашёл её. Я нашёл, — закричал Саша.

Ваня обернулся на крик. Заметив друга, он невольно отстранился назад, но, увидев, как тот машет над головой серёжкой и отражённые от неё блики солнца пляшут на его мокрых щеках, то и дело норовя запрыгнуть в глаза, его взгляд потеплел, на лице появилась улыбка.

— Я нашёл её. Она была под другим деревом. Под другим, — задыхаясь, буквально выдавил из себя Саша.

С его правой ноги спала сандалия, но он этого не почувствовал. Он бежал, шлёпая босой ступнёй по асфальту. А ему казалось, будто он бежит по сияющей радуге.

Галина Шляхова

Бабы

— Ну а чё ж он у тебя орать не будет? — бабка Лена подняла голову и строго посмотрела на Светлану. — У него грыжа как кольцо! Вот и мучается малец...

Она ласково провела рукой по ножке малыша, тот кричал, вздрагивал, сучил ручонками и тарачил огромные глаза в незнакомое лицо.

— И что теперь? — напряглась Светлана.

— Что-что? Загрызат буду, ну и сливать от испуга, вишь, как дёргат его, видать, спугнули или дурной человек поглядел...

— Да не может быть! — запротестовала Светлана. — Я его чужим людям не показываю, да и при своих слова шепчу положенные...

— Эх, — махнула рукой бабка Лена. — Знаешь, так бывает, что и сама мать может оглазить ребёнка... Дивуешься парнем?! Охает да ахает, поди?.. Вот тебе и результат.

Светлана потупилась. Ведь бабка была права: поздний желанный первенец стал для неё светом в окне, озарившим её одинокую жизнь, материнская любовь переполняла и плескалась во все стороны. — Ладно, ничё страшного, полечим, будет наш Васятка мужик мужиком! — и бабка Лена принялась улюлюкать и целовать крохотные пяточки.

Елена Васильевна величалась бабкой не по возрасту, было ей всего-навсего сорок четыре года, но статус «бабки» приклеился к ней без малого двадцать лет тому назад. Бог знает с каких времён некоторые женщины её рода обладали особым даром врачевания, который был и ею унаследован от умершей бабки. Много разного болтали шепотком люди о её таинственном поприще: некоторые считали ведьмой, водящейся с нечистой силой; многие, наоборот, имели убеждение, что она набожный человек, на которого снизошло Господне откровение; были и те, кто безоговорочно называл её шарлатанкой и мистификатором. Однако и те, и другие нет-нет да прибегали к её услугам, о чём в досужих разговорах распространяться не полагалось.

— Завтра к закату приду, полотенце приготовь, ну и дома чтоб народу чужого не было... — бабка Лена встала. — Луна на убыль пойдёт, самое время будет... Как раз за неделю и управимся.

— Хорошо, — кивнула Светлана и, спохватившись, спросила: — А что в отдарок вам требуется?

Бабка Лена нахмурилась:

— Ты, девка, не торопись. Пока дело не сделано, какие отдарки могут быть? — но, увидев на лице матери испуг, Елена Васильевна мягко улыбнулась: — Поправим, тут сложного нет ничего. А в благодарность что хочешь подарить можно, хоть крупы какой, хоть отрез тряпки, главное, чтоб от души и не в жалость было, тогда и лечение впрок пойдёт, и мне и вам доброго прибавится! — и она направилась к выходу.

— Что ж вы, чаю не попьёте? — всполошилась Светлана.

— Да уж какой чай, час поздний, мне пора, да и пост нынче, а я ж, грешный человек, соблазнюсь на сладкое, вон у вас конфеты какие в сахарнице! — Елена Васильевна, причмокнув, указала на широкий стол у окна, где в аккуратной хрустальной лодочке горкой лежали шоколадные конфеты «Любимые».

— Ну вот! — заулыбалась Светлана. — Давайте чайку по чашечке... уж конфета-то не мясо, и в пост можно!

Елена Васильевна застыла в нерешительности, её маленькие мутно-зелёные глубоко посаженные глаза сузились в едва заметные щёлки, густые метёлки бровей сомкнулись в линию у переносицы, губы скривились, и всё её лицо исказила тягостная борьба с манящим искушением. Светлана тем временем, подбоченясь, кивала головой в сторону стола и весело подмигивала Елене Васильевне, подбадривая совершить незначительное, по её мнению, отступление от неизвестно кем выдуманных правил. Но надо было знать эту женщину, чтоб понять, что отступаться от принципов для Елены Васильевны было чем-то вопиющим, даже если это были обожаемые ею сласти!

Родилась она в тридцать третьем году в небольшом станке Сухая Тунгуска, в большой семье охотника-промысловика и доярки. До войны её детство было хоть и трудным, но радостным, а как пришла война — радость была навек забыта. Отец ушёл на фронт, где и погиб без вести — ни похоронки, ни пенсии мать так и не получила, вот и пришлось ей, как старшей, наравне с матерью младших своих четверых братьев-сестёр на ноги ставить и в люди выводить. Жизнь была бедная, но труд и тайга человеку пропасть не дадут, к тому

ж бабка Анисья жила под боком, она души не чаяла в Любушке (только так она называла Елену, оттого как родилась внучка в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи). Бабка Анисья лечила людей травами да заговорами, принимала роды, избавляла младенцев от различных недугов. Врачей тогда на Севере днём с огнём найти было нельзя, возили к ней больных даже с окрестных станков, и имела бабка Анисья огромный авторитет и поддержку со стороны народа, всякий считал своим долгом угостить старуху рыбкой или другой какой снедью, а бабка невестку с выводком подкармливала, самый лакомый кусочек Любушке приберегая. Мать Елены Васильевны была безбожницей, так, для виду, а больше для свекрови Анисьи икону в доме держала да крестилась иной раз неумело; а вот бабка Анисья жила по Писанию, держала плоть в узде, а на слово Божье времени не жалела. Крестилась старуха широко, двумя перстами, громко провозглашая молитву на старославянском языке, била глубокие поклоны, а иной раз выстилалась перед иконами, и внучку учила чтить устав православный. С ранних лет бабка таскала Любушку свою по лесам да болотам, всё показывала, как искать травы да коренья да помнить, когда чему сбор и какое примененье.

— Эвон, гли-ко, листок! — бабка Анисья ткнула пальцем в мутную воду, на которой виднелся едва заметный листочек на тонком и длинном черешке, пробивающийся из болотной жижи.

— Ага, — кивнула Любушка.

— Эт будь сильна трава — моромчанка, ща её брать нельзя, опосля корень еённый возьмём, посушим в потёмках на продуве, а дале будь лечёба добра! — А чё ей лечут? — любопытствовала Любушка.

— Разно чё! От боли всякой идёт, и в отвар, и сухим, только меру знать надо... дурной корень и отравить может насмерть. Ща оне голимый яд! От боли потом перво средство. У кого зуб долбит, сухого корня с игольно ушко отцепнул и туды сунул, дёрнет раз сильно — и сгинет боль, как не было. Затем полошши рот и плювай. А еслив голова крутить начала, иголкой палец уколол да кровь бурую сдавливашь, чёб яд, стало быть, лишний спустить... — старуха засмеялась, глядя на удивлённую мордочку внучки. — Не бойся! Всяка травка в наших краях и лечебна, и губительна, нет на Земли хорошего без плохого, во всём мерка положена, чёб и хорошим-то не сгубить...

— Не, бабка, не мож быть... — сомневалась внучка. — Вот сахар тот сладкий, что дядька Евсей тебе давича дал, он такой-такой вкусный! Чё ж, и от его могёт худое быть??!

— Могёт! Ещё как могёт! Порой искушенье разны обличья принимает, чашше сладки, манительны, а поддаётся ему — что в бесовски лапы попасть, почитай страшнее яду будет!

— Нет! — наконец-то выдохнула Елена Васильевна. — Не уговаривай, Светлана! Пост, он на то и пост, чтоб соблюдать... В другой раз, если доведётся, отведаю конфеточку, с большим удовольствием!

— Что ж... — вздохнула Светлана и с добрыми напутствиями проводила гостью.

Следующую неделю, ближе к закату, через всю деревню ходила Елена Васильевна в дом Веры Григорьевны, где с нею проживала её тридцатилетняя дочь Светлана, вернувшаяся на сносях полгода назад из далёкого города.

— Ишь, бабка Лена к захаровским ходит, — шепнула Манька-крикунья соседке, повиснув на заборе. — Уж седьмой день, всё в одну пору, хоть часы сверяй! — тихонько хохотнула в ответ Лизка, а затем обе приветливо проголосили:

— Доброго здоровья, бабка Лена!

На что Елена Васильевна лишь кивнула головой. — Ишь, молчком идёт! Значит, малого сливает, — таинственно произнесла Лизка.

— А ты почём знаешь? — алчно вцепилась Манька.

— А тебе какой спрос?! — зло отрезала Лизка.

— Ну не злись, кума... — дёрнула недовольно плечами Манька. — Не хочешь — не говори...

Обе замолчали, глядя вслед знахарке, а когда фигура бабки Лены скрылась за дверью захаровской избы, Манька хихикнула:

— Ишь, Светка мыкалась-мыкалась по городам своим да вернулась, хвост поджав, брюхатая!

— Ага! — оживилась Лизка. — Говорят, мужика себе там нашла — страшной атомной войны! Да ещё и пьянь подзаборная!

— Точно! — вторила Манька. — Бил её как собаку, гулял как хотел, а под конец и вышвырнул!

— Вот, видать, парень-то и родился больной! — заключила Лизка.

— Ага, видать, совсем дурак получился! — закачала головой Манька. — Она с ним ходит, коляску завешивает марлей... Мож, совсем страшной — уродец?

Бабы глянули друг на друга и поморщились в отвращении.

— А мож, она от пыли да комара завешивает? — засомневалась Лизка.

— Сядь! — возразила Манька. — Что он у ей, сахарный, что ль? Уж и комар отошёл!

И товарки с упоением принялись судачить обо всех Светкиных странностях и злоключениях, основанных исключительно на Светкиной заносчивости и чрезмерной «умности»!

— Ну всё, бабоньки, закончили дело! — Елена Васильевна вышла сквозь цветастые шторы, отгораживающие кухню от комнаты. — Иди, мать, корми и пеленай Васятку!

Светлана поспешила к тихо кукусающему малышу, а Вера Григорьевна кинулась вынимать из

буфета нарядные чашки, приглашая бабушку Лену к накрытому столу.

Когда женщины наливали по второй чашке крепкого индийского чая, из комнаты вышла Светлана:

— Бабка Лена, большое вам спасибо.

— Да будет, будет! — закивала Елена Васильевна.

А Светлана, подойдя к буфету, вынула большой бумажный кулёк.

— Это вам! — сказала она радушно.

Елена Васильевна бережно взяла и аккуратно приоткрыла кулёк, по её лицу растекалась довольная улыбка:

— Вот угодила так угодила!

В пакете лежали те самые шоколадные конфеты в чёрной обложке с алыми розами по бокам.

Трескучие морозы сменились вьюгами февраля; неделями за окнами завывал ветер, закручивая в вихре снежные порывы, но в сердце Светланы царило долгожданное умиротворение: тревоги и переживания из-за расставания с прежней жизнью были забыты, теперь её десятилетнее городское существование казалось фантастически чужим, как долгий дурной сон; она была в родном доме, в родном мире. Света больше месяца работала пекарем, появились подруги, общение, сынок ходил в ясли и каждый день радовал её новыми выходками и повадками — жизнь обрела яркие краски.

К четырём часам дня горячий хлеб погрузили в ящики, укрыли ситцевым полотном и плотным брезентом, извозчик стеганул хлыстом, и лошадка нехотя побрела по снежной броди, пекаря отправились по домам, чтоб вернуться в пекарню к шести утра и начать новый цикл.

— Завтра, Света и Наталья, сдобу печь будете, булки — одна с маком, другая с изюмом, а хлебом я займусь, — на прощанье напомнила старший пекарь Нина Ивановна и, уже отойдя с десятков шагов, оглянулась: — Может, девчонок моих позвать вам на помощь?

— Не! — хором ответили Наталья и Света. — Справимся.

— Ну, смотрите! — весело прокричала Нина Ивановна, а про себя добавила: «Всё одно позову, всё ж быстрее будет».

Деревня была большая (по северным меркам), около шести сотен человек, хлеб люди давно сами не пекли, а брали в сельском магазине. А зачем самому печь, если по цене то же самое выйдет, да ещё и время потратишь? Хлеб здесь стряпали хороший, девяностограммовые булки белого и полукилограммовые чёрного, раз в неделю, в пятницу, помимо хлеба, выпекалась сдоба, а в субботу пекарня делала полуторный оборот, то есть хлеба готовили в полтора раза больше, чтоб люди не сидели в воскресный день голодными;

в канун больших праздников пекарям приходилось звать в подмогу старшекласниц, которые в зачёт ежегодной двухнедельной трудовой практики на производстве помогали формировать кренделя, ватрушки, булочки с повидлом, куличики.

— Ну что, привыкла уже к работёнке нашей скучной? — поправляя платок, хитро спросила Наталья.

— Привыкла давно! — ответила Света и, подмигнув, добавила: — Скажешь тоже — «скучной»! Что ни день, то веселье: как белки в колесе, носимся от котлов к печи и обратно!

— Да уж! — согласилась Наталья. — Я за семь лет так обвыкла, что в полной темноте могу любую работу делать, а наша Нинуся — та вообще с самого сотворения пекарни в ней работает. Видела, какие у неё ручки? Как у мужика! Это на моём веку здесь и тестомешалка электрическая появилась, и печь с барабаном электроприводным, а раньше всё вручную делали!

— Ничего себе! — изумилась Светлана и тут же вздрогнула. — Точно! Раньше ведь пекаря-то всё мужики были!

— Во-во! А я пришла сразу после школы в пекарню техничкой, мыла да печки топила. Ох, влетало по провинности... то просплю, то ещё что. А помнишь, старик Ефим, ну?

— Угу... — кивнула Светлана. — Двухметровый дед, я его, помню, так боялась...

— А как я его боялась! Жуть!!! Как зыркнет глазами исподлобья — аж кровь в жилах стынет! Вот он этот огромный чан месил — куда там нашей теперешней тестомешалке! Нелюдимый был, суровый дед, но знаешь, сейчас понимаю, что не злой вовсе, просто это внешность у него такая была...

— А где он сейчас?

— Да помер, года полтора уж, поди... Царствие ему небесное! — Наталья на мгновенье погрузилась, а после продолжила: — Ему уж годков-то было за восемьдесят! Работал на пекарне до последнего, считай, лишь за год до смерти, когда болеть стал, ушёл на пенсию. Вот люди-то были! Я только после его смерти узнала, что был он когда-то кузнецом лучшим в Зыряново, войну прошёл и даже осколок в теле носил — видимо, оттого суровым таким был. — Ничего себе! — изумилась Светлана и грустно сказала: — Какое счастье, что мы войны не видели. А на их долю такая жизнь выпала... не приведи Господи!

Наталья согласно закивала, а Света продолжала:

— Вот на сына своего смотрю, радуюсь, а порой сердце так защемит... Думаю, какая жизнь ему на веку выпадет?..

— Эх, подруженька, — весело перебила её Наталья. — Добрая жизнь ждёт! Добрая! Это ты поздно родила, и первый он у тебя, вот и мнится тревога разная; а я первого к девятнадцати, второго к двадцати двум, а девку в двадцать четыре, а сейчас

гляжу на этих спиногорызов и думаю: их никакая холера не возьмёт, прости Господи, хоть крючья в потолок вбивай, чтоб по потолку ходить удобнее было!

— Да уж, веселуха у тебя!

— Ещё какая! — засмеялась Наталья. — Ну вот, до перекрёстка дошли, тебе направо, а мне налево... А давай вечером в кино сходим? Пусть мой Ванька с ребятишками хоть раз посидит, а то как упрётся на дизельную к мужикам покурить, так и до ночи там ошивается, чтоб детский визготок не слушать!

— А давай! — согласилась Света.

— Договорились! Ты, если не передумаешь, подойди до меня к восьми часам, посидим, чай попьём, букли покрутим, чтоб красивыми на люди выйти!

Но сходить в кино в этот вечер подружкам не удалось... Подходя к дому, сквозь мутные стёкла кухонного окна Светлана заметила мрачные тени, а войдя в дом, увидела растревоженную мать и мучительно забытого ею мужа.

— Здравствуй, Света! — произнёс он с вызовом.

— Ну! — зло выдохнула Света.

Они оба замолчали, метая друг в друга испепеляющие взгляды.

— Господи Иисусе... — всплеснула руками Вера Григорьевна и принялась греметь чашками.

— Так и будешь стоять на пороге? — сжав губы, процедил бывший муж.

Светлана ехидно хмыкнула, лёгким движением скинула пальто, резко сдёрнула шапку и, выпрыгнув из валенок, подсочила к нему вплотную:

— Ты чего сюда припёрся? Тебе кто позволил сюда явиться? Как в твою башку такое пришло? — шипела она, как змея.

Он не ожидал такого натиска и неловко пятился от атакующей Светы.

— За тобой приехал... за ребёнком... вернуть вас... Ты чего, Свет?..

Пережитые боль и обида мгновенно разожгли безудержную ярость:

— Дрянь ты, Серёжа! Дрянь! Некого тебе возвращать! Нет у тебя никого и не было! Слышишь меня: нет! Убирайся прочь! Сейчас же, сию минуту, чтоб духу твоего в моём доме не было!

Серёжа стоял молча как вкопанный.

Света оглянулась на мать.

— Он рейсовым прибыл? — спросила она железным голосом, на что мать, утирая слезу, кивнула.

Светлана кинулась к вешалке, схватила его модное пальто и швырнула ему в руки.

— Собирайся! — скомандовала она. — Как прибыл, так и отбудет! — она глянула на часы. — Через час самолёт обратно. Успеешь!!!

Рослый, коренастый Сергей с выразительным мужественным лицом выглядел жалким размазней рядом с хрупкой, невысокой Светой. В её глазах сверкала молния, и весь её всклокоченный вид

говорил, что стоит она в одном шаге от самого страшного преступления, на которое способен человек, и любой неправильный жест, слово и даже случайный звук станут фатальными.

Сергей спокойно надел пальто, так же спокойно прошёл к вешалке, снял с крючка кроличью ушанку, медленно повязал шарф, надел блестящие ботинки и, схватив в руку маленький чемодан, обернулся на пороге:

— Как знаешь, Светка... Уговаривать не стану, упрасивать тоже. Всё так всё! Только потом обратно не просись, когда вконец надоест коровам хвосты крутить.

— Всё сказал? — рявкнула Светка. — Вот Бог — вот порог! Проваливай!

Сергей громко захохотал:

— Ну и дура ты...

Открыв дверь в сени и занеся ногу на порог, он не удержался и спросил:

— А кто у меня — сын или дочь?

— Никого! — стиснула зубы Светлана.

— А! — кивнул Сергей равнодушно. — Ну, как там по-вашему... «прощайте!» — и, грубо хлопнув дверью, выскочил.

Вера Григорьевна опрометью кинулась к дочери. — Света, Света... — зашептала она. — Может, ты зря это? Он же отец, язви его в душу... Отец родной Васятки нашего...

— Нет, мама, нет, — испуганно повторяла Светлана.

— Нехорошо так, дочь, не по-людски, родная...

— Всё решено и сделано давно, оставь этот разговор, — строго посмотрев на мать, отрезала Светлана.

— Хорошо, — послушно согласилась мать.

Светлана метнулась к окну комнаты, сквозь которое ещё виделся удаляющийся силуэт Сергея, бросив вслед ему пару проклятий, затем вернулась к матери и заговорщицки сказала:

— Ты за парнем сейчас в ясли пойдёшь, только иди дальней дорогой, чтоб с этим не пересечься где-нибудь, а я до бабки Лены схожу, воды святой принесу, чтоб дом окропить и от этого скверного духа очистить.

Вера Григорьевна закивала и принялась торопливо собираться.

— А если он, дочь, не улетит? Вдруг на рейс не возьмут или ещё чего?

— Улетит! Эта змея подколодная везде втиснется, если ему надо! А ему надо!

— Водички я тебе налью, Светлана. Как не налить?! Налью! Только душу тебе надо очистить, много яду ты произвела, не выпустишь его — отравит тебя... — настоятельно произнесла Елена Васильевна. — Снимаю одежду, дело долгое, будем вечерню служить...

Елена Васильевна зажгла перед Божьей Матерью крохотную лампадку и, наложив на себя три

крестных знамения с глубоким поясным поклоном, оглянулась на Свету:

— Чё стоишь? Иди сюда...

Светлана неуверенно подошла к бабке.

— Как крестишься, двумя перстами или щепотью?

Света недоуменно хлопала глазами.

— Крест-то вообще носишь?

Света отрицательно покачала головой.

— Эхма! А крещёная хотя б?

— Крещёная была, бабка настояла, и меня крестили,— ответила Светлана уверенно.

— Не была,— поправила её Елена Васильевна,— а есть! Крестят один раз и навсегда! И крест носить положено, раз православная, это первая защита от всякого зла, и мальчика своего при случае крести обязательно. Так, а когда-нибудь молилась, молитвы знаешь?

— Слышала...— шепнула Светлана.

— Ну, уже хорошо. Значит, делай так...— бабка Лена медленно перекрестилась.— Я крещена в старой вере, оттого два перста, а ты, поди, в новой— значит, в щепоть пальцы собирай... По мне, особой разницы нет, как к Богу обращаться, важно, чтоб от сердца голос твой шёл. Становись рядом да молитву слушай, проси сердцем прощения у Господа за вольны и невольны прегрешения да со мной крестись... Поняла?

— Хорошо,— приготовилась Светлана.

Тихим напевным журчанием потекла неясная речь бабки Лены, обращённая к самому Всевышнему. Светлана устремила свой взгляд прямо в глаза Богородице. Старинная икона на деревянной доске поблёскивала тёмным лаком в сиянии яркой лампы.

— Божья Матерь, прости мою душу грешную!— шептала Света в такт нарастающему звучному речитативу бабки Лены.

К завершению вечерни Светлана горько расплакалась.

— Плачь, моя, плачь!— гладила её по голове Елена Васильевна.— Бог простит, за всё простит и ото всего убержёт!

Вернулась Света домой в девятом часу, опустошённая, но светлая. Протянув матери банку с намоленной водой, сев у порога на пол, она спросила:

— Как Василёк?

— Ушомкался, спит. А ты чего так долго?— недовольно нахмурилась мать.

— Надо было... Давай, мама, чаю попьём...— жалобно попросила Света.

— Давай. Ты нынче, поди, не ела ещё?— мать засуетилась у стола.— А родимец улетел. Я из яслей шла, «аннушка» на реке загудела, почтальона встретила, он и сказал, что пассажир важно одетый с ридикюлем, что в деревню прилетал, отбыл...

— Вот и слава Богу!— перекрестилась Светлана.

— Слышала, кума, новость?— отряхиваясь от снежной пыли и отпыхиваясь от быстрого бега, брызнула Лизка.

— Чего?!— разевая от любопытства рот, задыхнулась Манька-крикунья.

— Люди говорят, нынче человек важный прилетал, спросил у самолёта про Светку захаровскую и до них прямиком ходил, где-то с час побыл, к площадке вернулся и на этом же самолёте улетел!

— Да ты чё?!— захлебнулась слюной Манька.

— Вот тебе и чё! Я его сама мельком видала, сразу смекнула, что не простой человек, высокий такой, статный и с лица хорош, одет, знаешь, по моде, не то что наши мужики!

— Ага, ага...— кивала головой Манька, боясь потерять хоть одно слово из умопомрачительной новости.

— Я так думаю, это человек из органов...— Лизка скривила многозначительную мину.

— Ух!— вырвалось из Маньки, а Лизка торжествующе продолжила:

— Видать, мужик нашей Светульки натворил в городе делов, мож, ограбил кого, или убил, или того хуже— иностранцам продался...

Манька недоверчиво скривила рожу, но Лизка со знанием дела настаивала:

— Чё кривишься-то? Я тут «Сегодня в мире» смотрела, знаешь, какая сейчас в мире напряжёнка! Иностранцы разведки на любую подлость идут, а Красноярск— стратегический город, там на любом заводе сто государственных тайн!!!

Манька закивала.

— Вот!— продолжила Лизка.— Приехал он, значит, сходил до них, допрос произвёл, предупредил и прочее, что положено, и улетел.

— Да уж! Чё творится в мире-то!— всплеснула руками Манька.

— И не говори!— счастливо расцвела Лизка.

С самого утра Светлана Евгеньевна пару раз бегала до угора и обратно, на три раза вымыла избу, в четвёртый раз протёрла рюмки и чайные чашки, пять раз подогрела «подстывшие» щи и всё металась от окна к окну в ожидании, когда же белой точкой на горизонте в голубом сиянии Енисея появится теплоход. «Сын! Сыночек! Васенька! Васенька едет! Родной, долгожданный!»— рвалось из её сердца.

Долгих три года прошло после их последней встречи. Сразу после армии остался Вася в городе, где работал на стройке, жил в съёмной квартире, оттого бывал у матери редко... Этой весной исполнилось Васильку ни много ни мало, а тридцать лет. Горько переживала Светлана Евгеньевна, что к своим взрослым годам сын ещё не женат и в ближайшее время ей не доведётся понячить внуков.

Уже пять лет как Светлана Евгеньевна пребывала на пенсии, но заскучать себе не позволяла:

с удовольствием гостевала и принимала многочисленных подруг, по зимней поре ходила на край леса на лыжах, вышивала крестом картины, вязала на продажу свитера с замысловатыми узорами, с весны до осени трудилась на земле — её цветник был самым красивым и ухоженным в деревне. Но каким бы делом она занята ни была, все её мысли витали далеко, рядом с любимым сыночком Васенькой.

Так уж вышло, что личная её жизнь не сложилась. Женщиной она была приятной и работающей, оттого многие мужики сватались к ней, а один и ей по сердцу пришёлся, но семилетний Васятка не позволил послушной матери замуж выйти: «Не нужен нам, мама, дядька чужой в доме, нам и так хорошо!» И как ни убеждали её Вера Григорьевна и лучшая подруга Наталья, не смогла она через любовь к сыну перешагнуть.

«Эх, Света, Света, зря ты с Фёдором не сошлась, хороший мужик, по тебе скроен был... — сказала ей укоризненно бабка Лена, встретив как-то у родника. — Залюбила ты Васятку своего! Ох залюбила! Плохо это». — «А чего ж плохого, что я сына своего, свою кровиночку, люблю?» — «С того, что и от хорошего худо может быть... Во всём мера нужна!»

Иногда, в часы тяжкого одиночества, когда белый свет не радовал, а злил, и заставить себя заняться делом не было никаких сил, Светлана Евгеньевна вспоминала кажущиеся ей пророчески-злыми слова бабки-ведуньи и бессильно плакала, вспоминая и первую свою, жестокую, и вторую, несостоявшуюся, любовь к мужчинам... — Евгеньевна! — глухо сквозь форточку послышалась с улицы.

Светлана Евгеньевна выскочила на крыльцо. — Евгеньевна! — кричал сосед Андрей, приколачивающий для сушки на фронтоне крыши медвежью шкуру. Заметив Светлану Евгеньевну, он возвестил: — Теплоход показался! — Ой ты! Слава Богу!

Мать тут же рванула к выходу; лишь добежав до калитки, она обнаружила, что босиком и в переднике. Всплеснув руками, она поворотила назад, развязывая сопротивляющийся узел, после кинула передник в сени, стремительно впрыгнула в туфли и с грациозной проворностью белки в три прыжка оказалась за оградой. Она не помнила о том, закрыла ли дверь в сени, затворила ли калитку, она не узнавала встреченные ею лица, дома, улицы... В туманном дымке пронеслась деревня, и лишь когда ноги остановились на бережном яру, ясность зрения вернулась. Теплоход притормозил, пыхтя и чихая, по лёгкой волне побежал к берегу алый бот... Светлана Евгеньевна полетела с угора навстречу желанному счастью. Прильнув к широкой груди, мать задохнулась от радостных слёз. — Васенька, родной мой! — шептала она, вздрагивая всем телом.

— Мам, ну ты чего? Ну мам! — бубнил расстроженный Вася, ласково похлопывая мать по спине. — Всё! Всё, сын, не реву! — Светлана Евгеньевна, утерев горошины слёз, уже спокойно посмотрела на сына.

Отпрянув от матери, Вася отступил в сторону и торжественно произнёс:

— Мам, а это Алина — моя жена!

— Ты женился? Как? Когда? — растерянно лепетала мать, но Вася её не слышал, а продолжал говорить:

— Алина, это моя мама! И твоя теперь тоже!

— Здравствуйте, Светлана Евгеньевна, — Алина протянула правую руку матери.

Та от обескураженности недоверчиво протянула для приветствия левую...

Вася, заметив неловкое замешательство, энергично поторопил своих женщин:

— Ну что, девки, окаменели? Идёмте к дому, а то одно из двух: либо тут кони пустим, либо с голоду пропадём, я уже два дня нормально не обедал, — и, подхватив в руки огромные сумки, он наигранной строгостью спросил у матери: — Щей ядрёных наварила? Оладий напекла? Самогон остудила? — Всё как ты любишь, сынок! — оживилась Светлана Евгеньевна. — И рыбки нарезала, и салатик с огурцов построгала!

— Вот это другое дело! Идёмте!

Усидеть за праздничным столом Светлане Евгеньевне было невмочь, хотелось ей всем и сразу угостить дорогого гостя, то и дело она вскакивала, бежала то в погреб, то в кладовую, принося всё новые и новые угощения, для которых уж и места на столе не было!

— Ну мам, ну хватит уже! Всё попробуем, не суетись! — смеялся Вася, и, улучив момент, когда мать в очередной раз села за стол, он, кивнув Алине, торжественно начал:

— Мы с Алиной не в гости приехали, а насовсем! Алиночка — фельдшер, она по договору оформилась к нам в деревню в ФАП, заместо прежнего, а я, соответственно, котельную фаповскую обслуживать буду и комплексные работы по ремонту здания проводить! Так что на пять лет точно задержимся!

Мать онемела, она перевела немигающий взгляд с невестки на сына.

— Мам, ты чего?! — Вася коснулся её руки, а затем весело подмигнул: — От радости в зобу дыханье спёрло?

Мать засмеялась:

— Ой спёрло! Как спёрло! — голос её стал глубоким. — Я и подумать не могла о таком счастье, всё печалилась, что живёшь ты далеко, ни семьи, ни работы хорошей, по съёмным углам мыкаешься... А тут такое!!! — на её глазах выступили слёзы.

— Ну вот, опять реветь собралась! — всплеснул Вася.

— Не буду, не буду... — обещала мать и, собрав силы, широко улыбнулась.

— Вот и мы с Алиной так подумали: жили полтора года, мытарилась, три раза переезжать из квартиры в квартиру пришлось, на автобус...

— Так вы уж полтора года живёте? — перебила мать.

— Ну да. На автобусах до работы по полтора часа... — продолжил было Вася, но мать снова вклинилась:

— А ты и не говорил ничего...

— Мам, ну чего говорить, когда всё ещё нерешённым меж нами было? Вот, дорога по полтора часа туда...

— Как это нерешённым было, когда жили уж?!

— Ну мам, ну ты прям как в самом деле... — Вася не удалось подобрать подходящее сравнение, он нахмурился. — Ты чего, может, и правда не рада?

— Что ты такое говоришь! — возмутилась мать, и, поёжившись от неловкости, ласково попросила: — Ты, сынок, рассказывай. Алиночка, кушай салат, а то прям не ешь ничего...

Вася ободрился:

— Ну вот, так и жили, полдня в автобусе трясешься, на работе пашешь, а домой только спать, куча денег на квартиру, транспорт... в общем, надоело всё! А тут Алине...

Вася зацепил вилкой груздь и, погрузив его в рот, причмокнул от удовольствия. Тем временем вступила Алина:

— А я узнала о новом предложении для молодых специалистов, в Интернете нашла, обратилась в краевое управление с заявкой... там рассмотрели и предложили два варианта...

— Грузди — просто шедевр! — прожевал Вася. — Она мне рассказывает, куда предлагают, а я сразу остолбенел: наша деревня! Само собой, решение приняли сразу.

— А чтоб и Васе здесь работа была, мы и расписались по-быстрому. Мои родители тоже в шоке были, когда я им по телефону сообщила...

— Вот, Вася, Алина сообщила, а ты и не сообщил даже! — мать с укоризной глянула на сына.

— Мамуль, я ж сюрприз готовил! Ну знала бы ты, суетилась, переживала... А тут в один день все новости!

— А ну тебя! — взмахнула она рукой и рассеянно улыбнулась.

Много раз в счастливых грёзах виделась Светлане Евгеньевне желанная жизнь, как будет она жить одним миром с сыночком Васенькой, представлялась его жена — красивая хозяйюшка, добрая, послушная и даже кроткая, детишки — обязательно двое, мальчик и девочка, будто ангелочки, курчавые да ласковые. Уже давно свыклась она с мыслью, что забрал Васятку город безвозвратно, что стал он городским человеком, суетливым и отстранённым. Мнилось, что вот-вот сыночек

поймает за хвост удачу и появятся у него и машина, и квартира, и прочая важная обстановка!

Но не только мечтала мать, хлопотала бесконечно, всякую копейку откладывала на тайный счёт, чтоб по случаю сыночку в деле помочь, а ещё встала в очередь на переселение, чтоб однажды получить сертификат и преподнести его сыну... так они бы вдвоём и квартиру справили, и зажили счастливо. Но что наши мечты — реальность иногда преподносит такие сюрпризы, которые невозможно вообразить самой бурной фантазии. События разворачивались куда лучше, чем можно было желать: сын женат, наконец-то рядом, по их договору они получают хорошие деньги, а сколько ещё заработают за пять лет, не тратя на проезд и аренду, — стало быть, и жильё смогут приобрести сами... а пока суть да дело, глядишь, и ребёнка родят, а может, и двух, опять же материнский капитал получат! Но странная тревога скребла материнскую душу... «Кто она, эта Алина? Какая? Что нашёл Васятка в этой невзрачной девице? Глазки хитрые, лисьи, размалёванная, как кукла, когти на полметра торчат лопатами... Ей уж, поди, лет двадцать пять, а одета как девочка семнадцатилетняя, топик бесстыжий — пуп наголе с кольцом да бусиной, грудь голая из-под трикотажа светит, шорты срамные — весь зад открыт, ещё и наколка на ляжке тощей! — Светлана Евгеньевна поёжилась и натянула одеяло на голову. — Я на стол накрываю, а она сидит — хоть бы что! Глазками хлопает!! А пьёт как?! Рюмок пять-шесть проглотила — и хоть бы что! Уж не пьющая ли?! — она перевернулась на спину, сдёрнула с лица одеяло и уставилась в потолок. — И курит ещё! И Вася с ней, видать, наловчился курить! Раньше-то я не помню, курил он или нет, — она задумалась. — Вроде нет... по крайней мере, при мне не отваживался! А тут на пару выйдут к сараю и смолят в две трубы! Ну разве ж это дело?!»

Мать тяжело вздохнула, из комнаты донёсся тихий смешок, мать тут же зажмурилась, следом послышался тихий игривый шёпот:

— Ну, хватит, перестань. Вдруг мать не спит ещё?..

Светлана Евгеньевна тихонько захрапела.

— Слышишь, спит! — хихикнул кто-то.

— Не, я так не могу...

— Тогда пошли в баню, там ещё тепло...

Дальше сквозь театральный храп слов было не различить, тихо заскрипели половицы, молодые на цыпочках прошмыгнули мимо «спящей» в проходной комнате матери. Светлана Евгеньевна поглядела им вслед.

— Вот какая дрянь! — с тихим гневом произнесла она, сев на кровати, обречённо подумала: «Вот она чем его взяла! Ночная кукушка всегда дневную перекукует!»

Как ни старалась Светлана Евгеньевна успокоить себя делами-заботами, визитами по подружкам,

мыслями разными о хорошем, но неприязнь, как вирусная болезнь, захватывала ей организм с каждым днём всё сильнее, напиткивая каждую клетку ядом злобы.

— Давай ка, Алина, вареников налепим, пока Вася на ФАПе работает, — выдавливая елей, обратилась она к умывающейся от сна невестке.

Та в ответ тихо угукнула.

«Угукает она! — вспыхнула внутренне свекровь. — Время двадцать минут одиннадцатого, а она только глаза продрала! Васенька уж как два часа убежал крышу ладить, а она лежит, комыса тянет! Нет чтоб мужу чего вкусного приготовить!»

— Ты, Алиночка, чай наливай, пей с печеньем! — ласковой желчью брызнула Светлана Евгеньевна. — Не... — ответила, потягиваясь, Алина. — Я кофе!

«Что ж ты будешь делать! Хлещет своё кофе по сто раз на дню да курит, как паровоз!!!» — возмущалась про себя свекровь.

Пока невестка пила утренний кофе с сигаретой, Светлана Евгеньевна, замешивая тесто, осуждающе поглядывала на неё в окно, а когда Алина зашла, свекровь тихонько пропела:

— Ты б, Алиночка, с курёшкой-то завязывала, а то, гляди, ещё, чего доброго, дети зелёные родятся... — Не родятся! — отрезала Алина. — Надо будет — брошу!

«Ишь какая, и слова против не допускает!» — резанула глазами Светлана Евгеньевна, а вслух многозначительно произнесла:

— Ну, вам оно лучше знать, вы ж, медики, про здоровье людское лучше знаете... Чего нам, деревенским, вас учить-то?!

Алина смутилась.

— Да брошу я... самой надоело... но всё не получается как-то... — она села за стол и, глядя на Светлану Евгеньевну, разоткровенничалась: — Я курить на втором курсе училища начала, в семнадцать лет. То ли взрослей хотелось казаться...

«Ага! — подумала свекровь. — Зато сейчас девочку корчишь!»

— ...или протест, как в юности бывает, или любовь несчастная тому виной...

«Вот те раз! С семнадцати годов уже не девка!!!» — отчего-то тут же решила Светлана Евгеньевна.

— В общем, сначала вроде как баловством было, а где-то через год поняла, что зависимая...

«Во-во! Зависимая!!! Ещё, поди, какую другую дрянь пробовала!» — закипела Светлана Евгеньевна и, поперхнувшись ядовитой желчью, закашляла.

Алина подпрыгнула и аккуратно постучала свекровь по спине. Та, дёрнувшись, отстранилась. — Ты садись... кхе-кхе... слюна не в то горло... — и, ещё пару раз кашлянув, Светлана Евгеньевна глянула на невестку строго. — А Вася давно курить начал?

Алина пожала плечами:

— Точно не знаю... Говорил, что в школе, в старших классах где-то...

— Врёшь! — вырвалось у матери.

Алина побледнела, а Светлана Евгеньевна растерянно поясняла:

— Ну не может быть так, Алина, он у меня такой послушный, такой воспитанный мальчик был, его всем в пример на собраниях ставили, учителя хвалили... Да и разве ж я не заметила, если он курил бы? Я его, сколько себя помню, с сигаретой не видела, ну, бывало, запах дыма какой от одежды почую, так это ж он с ребятами, а они-то со школьной скамьи смолили... Может, он перед тобой красовался да приврал лишка?

— Может быть... — урезонила Алина.

Вскоре женщины мирно принялись лепить вареники, Светлана Евгеньевна подробно и красочно вещала невестке обо всех жизненных перипетиях, попутно вставляя назидания и мудрые советы. Алина равнодушно слушала.

Взбешённая бесстыжим щебетанием и нахальными смешками, свекровь оглядывала холодильник: на нижней полке, рядом с различными соусами и соленьями, стояли две полулитровые банки со сметаной, в одной была вчерашняя, а в другой — прогорклая, двухнедельной давности. Сначала Светлана Евгеньевна протянула руку к закисшей банке, чтоб немедля выбросить пропавшую приправку, но тут в её воспалённой голове вспыхнул первый каверзный план, и она решительно задвинула стекляшку свежей в дальний угол, выдвинув на видное место негодную...

Василий довольно улыбаясь, предвкушая сытный обед: в его тарелке парили вареники с картошкой и творогом, очень напоминавшие по размерам пирожки. Он ласково поглядывал на Алину, щедро посыпающую угощение рубленой зеленью.

— Сметанки, Алиночка, достань и положи... — хитро улыбаясь, прощбетала Светлана Евгеньевна. — О!!! — хлопнув, потёр руки Василий.

Алина вынула банку, и, зачерпнув столовой ложкой приличную горку, тут же опрокинула её в чашку мужа — Вася принялся перемешивать, затем положила добрую порцию свекрови, а в довершение — себе.

— Ну! — скомандовал Вася и, сунув вареник в рот, сморщился и выплюнул его обратно.

То же проделала Светлана Евгеньевна. Едва сдерживая самодовольную усмешку, она воскликнула:

— Ты что наделала? Ты где сметану эту взяла?!

Алина испуганно хлопала глазами:

— В холодильнике...

— Не может быть! — лукаво прищурилась свекровь и, схватив банку со стола, направилась к холодильнику. — Вот сметана хорошая! — она торжественно вынула вторую банку.

— Так я ж не знала... — всхлипнула Алина.
— Не знала она! — возмутилась свекровь. — А глаза у тебя на кой? И вообще, пробовать надо, прежде чем на стол ставить. Или тебя ничему мать не научила?!!

Алина вскочила и со слезами выбежала во двор.
— Мам, ну ты чё? Ну в самом деле! — и Вася выскочил следом.

— Слыхала, Лизавета, у Светки-то Захаровой невестка-медичка — чистая змея подколодная! — качая головой, начала Марья Степановна.

— Слыхала, Марья, слыхала! — облизнулась Лизавета Андреевна, и обе, тяжело дыша от грузности тел и возраста, опустили на деревянную скамью.
— Тут на днях увидала Светку-то в магазине, говорю ей: мол, поздравляю с радостью такой, мол, как хорошо, что сын приехал, да ещё и бабу привёз добрую... А она так, моя, знаешь, на меня глянула... — Марья Степановна скорчила лицом вид полной несчастья, отчего Лизавета Андреевна открыла любопытный рот ещё больше. — ...И говорит мне так жалобно: мол, какая там радость, родная моя, оженился парень Бог знает на ком! И знаешь, опять так горько поглядела, что и слов больше не надо... и так всё ясно!

— И мне вчера у почты тож пожалилась: мол, не так ей жизнь-то в старости виделась-то, живу, мол, в своём доме как в гостях... — вторила Лизавета Андреевна.

Бабы с минуту помолчали.

— А городские, они все страмовки бесстыжие — никакого стыда! — заключила Лизавета Андреевна. — По десяти рукам пройдут, пока до мужика доберутся!

— Да и деревенские сейчас не лучше! — вклинилась Марья Степановна, ведь обе её дочери давно жили в городе, и городские внучки к той поре входили в жениховскую пору. — Вон, глянь как одеваются, чуть не нагишом ходят...

Лизавета Андреевна согласно закивала.

— А вот девка-то эта, Светкина невестка, не смотри что щепь щепью, а с норовом, помяни меня потом, но изведёт Светку таблеткой какой да всё, что есть, оттяпат...

— А чё там тятать-то? — усомнилась Марья Степановна.

— А чё, думаешь, мало у Светки в кубышке на чёрный день отложено?! Всяко поболее, чем у нас обеих, вместе взятых!

— Васька-то каков! Вишь, мать обижает и словом, и делом, под каблук его эта пигалица загнала, а он, как дурак, и рад!

— Видать, приворожила!

— Опоила!

— Одурманила!!!

На этом словарный запас иссяк, и женщины умолкли.

— Вася, мне кажется, она меня ненавидит... — сказала тихо Алина.

Вася вздрогнул:

— Ну что ты, Алина, говоришь?! Моя мать — добрейшей души человек!

— Это к тебе, Вася! К тебе! А я ей чужая, не сказать больше — враг! — настаивала Алина.

— Ты меня убиваешь, Аля... — горько вздохнул Вася. — Вот с чего ты это взяла?

— Вася, не беси меня! — злилась Аля. — Ну ты что, правда слепой или, как страус, видеть не хочешь?... Она ж на меня смотрит так, что кожа горит, а говорит так... ехидно, плавно, словно жалит!

— Не говори так! Иначе поругаемся! Ты пойми, она моя мать...

— И что? — равнодушно ответила Алина и решительно добавила: — А я твоя жена и будущая мать твоих детей!

— Потерпи, родная, ещё пару дней — и ремонт в фАпе доделаю. Пусть фАповская квартирка крохотная, но будем там жить, раз вместе вы не уживаетесь...

Алина радостно обняла мужа.

Поздним февральским вечером, когда зимняя стужа жалобно скулила за окном, пытаясь втиснуть озябшую душу во всякую домовую щель, бабка Елена протяжно пропела аллилуйю и, перекрестившись, принялась готовиться ко сну, в крохотное окно её скосившейся от дряхлости избы постучали.

Старуха повязала наголовник и пошаркала в сени.

— Кто там? — проскрипела она глухо.

— Эт я, бабка Лена, Васька Захаров.

Крючень звонко лягнул, и дверь отворилась.
— Васятка! Ох, мужик так мужик вымахал! — восхитилась бабка.

— Баб Лена, ты уж извини, что тревожу в поздний час... — принялся извиняться Васька.

— Да будь те! Ниче! Не спала ишо!

— Маманя заболела. Алина, жена моя, она фельдшер, слышала наверняка...

Старуха закивала.

— Санрейс собралась вызывать, а мать — ни в какую! Мол, помру — и ладно! Ни таблетки не пьёт, ни укол поставить не позволяет... Чё делать, ума не приложу. Ругайся не ругайся — как баран упёрлась: мол, либо помру, либо само пройдёт! Одно позволила — тебя позвать: мол, ты её только вылечить можешь!

Старуха насторожённо качнула головой:

— Ладно, сын, соберуся сейчас, обожди малость...

Войдя в дом, взору бабки Лены открылась живописная картина: на переднем плане, низко опустив голову, сидела заплаканная невестка, неподалёку от неё, на собранном диване, укрывая пледом,

лежала на спине Светлана Евгеньевна, с видом полной отрешённости и безутешной скорби она что-то тихонько причитала, а заметив старуху и сына, лишь вяло качнула головой и пустила очередную струйку слёз.

— Ну, дети, — громко сказала бабка, — шуруйте-ка вы домой!

— Как? — в голос откликнулись Василий и Алина.
— Как? Ногами! — хохотнула старуха. — Ступайте-ступайте, неча тут сидеть, чай, не панихида ешо! — она скинула платок и полушубок и вышла в центр кухни. — Чего раззявились, а?! Ну-ка домой!

— А как же санрейс?

— А если что? — наперебой принялись молодые.
— Будя вам панику наводить! Уей голова болит, а голова, знамо дело... поболит и перестанет. А вам спать положено, особенно тебе, дочь!

Алина и Вася переглянулись.

— Идите, вам говорят!

Они нерешительно начали одеваться.

— Да, придёте домой — ни о чём не беспокойтесь, ложитесь спать с Богом, мать ваша ещё молодая, ещё поживёт!

— Баб Лен, так может, попозже за вами прийти, вы скажите когда, я приду, провожу вас до дому, — предложил Василий.

— Эт ещё зачем? Я не девка на выданье, чтоб меня до дому по ночи провожать, да и ты, кажись, не холостой! — она глухо засмеялась.

Василий поддержал:

— Ну вот, все карты попутала!

— Эх, страмец! — подмигнула бабка.

— Но всё ж, бабка Лена, темно ведь и зима. Может, всё-таки прийти?

— Брось! Я хоть и старая, но в уме, уж дорогу домой знаю.

— А вам не страшно? — искренне удивилась Алина. — Тут краем леса кладбище видно...

— И чё? — так же искренне удивилась бабка, а после прибавила: — Эх, дочь, не мёртвых бояться надо, а живых! Ну ладно, идите уже! — и она присела на дальний стул у стола.

Как только семейство покинуло избу, бабка Лена вскочила:

— А ну, Светка, вставай! Вставай сейчас же!

Сдёрнув с шестка кухонное полотенце, бабка Лена принялась хлестать «умирающую», приговаривая:

— Ишь, она развалилась! Ишь, она помират, страмовка! Ишь, она прихилется!

Светлана Евгеньевна, немало испугавшись, подпрыгнула на диване и, укрывая лицо от летающей над ней тряпки, заорала:

— Ты что, бабка Лена, из ума выжилась?! Мне и так плохо!!!

— А! — яростно ответила бабка Лена. — Голос прорезался! На тебе! На тебе! — она ещё бойчее стегала

большую. — Ишь, плохо ей! Как плохо ей! А сейчас хорошо! Так лучше будет!

— Хватит! — крикнула Светлана, ухватив край полотенца.

Бабка Лена отпустила свой кусок тряпки и, тяжело дыша от резких интенсивных движений, уже спокойно сказала:

— И не стыдно тебе, Светка?! Такую дрянь в себе выпестовала! Ишь, слезами брызжешь, одну себя жалешь и видишь! Это ты из ума выжила в край, вот и мнишь мир как в зеркале обратном!

— Что ты говоришь, старая?! Молчи, если не знаешь... — зарыдала Светлана Евгеньевна, уткнувшись в полотенце.

— Да знаю я всё, — осуждающе прохрипела старуха. — Знаю про то, как ты жалишься всем на невестку свою, про приворот какой-то без ума молотишь, про порчу да слаз!

Светлана Евгеньевна вскинула глаза, полные злости:

— А что, тебе ли объяснять, как такие дела делаются?! Уж ты-то, поди, на своём веку немало всякой дряни-то делала! Или хочешь сказать, что на парне моём Васятке приворота никакого не имеется?! Или сам он, по доброй воле, из дому за этой вертихвосткой пошёл? — кричала она утробным голосом сквозь едкие слёзы.

Бабка Лена, сузив глаза, лишь покачала головой и, резко хватив кружку с водой, стоящую рядом с болезной, плеснула в её яростные очи!

Светлана Евгеньевна смолкла...

— Охолонилась? — тихо сказала бабка. — А теперь слушай, да как следоват! Сердцем слушай... — бабка Лена придвинула стул и села вплотную к Светлане. — Ты, Света, бабой хорошей всегда была, но горделивой, а гордыня, она — смертный грех! От гордыни бабскому счастью случиться не позволила, от гордыни Ваську растила будь для самой себя, а не для мира и людей, от гордыни надеждами глупыми тешилась, а жизнь-то таковой, как есть, принять так гордыня и не позволила! Тебе б жить да радоваться, а гордыня не позволят...

Света тихо заскулила. Елена Васильевна бережно провела сморщенной рукой по её голове: — Плачь, родная, плачь... Я на твои слова обиды не держу, это не твои слова, а беса горделивого, что в каждом из нас сидит. Я порой своего вижу, прячется он в тёмных потайных углах, корчится, алкает — всё заскочить в душу норовит, порой только стоит подумать, что, дескать, не сложилось в жизни чего, как у других исполнилось, — он уж тут как тут, влез да хозяйничать начал, мысли глупые и скверные нашёптывать, злобу разжигать... Уж тут я его гоню! Перед Богоматерью каюсь и плачу, чтоб Господь избавил...

Светлана Евгеньевна заплакала в голос.

— Хорошую у нас церкву срубили, всё зайти который год собираюсь, но то ли не привычная

на людях молиться, то ли дремучая шибко, старым укладом живу... времени... Как почую, что близок час последний, пойду упробить батюшку, чтоб отпел мою душу грешную да икону в храм поставил. Семнадцатого века икона моя, по древним канонам писана... — она немного задумалась, а потом, глубоко вздохнув, продолжила: — А ты-то ходишь в церкву, крест, гляжу, носишь, а Божье смиренье в душу не пускашь... Это человека словом прихильным да жалостным обмануть можно, а от Его ничё не утаишь. Всё видит! Всё знает! А теперь умой лицо, помолиться и каяться будем, каяться и молиться!

То ли молитва благодатная просветила одурманенный ревностью ум, то ли известие о беременности невестки — неведомо, но успокоилась Светлана Евгеньевна и даже благословила сына на вольную жизнь.

Жарким июньским вечером спустилась Алина к роднику, живот у неё был уже велик, оттого взяла она по воду лишь пятилитровый бидончик. Возможно, это было лишь прихоть по беременности, но пить ей последнее время хотелось лишь этой кристально прозрачной ледяной воды. Обогнув высокий пригорок, она заметила сидящую у ключа бабушку Лену, та черпала ладошами воду и жадными глотками приникала к воде. Оглянувшись на Алину, старуха довольно крякнула:

— Эх, студёна! Век бы ещё пила! А ты, гляжу, тоже пристрастилась к родниковой-то?!

Алина кивнула и поздоровалась с бабушкой.

— И тебе здоровья! Вот жарница-то, — поморщилась бабушка Лена. — В такую жару помирать страшно, завоняешь быстро, по зиме б оно лучше было, но опять — людям мучиться, могилу-то попробуй выдолби! — рассуждала она вслух.

Алина поморщилась:

— Что вы такое говорите?! Вам ещё жить да жить! — Мож быть, мож быть, кто его знает! — и, медленно распрямляя старые кости, тихо закряхтела. — Говорю то, что по жизни положено, всякому веку конец приходит, на том жизнь и стоит, одна баба из миру уйдёт, другая народится...

Алина не разобрала половину слов, но переспрашивать бабушку не стала. Та, отодвинувшись в сторонку, уступила Алине путь:

— Набирай водицу, я обожду, а после одной дозой пойдем, всё хоть не молчком идти.

Алина набрала воды, не удержалась, отпила вдоволь из бидона и наполнила его снова. Старуха тем временем одобрительно кивала.

Медленно шагая в гору, бабушка тихо шелестела губами.

— А что вы шепчете? Будто говорите с кем... — спросила Алина.

— Да бабушку вспомнила свою.

— А правда люди говорят, будто вы ведьма? — не удержавшись от соблазна разрешить давно мучающий её вопрос, с наивной улыбкой спросила Алина.

Старуха искренне рассмеялась:

— Врут, доча, врут, травница я всего лишь, а люди по невежеству молотят невесть чего. Ведьмы то, они в церковь не ходят!

— А вы в церковь идёте? — оживилась Алина.

— В неё, — кивнула старуха.

— А я на ФАП, нам в одну сторону!

— Ага, — кивнула старуха.

— Слышала, Марья, прошлой ночью старуха Лена померла?!

— Да слышала уж... новость-то не свежая, я уж пару часов как знаю, — зевнула Марья.

— Ишь, а я только сейчас услышала, — с сожалением в голосе произнесла Лизавета.

— Видать, врут, что колдуны-то тяжело помирают, что крышу там разбирать приходится и прочее другое. Тут старуха спать легла и преставилась!

— А шут его знает! — махнула рукой Лизавета.

— Жалко старуху...

И обе вздохнули печально.

— Эй, Лизавета Андревна и Марь Степанна, слышали?! — раздалось от соседнего дома, где, облокотившись на прясла, кричала их общая товарка Марина Алексеевна.

— Чего, Алексевна? — хором проорали бабы.

— Медичка-то наша девку родила! Васька сказал, Ленкой назовут.

— Да ты чё?! — и бабы двинулись навстречу радостной новости.

Приходят в мир бабы, уходят, сменяются столетия, режимы, вращается Земля... но что бы ни было — мир, вражда или забвение, живут мои бабы: глупые, хитрые, завистливые, ревнивые, сердобольные и злые... ведь и сама деревня живёт, лишь покуда живо моё неистребимое бабское племя.

Елена Басалаева

Цыганская дочь

Счастливая была

Любит старшее поколение обвинять молодых и в непочтительности, и в чёрствости, и в том, что становятся злее, агрессивнее. Молодые при этом ответно жалуются на вечную хмурость, озлобленность и жадность пожилых. Наверное, в чём-то правы и те, и другие. Девочки-школьницы до крови бьются на заднем дворе за право «завлечь» одноклассника, а настоящие, не рекламные приторно-добрые, старушки способны свести с ума придирками и подозрительностью.

Но это только половина правды. Другая её половина, я думаю, в том, что все мы просто устали от сумасшедшего городского ритма, от постоянной беготни, толчеи в магазинах и автобусах, и все в глубине души хотим, чтобы нашёлся кто-то добрый, с кем не нужно было бы воевать за место под солнцем, кому можно было бы довериться без страха быть преданным и высмеянным.

В доме-интернате на Ботанической стариков было не так уж много: кроме дедушек и бабушек, там жили и молодые выпускники детских домов, имевшие инвалидность. Детдомовцев руководство интерната заселяло на второй и особенно третий этажи, а старикам достались левое крыло второго и весь первый.

Я ходила в этот интернат на волонтерских началах. Инициатива происходила от одного равнодушного священника, и все желающие с прихода по воскресеньям посещали стариков. Подопечных каждый выбирал себе сам. Мы иногда помогали персоналу интерната по мелочи: подстригали бабушкам и дедушкам ногти, меняли бельё, подкармливали конфетами на сорбите. Но сами сотрудники в голос уверяли, что с этими нехитрыми делами они хорошо справляются и сами, а на что им не хватает времени и сил, так это на общение со стариками.

Общаться с ними было непросто и нам: некоторые с подозрением смотрели на людей, которые пришли в интернат просто так, ничего не требуют и даже не вербуют в религию, другие плохо слышали, и приходилось чуть ли не кричать в уши, третьи не совсем хорошо осознавали, кто они и где находятся. . . Однако постепенно дело пошло на лад.

Я познакомилась с тремя замечательными людьми: пожилым мужчиной из Ангарска, которого

потом забрал домой сын, и самой настоящей влюблённой парой возрастом под семьдесят годов. Они встретились уже здесь, в интернате, уговорили руководство поселить их в одну большую комнату и прожили там вместе примерно полгода. Весной их переселили в другой интернат.

Мне стало вроде бы не к кому ходить, но всё-таки на следующее воскресенье я приехала на Ботаничку снова. Растерянно озираясь в коридоре, машинально взялась за ручку какой-то двери и посмотрела в палату. На дальних койках сидели две чрезвычайно друг на друга похожие старушки, к которым больше всего подошло бы прозвище «божий одуванчик». А на ближней. . .

Только завидев мою четырёхлетнюю дочку, она попыталась приподняться с кровати и растянула тонкие губы в улыбку:

— Иди ко мне, иди ко мне, внучечка.

Таня, привыкшая к вниманию вообще и бабушек — в частности, тут же подбежала с раскрытой пачкой печенья. Протянула печенье в раскрытую ладонь с узловатыми пальцами.

— Спасибо, внучечка. Какая ты хорошая — я не вру. Честное слово.

Я осторожно подошла к женщине.

— Меня Лена зовут.

— А меня Люда. Баба Люда — вот так ты меня и зови. Угу?

Я кивнула.

— Ну, садись, коли пришла, — пожевав губами и пытливо оглядев меня, она пригласила сесть на край своей железной койки. — Слушай.

Я слушала долго. И в этот раз, и в следующее воскресенье, и в то, которое было потом. Казалось, что баба Люда молчала не то что днями или месяцами — годами. Вставить мне хотя бы пару слов было решительно невозможно. Как тяжёлая глинистая земля долго не впитывает воду, так и баба Люда просто не могла впитать, воспринять даже малейшую частицу меня. Ей пока нужно было выплеснуть всё, что накопилось. Я подстригала ей ногти, расчёсывала волосы или просто сидела и молчала.

Она рассказывала мне об отце, который безумно ждал мальчика и поэтому всё детство называл её «сына», о муже Илье Ананьевиче, который родился раньше неё на двенадцать лет, за что она

добродушно дразнила его «старинушка», о зверо-совхозе и психбольнице (в первом месте трудилась сама баба Люда, во втором — Ананьевич), о своих дочках Анжеле и Ксении.

— Анжелка у меня родилась такая рыжая, кучерявая. Я как увидела её — думаю: вот те девка. А чё я её Анжелка назвала? Потому что был тогда этот фильм... доча... как его?

— «Анжелика, маркиза ангелов», — догадалась я. — Точно. А характером она у меня была такая... как тебе сказать... Стерва. С детства всё фыркала. Ну зато красивая — ничё не скажу. И я её тоже любила. А Ксения у меня добрая была, ласковая такая...

«Где ж теперь твоя ласковая Ксения, баба Люда?» — поневоле приходило мне на ум.

Но баба Люда, кажется, совсем не думала об этом. Из всех историй, что она рассказывала (в общем-то, у неё всегда была единственная бесконечная история, из которой одно перетекало в другое), становилось ясно, что этот человек прожил счастливую жизнь.

Она рассказывала мне много вещей, которые почти любой назвал бы неприятными, а то и страшными. Отец, который «жуть как любил меня», только однажды обратился к ней «дочка», до самой своей смерти так и видя в своём втором ребёнке вождённого мальчика-наследника. В третьем классе он купил Люсе тёлку Рябинку в качестве живой игрушки, у которой потом десятилетней девчонке пришлось самой принимать роды, а папка пришёл только тогда, когда она, обливаясь потом и слезами, уже полчаса тщетно пыталась вытянуть ноги слишком крупного телёнка. А благоверный Илья Ананьевич, сколько-то немало лет отпахавший санитаром в психушке, за какую-нибудь дурацкую провинность мог взять да и выпороть её солдатским ремнём — да не просто так, а с чувством, толком и обязательными комментариями. Красивая Анжела в своё время выгнала бабу Люду из своего с мужем дома за неугодный характер и пристрастие к бутылке, а ласковая Ксения уехала и с концами пропала...

Но всё это дикое, тёмное, страшное, то и дело всплывая в рассказах бабы Люды, переплавлялось в её сердце и неизменно превращалось в воспоминание любви. Мы часто не можем простить близких людей и разрешить себе любить их просто так, потому что постоянно чего-то ждём от них, от наших отношений, потому что подготовили себе в уме какие-то представления о том, какими должны быть отец, муж, дочь, невестка...

Бабе Люде было уже решительно нечего ждать и нечего представлять. Всё, что было у неё и есть, — это железная койка в десятиметровой палате (в июле её перевезли в двухместную комнатёнку с одним окном), с которой она может привстать, только если кто-нибудь поддержит её за высушенные, посиневшие руки. Поэтому, наверное, она и

может позволить себе роскошь любить, несмотря ни на что.

Если попросить меня вспомнить человека, который больше других способен принять жизнь как она есть, то я назову именно бабу Люду. Даже говоря о каких-то своих ошибках, она не осуждала себя, только говорила:

— Ну что поделаешь, такая уж я бессовестная.

Как я уже писала, через некоторое время она стала видеть меня. И сразу же начала называть «доча».

— Ты — моя доча. Я не вру. Честное слово. А это моя внучка. Правда?

Конечно, формальная правда заключалась в том, что передо мной была полусумасшедшая старуха, обречённая провести остаток своих дней на казённой железной кровати с вонючим матрасом, в убогой комнате с подслеповатой лампочкой, брошенная и забытая. И ещё была я — мамка двоих детей, с висящим за душой банковским долгом, совершенно чужая женщина для обитательницы дома престарелых Прохоровой Людмилы Михайловны, ничем по факту не могущая ей помочь.

Но всё это стало абсолютно не важно. Мы с бабой Людой знали и другое — знали истину, в которой я на самом деле была её дочкой и обе мы были прекрасны.

Потом она стала рассказывать мне уже не только давно былое, но и то, что происходило сейчас. И даже спрашивать меня:

— Ты сама как?

Однажды она встретила меня и как-то странно посмотрела:

— Слушай, доча... А где у тебя муж?

— На Парашютной улице, — ответила я первое, что пришло в голову.

Баба Люда выругалась по матушке.

— А какую холеру он там делает? Чё ко мне не приезжает?

Мне совсем не хотелось рассказывать ей невесёлую и довольно банальную историю своей распавшейся семьи, и я попыталась перевести разговор на другое, но баба Люда так и вцепилась в меня за рукав пальцами.

— Хороший он?

— Да... Хороший...

— Любит тебя?

— Я не знаю... Нет, наверное.

— Как ты не знаешь? Да он живёт с тобой?

— Нет... Давно уже.

— Ёж твою клёш. А чё ты раньше молчала? Я тебе всё про себя, про себя... Вот бессовестная.

Она развернула ко мне лицо и взяла мою руку в свою, вся приготовившись слушать. Но у меня не оказалось совсем никаких слов. Жаловаться не хотелось, ворошить прошлое — тем более. Я просто села внизу у кровати, обняла бабу Люду и прижалась лицом к её руке.

— Знаешь, ты такая красивая,— сказала я, когда наконец поднялась с пола.

— Ну да,— охотно согласилась моя «матушка», кокетливо приглаживая на макушке смолисто-чёрные вихры.— Мне бы вот ещё серёжки вставить—и совсем бы хорошо.

— У тебя же есть серёжки.

— А я ещё хочу. Золотые вставлю—во красotka буду! Доча, честно, я не вру. Тут у нас санитар новый, парнишка молодой,—вот с золотыми серёжками-то я его это... охмурю! Скоро как раз должен прийти.

Я, конечно, понимала, что она шутит:

— Не-ет, бабонька, если молодой и красивый—мне оставь!

Из коридора вдруг послышался сердитый мужской голос:

— Вы что там, с ума сошли?! Я вообще-то медбрат, а не санитар!

Мы с бабой Людой в голос расхохотались.

Как и все мы, за свою жизнь баба Люда наломала немало дров. Бессчётное число раз она обижала свою старшую сестру-очкарика, грубила матери, прогуливала школу, воровала с работы, лгала и хвасталась. Случались у неё и более серьёзные грехи (о которых мне не хочется вспоминать, потому что это всё-таки поверенная мне чужая тайна), но—именно случались. Всё скверное в жизни моей «матушки» всегда казалось мне случайным и наносным, вещами, которые повторяются почти с каждым из нас из поколения в поколение.

Я никогда не говорила ей, что она поступала плохо, хотя бы потому, что она и сама прекрасно это знала. Но при этом, признавая свою «бессовестность», всегда была открыта к Божьему прощению. И всякий раз, когда я вижу её, мне на память приходят строчки из цветаевской «Бабушки»:

Свистят скворцы в скворешнице,
Весна-то—глянь!—бела...
Скажу:—Родимый,—грешница!
Счастливая была!

За всё то время, что мы с бабой Людой были знакомы (чуть больше полугода), я научила её молиться. Она сама однажды попросила меня об этом. Несколько раз мы с ней вместе молились за покойного раба Божьего Илью—его баба Люда вспоминала всё же чаще других своих близких.

— Господи, миленький. Господи, помилуй... Пожалуйста. Не оставь.

В такую минуту она была очень сосредоточена. Но в другое время баба Люда редко бывала серьёзной. Часто даже подкалывала меня, как, например, в тот раз, когда я долго не могла отыскать в коридоре выключатель.

— Ну, ты какая-то глупая стала, доча. Надо тебе тут маленько со мной полежать, тут быстро человека в порядок приводят.

Я смеялась, где-то в глубине души осознавая, что и в самом деле когда-нибудь могу оказаться на месте бабы Люды, на этой её железной койке. А могу и не оказаться. Ни то, ни другое не важно. Важно только то, что мы вместе есть.

В последний свой визит я спросила у «матушки», какой гостинец привезти ей в подарок.

— Да что хочешь, доча, лишь бы из твоих рук. Но лучше всего—конфетку. Я ведь сладкое люблю... Ананьевич прятал от меня, ругался: не ешь много! нельзя тебе! А я ведь всё равно ела...—она развела руками и выразительно, с еле заметной улыбкой, посмотрела на меня:—Ну что поделаешь—бессовестная...

Я ездила к ней два раза в месяц от самого начала лета вплоть до зимы, потом заболела на две недели, а после того ещё две недели не приезжала из-за каких-то дел. Когда в конце декабря я появилась на первом этаже интерната и заглянула в знакомую комнату, бабы Люды там не было. На одной койке сидела высохшая старуха с птичьим лицом и задумчиво затягивалась папиросой. Другая кровать была пуста.

Оказалось, что с инсультом бабу Люду привезли в больницу, там она пробыла несколько дней и умерла. Подробностей её ухода мне, конечно, никто не сообщил. В доме престарелых каждые два или три месяца кто-то умирал, и ничего сверхординарного тут не было.

Я не знаю, о чём она думала перед смертью, была ли в трезвой памяти или потеряла рассудок. Конечно, хочется верить, что ушла она спокойно и безболезненно и что за семь положенных суток всё-таки нашлись её родные. А если не нашлись, то когда-нибудь найдутся, придут на её могилку внуки от Анжели или Ксении.

Вы ж, рёбрышко от рёбрышка,
Маринушка с Егорушкой,
Моей землицы горсточку
Возьмите в узелок.

Цыганская дочь

Много песен прошло через мою жизнь, много звуков и мелодий волновало меня, пробуждало в душе радостные и печальные воспоминания; много стихов, положенных на музыку, без всяких клипов превращалось в моём уме в яркие, обретающие плоть образы, которые заставляли поверить в то, что песня—это истина, что её герои, которые ищут, творят, любят (про что же ещё слушать песни, как не про любовь?!),—живы и правдивы.

В девять лет я ещё не ведала, кто такие Киплинг, Островский, Михалков и Гузеева. Я только знала, что на праздниках, а иногда и просто в выходные по телевизору показывают кино, в котором мечется и плачет красивая девушка в белом платье, которого мучают разные неприятные особы. И, видно,

чтобы убежать от этих назойливых типов, она садится на корабль и поёт, а вместе с ней поют и танцуют совсем другие, весёлые, бойкие люди в цветастых костюмах:

Мохнатый шмель — на душистый хмель,
Цапля серая — в камыши.
А цыганская дочь — за любимым в ночь,
По родству бродяжьей души.

И милая девушка в белом всплёскивает руками, веселится, пляшет, смеётся... А потом её почему-то выгоняют с этого корабля, не разрешают больше радоваться, гонят обратно к угрюмым назойливым людям, из яркой ночи в хмурое утро.

Поклонницей «Жестокого романа» была не только моя мама, но и её подруга, которая обязательно включала пресловутого «Мохнатого шмеля» на своих днях рождения, чтобы танцевать под него с платком на плечах. И однажды я спросила у них обеих:

— Кто такие цыгане?

Мама и её подруга сказали, что цыгане — это люди, которых надо остерегаться, потому что они не работают и воруют. И петь так красиво, как в «Жестоком романсе», давно уже не умеют.

С тех пор прошло много лет, и жизнь занесла меня работать в детский сад. Там мне доверили приглядывать за малышами-двухлетками, собирать с ними пазлы, гулять, играть — то есть работать воспитательницей на ясельной группе, самой младшей из возможных в нынешних садиках. В первую неделю я привыкала к плачу и рёву, стоящему в яслях с семи до десяти утра. С девяти часов детишки понемногу успокаивались, понимали, наверное, что мамы-папы придут ещё не скоро, и начинали заниматься своими делами: катать машины, кидать мячики, рассматривать картонные книжки.

Один из ребятишек, по имени Максим, любил в то время только одну игру — с посудой. Ему нравилось расставлять-переставлять стаканчики на специальной игрушечной кухоньке, складывать в кастрюльку маленькие пластмассовые овощи, «мыть» тарелки в раковине. Я любила наблюдать за ним. У него были яркие, чётко очерченные тонкие губы, широко распахнутые карие глаза с короткими чёрными ресницами и смуглая кожа с нежным румянцем. Из-за слишком выступающих скул и оттопыренных ушей его нельзя было назвать красивым ребёнком, но он подкупал меня своим прямым взглядом и тем, что, в отличие от других детей, говорил постоянно не «дай, дай», а наоборот, «на, на».

— На, на, — повторял Максимка, взмахивая руками, как бабочка крыльями.

— Это он «няня» говорит. Мама то есть, — объяснила мне однажды напарница, пожилая женщина, проработавшая тридцать с лишком лет в яслях.

Мама приходила за Максимкой рано, в пять часов. Она работала младшим воспитателем в другой группе нашего же детского сада. Её звали красиво, как мою маму, — Любовь. Люба притягивала меня своей необычностью. Она ярко красила свои и без того выразительные губы, которые были полнее, чем у сына, мазала веки бирюзовыми тенями, часто надевала блузки и кофты с большим вырезом, носила вещи каких-то диких, кислотных цветов. Но её кричащая внешность странно не соответствовала кроткому взгляду ясных карих глаз, скромности движений и робкой, хотя иногда слезка лукавой, улыбке.

Мне хотелось познакомиться с ней, и я, отдавая вечером ребёнка, стала рассказывать ей о том, что он делал, как себя вёл. Она слушала, иногда благодарила за заботу, и только. Но однажды она задержалась, пришла не в пять, а около семи. В яслях остался один Максим, не считая моей родной дочки, которую я привела из другой группы. С того дня мы и стали общаться.

Нам было легко друг с другом. Люба сразу сказала, что её воспитали не родители, а бабушка, с которой она живёт и сейчас. Я тоже поведала ей про свою семью.

— А где у тебя муж? — спросила я.

Она несколько секунд смотрела на меня, может быть, пытаясь угадать, зачем я задаю такой вопрос.

— Где-то в Емельяново. А твой?

— Мой где-то в Красноярске.

Люба поглядела на меня вначале с удивлением, граничащим с испугом, а потом в лицо расхохоталась. И я стала смеяться вместе с ней.

— Прости, — сказала она, всё ещё не оправившись от смеха. — Я думала, что одна такая потеряшка.

— Ничего, — успокоила я.

Напарница в яслях неодобрительно смотрела на то, что я болтаю с Любой и слишком часто ласкаю Максима.

— Ребятишек вообще нельзя гладить, тискать. Они же привыкнут. Будут лезть к тебе, и работать нельзя будет, пойми. А к этому я вообще не знаю что тебя тянет. Он же нерусский.

Через несколько дней я отважилась спросить у своей новой приятельницы:

— Люба, слушай, а кто ты? Я имею в виду, по национальности... Не таджичка? Но вроде имя русское...

Она смущённо усмехнулась:

— Да я цыганка.

— Понятно, — сказала я коротко. — А я русская. Вроде бы...

— По тебе видно, — успокоила меня Люба. — Ты точно русская.

Когда моя смена выпадала с утра, мы почти не виделись — только в столовой, когда мне надо было получать кастрюли с едой (нянечки в яслях тогда не было). Но если я работала с обеда до

вечера, то иногда с пяти часов выводила всю свою немногочисленную группу на участок. Туда же выходили гулять Люба с Максимом. Приглядывая вполглаза за четырьмя или шестью ребятишками, мы успевали поболтать, рассказывая друг другу о детстве, о семье, о ребёнке. Так длилось до первых чисел октября.

И вдруг Люба пропала.

Она просто не пришла на работу. Воспитатели на группе звонили ей, но телефон не отвечал. Максимки, понятно, в тот день тоже не было в садике. — Да ведь зарплату только что перечислили, — жала рукой моя многоопытная напарница. — Получила деньги да и пошла гулять. Не переживайте, придёт.

На следующий день была суббота, а в понедельник Люба и вправду вернулась как ни в чём не бывало. На мои вопросы она отвечала нехотя и уклончиво. Я отсгала от неё и только узнала, что Люба как-то договорилась с заведующей и задним числом написала заявление на день без содержания.

Приятельствовать мы продолжали. К ноябрю заведующая намекнула, что скоро планирует перевести меня из яслей на какую-то старшую группу. Я надеялась оказаться вместе с Любой, но меня назначили воспитателем к другим детям. Впрочем, Люба вроде бы совсем не расстроилась:

— Хорошо, дорогая, что тебя перевели! Тебя надо к старшим. Ты умная. Посидеть бы нам с тобой где-нибудь после работы, кофе попить...

Я только вздохнула в ответ, потому что и сама хотела бы посидеть с Любой, но денег на кафе у меня не водилось, а вести её домой было нельзя: я жила тогда в съёмной комнате, на подселении. — И я с родными живу, — утешала меня подружка. — Пока тоже к нам нельзя. Ремонт у нас. Бабушка руководит. Но скоро должны закончить, уже обои остались. Придёшь к нам. Бабушка вкусно кофе варит.

Сын у Любы всё ещё не разговаривал, так и повторяя только слова «няня» и «всё, всё». Я посоветовала ей сводить к врачу, но она отмахнулась: — Э, заговорит! Так заговорит, что ещё не будешь знать, как остановить.

У неё был долг за садик, о чём знали все — подробный список должников с фамилиями и суммами заведующая разложила по группам. За мной числилось всего несколько сотен, которые я тут же возместила, а за Любой — ровно две тысячи.

— Денег нет, — жалобно объясняла она на планёрке. Завхоз (ворчливая, как все работающие на этой должности, но довольно добродушная женщина) тут же, при всех, одолжила ей пару тысяч. Моя бывшая напарница с яслей скептически хмыкнула: — Ну, завтра вы вашу Любу не увидите...

— Да надоела она, — недовольно прибавила воспитатель с Любиной группы, когда народ уже

наполовину разошёлся по рабочим местам. — То кружки не помоешь после сока. То банки после огурцов-помидоров в шкафу оставит. А куда их — нам?! Всё же выкидывать надо... А ещё опаздывает!

Мне было немного обидно от таких слов, и я думала: «Увидите все, обязательно она завтра придёт! И вовремя».

Она и впрямь пришла. Без опозданий. И её действительно увидели все. Не заметить Любу в тот день было трудно. С дальнего конца коридора она торжественно шагала в сияющем синем наряде, серебристый люрековый блеск которого был не в состоянии спрятать скромный нянечкин фартук. Подол облегающего трикотажного платья спускался ниже колен.

— Ну, красotka, привет, — сказала я.

— Привет, — радостно отозвалась она. — Как ты думаешь, мне идёт?

Она игриво мотнула хвостом из густых чёрных волос и выжидающе, как ребёнок после того, как рассказал стишок Деду Морозу, посмотрела на меня.

— Красиво, Люба. Очень здорово... Только... На что же ты его купила?

— Мне же вчера Надежда Семёновна дала денег.

— Но она думала, ты заплатишь за садик.

Люба обиженно выпятила вперёд пухлую нижнюю губу:

— И ты так говоришь, как мои воспитатели. Но ведь платье мне тоже нужно! Скоро Новый год.

Я вздохнула.

— Ты говорила, что у вас и еды мало...

— Да, мало... — согласилась Люба, задумчиво облизнув крашенные алой помадой губы. — Вот я и купила кофе и муку. Бабушка будет лепёшки печь.

В садике все возмущались её поступком, и больше всех, разумеется, завхоз, которой было жаль впустую одолженных денег. В последнюю предновогоднюю неделю я не раз слышала, как она ругала «проклятую нерусь» то коридорной нянечке, то вахтёру, то психологу.

В качестве подарка моей дочке Люба принесла кулёчек вкусных карамелек в шоколаде, и мне захотелось тоже сделать для неё что-нибудь хорошее. — Слушай, Люба, у тебя же остался долг за садик? — спросила я.

— Остался.

— Возьми, пожалуйста, от меня тысячу взаймы и заплати хоть часть. Отдашь через пару месяцев.

Люба всплеснула руками.

— Ой, спасибо, дорогая! Ой, спасибо!

Мы обнялись.

— Пообещай, что заплатишь долг, — настаивала я.

— Заплачу, заплачу! Вот ты подруга настоящая! С Новым годом тебя! Счастья тебе! Здоровья!

— И тебе, Любочка!

После новогодних каникул она проработала с неделю, а потом пропала.

Все ожидали, что Люба, как осенью, вернётся на следующий день, но она не объявилась ни завтра, ни послезавтра. Телефон, само собой, не отвечал.

Я стала не на шутку переживать. На очередной планёрке заведующая сказала, что собирается заочно уволить Любовь.

— Может быть, с ней что-то случилось? — робко предположила я.

Все вокруг посмотрели на меня с какой-то снисходительной жалостью: мол, неужели не понимаешь?

— Всё понятно, конечно, но... Вдруг действительно что-то случилось? — собрав всю свою смелость, настаивала я. — Давайте узнаем?

— Как узнаем? — спросила заведующая.

— Надо съездить к ней... Я поеду... Адрес же записан в яслях, там, в книжке...

Заведующая неожиданно быстро согласилась: — Давайте съездите к ней, но побыстрее, чтобы мне определиться, увольнять уже её или как.

В яслях я выписала Максимкин домашний адрес и на следующий день вместе с дочкой поехала туда. Оказалось, что жили они от садика довольно далеко. Я ожидала увидеть частный дом, но это была обыкновенная хрущёвская пятиэтажка. Ещё раз взглянув на номер квартиры, я облегчённо выдохнула: получалось, что Любино семейство обитало на первом этаже. Это означало, что нам с дочкой не обязательно было дожидаться, пока кто-нибудь выйдет из подъезда. Достаточно было стукнуть в окно.

Я постучала несколько раз. Наконец тюлевую шторку приоткрыл высокий и худой темноволосый парень.

— Позовите Любу, пожалуйста!

Парень не шевелился.

— Любу! Любу позовите! — я подумала, что парень плохо слышит, и перешла на крик.

Шторка мотнулась обратно, в доме послышались какие-то возгласы, стук, шаги. Через пару минут подъездную дверь открыла моя приятельница. — Это ты?! Это что же, правда ты? — схватив меня за руки, восторженно прошептала она.

— Да я, конечно...

— И доченька твоя. Ай, милые, пойдём...

Когда из тускло освещённого подъезда мы вошли в коридор, я увидела, что смуглое Любино лицо сделалось землисто-зеленоватым и заметно похудело. Плечи тоже утратили полноту, стали острыми, и во всей её фигуре было выражение усталости и нездоровья. Она куталась в какой-то нечистый фланелевый халат с длинными полами. — Болеешь? — спросила я.

Она не ответила, пока мы с дочкой не прошли на кухню. Там на клеёнчатом диванчике сидел довольный Максимка и столовой ложкой поедал сырую сгущёнку из банки.

Люба подвинула моей Тане банку с карамельками и глубоко вздохнула.

— Лена, плохо мне... — она испуганно огляделась, не стоит ли кто-нибудь рядом с дверьми кухни. — Ты только шёпотом говори, ага? Я болею... Слабость такая, тошнит... Прямо сил нет встать. С утра выворачивает. Не знаю, что же это, раньше не было так...

Ошеломлённая догадкой, я вопросительно уставилась на неё:

— А ты случайно...

— Да, да, — она выставила вперёд ладонь, не дав мне договорить. — Не знает никто пока.

— А он?

— Он знает. Сказал, подумает.

О чём именно подумает, я не стала переспрашивать.

Я рассказала Любе, что на работе все, естественно, недовольны и ждут объяснений.

— Заведующая и вовсе хочет тебя уволить. Ты бы хоть позвонила ей. Нельзя же так теряться. Позвони.

Люба вжалась в угол кухни, замотала головой. — Я боюсь. Меня уже столько не было, будут сильно ругать. Сильно, сильно будут ругать...

— Ну что же делать, всё равно надо позвонить, прийти, — пыталась убедить я её.

На глазах у Любы блеснули слёзы.

— И за работу ругать будут, и за это... Бабушка ой-ой как будет ругаться! — вцепившись тонкими пальцами в грязное полотенце, шёпотом повторяла она.

Я вздохнула:

— Ну что ты как маленькая?..

Она совсем расплакалась и кинулась мне на шею:

— Скажет: куда ты мне понарожала? О-о...

Я отважилась спросить её про мужа.

— В Емельяново он... я тебе ведь говорила.

— Так что же, он с тобой не живёт?

— Нет, почему?.. Живёт иногда.

Немного погодя, убедившись, что родные увлечённо смотрят какой-то фильм по телевизору, она стала рассказывать:

— Бабушка не хотела, чтобы я с ним сошлась. Он, знаешь... такими нечестными делами занимается. Ну, незаконными... немного. Одно время он тут жил, у нас. Но долго жить не смог. Он такой горячий, сердится быстро. Кричал. Бабушка тоже сердилась... Но вообще-то он хороший.

Я горько улыбнулась: вот она, фраза, которой каждая женщина готова оправдать мужчину, которого любит.

— Он взял да уехал в Дивногорск. А я тут осталась с Максимкой. Тут бабушка, мама, отчим. Накинулись на меня: как это муж тебя бросил?! Это же позор... Плохая, значит, жена. Бабушка говорит, что я хозяйка плохая...

— Вот ты и поехала его искать?

— Да. А он ни телефон оставил, ничто... Только сам иногда приезжал, когда хотел. Летом был, потом в октябре был. А потом вот, в ноябре, декабре, ни разу и не приехал. Я соскучилась по нему. И поехала его искать... Вот каникулы-то были.

— И нашла?— поневоле удивилась я.

— А то!— с гордостью ответила Любка.

Я поглядела на неё, только сейчас успеваю сопоставить все факты.

— Ты, получается, как раз у него была на Новый год?

— Не на сам Новый год, а второго января. А третьего я уже сюда уехала. Чтоб мои не потеряли.

— Мать... — изумлённо покачала я головой.— Ну ты снайпер. В один день... Точное попадание.

Она, похоже, не поняла мою грустную шутку.

В кухню заглянула одетая в чёрное старуха. Она была не очень высокой, но статной, и казалась стройной, несмотря на свои однозначно немолодые годы.

— Бабушка, это подруга моя, Лена,— представила меня Люба.— Мы с ней вместе работаем. Она пришла проведать, как я.

Я поздоровалась.

— А я ей объяснила, что на больничном, что сейчас болею и эту неделю можно не приходить,— затараторила Люба, взглядом показывая, чтобы я молчала и не возражала.

— Так что же ты сидишь?— накинулась на неё старуха.— Доставай колбасу, доставай винегрет! Угости человека!

Люба мгновенно выпрямилась как струна и подлетела к холодильнику.

— Ты проходи туда, в зал,— пригласила меня старуха.— Проходи, проходи. А дети пусть игрушками поиграют.

За считанные минуты в большой комнате собрали и накрыли белой скатертью стол, нарезали варёную колбасу и сало, выложили в огромную хрустальную чашу винегрет, рядом в тарелочке— солёные огурцы. Высокий парень, которого я увидела в окно, переключил телевизор на музыкальный канал. Он смотрел на меня с явным интересом, но мне его молчаливое внимание было скорее неприятно и хотелось, чтобы он либо отошёл от меня, либо сказал хотя бы несколько слов. Но он молча сидел рядом со мной в кресле.

Люба и её мама продолжали кружиться по дому, приносить хлеб, посуду, салфетки. В воздухе витала непередаваемая смесь запахов старой мебели, чеснока, пряностей, варящегося в турке кофе и фильмов Эмира Кустурицы.

Наконец все сели за стол.

— Ну, Бог благослови,— торжественно сказала бабушка, и мы начали есть.

Она представила мне по именам Любиных мать и отца. Оба они на её фоне выглядели какими-то невыразительными. Кивнула на парня:

— Это Андрей.

Некоторое время мы ели молча, а я не могла оторвать глаз от старухи. Трудно было определить, сколько ей лет. Морщинистые руки, пятна на лице и шее говорили о преклонных годах. Но при этом все движения у неё были быстрые, чёрные гладкие волосы поседели только наполовину, а глаза, тёмные, как осенняя ночь, смотрели пристально и строго. От такого взгляда, казалось, невозможно было ни скрыться, ни даже немного уклониться.

Она стала расспрашивать меня, предлагать угощение. После мяса и винегрета Любина мать подала кофе с карамельками и сухарями.

Старуха отпивала медленно, с наслаждением. — Сколько, говоришь, лет твоей дочке?— спросила она.

— Четыре.

Она облокотилась на ручку старого коричневого кресла.

— А у меня две дочки и сын. Но могло быть больше. Я ведь сделала девятнадцать абортгов.

Когда человеку сообщают что-то неожиданное, но хотя бы теоретически укладываемое в его картину мира, обычно говорят, что он испытывает удивление. Когда же он слышит или видит вещь, которой даже не мог вообразить, то удивления не бывает— бывает ступор оттого, что ты пытаешься хотя бы немного осознать только что воспринятый факт. Я не знаю людей, удивившихся информации о том, что ближайшую к нам звезду Альфа Центавра отделяют от Земли четыре с лишним световых года. Это настолько невероятно, что находится за пределами удивления.

Старуха ещё много рассказывала мне о своём муже, о старшем сыне, который умер, о разных событиях в своей жизни. Меня уже стали утомлять эти рассказы, но слушать её вполуха было навряд ли возможно— здесь, в этом доме, она царствовала и правила.

— А ты почему к нам раньше не приезжала?— довольно строго спросила она, когда мы уже прощались.

Я растерялась.

— Так вы меня не звали.

— Теперь зовём. Приезжай к нам когда захочешь,— одарила она меня монаршей милостью.

С Любой мы договорились, что она придёт в понедельник и вместе со мной, чтобы было не так страшно, явится к заведующей с повинной. Она пришла во вторник. Весь садик смотрел на неё откровенно неприязненно, хотя на сей раз у Любы не было ни блестящего платья, ни привычной красной помады на губах.

— Попроси остаться,— посоветовала я ей.

— Нет,— неожиданно решительно отказалась она.— Подумай сама, как мне тут работать? Все надо мной насмеваются. Одна ты нормальная.

Заведующая, разумеется, отчитала Любу. Я пошла с ней некоторое время, пока меня не попросили уйти, да я и сама почувствовала, что теперь им надо поговорить наедине. Сидели они долго, и минут через десять я не выдержала и подбежала послушать. Люба плакала и повторяла одно слово:

— Верну, верну.

Оказалось, что она ещё до Нового года набрала долгов на четырнадцать тысяч. Только завхоз ссудила её при всех. Остальные, жалея, втихомолку, как и я, решили одолжить Любе кто пятьсот рублей, кто тысячу, кто полторы. Никому она долг пока не отдала.

Отрабатывать две недели она отказалась наотрез:

— Пусть заплатят меньше, я туда не приду. Они меня теперь ненавидят. Какую-нибудь гадость сделают. Или ребёнку моему сделают. Уйду так.

Ей выплатили деньги, из которых она вернула большую часть долга.

— Отдашь мне в марте? — попросила я.

— Конечно! Я сейчас устроюсь куда-нибудь, садиков много. И отдам тебе.

Садиков, конечно, всегда было много, и нянечки в них требовались постоянно. Однако у Любки было две существенные детали: уже родившийся и скоро собирающийся родиться ребёнок.

Я выписала для неё несколько номеров детских садов. Она звонила, но ей отказывали, ещё не узнав про беременность: далеко не все руководители были готовы за бесплатно взять трёхлетнее чадо. Я уже предлагала Любе устроиться уборщицей или кассиром в «Красный Яр».

— Ага, а куда Максимку дену? — вопрошала она.

— Дома.

— Бабушка не будет с ним возиться! Она деньги даёт, продукты, а возись, говорит, сама.

— У тебя там ещё брат есть, — вспомнила я.

Люба отвернулась и замолчала.

— Не хочешь про него говорить? — догадалась я.

— Он не совсем того у нас, — смущённо пробормотала Люба. — Заикается ещё... Нельзя с ним.

Она устроилась в садик прямо напротив дома, не читая никаких объявлений.

— Я просто пришла туда и сказала: «Вам нужна няня?» И они меня взяли.

Признаться, я не очень-то поверила подружке, уже понимая, что она может, делая честные глаза, наврать с три короба. Но во второй мой визит бабушка подтвердила, что Люба точно работает и Максимка тоже ходит в новый сад.

— Через две недели аванс, вот я тебе и заплачу, — пообещала Люба.

Про беременность она уже призналась родным. — Я ведь на работу устроилась, деньги буду получать, бабушка поэтому не так уж сильно ругалась, — рассказала мне она.

В марте я напомнила ей про долг, просила заплатить, но Люба сказала, что аванс быстро истратился, и просила подождать ещё две недели до зарплаты.

К началу апреля мне позарез нужна была эта одолженная тысяча. Подходил срок платы за комнату, а денег мне не хватало. Одну тысячу пришлось занять на работе, вторую я ожидала получить назад от Любы.

Когда я в очередной раз позвонила ей, телефон был отключён. На следующий день — тоже. Мне ничего не оставалось, как вместе с дочерью снова поехать к Любе домой.

Помню, что в этот приезд я почему-то посмотрела на всё происходящее другими глазами. Вот сейчас мне не хватает денег, меня, в самом плохом случае, попросят съехать из комнаты, а теперь я еду возвращать свою кровную тысячу, которую у меня выманила хитрая особа, умеющая втираться в доверие.

Когда я стала мыслить в таком ключе, то заметила, что подъезд был грязным и заплёванным и прямо возле двери валялась целая россыпь окурков.

«И главное, я иду к цыганам, к какой-то сумасшедшей бабке, да ещё и тащу за собой ребёнка», — вдруг ужаснулась я самой себе.

Слово «цыгане», вкупе с потёртыми коврами на стенах и нелепыми красными дорожками на полах, стало вызывать во мне какое-то смутное чувство между брезгливостью и страхом. Крепкий запах кофе казался тошнотворным, голос Любиного отчима, выкрикивающий нерусские слова, — резким и неприятным.

Но когда я увидела Максимку и моя дочь легко пошла к нему навстречу, как к старому знакомому, то эти страх и пренебрежение куда-то улетучились.

Я объяснила старухе, что мне срочно, позарез нужна одолженная тысяча, а Люба не отвечает на телефон и не возвращает мне её.

— Понятно, — отозвался Любин отчим.

Матери не было дома. Я подумала, что это, наверное, не случайно: выходило так, что они с Любой работали, обязательно должны были работать, а отчим и брат сидели дома.

— Она плохо поступила, — сказала старуха. — Она вообще от нас много скрывает. Извини её, пожалуйста.

Бабка протянула мне невесть как появившуюся у неё в руках тысячу.

— Держи, у тебя ребёнок, деньги нужны. А когда она тебе соберётся отдать, ты скажи ей, чтоб вернула бабушке.

Я протянула руку, но почему-то медлила забрать купюру. Долгие секунды, которые прошли между сказанными старухой словами и моим «спасибо», я смотрела на лица Любиных брата и отчима. Отчим казался равнодушным и привычным ко всему и только еле заметно кивнул, заметив мой долгий

(наверное, нерешительный) взгляд. Лицо Андрея, наоборот, выражало нетерпение и радость, как будто не бабушка, а он сам дарственным жестом протягивал мне эту тысячу.

— Бери же, — сказала мне она.

Рука у неё была тёплой, даже горячеей, несмотря на тонкую и сухую кожу, покрытую обычными для стариков коричневыми пятнами.

— Бабушка о ней заботилась всегда. А она не всегда платила добром. Скрывает что-то от нас. А так не надо. Бабушка не обманет.

Мне хотелось хотя бы из вежливости как-то поддержать эти слова, рассказать что-нибудь про свою бабушку. Но, увы, она умерла, когда мне было только девять, и особенной благодарности к ней, как и радостных моментов, я не успела испытать.

На дорогу мне дали карамелек и печённую на сковороде лепёшку из пресного теста.

Я ещё раз съездила в этот дом через несколько месяцев, когда уже царило цветущее, полнокровное лето. Старый дворик тонул в пышных облаках тополиного пуха, а в высоком небе, наоборот, облаков не было — оно дышало теплом и сияло яркой голубизной.

Из окна ещё с улицы слышались музыка и смех. Я подумала, что в чью-нибудь честь устраивают праздник, и пожалела, что пришла не в нарядной одежде. Оказалось, гости пришли к Любиному отчиму, и все они собрались в зале, громко разговаривали и смотрели телевизор. В коридоре валялись пакеты с вещами и просто разбросанные тряпки. Люба завела меня в небольшую комнату, где тоже стояли пакеты и коробки.

— Скоро переезжаю, — гордо объявила мне она. — К мужу!

Её нескрываемая радость передавалась мгновенно, как сигнал в витой паре. Мы чему-то смеялись и держали друг друга за руки, будто девчонки-шестиклассницы. Потом Люба показывала мне вещи на будущего ребёнка, свои новые «золотые» серёжки, хвасталась, что сама сшила на машинке несколько пелёнок, говорила, как себя чувствует и взамен слышала мои рассказы о дочке. При этом она и слова не молвила о своём загадочном муже, но мне и не особенно хотелось узнавать о нём. По счастливому Любиному лицу было видно, что она готовится к скорой встрече с кем-то дорогим и близким, и этого мне было вполне достаточно.

В Емельяново родные мужа забрали у неё телефон. Теперь можно было звонить только на его номер и просить, чтобы позвали Любу. По голосу этого человека чувствовалось, что он не особенно рад одалживать телефон для долгих разговоров своей жены со всякими подружками, так что теперь мы перекидывались несколькими фразами.

Я почему-то знала, что Люба родит девочку. Так и вышло: тёмной и ветреной сентябрьской ночью у неё родилась дочь Катя. Об этом мне сказал

какой-то незнакомый человек, когда я однажды позвонила по последнему Любкиному номеру. Больше телефон не отвечал, и вестей от моей приятельницы не было слышно до тех пор, пока однажды меня не вызвали на разговор сотрудники микрозаймовой конторы.

— Любовь Дмитриевна указала ваш номер телефона в нашей анкете и сказала, что вы являетесь её подругой. Это правда?

Я не стала отрекаться от дружбы с Любкой.

— Вы знаете, где она сейчас находится, где работает?

— Пока не работает, в декрете, а живёт в Емельяново.

Больше мне нечего было сообщить, и разговор прекратился.

Через пару недель Люба вдруг позвонила мне и взхлёб начала рассказывать о своей дочке, о том, как хорошо жить в частном доме.

— Лето! Красота! Выйдешь на улицу — гуляешь, гуляешь! Скоро свёкры доделают ремонт в комнате, так я тебя приглашу. Приедешь в свой отпуск с дочкой, поживёте у нас! Кормить вас буду — сметаной буду кормить, лепёшками, кофе поить! Теперь я кофе научилась варить не хуже бабушки!

Я порадовалась, что у неё всё так хорошо устроилось, и решила, что самое время напомнить про долг.

— А много ты в микрозайме должна? Мне тут звонили и спрашивали о тебе. Когда сможешь отдать? — спросила я по возможности спокойнее. — Звонили? — всполошилась Люба. — Что ты им сказала?

— Да ничего. Адреса твоего я всё равно не знаю. Только и сказала, что живёшь в Емельяново. Что в декрете.

Она тихо, но грубо выругалась.

— Ну зачем ты это сказала? Зачем, а?

Мне стало немного обидно. Ещё никогда я не слышала от неё грязных слов, тем более в свой адрес.

— А что я сказала такого? Всего-то — где живёшь. Всё равно ведь этот долг отдавать, раз уж взяла!

— Отдава-ать, отдава-ать... — презрительно зашептала она. — Может, я и не хотела отдавать. Не всякому надо отдавать! А это — мошенники, они и так перебьются! А нам были деньги нужны. Очень нужны!

— Долги отдавать всегда надо, — упрямо повторила я, всё ещё обиженная резким тоном.

— Правильная какая! — бросила мне Любка. — Ты уж, будь добра, больше ничего про меня не говори!

Я вдруг поняла, что она обиделась, пожалуй, не меньше моего, и пообещала:

— Не скажу, больше ничего не скажу им. Ты только признайся: много взяла?

— Немного.

— Ну сколько? Пять?

— Может, и пять,— неопределённо ответила Люба.— Ладно, давай, пока. Созвонимся как-нибудь по этому номеру.

Больше она не звонила. Ни с этого номера, ни с другого.

Андрей нашёл меня во «вконтакте», попросился в «друзья» и ставил «сердечки» на моих фотографиях. Мы ничего не писали друг другу, и через полгода я удалила его.

В этой же сети я нашла и Любу, поздравляла её с Новым годом и днём рождения, но она долго

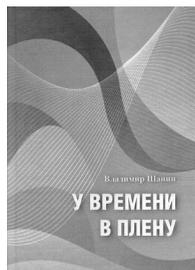
ничего не отвечала. Я терпеливо ждала, зная, что в её суматошной жизни может ещё оказаться и так, что и страница на самом деле не её или поделена с кем-нибудь другим.

Наконец она отозвалась, поинтересовалась, как живу я.

«А у меня всё хорошо»,— написала Люба.

И кому-кому, а ей нельзя было не поверить—ей, которая понимала жизнь только как праздник и научила меня тому, что даже на последние две тысячи можно купить платье.

ДиН РЕВЮ



Владимир Шанин

У времени в плену

Красноярск: «КАСС», 2019

Это книга воспоминаний «о друзьях, товарищах»— старых и молодых писателях и художниках, с которыми автор общался, дружил, просто встречался, или переписывался, или хорошо знал по их произведениям. Многие уже покинули этот бренный мир, и очерки о них, если можно так назвать— литературные портреты, автор публиковал в газетах и журналах. Бунинская строка: «Нет, мёртвые не умерли для нас!»— послужила основной мыслью— пробудить интерес у нынешнего читателя к произведениям ушедшего поколения, сохранить память об этих писателях.

Она может служить незаменимым дополнением к учебнику по краеведению и литературоведению в средних школах и высших учебных заведениях, а также быть полезной для тех, кто интересуется историей литературы.

Енисей— река писателей

Между прошлым и будущим живёт настоящее и его реальность. В настоящем времени всегда есть социально-духовные скрепы, взятые по традиции из прошлого, без чего и будущее человека не просматривается. В этой триаде общественного бытия знаменательное место отводится художественной литературе, её писателям. Самая надёжная преемственность в истории— язык, благодаря языку существуют государства и империи. Трудно представить Римскую империю без латыни, империю Александра Македонского— без греческого языка. Русский язык объединил Российскую империю, потом СССР, а ныне— Россию. Нация без языка— живой труп.

Носителем языка, его охранителем является художественная литература, а её писатель— слуга языка, ученик народа-языкотворца и сын Отечества. В такой единокровной связке осуществляется, как сегодня говорят, всеобщая коммуникация, начавшаяся с устной речи.

Без языка не может быть и преемственности среди людей, а она обеспечивается памятью слова и сердца. Историческая память поддерживается и материальными артефактами культуры (орудия труда, домостроение, архитектура, «чудеса науки и техники»), но они без языка глухонемые. Некоторые из них недолговечны, могут даже исчезнуть без следа, но память о них остаётся в Слове: в текстах сказаний (как у Гомера), в последующей письменности, в рукописях, летописях, наконец, в сочинениях профессиональной художественной литературы во всех жанрах.

Мы делаем это вступление для того, чтобы именно с этих позиций оценить «книгу о писателях» В. Я. Шанина. Сам он, как профессиональный писатель, показал связь времён на примере созданной им трилогии о великом русском художнике Василии Ивановиче Сурикове, уроженце города Красноярска на берегах могучего Енисея. Писатели прописывают время жизни и сохраняют представление о ней на страницах созданных книг. Писательское слово— самое ёмкое по объёму информации, образное по впечатлению, убедительное по отражению быта, драм и трагедий человеческой судьбы. Что бы мы знали о прошлом, не будь писательских произведений?!

ВЛАДИМИР ЗАМЫШЛЯЕВ

Галина Данилова

Возвращение

Ибрагим шёл по берегу, утопая туфлями в мелкой гальке. Море медленно катило валы волн, которые заканчивались на суше всплеском фестонов, обрамлённых пенистым кружевом.

Возле небольшого мыса он остановился и, повернувшись к морю, долго смотрел вдаль. Там, за морским горизонтом, был другой берег, другая страна.

В ушах звучали слова старой песни: «Не нужен мне берег турецкий, чужая земля не нужна!» Ох, как же он был ему нужен, этот турецкий берег, тридцать лет назад!

...Ибрагиму исполнилось десять лет, когда немецкие войска заняли Крым.

Однажды отца вызвали в комендатуру, и он долго не возвращался. Ибрагим думал, что его арестовали, ведь Рефат, старший брат Ибрагима, сражался в рядах Красной Армии против фашистских захватчиков.

Отец вернулся домой в весёлом настроении, он о чём-то долго шептался с матерью. Сына, а тем более младшую дочь Фатьму, родители в свои дела не посвящали.

Вскоре домой вернулся Рефат. В немецкой форме. Ибрагим всё понял. Так же неожиданно, как и появился, Рефат исчез. Ибрагим болезненно переживал такое перевоплощение брата. Родители чувствовали себя виноватыми за то, что не открыли Ибрагиму раньше своё истинное отношение к социализму. Они боялись за возможные осложнения у сына в школе.

Ибрагим был самым советским в семье.

Он хорошо запомнил этот день, когда седовласый мужчина, участник революционных событий, повязал ему и другим ребятам красные галстуки и сказал, что галстук — это частица красного знамени и носить его — большая честь.

Одно лето Ибрагим отдыхал в пионерском лагере «Артек». Там он подружился с ребятами из разных союзных республик. Ему нравилось ходить маршем под звуки горна и бой барабанных палочек, говорить речёвки, петь задорные пионерские песни.

Ибрагиму становилось страшно от мысли, что он мог родиться где-нибудь в трущобах Америки, где кучка капиталистов эксплуатирует многомиллионный рабочий класс.

Когда началась война, он понял, что это капиталистический мир хочет разрушить завоевания социализма. Но Красная Армия остановила победоносное шествие немецкой армии и вскоре сама пошла в наступление.

Вот тут-то Ибрагима обуял смертельный страх. Он понял, что предателям не будет пощады.

И надо же было так случиться, что в тот момент, когда домой забежал Рефат, Ибрагим отлучился со двора. Рефат попрощался с родителями и сестрой и сказал, что будет ждать Ибрагима на берегу, насколько это будет возможно.

Когда Ибрагим прибежал на берег, Рефат уже отплыл на открытом катере к берегам Турции. Ибрагим, рыдая, метался по берегу, глотая слёзы вперемешку с морской водой, брызгами разлетающейся от прибрежных скал. Море неистово грохотало, заглушая мальчишеские рыдания.

Восемнадцатого мая 1944 года по указу Сталина крымских татар депортировали в Среднюю Азию, а военных, которые дезертировали из Красной Армии и примкнули к фашистским захватчикам, отправили в норильские лагеря.

Джизак, где поселили семью Ибрагима, — маленький узбекский городок, который находится на полпути от Ташкента к Самарканду. Близость Самарканда обрадовала Ибрагима, хотя радостью это можно было назвать с большой натяжкой. Там жил его артековский друг Рустам, но писать письмо другу он не спешил. Как они встретятся после таких событий? И что Рустам вообще знает о войне? Здесь только плакаты: «А что ты сделал для фронта?» или «Родина-мать зовёт!» напоминали о ней.

Поселили семью Хаджиевых в заброшенной халупе вместе с двумя такими же семьями. Женщины спали в доме на полу, мужчины — на крыше.

Вставали до света, на попутках или пешком добирались до предгорий, там собирали хворост, который потом мелко рубили и смешивали с глиной. Из этого раствора лепили дома. Надо было успеть построить жильё до холодов.

И всё же Ибрагим написал письмо другу. Друг ответил. Возобновилась прерванная войной переписка. Рустам первым приехал в Джизак, у него здесь было много родственников. Вначале Ибрагим держался скованно, но, поняв, что Рустам

настроен дружески, вздохнул свободно. Пробыв в городе два дня, Рустам отпросил Ибрагима к себе, пообещав самолично привезти его обратно.

Ибрагим думал, что семья Рустама в Самарканде живёт так же, как и узбекские семьи в Джизаке, — в глинобитных архаических постройках за глухими стенами заборов. В этих домах не было мебели, только кровати-качалки для младенцев. Спали, ели, вышивали на полу, застеленном циновками и коврами.

Во дворах были сооружены суфы — глинобитные возвышения, на которые переселялись в летнее время.

Дом друга в Самарканде стоял на центральной улице и походил на дома, какие Ибрагим привык видеть у себя на родине. Это был одноэтажный каменный особняк, состоящий из пяти комнат, обставленных мебелью.

Одна комната в доме называлась библиотекой. Здесь в три ряда стояли стеллажи, покрашенные белой краской, на них рядами и стопками были расставлены книги.

Двор соединил в себе узбекское и европейское жилище. Под зонтичной кроной шелковицы была сооружена суфа, застеленная коврами с узбекским орнаментом, вокруг благоухала кустарниковая роза.

В глубине двора росли виноградные лозы, поднятые на высокие шпалеры, шатром закрывающие от палящего солнца эту часть двора. Там стояли большой стол и скамьи. Рядом была сложена небольшая печь.

В доме друга жили две семьи эвакуированных, им отдали две отдельные комнаты. В одной поселилась Олеся Васильевна, белокурая учительница из Белоруссии, с двумя маленькими дочками. Вторую заняла Людмила Моисеевна, немолодая прихрамывающая женщина, со своей престарелой матерью. Они прибыли из Ленинграда.

Сами хозяева жили в двух смежных комнатах: в одной родители, в другой дети — Рустам со своим младшим братом Омаром. Старшая сестра Гульназ была замужем и жила в семье мужа.

Отец Рустама был большим начальником. Саид Омарович, высокий узбек с длинным щербинистым лицом, носил рубашку с воротником апаш и широкие парусиновые брюки, на голове неизменно была тубетейка.

Мама Рустама, круглолицая казашка, заплетала одну косу и укладывала вокруг головы в виде ободка на манер русских женщин. Её платья были сшиты из узбекских тканей с национальным рисунком, но фасоны отличались от традиционных платьев на кокетке, какие носили поголовно все узбекские и казахские женщины.

Роза Садыковна была переводчицей. Перед войной она с группой коллег занялась очень трудной работой — созданием математического языка.

— Разве есть такой язык? — удивился Ибрагим.

— Есть. И очень нужный для Узбекистана.

Из объяснений друга Ибрагим понял, что узбекская наука зашла в тупик из-за невозможности приобщиться к мировым достижениям.

В средние века арабы, завоевав страны Средней Азии, сделали арабский язык государственным и языком науки.

Нация, давшая миру таких великих людей, как астроном и энциклопедист Райхан Беруни, знаменитый математик, философ и поэт Омар Хайям, поэт и мыслитель Алишер Навои, которые жили до арабского закабаления, к началу двадцатого века в массе своей была безграмотна. Число детей, обучавшихся в это время в школах, составляло всего два процента.

Октябрьская социалистическая революция дала народам Узбекистана возможность учиться. В стране стали создаваться советские школы, техникумы, вузы. Но вот преподавать в них математику не было возможности из-за отсутствия учебников на узбекском языке, а большинство студентов не знали русского языка. Необходимо было перевести учебники с русского языка на узбекский, а для этого сначала разработать математические термины.

— А что это такое?

— Понимаешь, надо было подобрать к таким словам, как, например, «окружность» или «пирамида», эквиваленты, ну, то есть заменяющие их слова на узбекском языке, а так как таких понятий не было, приходилось подходить к этой проблеме упрощённо. Так, «радиус» дословно переводился как «спица», а «цилиндр» — «бревно». Ну и много таких казусных терминов было придумано, которые потом пришлось пересматривать. Когда термины были разработаны, необходимо было — что?

— Что?

— Необходимо было создать непосредственно сам математический язык, а это ещё более сложная работа. Одно дело знать термины, другое — с их помощью точно сформулировать то или иное математическое положение.

Рустам был умным мальчиком из интеллигентной семьи, от него Ибрагим узнал много нового и интересного.

Ещё Рустам очень любил свой город. Он показал другу все его достопримечательности. Высокие, сказочно красивые мавзолеи, медресе, мечети создавали впечатление нереальности, мистики. Особенно поразил Ибрагима мавзолеем Гур-Эмир. Его ребристый зеленовато-голубой купол восхищал красотой и монументальностью.

В северной части города друзья облазили остатки знаменитой обсерватории, построенной в пятнадцатом веке Улутбеком, правителем Самарканда и выдающимся учёным.

Поднимаясь по лестнице высокого туннеля, Ибрагим чувствовал себя маленькой частицей мироздания и в то же время был поражён могуществом человеческой мысли, создавшей такой объект для изучения Вселенной.

Вечера друзья проводили в библиотеке. Рустам научил Ибрагима играть в шахматы и нарды, показал уникальные старинные книги.

Хорошо было у друга в Самарканде, но надо было возвращаться в Джизак, где его ждала неотложная работа, которая, как туннель Улугбека, звала вперёд и ввысь, в дальнейшую жизнь. Ибрагим прекрасно понимал, что теперь эта высь будет для него значительно занижена.

После войны отца Рустама перевели в Москву, и больше друзья не виделись. Друг писал, что, окончив школу, поступил в институт востоковедения, потом работал за границей. Изредка Ибрагим получал от него поздравления из разных стран.

Сам Ибрагим после окончания школы, вместе с новыми друзьями Кириллом и Саидом, подал документы в автодорожный институт. Студентом стал только Саид, самый слабый из них в учёбе. В Узбекистане в вузы принимали восемьдесят процентов узбеков и только двадцать процентов всех других национальностей.

Кирилл поехал в Новосибирск и там поступил в электротехнический институт на вечернее отделение.

Ибрагим пошёл учиться в техникум.

В Узбекистане любили индийские и турецкие фильмы. Их крутили месяцами.

Ибрагим, сидя в тёмном зале, смотрел на экран и представлял себя в этом сверкающем неоновыми вывесками капиталистическом мире за рулём дорогого автомобиля или за столиком фешенебельного ресторана, на сцене которого крупные женщины изящно и легко исполняли страстный танец живота. Ибрагим завидовал брату.

Рефат благополучно добрался до берегов Турции и, начав с малого, добился успехов в торговле. Женился на турчанке, которая родила ему двух дочерей, имел дом на берегу моря, две автомашины. Очень тосковал по родным. Весточки о себе передавал через работников советского посольства в Турции.

Ибрагим после техникума отслужил два года в армии, вернулся домой и женился на девушке Жене, которую полюбил ещё в детстве, в Крыму.

Впервые его сердце затрепетало, когда он увидел её на школьном дворе в белом фартуке и с новой причёской, которая преобразила её. Раньше волосы, стянутые в тугие косы, казались прямыми, сейчас, коротко остриженные, они свернулись в завитки и крупные волны, сделав её похожей на американских актрис.

В тот год Ибрагим пошёл учиться в шестой класс, Женя—тоже в шестой, только параллельный. С тех пор игры с ребятами не доставляли ему удовольствия, если рядом в кругу друзей он не видел Женю.

Иногда Ибрагим сам вызывал Женю на улицу. Когда она выходила, он запускал руку в её локоны и дёргал, подставлял подножки, корчил рожи. Так он проявлял свою любовь. Время нежных отношений ещё не пришло.

Женя понимала состояние Ибрагима, ей он тоже нравился. Ей нравились и другие мальчики. Но однажды, получив совет от своей старшей сестры: «Замуж надо выходить не за того, кого ты любишь, а за того, кто тебя любит»,—решила: только Ибрагим.

Прожив к этому времени больше двадцати лет в браке, они сохранили друг к другу тёплые чувства и оказывали поддержку в трудных жизненных ситуациях.

За тридцать лет, прошедших со дня депортации, Ибрагим ни разу не был на родине. По роду службы—он работал начальником снабжения на механическом заводе—часто бывал в командировках, объездил всю Сибирь, Дальний Восток, Прибалтику, а вот в Крыму—ни разу.

Часто по ночам ему снилось море. Казалось, он лежит на спине, распластавшись на его прохладной глади, и ялтинское солнце не жгуче, а нежно согревает его.

Однажды он проснулся от крика чаек, машинально отодвинул портьеру: на него равнодушно смотрела луна с усыпанного холодными звёздами азиатского неба.

И вот наконец-то он на родине! Сейчас прямиком отправится на автовокзал, купит билет до Бахчисарая и уже сегодня увидится с сестрой и её домочадцами. Фатъма полгода назад переехала в Крым и недавно написала брату, что подыскала для него подходящий домик. Хотя нет, перед тем как отправиться на автовокзал, надо обязательно зайти ещё в одно место.

Ибрагим стал подниматься по узкой крутой тропинке.

Кружил голову аромат пахучих трав.

Тропинка вырвалась на ровное место и весело побежала вдоль обрыва, огибая небольшие взгорья и вековые деревья. За эти годы Ялта очень изменилась, но была узнаваема.

А вот и он, отчий дом! Белый лебедь, утопающий в пышной зелени! Сделанный из крымского ракушечника, дом выглядел таким же, как и тридцать лет назад.

Бешено колотилось сердце, в висках ощутимо пульсировала кровь. Он прислонился к ажурной изгороди.

— Мужчина, вы кого-то ищете?

Со стороны двора подошла полная, начинающая сидеть женщина.

— Скажите, здесь Сорокины живут?— Ибрагим назвал первую пришедшую на ум фамилию.

— Нет, здесь таких нет. Хотя постойте, кажется, у прежних хозяев была такая фамилия. Знаете что, проходите во двор, сейчас на обед придёт мой муж, он вам даст их новый адрес.

Женщина отворила калитку. Ибрагим прошёл по асфальтированной дорожке к дому, сел на скамейку возле террасы. В висках застучало ещё сильнее. Он обхватил голову руками.

Хозяйка копошилась на огороде, не забывая поглядывать на незнакомца. Видя, что его состояние не улучшается, подошла к нему, участливо спросила:

— Вам плохо? Может, водички хотите попить?

И тут она услышала неожиданное заявление:

— Я сегодня должен здесь переночевать!

Теперь плохо стало хозяйке. Обмякли руки и ноги, а внутри появился неприятный холодок. Но она быстро восстановила ослабший организм истеричным криком:

— Ещё чего! Я его пустила отдохнуть, мужа дождаться, а он тут уже и спать собрался.

Скрипнула калитка.

— Гриша, иди быстрее сюда, тут один приبلудный в нашем доме решил заночевать.

При виде хозяина Ибрагим повторил своё решение.

— Я сегодня должен здесь переночевать!— сказал он и сжал челюсти.

Ибрагим понимал, что отойди он сейчас хоть на одно слово от этой фразы— разрыдается, а вот этого он допустить не мог.

Григорий, краснолицый здоровяк, рванул к Ибрагиму, но жена преградила ему путь.

— Гриша, не надо... Я сейчас приведу участкового, и он во всём разберётся. Только, ради Бога, не трогай его!

Минут через двадцать женщина появилась во дворе в сопровождении милиционера. Страж порядка удивлённо оглянулся на семяющую за ним хозяйку.

В открытую дверь террасы было хорошо видно, как хозяин чокается с незнакомцем бокалом, в котором искрилось домашнее виноградное вино.

Странно устроена человеческая память! Через столько лет разлуки, попав в родительский дом, Ибрагим думал, что воспоминания обступят со всех сторон и ночью будут сниться события далёкого прошлого. Но ночью он спал очень крепко и, проснувшись, с лёгким сердцем примирения покинул отчий дом и поспешил к автостанции.

Не доходя полквартала до автовокзала, Ибрагим услышал удивлённый возглас:

— Ибрагим, ты?!

Перед ним стоял незнакомый мужчина лет сорока, с редкими, тщательно зачёсанными набок волосами. Мужчина улыбнулся.

— Генка-а-а!

Друзья детства обнялись. Подружились русский мальчик Гена и татарин Ибрагим в первом классе, когда учительница посадила их за одну парту. В начале войны Генка вместе с матерью уехал в Сибирь, и до этого момента Ибрагим о нём ничего не знал. Начался беспорядочный, прыгающий с пятого на десятое разговор.

Когда мужчины уже имели представление о прошлой жизни каждого, Ибрагим спросил:

— А где твой брат Иван?

Геннадий помедлил с ответом, лицо его померкло. С трудом преодолевая сковавший горло спазм, ответил:

— Погиб Иван... Он воевал в партизанском отряде, каратели жестоко расправились со всеми...

Установилось тяжёлое молчание.

Во время войны большая часть крымских татар перешла на сторону фашистских захватчиков. И лишь небольшая толика татар продолжала героически сражаться в рядах Красной Армии, прекрасно понимая, что дарованный местным жителям рай вскоре может обернуться жестоким рабством.

В те годы мало кто знал отношение Гитлера к другим народам. Задача Адольфа Гитлера заключалась в том, чтобы использовать труд населения захваченных территорий, а затем это «мясо» просто уничтожить.

Друзья расстались, унося в своих сердцах радость встречи и скорбь о погибших.

Прошлое никогда не остаётся позади, оно всегда рядом с нами. В настоящем.

Вторая встреча произошла через несколько месяцев, тоже в Ялте. Ибрагим понуро шёл к морю, ничего не видя вокруг. Шёл прощаться. Он опять возвращался в Узбекистан. Несмотря на то, что правительство в 1974 году издало указ о снятии ограничения в выборе места жительства для крымских татар, появились проблемы с оформлением покупки дома и с пропиской. В жизни указ пробивался с трудом. В этот момент Ибрагима и остановил школьный друг.

— Ибрагим, как дела? Ты что такой расстроенный?

Ибрагим рассказал о своих проблемах, едва сдерживая слёзы.

— Если бы ты только знал, как я стремился сюда, как не спал ночами, вспоминая родные места, как это больно— быть оторванным от родины, жить на чужбине, когда душа, как раненая птица, не может вырваться из клетки и полететь туда, где ты родился. И вот, казалось, мечта улыбнулась, но опять возникли запреты.

Геннадий положил руку на плечо школьного друга:

— Я тебе помогу.

И помог. Было трудно пробиться через кордоны власти, но друг сделал это. Ибрагим купил дом на законном основании и получил крымскую прописку.

Не просто, ох как непросто было Геннадию решиться на такой шаг. Образ брата стоял перед глазами. Разумом он понимал: надо снять озлобление, ни к чему хорошему это не приведёт, но вот сердце... Мать часто повторяла заповедь Серафима Саровского: «Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи». Отец всегда корректировал миролюбие жены: «Кто старое помянет, тому глаз вон, кто забудет, тому оба». Отец погиб в войну под Наро-Фоминском, защищая Москву. Сын пошёл на компромисс, взяв как образец оба мудрых изречения.

Ибрагим был благодарен Геннадию за помощь. Он тоже всё понимал. И тоже страдал. Потихоньку затягивались раны, устанавливались приятельские отношения. Узнав, что Геннадий задумал строить летний домик, вызвался помочь. За полтора месяца они соорудили во дворе усадьбы крепенький домик, который семья Геннадия сдавала отдыхающим.

Ещё в эвакуации, в Сибири, друг познакомился с девочкой Оксаной, которая приехала из Украины к родной тётке. Мать по дороге в Сибирь умерла, вскоре померла и тётка. Отец погиб в шахте ещё до войны. Оксану определили в детский дом, который находился в пяти километрах от посёлка. Гена несколько раз навещал подругу, приносил гостинцы: хлеб, молоко, картошку.

Когда закончилась война, Гена с матерью вернулись в Крым.

Отметив двадцатилетие, Геннадий отправился в Сибирь, разыскал Оксану и привёз в Ялту. Через месяц, когда девушке исполнилось восемнадцать лет, они расписались. Долго не было детей, а потом родилась Светочка, через семь лет — Андрюшенька. Молодые были счастливы. Мать молилась, чтобы не было войны.

Ибрагим вернулся на родину с двумя детьми — десятилетним Рустамом и трёхлетним Энвером. Летом Ибрагим привозил детей к морю. Евгения с сыновьями почти всё лето жила в старом доме Геннадия, им освободжали одну комнату. Ибрагим оставался в Бахчисарае, он работал водителем автобуса.

Прожив тридцать лет в Узбекистане, Женя научилась готовить узбекские блюда: плов, шаурму, самсу, которые получались у неё не хуже, чем у узбекских хозяек.

Летом они вместе с Оксаной пекли чебуреки — крымско-татарское блюдо — и продавали отдыхающим.

В выходные дни Ибрагим присоединялся к семье. На террасе накрывали стол. Оксана лепила полюбившиеся детям Ибрагима вареники. На любой вкус: с картошкой, с грибами, с творогом, с вишней. Евгения готовила татарское блюдо азу и узбекский плов. Пили сухое вино. Иногда мужчины спорили, но до драк не доходило.

После чаепития пели. У Оксаны оказался красивый сильный голос. Когда она заводила: «Распрягайте, хлопцы, коней», — все умолкали, потом негромко подпевали. Геннадий обязательно запевал свою любимую песню: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». Видно, крепко запомнились сибирские морозы, а может, хотел лишний раз доставить удовольствие жене. «У меня жена-а-а-а, ох, краса-а-а-а-авица».

Геннадий немного знал татарский язык, он подпевал гостям, когда они затягивали свои родные песни. Все очень любили и дружно исполняли песни из репертуара узбекского ансамбля «Ялла».

Однажды они услышали, как дети в беседке поют ритмичную, популярную в то время песню: «Я, ты, он, она, вместе — целая страна! В слове „мы“ — сто тысяч „я“!»

Прошло много лет. Распался Советский Союз. Произошло массовое переселение крымских татар в Крым. Страна готовилась к референдуму о статусе Крыма.

Накануне Геннадий позвонил Ибрагиму. — Как дела, старина? На референдум пойдёшь? — Конечно, мне внук по Интернету такую трость выписал, я теперь, как молодой, рысью бегаю.

— За что голосовать будешь?

— За присоединение к России, а ты?

— Мы тут с женой долго спорили...

Ибрагим от души расхохотался:

— У вас там, наверное, межнациональные разборки?

— Политическое шоу. Всё же я убедил Оксану: Крым должен принадлежать России!

Глеб Рубашкин

Туманы

Золотистые волны накатывают, глядят и обнимают своими колосьями. Небо забыло про то, как выглядят облака. Больше всего хочется раскалившимся затылком почувствовать хотя бы малейшее движение воздуха.

До леса осталось совсем немного, когда они заметили его. Белёсый, с длинными, как у женщины, почти бесцветными ресницами. Лицо усеяно крупными веснушками. Часто-часто моргает, разбрасывая капли выступивших слёз.

— Tote mich nicht! Ich bitte dich! Ich habe eine Familie—eine Frau und drei Kinder! Nicht schießen, nicht schießen, bitte!—лопотал немец, судорожно протягивая смятую фотографию, на которой счастливо улыбались миловидная круглолицая женщина и три таких же миловидных девочки в одинаковых белых платьицах в мелкий горох.

— Про что он бормочет?—спросил Ковальчук.

— Про детей что-то,—отозвался, услышав что-то смутно знакомое со школьной ещё скамьи, Селиванов.

— А-а-а, про детей. Вот и оставался бы с ними дома, с детьми. Пошли. Некогда нам здесь задерживаться. Рядовой Чельшев, фрица—в расход!

— Как в расход?

— Что значит «как»?! Молча. Ты что, дефективный? Или тебя на срочной службе винтовкой не учили пользоваться? Выполняй приказ!

— Товарищ лейтенант, я не могу. Не могу вот так, безоружного.

— Ты что, Чельшев, под трибунал захотел?! Или ты хочешь подождать, когда они все сюда прибегут?! Может, ему ещё пулемёт вернуть?

— Я всё понимаю. Рука не поднимается.

— Стреляй, мать твою! Ты на войне, а не с бабой на сеновале! Стреляй, я сказал!

Когда Чельш щёлкнул затвором, немец, вложив все свои силы в один большой прыжок, вмиг оказался подле него и, ухватившись обеими руками за ствол, мокро и нечленораздельно завыл. Чельш резко ударил его правой ногой в грудь, отбросив метра на два от себя, и сразу, без промедления, нажал на спуск.

Потом немец часто приходил к Чельшу по ночам. Оборачивал к нему своё рябое, выпачканное в грязи, масле и слезах лицо и визгливым бабьим голосом начинал голосить. Его крик пронизывал

Чельша, как спица, насквозь и выходил наружу вместе с холодным и липким потом, бесповоротно нарушая то сладкое, безмятежное спокойствие, которое дарит нам сон.

На войне с каждой новой смертью Чельш больше всего поражался тому, как он всё это воспринимал. Так, будто кто-то пытался докричаться до него с берега, а он плыл под водой, едва улавливая отдалённую волну звуков и неразборчивые слова, и ему совсем не хотелось выныривать на поверхность.

Под Москвой он попал в окружение. Его руки тогда опустились в прямом смысле, из обеих запястий сочилась кровь, из ран выглядывали белые-белые кости. Единственным оружием, которое он мог использовать, были его крепкие ровные зубы, справиться с которыми не смогли ни сырые окопы Смоленщины, ни гнилой Дальний Восток. Командиры обнаружили брешь в рядах немцев и предприняли попытку выйти из окружения. Чельш из последних сил переставлял ноги. Рядом с ним брёл солдат, с трудом удерживая руками то, что так не хотел от себя отпускать,—свои кишки, которые предательски вываливались при ходьбе из огромной раны на животе.

Чельш никогда не пытался себе объяснить: что же это такое было? Какая сила уберегла его тогда, не дала пуле скользнуть чуть повыше руки, не позволила сдаться в плен и упасть под кусты в надежде на то, что кровь унесёт из него всё то, что так беспокоило,—боль, страх и отчаянье? Что заставило земляка-танкиста, с которым он три дня назад поделился махоркой, оказаться рядом с ним и подняться на борт своей бронированной «ласточки»?

Чельш просто глубже и глубже погружался под воду. Туда, где уже ничего не слышно и слышать не хочется.

Ласковые предзакатные лучи разукрасили улицу мягкими цветами тёплого летнего вечера. Чельш присел на лавочку у калитки и самозабвенно потягивал папироску. Едкий сизый дым и нежное августовское солнце умиротворяли и несли с собой ощущение спокойствия и гармонии. Это был своеобразный ритуал, некое священнодействие, тайный смысл которого был постижим лишь ему одному.

Чельш любил тишину, ждал её и наслаждался ею.

Однако в гармонии всегда находится место для тревоги, которая незаметно появляется, постепенно пускает корни и в конце концов полностью разрушает то, что до этого казалось таким незыблемым. Предвестником той самой тревоги стал гулкий протяжный стон, доносившийся издали.

Несмотря на то, что звуки эти были привычны Челышу, так как слышал он их практически каждый будний день, лицо его исказила еле заметная гримаса.

— Опять Балда со своими туманами, — сорвались с его губ резкие, но едва слышные слова.

Призрак недавней идиллии злорадно растворился в воздухе.

С другого конца улицы раздавались дребезжащие протяжные звуки, очень похожие на рёв раненого животного. Несмотря на, казалось бы, их несвязный характер, иногда человеческое ухо могло уловить отдельные сильно исковерканные слова, изредка выпадавшие из этой «стены шума». Самым узнаваемым из этих слов было «па-а-ати-а-а-аны».

Челыш знал, что через несколько минут можно будет опознать и другие слова. Учитывая то, в который раз для него уже звучала эта «ария», он мог и не напрягать свой слух. Эту песню Челыш знал наизусть, хотя давно был готов отдать всё на свете за то, чтобы её никогда больше не слышать. Судя по всему, звучал только первый куплет, и надо было готовиться к худшему. Идти домой, в духоту, не хотелось, и Челыш решил в очередной раз испытать всю эту муку до конца. Правда, его решительность в этот раз была какой-то особенной. Он терпеливо ждал, уверенный в том, что Балда и сегодня не изменит свой привычный маршрут и примерно минут через десять окажется рядом.

Балда неспешно приближался к дому Челыша. Он с наслаждением покачивался из стороны в сторону и с удивительной для его состояния ловкостью избегал всех препятствий, которые встречаются на сельских тропах, — ям, камней и коровьих лепёшек.

— Здорово, Балдин! — окрикнул издали Балду Челыш.

— Здорово, Пётр Иванович! Дай подымить, коль не жалко, — с дружелюбной готовностью откликнулся Балда, довольно быстро преодолевая расстояние до дома Челышевых.

— Да чего там! Держи, конечно. Садись — покурим. Чай, устал? Где трудился-то сегодня?

— Сегодня баню в Медянке закончили для Кривокурихи. Баня знатная вышла, мне аж завидно стало, что у самого такой нет. Только нескладуха получилась: она денег от сына ждала, а он чего-то не прислал. Ну вот и пришлось ей нам первачом проставляться. Когда расплатится теперь — шут её знает! Андрюха Тулупов все кости ей перемял, а Кривокурихе всё как с гуся вода. Она знай на стол мечет да приговаривает: «Ты, Андрюша, выпей,

покушай поначалу — намайся-то ведь как! А там и порешаем, что с калымом-то делать». Андрюха, конечно, про деньги гнёт и гнёт, а живот всё равно своё просит. Ну, он и поддался. А у Андрюхи же привычка — знаешь, поди: он ведь перед каждой стопкой крестным знаменем себя осеняет и произносит: «Ну, Господи, благослови!» Он себе и в этот раз не изменил, конечно. Но как только произнёс своё коронное да стакан к губам поднёс, тот у него возьми в руках да и тресни! Так треснул, что аж весь стол осколками засыпал! Тулуп весь лицом побелел да со двора-то её и вышел резко. Нам ещё, проходя, шепнул: не пейте, мол, ребята, её самогон — заговорённый он. Сам знаешь, чего про неё судачат. А нам-то с такого расстройства без вина вообще тяжело было — хоть вой. Вот и послали мы Андрюху с евойной дурью туда, куда девок обычно приглашают, — усмехнулся Балда. — Самогон и на самом деле особенный какой-то у неё — после литровины на троих унесло нас так далеко, что аж страх взял не вернуться оттуда. Жаль только вот, что лапу сосать и дальше теперь придётся. А у меня ещё и случай такой, что треснуть надо, а денег найти.

— А что за случай-то?

— Да Алёнке день рождения послезавтра, а гостинец покупать мне и не на что. А она ведь ждать будет — знает, что папка её не забудет.

— Так ты что — совсем без гроша?

— Гол как сокол. Тяжело сейчас здесь с работой. В колхоз к Палычу я не пойду — это всё равно что гадюку на болоте дразнить. Я ему там как бельмо на глазу буду. Он и так разговоров про Зойку избегать старается, а тут вдрут мне ещё заместо красной тряпки пред его глазами заявиться? В город убежать, вослед дражайшей супруге? Так это можно сразу в каталажку направляться — ну не смогу я там удержаться от того, чтоб рыло её конторскому не начистить! А если уж про сам завод-то говорить — тоскливо для меня всё там. В цеху летом особенно тяжело — не вздохнуть. Что сталеваром, что сварщиком, что слесарем — не моё это. Другое дело совсем — на воздухе брёвна тесать или лес валить на просеке. Вот это по мне! Только туго нынче с работой-то для плотника!

— Может, тебе продать что-нибудь?

— Да нечего. Если только паутину из углов собрать да бельевую верёвку из неё сварганить. Только ещё не факт, что сам её использовать не захочу — совсем тоска зелёная заела, даже вино не помогает. Как Алёнку в город отвезу, так и берёт сразу за сердце. Как клещами. То надавит посильнее, то ослабит. — А много ли целковых на подарок тебе надо-то? Чай, девчонка, не королевна какая.

— Да рублей пять-семь. Алёнке рисовать дуже нравится. Всё говорит: «Вот бы красками настоящими, масляными, попробовать!» Я тут в Горький ездил недавно — Савельичу мебель грузить

помогал—да и зашёл на Свердловку. А там увидел вывеску: «Художественный салон». Зашёл—а там чего только нет: кисти, холсты, краски, картины разные продаются. Красиво всё. Смотрю—масляные краски лежат, пять семьдесят. Думаю: «Вот Алёнка обрадовалась бы!» А денег с собой нет ни шиша. Калымов мало последнее время. Народу на хлеб не хватает—какая уж тут стройка! А Алёнка ведь ждёт—знает, что я ради неё в лепешку расшибусь. Не то что маманя с хахалем её. Я вот думаю, у Кривокурихи баню поднимем—да заимею рубликов. А с ней видишь как всё получилось.

Челыш сочувственно покачал головой:

— Эх, вот бы помочь как тебе! Да в долг не дашь—не вернёшь ведь, пропьёшь. Знаем мы вас, плотников-работников. Да мне бы и так не жалко тебе подсобить, да, говорят, толка не будет в этом, если задаром.

Упереносицы Челыша собрались глубокие-преглубокие борозды, нос вдруг как-то заострился, а глаза потонули под нависшими бровями.

— А может, мне у тебя какую-нибудь безделицу купить?

— Может, лапти возьмёшь? От деда Семёна ещё остались. Вещь самая что ни на есть полезная. Любым из них Ваське с первого раза в рожу попадаю, когда он, злодей, на стол запрыгнуть решается.

— Да нет, что ты! И кошки-то у меня отродясь не водилось. Может, ты мне что-нибудь не такое ценное продашь? Всё ж таки сам дед Семён вязал лапти-то. Таких мастеров нынче не сыщешь.

— Что же тебе продать-то? Нет у меня ничего.

— Ну не скажи! Есть кое-что.

— Говори, Челыш, не томи! Что же это за сокровище такое у меня есть, о котором я сам и не знаю?

— А вот песня у тебя есть, что ты каждый вечер горланишь. Про партизан там что-то.

— Да хорош шутить! Как это так—песню продать? Да и на кой она тебе?

— Ну, тебе-то она ведь на душу легла. А мне, думаешь, не может? Хотя на ушах моих в своё время целое семейство медвежье потопталось, а песни я люблю, с армии ещё. Только вишь чего—почти у каждого мужика в деревне есть своя козырная. Вот я и подумал: пусть и у меня такая песня будет. Мне эта, про «туманы-партизаны», приглянулась очень. Давай я тебе шесть целковых, а ты мне слова её на листочке запишешь, а сам другую какую выучишь. Ты—парень шустрый по таким делам. А песен разве хороших мало?

— Нет, Иваныч, другую без толку петь. Эта у меня от души идёт. Тоску она глушит, пока звучит. Я её услышал, когда в госпитале лежал в сорок втором. К нам тогда знаменитый хор Пятницкого приезжал. Много песен они нам спели—русские народные в основном. Но как стало подходить к концу, объявили, что решили исполнить сегодня совсем новую песню. И тут выходит на сцену

девушка—Валентиной, кажись, звали. Молоденькая такая, симпатичная. Как только запела, у меня ком в горле встал да слёзы предательские на глаза начали наворачиваться. Песня закончилась, а в зале тишина, ни звука. Видно, не на одного меня она так подействовала—все как в ступор вошли. Тут меня понесло будто что-то. Я до сцены в три прыжка добежал да как чмокну эту Валю в щёчку её румяную. «Спасибо вам за песню такую чудесную!—говорю я ей.—Нельзя ли повторить?» Она стоит, глазами своими хлопает—опешила, видать, сильно. А тут ещё все как захлопают, костылями по полу застучат, заорут: «Браво! Бис! Даёшь ещё!» Раза четыре они эти «Туманы» спели тогда. С тех пор вот и не расстаюсь я с ней, с песней-то. Она мне, можно сказать, как талисман: пока помню—пою. Пока пою, жить ещё хочется. — Ну, если так она дорога тебе—извини, не знал! А ты, Санёк, не грусти, не тоскуй—образуется всё у тебя. Ты вон какой ещё молодой да складный! На селе ни одной холостой али вдовой бабёнки не осталось, которая тебя глазёнками-то своими ещё не обстреляла. Ходил бы да вместо того, чтобы песни орать, по сторонам получше посматривал. Ну да ладно—кому-кому, да не мне тебя учить. Пойду я—забор поправлю. Как говорится, «делу время, а потехе—час». Вот час мой, который на потеху, весь и вышел. Бывай здоров!

— Пётр Иваныч!

— Чего ещё?

— Постой! А про то, что песню у меня купишь,—ты не пошутил?

— Нет, конечно. Ты когда разве слышал, чтобы я шутил?

— Да нет, ни разу. Верится в это с трудом что-то. Ну а коли я решусь продать тебе эту песню—как узнаешь, что я слово своё сдержу?

— А я тебе, Саня, на слово поверю. Село ведь у нас не такое большое. На одном конце чихнёшь—через полчаса уже каждому двору известно. А ты что—или надумал вдруг?

— Да негде мне больше денег искать. А для дочки чего не сделаешь? Переживу как-нибудь. Есть карандаш? Давай напишу слова.

— С собой нет. Сейчас из дома вынесу. И целковые захвачу в придачу. Погода маленько.

Буквально через несколько минут Челыш вернулся с листком писчей бумаги, идеально подточенным карандашом и несколькими изрядно помятыми купюрами в руках.

— Возьми вот, семь рублей—и на краски хватит, и на дорогу до Горького в оба конца.

— Давай карандаш. Я слова тебе сначала запишу.

Балдин старательно вывел протрезвевшими руками на помятом, неровном листе бумаги слова, которые помнил всегда и в любом состоянии мог повторить наизусть. Поставив последнюю точку, он ещё раз пробежал глазами написанное и вдруг

неестественно резким движением протянул листок Чельшу:

— Ну, держи, Пётр Иванович, пользуйся. Хорошая песня. А что, семь рублей—это ведь не тридцать сребреников? Или без разницы?..—Сашины губы скривились в жалкое подобие улыбки.

Он взял протянутые Чельшом целковые, опустил голову и медленно побрёл по направлению к родному лому, будто бы разыскивая что-то у себя под ногами.

Последнюю фразу Балды Чельш не понял. Да и чего только хмельному на язык не придёт? Он аккуратно вчетверо сложил листок со словами песни и убрал во внутренний карман пиджака. Пользоваться он им, конечно, не собирался. «Всё равно пусть лежит. Вместо договора будет»,—ухмыльнулся Чельш и достал новую папиросу. Вечер начинал налаживаться.

Через пять месяцев автобус с заиндевевшими окнами вёз Чельша в родное село. Он ещё с осени обосновался в городе и работал на заводе сварщиком—вспомнил профессию легко, заново учиться не понадобилось. Денег получал несравнимо больше, чем в колхозе. Вечером ходил в кино. Иногда на танцы выбирался. Нет, не танцевал. На девок глазел. Да и не только глазел, конечно. Такие крали приходили—в кино не увидишь, не то что на селе! А настоящих мужиков, таких как он, было в ту пору мало совсем. Вот и попадали эти птахи в его силки практически беспрепятственно.

Но что же тогда повлекло его домой? Две причины. Одна, можно сказать, официальная—племянника в армию проводить надо было.

Про вторую причину Чельш никому не рассказывал. Около двух недель назад из села ему пришло письмо. От девушки. Звали её Елена Щукина. Жила она на соседней слободе, их огороды разделял лишь один невысокий забор. Совсем недавно Чельш её даже не замечал. Так, носилось что-то мимо сопливое, с вечно разбитыми коленками и в залатанных платьях и сарафанах, что доставались от двух старших сестёр донашивать. То корову из стада встречает, то по воду бежит, то с мальчишками играет в чижа или в салочки. А буквально прошлым летом как расцвела девица, налилась берёзовым соком так, что её теперь иначе как Еленой Прекрасной никто и не называл.

Тем удивительней было Чельшу узнать из письма, что уже два года как смотрит на него Елена не только как на соседа, но и как на мужчину, с которым хочется прожить бок о бок всю свою жизнь. Однако по причине природной скромности и строгого воспитания подойти и заговорить первой она даже и мысли себе не могла позволить.

Чельш был сильно обескуражен этим письмом. Он несколько раз его перечитывал, до конца так и не веря в то, что там было написано. Искал

какой-то подвох, но так и не смог найти. Он просто-напросто ни во что уже не верил. Чтобы унять непонятную ему доселе тревогу, твёрдо решил при первом удобном случае поговорить с Леной и всё окончательно для себя выяснить.

Подходящий повод для поездки в село не преминул представиться: сына старшей сестры Анюты, Егора, призвали в армию, и она, собирая сыну проводы, естественно, пригласила на них и брата Петра. Анюта, как и Елена, жила на соседней от Чельша улице, только на четыре дома дальше.

К дому Анюты он подошёл около шести часов вечера. По шуму, который был слышен издалека, было понятно, что застолье уже в разгаре. В прихожей Чельш заметил, что все половики сняли для удобства гостей, поэтому, не разуваясь, сразу же проследовал в большую комнату. Кровать из неё вынесли, а к обеденному столу, который находился в центре помещения, приставили ещё два.

Гости уже успели разделиться на группы «по интересам» и наполнить весь дом шумом базарной площади.

Анюта заметила брата и сразу захлопотала: за столом было довольно тесно, и нужно было быстро найти для Петра место и при этом никого не обидеть. Она блестяще справилась с этой задачей и буквально за две минуты уговорила постесниться своих говорливых родственников, мужниных тёток Тамару и Евдокию—бабу Дусю, которую местные юмористы прозывали Дульсинеей.

В результате Чельш оказался аккурат между ними. Напротив, через стол, его соседями оказались бригадир сельских плотников Андрей Тулупов с женой Марией.

— Здорово, Иванович!—Тулупов привстал и протянул Чельшу свою здоровенную «клешню».

— Здорово. Андрюха! Как дела у тебя? Работы хватает?

— Да уж не жалуемся—сам, поди, знаешь, что с осени завод начал материалы выделять для своих работников на строительство. Рук там хватает не всем. Вот они нас и зовут на подмогу. Мужиков толковых только всё меньше и меньше. А так—отказывать даже некоторым приходится.

— А мужики-то куда пропадают? Война-то уже закончилась.

— Да в город почти все уехали. А те, кто остался,—зашибают сильно или вообще сгнули, как Сашка Балдин.

— Балдин? А что с ним?

— А ты разве не знаешь? Ведь уже почти месяц как нету его.

— Как нет? Да где же он?

— Да сказал же—нету! Умер он, погиб!

— Как умер? У него здоровья на полдеревни бы хватило.

— Да спился он, тоска, видно, заела. Летом ещё ходил—песни распевал, а по осени запил по-чёрному.

Тут уж, видно, ему не до песен уже было. А под Новый год запоролся зачем-то далеко в лес, на Зимовку, да и замёрз там насмерть — пьяный был, не почувствовал, наверное, даже, что отходит. Я вот всё думаю, что так и не смог он перенести того, что Зойка в город к своему инженерушке сбежала, шалава поганая! Какого мужика погубили! Лучший плотник в бригаде был!

— Слыш, Андрюша, а ты знаешь, как он перед смертью начудил-то ещё, Балда-то наш? — решила вмешаться в разговор Дульсинея.

— Ты это о чём, тётя Дуся?

— Да говорят, что когда нашли его в лесу замёрзшего, то шибко удивились, зачем он туда с собой целую коробку красок захватил. Сашка отродясь акварелями не баловался. Что за чёрт его заставил эти краски в лес тащить?

— Да если тебя, баба Дуся, тоже «белочка» посетит, ты и не то в лес потащишь, — губы Тулупова скривились в язвительной ухмылке: Дульсинея ему не нравилась, потому что она была «тихой» стервой и сплетницей, впрочем, как и добрая половина деревенских бабушек. — Может, сковородку любимую, а может — граммофон.

— Что это ты, Андрюша, на меня так осерчал? Я или чего не так сказала? — заискивающе пропихала баба Дуся.

— Да ты поменьше языком мели да побольше внуков воспитывай, а то вырастут лоботрясами, как Коленька твой! Говорят тебе: пил мужик по-чёрному с сентября самого, не осталось у него разума к зиме уже никакого! Тосковал он страшно. А ведь всё из-за вас, из-за баб! Вся любовь у вас только на словах, а на деле... Эх! Да что я тебе говорю?! Как об стенку горох! — Тулупов резким движением опрокинул себе в глотку всё жгучее содержимое стограммового граёного стакана и уставился невидящим взглядом в пол.

— Андрюшенька, не сердчай на меня, глупую старуху! — заверещала Дульсинея.

С ним ей невыгодно было ссориться. Баня у неё совсем покосилась, а Коленька — хоть и сын родной, а руками своими лучше всего умел если только в носу поковырять.

— Давайте лучше песню Сашину любимую споём. Ему, наверное, там приятно будет, — вклинилась в диалог тётка Тамара и, не дожидаясь ответа, затынула своим дребезжащим голосом:

Ой, туманы мои, растуманы!
Ой, родные леса и луга!
Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага.
Эх! Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага¹.

Дульсинея, пытаясь сгладить негативный осадок от своей эскапады, почти сразу же подхватила:

На прощанье сказали герои:
«Ожидайте хороших вестей!» —
И на старой смоленской дороге
Повстречали незваных гостей.

Следующий куплет этой песни слышали уже все без исключения Анютины гости, потому что его вместе со старушками уже ревел своим громopodobным басом бригадир артели плотников Андрюха Тулупов:

Повстречали — огнём угощали,
Навсегда уложили в лесу
За великие наши печали,
За горячую нашу слезу.

После этого пели уже все. Оказалось, что благодаря ежедневным концертам Сашки Балдина слова этой незамысловатой песни отложились в памяти практически у каждого жителя слободки:

С той поры да по всей по округе
Потеряли злодеи покой:
День и ночь партизанские вьюги
Над разбойной гудят головой.

Чельшу что-то сильно давило на грудь и в то же время нестерпимо сжимало виски. Он резко выскочил из-за стола, подхватил с вешалки свою фуфайку и молниеносно скрылся за дверь.

Выйдя на улицу, он зашагал напрямик к дому, в котором жила Елена. Колючий морозный воздух обжигал лицо. Но Чельш не чувствовал этого. Решил закурить. Достал и стал зачем-то на ходу разминать в руке папиросу. Остановился. Резко вскинув руку, выбросил её, смятую, в сугроб. Развернулся и быстрым твёрдым шагом двинулся в противоположную сторону.

В кривеньком Анютином домике, несмотря на довольно сильный мороз, окна были распахнуты — тепло от человеческих тел никак не могло уместиться в тесных, похожих на кельи комнатках. Из окон на стылый воздух вырывались знакомые до дикой, тянущей боли слова:

Не уйдет чужеземец незванный,
Своего не увидит жилья...
Ой, туманы мои, растуманы!
Ой, родная сторонка моя!

Чельш торопился. Автобус отправлялся в город уже через пять минут.

1. «Туманы» — музыка В. Захарова, слова М. Исаковского.

Джеке Маринай

В мягких кристаллах кириллицы

Перевод Елены Бувеч

От переводчика

Джеке Маринай (Gjekë Marinaj, албанск.) — американский поэт албанского происхождения, переводчик, критик и основатель теории протонизма.

Родился в 1965 году в небольшом северном албанском городе Брут. Работал журналистом, но в августе 1990-го в его судьбе случился неожиданный вираж. Газета «Дрита» опубликовала стихотворение Маринай «Кони», в котором завуалированно представлялось положение албанского народа.

Газету со стихотворением мгновенно раскупили, а стихотворение подняли на щит противники коммунистической власти в стране. Его переписывали от руки, раздавали в метро, скандировали на антиправительственных митингах и исполняли как песню. Маринаем заинтересовались спецслужбы, и под угрозой ареста он был вынужден покинуть страну. Он тайно пересёк границу и бежал сначала в Югославию, а спустя некоторое время оттуда — в Соединённые Штаты. С тех пор Маринай всегда подчёркивает свою благодарность сербскому народу за поддержку в трудный период его жизни. Связь с Сербией у писателя и семейная — его жену-сербку зовут Душица.

В США Маринай продолжил образование в Техасском университете в Далласе, защитил докторскую степень. Он основал теорию протонизма в литературной критике: в соответствии с ней критик-протонист сначала пытается понять, что представляет собой эстетическая, интеллектуальная и моральная ценность работы, учитывая её собственные условия. Если критик находит мало таковой ценности в произведении, ему следует отказаться от дальнейшего рассмотрения. «Концепция имеет непосредственное отношение к балканскому контексту, в котором литературная критика часто становится политическим, сектантским или идеологическим оружием в ущерб литературе. Но она может иметь широкое применение. А сам термин является метафорой, проиллюстрированной физикой атома: взгляд критика-протониста базируется не на летучем, лёгком отрицательном электроны, а на прочном, весомом положительном протоне», — говорит Маринай о своей теории.

Сегодня он автор книг поэзии, прозы, литературной критики, переводчик художественной литературы с английского на албанский и с албанского на английский, редактор книг на обоих языках, обладатель престижных литературных наград — американских и албанских. Живёт США. Преподаёт английский язык и коммуникации в Ричленд-колледже.

Глядя в твои добрые глаза

Ел. Б.

Поэтическая сила безмятежности
Сдаётся самой себе
Где-то в четвёртом измерении сумерек.

Твои добрые глаза —
Едва различимые тёмные тюльпаны,
Проросшие сквозь флоремы каждого цветка.

С потеплением вод Врнячки-Бани
На один градус
Любовь приобретает новый вкус.

Свежий вечер открывает
Прозрачное окно
В лабиринте твоей души.

Бабочки сострадания
Дрейфуют в тишине,
Обновляя образ современной матери.

Сквозь мягкие кристаллы кириллицы
Твоя неземная сущность претворяет
Невинные слёзы мира в свежие чернила.

Поток надежды, послушный ручке,
Струится на пустые страницы,
Чтобы вместиться в акварели сострадания.

Обещаю, что однажды весь род людской
Признает женщин столь же важными,
Как сама жизнь,

Ибо без них человечество
Сначала обезумеет,
А после исчезнет в безмолвии.

Она отправилась в Европу

Душице

Надышавшись воздухом моей любви,
она улетела, словно неуловимое дуновение сна.
Мы стали двумя опалёнными половинами планеты.
Кто б знал, любимая, насколько Европа станет лучше с тобой.

Новая сестра

Прибыла моя новая сестра:
у нас одна мать — поэзия,
питающая нас обоих
поэтическим молоком,
люющим в тонкие бумажные конусы,
увенчанные солнечными лучами.
Наш первый взгляд в нашем новом мире
свободно перетекает в мягкие стихи —
они нежнее и ярче, чем перья фазана,
они глубже и шире, чем розовый горизонт,
невиннее первой улыбки ребёнка
и более реальны, чем потребность дышать.

Она просто посвятила мне стихотворение.
И не растворилась в нём.

Но, зная, где искать,
там можно найти всё:
упакованное тщательнее,
чем её дорожные наряды,
выраженное строже, чем её облик
во дворе православной церкви.

Там с невинной любовью представлено
наше взаимное «застенчивое» восхищение,
и то, что она большой поэт,
видно в её праве написать так:

в этом стихотворении
более волнения, чем дыхания,
более тишины, чем звука,
более смысла, чем слов.

Её сердце столь велико,
её душа так изящна,
её голос до того лиричен,
что она даже не представляет.

Она — моя новая сестра.

Любовь

Невысказанная любовь —
проигранная игра,
чёрная ленточка на углу дома.

Если не умрёшь за неё,
загнёшься от неё.

Где искать мне душу поэта?

Она станет сердцем в моём скелете
(говорит мне мертвец).

Она застынет в моей боли
(говорит мне обиженный).

Она мелькнёт прикосновением в моём полёте
(говорит мне красота).

Она превратится в пепел моего костра
(говорит мне песня).

Где искать мне душу поэта
(спрашиваю я)?

Душу — не знаю, а тело я видела
повешенным на железном крюке жизни
(говорит мне истина).

Кони

Всю жизнь мы проживаем на бегу.
Мы видим только то, что впереди.
Нам всё равно, что позади осталось.
Мы безмянны. Наше имя — кони.
Не плачем мы
И не смеёмся.
Молчим.
Внимаем.
Едим, что нам поставили поесть,
Идём туда, куда нам приказали.
Напрасный труд — среди нас искать смыслёных.
Конь короля — почтение заслужит,
А конь принцессы — золотую сбрую.
Холопский — под попоной из рогожки,
А дикий спит себе под звёздным небом.
Но с человеком тет-а-тет мы — только кони.

Анастасия Нагорнова

Чистая дружба

— Смотри, смотри! Созвездие Большой Медведицы! — юноша пальцем показал на созвездие, больше напоминавшее ковшичек.

— Да ну, я бы его скорее назвала такой огромной ложкой, которая, несомненно, подойдёт великану, — девушка весело рассмеялась и показала в небо чуть ниже и правее Медведицы. — А вон рысь!

— Где же ты там рысь-то заметила? Больше похоже на ломаную кривую...

Мягкий плед довольно-таки ярких цветов был расстелен на зелёной траве, изрядно примятой к горячей после жаркого дня земле. Пускай в сотне с лишним метров возвышались каменные серые дома, редкой стеной отделявшиеся от лесного массива, ребята всё же смогли найти уютное местечко на небольшом холмике, так чтобы город оказался внизу и не привлекал взгляды. Позади плотной стеной стоял лес, из которого то и дело вырывался прохладный ветер, донося утасаживающие крики ворон и синиц. Этой ночью казалось, что небо увешано сотнями ярких фонарей, именуемых звёздами, окружавшими одинокую луну.

Конечно, девятиклассникам было трудно выпросить разрешение у родителей, чтобы выйти на улицу к лесу в столь поздний час. Но отец разрешил, поставив одно условие: они не заходят в лес и располагаются на виду у окон их квартир. Хорошо, что у пап остались бинокли с охоты и рыбалки, можно из окна присмотреть за детьми и не беспокоиться о чём-либо. Только вот в отсутствие детей жёны всю упрекали мужей за такой поступок, продолжая волноваться за своих чад.

Белокурая худенькая девочка, которая совсем недавно закончила восьмой класс, держала за руку своего лучшего друга. Грозу хулиганов как восьмых, так и девятых классов, который всегда защищал слабых, кормил бездомных животных и никогда не грубил без серьёзной причины. В свете звёзд краем глаза она заметила, как друг растрепал свои и без того торчащие в разные стороны тёмные волосы, глубоко и шумно вздыхая. Его карие глаза, всегда озорные и весёлые, сейчас смотрели с теплотой и восхищением то на неё, то на столь дивное небо. На бледных щёчках девушки проступил едва заметный румянец смущения, который она попыталась скрыть, чуть отвернувшись в сторону.

— Да ладно, Марина, не скромничай, — он схватил яблочко из сумки и протянул ей. — Я тоже смущаюсь, когда вижу красоту.

— А я не замечала, чтоб у тебя щёки краснели от смущения, Борька, — Марина взяла яблоко и, почему-то повертев его на фоне звёздного неба, откусила совсем немного.

— Это потому, что я смуглый, поэтому и смущения не видать, — Борис довольно потянулся и от души зевнул.

— Ты бы загорал поменьше, может, и не был бы таким смуглым, — задорно пошутила Маринка, передав по привычке ему яблоко.

— А не могу, само как-то получается, а в жару одеваться — это издевательство над собой! — он откусил побольше и вернул яблоко Марине, хрустя им с удовольствием.

— Тут ты прав, конечно. И кстати, — она аккуратно отложила яблочко в сторонку и, приподнявшись на локтях, спросила Бориса, не сводя глаз с его улыбки: — А почему ты вчера на крышу школы лазил, пока сторож в сторожке телевизор смотрел? — Да знаю я, что меня могли поймать и маме с папой рассказать, ох и получил бы я тогда... — он недовольно скривился и рывком сел, опершись локтями на коленки. — Кот на крышу забрался от собаки и спуститься не смог. Мы бы с ребятами прошли мимо, но у кота лапа была в крови. Вот я и полез по водостоку, чтобы снять этого крикуна и отнести в ветеринарку.

— А что с котиком? — Марина тоже села, обняв свои колени — становилось прохладнее и прохладнее.

— Лапа перебита — видно, пёс всё же успел укусить, так что заначку я спустил на лечение котика, который теперь живёт в моей комнате, и зовут его Крюк, — Борис радостно расхохотался. — Замерзла?

— Да нет, немного...

Сильнее смуглившись, Марина наблюдала за тем, как Борис снял свою вязаную кофту и надел на неё, пока не успела совсем замёрзнуть. Он помог ей подняться с пледа и быстро всё закинул в свой большой рюкзак, небрежно закинув его на плечо. Марина почувствовала себя неловко, когда ветер чуть приподнял край его лёгкой синей футболки, ведь так и замёрзнуть недолго. Но, видно, Борис

заметил сомнения на её лице и, обняв Марину за плечи, уверенно заговорил:

— Не волнуйся, я не первый раз так, в футболке, поздно вечером гуляю, иммунитет у меня крепкий, не простыну. А вот тебе надо было одеться потеплее, ваши эти кофточки не очень-то и согревают, как я погляжу.

— Просто эта кофточка была такая красивая... — начала Марина, но Борис её опередил:

— Что ты не устояла и купила. Знаем эти ваши девичьи штучки.

— А может, и так, — всё же гордо ответила Марина, осторожно перепрыгивая узенький ручеек. — Вот такие у нас девичьи штучки.

— Марина, — Борис следом перепрыгнул ручей, до дома оставалось идти совсем немного, поэтому он решил обсудить это, пока есть время. — Ты прочитала заданную на лето литературу?

— А почему сам не прочитаешь? Булгаков, Грибоедов и Пушкин очень даже великолепно и интересно пишут.

— Ой, Мариночка, ты же знаешь, как я не люблю читать книжки... — он смешно сморщил нос, театрально закрыв глаза тыльной стороной ладони.

— Ох, конечно же, знаю, ты на слух всё запоминать гораздо лучше, чем когда читаешь, — она поплотнее закуталась в кофту при очередном порыве ветра. — Я прочитала «Собачье сердце», могу пересказать.

— Ты самая лучшая, — Борис звонко поцеловал её в макушку, радуясь своему высокому росту и крепкой дружбе. — Но что мне сделать взамен? — Всего-то... съездить со мной в другой город.

Она так невинно пару раз похлопала ресничками и улыбнулась, что Борис немного насторожился, вспоминая прошлую прогулку. Тогда поездка не обернулась чем-то плохим или ужасным, он всегда ездил осторожно на своём мопеде. Но вот Марина, как только получила карманные деньги, побежала в магазины, утягивая и его за собой. Сам виноват, что тогда проиграл желание, зато стало понятно, почему старший брат Марины так хитро на него посмотрел и пожелал запастись терпением. Но оно того стоило — видеть, как Марина радовалась пустякам, словно ребёнок, хотя в школе была серьёзная и ответственная, как и подобало старосте. Книжки — это только предлог, чтобы вновь слышать её смех, видеть счастливую улыбку, гулять рядом с ней, держать её за руку и просто не отпускать. — Хорошо, уговорила. Ты мне рассказываешь «Собачье сердце», а я выполняю роль твоего верного слуги в городе в жаркий день, — на этот раз он изобразил красивый поклон, прижав одну руку к груди, а второй неуклюже взмахнул.

— Умеешь же ты рассмешить, — вновь рассмеялась Марина, чуть хлопнув его по плечу.

Поднимаясь по тёмному подъезду, где ещё в прошлый раз из рогатки разбили лампочку, Борис

внезапно понял, о чём переживала Марина. Что отпрашивались они всего на час, а вернулись спустя два часа, впереди предстояла встреча с суровым отцом и взволнованной мамой Марины. Но он, стоя перед тёмно-коричневой дверью квартиры Марины, робко постучал, торопливо пригладив свои волосы и спрятав Марину за спину. Если кому и достанется за такую позднюю прогулку, то в первую очередь ему, примет весь удар на себя, так сказать. Но дверь, как ни странно, открыл старший брат Марины — Витька. Он ехидно ухмыльнулся, впустив их в коридор, и довольно протянул: — Сейчас кому-то попадёт!

— Витька, а ну брысь, пока по тылке снова не получил, — тихо прошипел Борис, отталкивая хитрого брата в сторону.

В коридор торопливо вышла Наталья Георгиевна, мама Марины, взволнованно вытирая руки о передник. Её негодование не было предела, но, будучи учителем литературы, она решила прочитать лекцию об опасности поздних прогулок. Только вот Антон Степанович стоял позади супруги и кивал в знак согласия, но почему-то хитро улыбался. Из-за таких улыбочек Борис и прозвал отца и сына милым прозвищем «Яблонька и яблочко».

— А если бы хулиганы на вас напали? Я же ведь беспокоюсь — и за Борю, и за тебя. И так жалею, что согласилась с отцом отпустить тебя так поздно, но Борис очень уж настойчиво просил.

— Ну мама, — попыталась оправдаться Марина, но была бесцеремонно спрятана за широкую спину Бориса.

— Наталья Георгиевна, я сильный и смогу защитить Марину от хулиганов. Тем более что местное хулиганье само меня боится, — заявил в своё оправдание Борис.

— Да ты сам ходячий хулиган, — со смеху прыснул Витька, получив от отца лёгкий подзатыльник.

— Не такой уж я и хулиган, просто защищаю слабых от сильных, вот и приходится применять силу, — медленно пробормотал Борис, задумчиво почесав затылок. — Но Марину я вернул невредимую и весёлую.

— Мам, правда, всё замечательно, не стоило волноваться, — Марина крепко обняла свою маму, будто подтверждая его слова.

— Хорошо, а теперь быстро кушать! — бодро сказала Наталья Георгиевна, подгоняя мужчин снятым передником.

— Простите, но мне домой пора, мои родители наверняка волнуются, — Борис обнял Марину на прощание и, быстро крикнув «до свидания», убежал на улицу, пока его не оставили на ужин.

Перед родителями подруги он отчитался, осталось только объяснить перед своими. Папа-то поймёт его, несомненно, но мама очень строгая, будет ругаться за такую позднюю гулянку. А прикроет ли его папа по привычке? Вопрос, который

не выходил из головы Бориса, закрывшего за собой дверь квартиры. Громкие тяжёлые шаги принадлежали отцу, который торопился быстрее к сыну, но опоздал. Светлана Никитична уже стояла в коридоре, держа в руке своё грозное оружие — вафельное кухонное полотенце. Борис уже понял, как сильно ему попадёт за всё, поэтому применил свою любимейшую тактику — виноватый вид и тихий голос.

— Борис Степанович! Ты на время смотрел? А если с тобой что-то случилось, а? Сколько я за тебя переживать должна и ругаться? — негодовала мать, грозя сыну полотенцем.

— Светочка, милая, иди на кухню, — Степан ласково подтолкнул супругу в сторону кухни и сурово сказал: — А с Борисом я сам поговорю по-мужски.

Он слегка ухватил сына за воротник кофты и завёл в комнату, дожидаясь, когда шаги Светланы стихнут и на кухне загремит посуда. Борис молча наблюдал за тем, как отец отпустил его и подтолкнул к дивану, а сам сел на стул. Пошарив в карманах, он всё же нашёл пачку сигарет, но, посмотрев на притихшего сына, курить передумал. Задорно подмигнув, он по привычке устроил небольшой допрос.

— Проводил?

— Да, до комнаты, — кратко и по делу ответил Борис, понемногу расслабляясь.

— Обижал?

— Нет, сам обижу того, кто посмеет.

— Правильно, девочек надо защищать. Попрошачлся хоть?

— Конечно, обнял и в макушку поцеловал, — гордо проговорил Борис.

— Молодец, не сын, а золото... — но отец внезапно нахмурился и строго проговорил: — Вот только, паршивец, зачем ты на крышу школы лазил? Я сколько за тебя краснеть перед классным руководителем должен?

— Прости пап, но там котейка был, который в моей комнате сейчас. Это его я спасал, — понуро повесив голову, промямлил Бориска.

— Ладно, дуй на кухню ужинать, но перед мамой извинись, понял?! — пальцем пригрозил родитель.

— Хорошо! — Борис широко улыбнулся и отправился на кухню, услышав развесёлый смех отца.

Солнечное утро, воздух успел сильно нагреться, постепенно сменяясь духотой жаркого дня. Борис держал в руках два шлема (один свой, другой для подруги) и настырно жал на гудок в мопеде. Не прошло и получаса, как из окна высунулась лохматая светлая головушка Марины. В него тут же запустили клубком ниток и недовольно крикнули: — Хватит гудеть с утра пораньше, я ещё собираюсь!

— Поторопись, — радостно прокричал Борис.

И всё же ждать пришлось недолго. Из подъезда выбежала Марина в лёгком синем сарафане, коротенькая косичка неуклюже торчала в сторону. Свою сумку-мешок она передала Борису, чтобы убрать её в багажник, и шутя отвесила подзатыльник, назвав невоспитанным ребёнком. Неуклюже взгромоздившись на сиденье, она поправила свой подол сарафана и дождалась, когда Борис сядет и заведёт мотор.

— Поехали на встречу с отдыхом, — крикнул тот, укладывая руки Марины на своём животе, — держись крепче.

— Хорошо, — ответила она, прижимаясь к его сильной и широкой спине.

Ехать в соседний город по короткой дороге оказалось всего шесть с лишним километров, но им казалось, будто они ехали почти весь день. Прохладный встречный ветер приятно обдувал их, прогоняя настойчивую духоту подальше. Подол лёгкого сарафана хлопал на ветру, как бы Марина ни старалась его удержать, чтобы не мешался. На въезде в город расположились палатки с товарами, начиная от мёда и заканчивая панамками и шляпками. Борис попросил подождать его возле торговых палаток, а сам отвёл мопед на парковку на привычное место, не забыв достать сумку и свой кошелек.

Марина с интересом рассматривала шляпку с широкими полями в светло-коричневую полоску, не решаясь её купить. Свою лёгкую шляпку необдуманно оставила дома, надеясь, что сегодня не будет такой жары. Но вовремя подоспевший Борис всё же уговорил выбрать головной убор на её вкус и сам купил, радуясь счастливой улыбке подруги. Прогулка предстояла долгая, но был в ней плюс: пока они вдвоём шли по улицам, Марина с упоением рассказывала сюжет книги «Собачье сердце». Но, замечая какой-либо нужный ей магазин, прерывала свой рассказ и забегала внутрь, прихватив за руку Борю. Поэтому в другой руке постепенно увеличивалось число пакетов с покупками, которые он вальяжно закидывал на спину через плечо.

— Ой, да тут у нас голубки гуляют, тью-тью-тью.

Друзья столкнулись на углу улицы с хулиганами из параллельного класса, которые частенько любили позадирать слабых. Борис медленно, но верно понимал: если ввяжется в драку, то попадёт и Марине, а с неё могут снять обязанности старосты в классе. Да и отвечать на такие глупые оскорбления не было ни малейшего желания, хотя эти трое задиристых мальчишек отступать не желали. Незаметно оттесняя Марину за спину, Борис демонстративно пощёлкал костяшками пальцев и грозно заговорил, надеясь, что те отступят:

— Я не собираюсь сегодня с вами драться, но если так уж невтерпёж, чтобы я вам пятый раз бока намалял, то завтра за школой, вы, все трое. Так хоть

твои две шестёрки поймут, что попадают под раздачу зря и по твоей вине. Ну что, готов получить шестой раз и бежать жаловаться родителям?

— А что это ты такой смелый? Я тебе всё равно наваляю,—разгневанно прищурился рыжий мальчишка.

— Никит, давай договоримся: ты не хочешь уступить, я не хочу драться, поэтому отойдите в сторону и отстаньте от нас без всяких намёков. Но если хочешь подраться, то завтра за школой, понятно?

— Гад,—тихо прошипел Никита, но всё же пропустил Бориса и Марину вперёд.—Завтра за школой в десять утра.

— Хорошо.

Когда же троица ушла в другую сторону, Марина увела Бориса в ближайший продуктовый магазин—от волнения сильно хотелось пить. Купив бутылочку минеральной воды, она молча протянула её Боре и дождалась, пока он её откроет и вернёт. Сделав несколько больших глотков и чуть зажмурившись от лопающихся пузырьков газа на языке, она гневно посмотрела на него. Борис, как ни странно, не торопился оправдываться и вообще вел себя как ни в чём не бывало, рассматривая полки в магазине.

— Ты что, правда завтра пойдёшь с ними драться? Совсем с ума сошёл?

— Да не пойду я драться. Уже не первый раз, когда я ему назначаю встречу, а он не приходит. Он даже завтра побоится придти,—спокойно ответил Борис, чуть потрепав Марину по шляпке.—Да и не стал бы я при тебе драться. Сама видела, что я вежливо и спокойно решил проблему без драки.

— Да, это уже можно назвать успехом, судя по шестому классу, когда ты лез в драку при косом взгляде в твою сторону,—устало выдохнула та, отталкивая его в сторону.—Идём.

— Много магазинов осталось?

— Нет, последний—и домой.

Подхватив с пола пакеты, Борис открыл перед Мариной дверь и вышел следом, уверенно держа взволнованную спутницу. Ему всё же удалось уговорить её продолжить рассказывать сюжет книги, который уже близился к завершению. Но перед ним встала очередная проблема, когда он начал укладывать сумки в не очень-то и просторный

багажник. И снова его выручила Марина, сообразительная отличница, любящая разные голубомомки. Он с минуту наблюдал за тем, как ловко она укладывала пакеты известным только ей способом. Но действительно было любопытно, почему у него не получилось, а она смогла.

— Марина, я ведь так же их укладывал, так почему у меня они не влезли, а у тебя всё получилось?

— Потому что ты пакеты пихал как попало, а я складывала их аккуратно,—с довольной улыбкой она забралась на сиденье и, придерживав шляпку, сказала:—Держим курс домой!

— Так точно, капитан!—звонко рассмеялся Борис, шутя отсалютовал ей рукой.

Солнце медленно уходило в закат, освещая мрачный асфальт своим терпким оранжевым светом, отгесняя духоту дальше к лесам. Прохладный ветер насыщенным ароматом травы и тополей, будто шлейфом, укрыл их путь, расслабляя уставший разум. Борис аккуратно припарковался на обочине, заметив по пути, как медленно слабеет хватка Марины. Обернувшись через плечо, он заметил, что она понемногу начинает засыпать от усталости. До дома осталось ехать совсем немного, поэтому он всё же разбудил её, наказав не засыпать. Она послушно кивнула в ответ и попросила включить радио, чтобы точно не задремать. Оставшийся отрезок пути они ехали под красивое звучание песни Земфиры—«П. М. М. Л.».

Вернувшись домой, Борис улёгся в свою кровать, наблюдая за тем, как прихрамывающий полосатый серый кот с удивительно наглой мордой неуклюже забрался на одеяло. Но его голова была занята совсем другими мыслями, которые сменялись друг за другом, но касались Марины. Так много хотелось успеть сделать за лето, но не одному, а с ней: веселиться и смеяться, грустить и просто даже танцевать.

Но всё это сможет стать реальностью только через месяц, когда верная подруга вернётся из деревни. А пока нужно только подождать, звонить как можно чаще и радоваться беседам с ней, не забывая рассказать и свои новости. Не зря старший брат Марины озвучил дельную мысль: дружба проверяется сердцем, главное—не прощёлкать момент.

Юрий Великов

Столетие на стиге

Два брата на неживой дороге

То ли действительно время наделено симметрией, то ли это свойство человеческой психики — во всём искать аналогии. Во всяком случае, открытая нами в предыдущем номере новая рубрика — попытка ответить на поставленный вопрос. Впрочем, если сравнить историю России вековой давности с новейшими её проявлениями (девятнадцатый год тогдашний — с нынешним девятнадцатым годом), с очень большой долей вероятности можно утверждать, что существует такой эффект — столетие на стиге. Ярче всего это проявляется у поэтов.

Нарочно не придумашь, но в 1919 году в Омске обитали два Всеволода Иванова. Одного (Всеволода Вячеславовича) знают многие: он — автор повести и пьесы о бронепоезде 14–69, а также рассказа «Дитё», начало которого, говорят, мог восхищённо воспроизводить наизусть Сталин, хотя и запрещал печатать. И был второй — Всеволод Никанорович Иванов, царский офицер, блистательно образованный, закончивший три университета: в России — Санкт-Петербургский, и Гейдельбергский и Фрейбургский — в Германии.

Судя по всему, по жизни их нередко пугали — Всеволода Никаноровича и Всеволода Вячеславовича. Рассказывают, что последнего (который с бронепоезда) уже вели на расстрел красные, в одночасье приняв за колчаковца. И только счастливая случайность спасла этого человека, чтобы тот самый рассказ «Дитё» заслуженно красовался на страницах отечественной антологии «Шедевры русской литературы XX века».

А другой Всеволод Иванов, прошедший с адмиралом Колчаком от Омска до Пермской губернии и обратно и в походе (вот уровень профессионализма и характера!) писавший сонеты, впоследствии был вынужден перебраться в Харбин. Между прочим, в эмиграции он сделает признание: «Для преодоления революции нужна была совесть, а совести-то и не было. Ни в красном, ни в белом стане...»

Не о том ли и стихотворение Игоря Северянина, которого, кроме того, что он по рождению Лотарёв, специально представлять не надо? Они же не сговаривались — Всеволод Никанорович Иванов и вряд ли ведавший об авторе сонета «Междуусобие» король поэтов, утративший на

тот момент определённый ему трон. Но один, исполненный привычной позы и олимпийской безразличности, писал о красных и белых, что «они бесцветные по существу». А другой... Несмотря на то, что в 1945-м Всеволод Иванов вернётся в СССР и до конца жизни (1971-й) поселится в Хабаровске, он навсегда заклеит междуусобное бра-тоубийство: «Дорогой неживой идут два разных брата, / И кровь как зеркальца в следах от колеса». И согласны мы с тем или нет, но эти жутковатые «зеркальца» отбрасывают ныне свою столетнюю проекцию на многострадальную землю Донбасса. И где здесь красные и белые — уже не разобрать.

Всеволод Иванов

Междуусобие

Свинцовых низких туч влекутся волоса
Над тусклым заревом осеннего заката.
Нагими трупами Земля Отцов проклята.
Малиновая их чеканит полоса.

Как капли дождика, всплывают голоса
В великой тишине, которой степь объята.
Дорогой неживой идут два разных брата,
И кровь как зеркальца в следах от колеса.

Один кривится весь усмешкой беспримерной,
Жестоко деловит в своей походке нервной
И пальцы в прорези жилета заложив.

Другой, сияющий, нагих благословляя,
Идёт, бестрепетный, по времени без края,
Где пулемёт храпит в молчанье Божьих нив.

1919

Игорь Северянин

Крашенные

Сегодня «красные», а завтра «белые» —
Ах, не материи! ах, не цветы!
Людишки гнусные и озверелые,
Мне надоевшие до тошноты.

Сегодня пошлые и завтра пошлые,
Сегодня жулики и завтра те ж,
Они, бывалые, пройдохи дошлые,
Вам спровоцируют любой мятеж.

Идеи вздорные, мечты напрасные,
Что в «их» теориях— путь к Божеству?
Сегодня «белые», а завтра «красные» —
Они бесцветные по существу.

1919

Времена года с правом выбора

Рождённые в СССР приучены читать не только книги, но и тени от произведений. Тень, как правило, длиннее самого предмета. Разумеется, в зависимости от местоположения солнца. Разве про муравья писал Андрей Вознесенский: «Только он муравей с того берега, / с того берега муравей»? Или — Юрий Кузнецов, направлявший «Отцепленный вагон» в сторону пронизательного читателя? А какие тени проецируют напитанные мифами творения Чингиза Айтматова и Анатолия Кима!..

Однако это, так сказать, теневой метафоризм прямого, осознанного отжима. Но есть ещё теневая метафора, произрастающая в поле известного тютчевского афоризма: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...»

Допустим, некоторые стихи со столетним стажем могут с наступлением симметрии времени прозвучать самым неожиданным образом. Словно сквозь увеличительное стёклышко уложенных в рифму слов давно почивший автор уловил солнечную энергию и выжигает на заборе наших дней (сиречь в Интернете) некие новые или хорошо забытые старые смыслы... Вот «безумная горячка» (Блок) Зинаида Гиппиус и искусно впадавший в детство Николай Агнивцев. Не стовариваясь (впрочем, по тем временам, если глянуть на них стальными глазами Феликса Дзержинского, никто не исключал заговора), в 1919 году они пишут два перекликающихся стихотворения.

Невинное названьице «Осенью». Но под иным углом зрения сама невинность грозит, чего доброго, перерасти в пророчество Нострадамуса или обмолвку Ванги. Тем паче что подзаголовок более чем определён: «сгон на революцию». Отчего же «Осенью» опубликовано в летнем номере «Дня и ночи»?

Оттого, чтобы не сбылось. А ежели, не дай Бог, сбудется?.. Тогда вот вам Анти-Гиппиус как Антигиппиус — Агнивцев. Немного ироничного Агнивцева — и возможные «осенние» осложнения преодолены: «Не бойтесь: встанет Ванька, / На то и Встанька он». Это — о русском народе. Кто только его не укачивал! И — столетие назад, и — столетие вперёд, и — столетия до этих столетий. Посему главное — договориться с «другом Горацио», ибо существуют разные симметрии. Стало быть, у нас есть право выбора.

Зинаида Гиппиус

Осенью

(сгон на революцию)

На баррикады! На баррикады!
Сгоняй из дальних, из ближних мест...
Замкни облавой, сгрудил, как стадо,
Кто удирает — тому арест.
Строжайший отдан приказ народу,
Такой, чтоб пикнуть никто не смел.
Все за лопаты! Все за свободу!
А кто упрётся — тому расстрел.
И все: старуха, дитя, рабочий —
Чтоб пели «Интернационал».
Чтоб пели, роя, а кто не хочет
И роет молча — того в канал!
Нет революции краснее нашей:
На фронт — иль к стенке, одно из двух.
..Поддай им сзад! Клади им взащей,
Вгоняй поленом мятежный дух!

На баррикады! На баррикады!
Вперёд за «Правду», за вольный труд!
Колом, верёвкой, в штывки, в приклады...
Не понимают? Небось, поймут!

1919

Николай Агнивцев

Ванька-Встанька

На Ваньку-Встаньку глянь-ка,
Дивись, честной народ!
Я — русский Ванька-Встанька,
Качаюсь взад-вперёд!
Что ж? Я привык качаться,
И виды я видал!
Эх, Ваньку-Встаньку, братцы,
Кто только не качал!
Бывало, в авантаже
Иной как влепит! — Трах!
Капут, мол! Ну а я же,
Глядь, снова на ногах!
Уныл, как нос чукотский,
Качаюсь я опять!..
Но Лениным и Троцким
Меня не укачать!
Хоть задали мне баньку,
Хоть жмут со всех сторон, —
Не бойтесь: встанет Ванька,
На то и Встанька он.

1919

Сергей Кулаков

О маге, чародее и волхве Симоне из Самарии и лживом учении его

В Ватикане хранится рукопись неизвестного автора, в которой подробно описана нечестивая жизнь, волшебные проделки и мерзкое учение самарянина Симона—мага, чародея и искусного во всякой лжи. Впрочем, помимо этой рукописи, жизнь и дела сего чародея небезызвестны. Некоторые свидетельства Симона-мага о себе самом сохранились в записи языческого автора Цельса¹:

«Я есмь Бог (или Сын Бога, или Дух Божий). И я пришёл. Мир уже разрушается.

И вы, о люди, существуете, чтобы погибнуть из-за вашего беззакония. Но я хочу спасти вас.

И вы видите меня, вновь вернувшегося с силой небесной. Блажен тот, кто поклоняется мне сейчас!

Но я предам вечному огню всех остальных, и города, и страны. И люди, которые не успели оплатить свои долги, будут тщетно раскаиваться и терзаться. Я уберегу тех, кто уверовал в меня...»

Свидетельства, высказанные о маге Симоне многими христианскими писателями и Отцами Церкви, обличают его как «злого, облекшегося в сияние света»², «исполненного всякого коварства и всякого злодейства, сына дьявола и врага всякой правды»³. Иоанн Дамаскин писал: «[Он] учил постыдному и скверному смешению, неразличению тел. Отвергал воскресение и утверждал, будто мир не от Бога. Своё изображение, в виде Зевса, и спутницы своей Елены, в образе Афины, передал ученикам своим для поклонения. Называл себя для самарян—Отцом, а для иудеев—Христом». Св. Ириней Лионский сообщает: Симон был человеком смелого, дерзкого ума, весьма честолюбивым и обольстившим множество народа.

По многим свидетельствам, сей чародей и сильный волхв мог делаться невидимым и снова являться перед изумлённым зрением очевидцев; мог бросаться с высоты, поддерживаемый на воздухе невидимыми силами, летать сколько сам пожелает; мог чудесно освобождаться из темничных уз; заставлял бездушных истуканов двигаться; мог

проходить сквозь огонь, изменять лицо до неузнаваемости, даже до козлиной морды; мог вызывать из земли уже цветущие деревья, а на отрочах заставлял расти бороду; также—вызывать духов в виде огненных изображений, предсказывать будущее через череп, говорящий на страшном языке, и этим поражал невежественные толпы.

Отцы Церкви—святой Иустин-мученик, святой Ипполит Римский, Тертуллиан, святой Ириной Лионский, святой Климент Александрийский, святой Епифаний Саламский, блаженный Иероним—нимало не сомневались: даже большие чудеса совершал чародейством Симон (за эти волшебные деяния, по повелению кесаря Клавдия, в Риме установили ему статую с надписью: «Симону, святому богу»), но совершал чудеса те силою не Божией, а бесовской, и был он избранным сосудом дьявольским и отцом всех церковных ересей.

По свидетельствам, которые приводят различные авторы, вплоть до надменных и богохульных слов самарянского волшебника-гордеца о себе самом, несомненно видно: он был хорошо знаком с религией иудеев и с учением Христовым, но и провозглашал нечто новое, соблазняя и увлекая за собой (в пучину тьмы) простодушных, обманами совращая их с прямых путей Господних.

Честолюбие, любление почестей, безмерная гордыня—тянули его взобраться выше распятого Христа и объявить себя Богом-Троицей. Мол, в Иудее (по самосвидетельству) появился он в прозрачном теле Сына Божия, чтобы пострадать от евреев, хоть и не страдал на самом деле; в Самарии явился он Отцом и Создателем всего, а у других народов действует (он) как Дух Святой. Так явилось миру евангелие от Симона, чародея и волхва.

К слову сказать, учение это было вовсе не так просто и смехотворно, как могло показаться на первый взгляд. Хорошо сказал святой Ириней Лионский об учениях еретических (и Симона-мага в том числе): «Их учение, которого ни пророки не возвещали, ни Господь не проповедовал, ни апостолы не предали и которым они хвалятся, будто знают обо всём больше других, ибо вычитали из неписанных книг; и, взявшись, по пословице, из пещу вить верёвки, пытаются к своим положениям

1. Не того, против которого выступал Ориген, а иного.

2. Апостол Пётр (из Климентин).

3. Деян. 13:10.

приладить с видом вероятности Господни притчи, или пророческие изречения, или апостольские слова, чтобы вымысел их не казался не имеющим никакого свидетельства; и при этом оставляют порядок и связь Писаний и, сколько можно, разрывают члены истины. Но, переставляя и переиначивая и из одного дела другое, они успевают обольстить многих призраком нескладно связанных слов Господних»⁴.

Волхв Симон был не так прост, как могло показаться несведущему. Приобрёл он знания, вместе с приёмами волшебства, в Александрии, где узнал о начатках учения, которое впоследствии дополнил и, вернувшись в Самарию, выдал соотечественникам за Божественное откровение. Ему, в учении том, отводилось играть роль воплотившегося Бога, и он сделал это, пользуясь настроениями времени (ожиданием Мессии) и склонностями людей, которые благоприятствовали тонким расчётам лжеца. «Несчастный народ позволял надувать себя обманщикам, которые гнали именем Божиим, и в то же время презирал и не верил явным знамениям», — прозрачно намекал Иосиф Флавий.

В чём состояло учение самарянина Симона?

Если бы чародей и маг Симон, провозглашая учение своё, объявил о совершившемся воплощении христианской Троицы в своём лице и остановился на том, обман раскрылся бы довольно скоро. Однако этот высокочудствующий, внушая многим, что сумел постичь Знание, которое выше Бога иудеев и христиан, был искусен во лжи. Разглагольствованиями и сказками относительно своей «триединой» сущности он лишь прикрывал настоящее сатанинское учение, точно большой проказой прикрывает всего себя от пят до макушки головы, скрывая под чистыми покровами чудовищные язвы гниющей плоти. «Они пользуются именем Христа как приманкою, но разным образом вводят нечестие Симона и чрез то губят многих, коварно распространяя своё учение под прикрытием доброго имени и подавая под сладостью и красотой имени горький и злой яд змия, первого виновника отпадения»⁵.

Так в чём же заключалось нечестие Симона-волхва, и в чём был смысл его учения?

«Существует одна Сила, разделённая на верхнюю и нижнюю, порождающая себя, растягивая себя, находящая себя, являющаяся своей собственной матерью, своим отцом... своей дочерью, своим сыном... Он есть Единый, всеобщий Разум, корень Всего, Тот, Кто стоит, стоял и будет стоять: Он стоит над несотворённой Силой»⁶. Из этого Высшего Существа истекают попарно, обладая мужским и женским началом, божественные силы — эоны, каковых шесть, и они составляют мир первый, духовный. Это: Рассудок и Чувство, Слово и Имя, Всеобщий Разум, управляющий

всем и мужественный, и великая Мысль, которая порождает всё и женственна.

Из этих эонов истекают шесть новых, которые образуют мир второй, служащий как бы отражением первого, но уже не столь совершенный. Из эонов второго мира исходят ещё шесть эонов (или ангелов), которые населяют мир третий; эоны-ангелы, создают, в свою очередь, мир четвёртый — видимый и материальный, который является последним отражением Высшего, духовного, мира. Все отражения Высшего мира неизбежно влекут за собой его искажение, и уже ангелы третьего мира становятся творениями злыми, завидующими высшим эонам, и задумывают они недоброе. Для создания видимого мира злые ангелы призвали божественную Мысль сойти в мир материальный. Но как только Мысль сошла в этот мир, ангелы задержали Её, не позволяя вернуться к Единому Отцу, ибо не желали они считать себя порождениями иного существа.

В течении многих времён Мысль вынуждена была странствовать по видимому миру, заключённая в человеческое тело, переходить из одного тела (женского, потому как Мысль — женского пола) в другое, пока не попала в блудилище в Тире под видом проститутки Елены, откуда её выкупил чародей Симон, утверждавший, будто он — Всеобщий Разум и Отец и от него была отторгнута божественная Мысль. Но он прошёл через все миры, и разыскал её, и выкупил из развратного дома, в котором она пребывала, показывая глубину падения божества, вовлечённого в творение, а ещё была она (Елена) той заблудшей овцой, о которой возвестил в притче Христос...

Симон именовал себя Спасителем и потому учил: он принял образ человека для освобождения божественной Мысли из уз материи, а людей — от злого владычества ангелов, сотворивших наш мир. И оттого, что они (лжец Симон со шлюхой Еленой) осуществили на земле таинственный брак, в Высшем, духовном, мире соединились разлучённые Ум и Мысль. Святой Ириной так передаёт выдумки Симона-волхва в своём известном труде: «Он пришёл Сам, чтобы опять взять её к себе и разрешить от уз, а людям доставить спасение через познание Его. Ангелы худо управляли миром... но Он пришёл для исправления вещей и сошёл, преобразившись... явиться среди человеков человеком, хотя Он и был не человек; и показался пострадавшим в Иудее, хотя Он и не страдал. Пророки же предсказывали, вдохновлённые ангелами, устроителями мира; поэтому на них более не обращали внимания те, которые веруют в Него

4. Св. Ириной Лионский. «Против ересей». Кн. 1; гл. VIII.

5. Там же. Кн.1; гл. XXVII.

6. Св. Ипполит Римский. «Философумена».

и Его Елену, но делают что хотят, потому как люди спасаются Его благодатью, а не делами праведными. Дела праведны не по природе, а случайно, ибо ангелы, создавшие мир видимый, установили это и посредством таких заповедей поработили людей. Он обещал, что мир сей разрушится, но Его последователи уже освободились от власти сотворивших мир. Поэтому мистические жрецы этой секты живут сладострастно и занимаются делами волхвования, употребляя заклинания и заговоры. Любят прибегать к средствам, возбуждающим любовь и влечение к духам домашним и наводящим сон, и другим забавным проделкам. Имеют также изображения Симона в виде Юпитера и Елены в виде Минервы и молятся им»⁷.

С такой чудной мешаниной, пропитанной надутым пустословием, выступили Симон из Самарии и последователи его числом до тридцати человек. И обилием разных цифр смущали и обольщали они множество неучёного народа, доказывая цифрами этими, выдираемыми из Писания и притч Христовых, будто выдуманные ими басни небезосновательны.

Апостолы, последователи Иисусовы, скоро обнаружили опасность учения Симона и с усердием разоблачали его нечестивую сущность, увещая человекoв удаляться от этих «безводных облаков, носимых ветром; осенних деревьев, бесплодных, дважды умерших, исторгнутых; свирепых морских волн, пенящихся срамотами своими; звёзд блуждающих, которым блюётся мрак тьмы на веки... ропотников, ничем не довольных, поступающих по своим похотям (нечестиво и незаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицепрятия для корысти»⁸. «Осуетились они в умствованиях своих, и омрачилось немысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку...»⁹.

Кроме словесных увещаний и благовествования, смело обличали апостолы все волшебные проделки Симона как дьявольские и бесовские; противопоставляли им чудеса Божии, великие, изумлявшие народные толпы, заставлявшие трепетать и бояться чудес этих даже сего нечестивого

волхва, а остальным человекам отворяя глаза и пути сердца к спасению через Христа.

Жизнь и дела самарянина Симона, мага и волхва

После великих и удивительных событий, случившихся в Кесарии — граде Самарийском и описанных в Деяниях Апостолов, когда Симон волхвованиями изумлял народ и чародействами прельщал многих, выдавая себя за силу Божию, но Филлип-апостол благовествовал там о Христе Иисусе и обратил неверующих. Даже крестил он и Симона, но не от сердца тот крестился, а по лукавству и хитрости. Пришедшие вослед апостолы Пётр с Иоанном возложили на прозелитов руки и свели на них Духа Святаго. Тогда, видя это, Симон хотел за деньги купить у апостолов дар сведения Духа (потому как не было веры в нём, а лишь корысть и гордыня), но был обличён ими.

Так вот, после этих запечатлённых событий к апостолу Петру пришли двое: Никита и Акила — товарищи детства и ученики Симона, — чтобы, крестившись, принять веру Христову. С ужасом рассказали они Петру тайну, которую открыл им учитель.

Никита и Акила (по слову их) давно выпрашивали у Симона, какую силой творит он чудеса. После случившегося в Кесарии, когда народ отвернулся от Симона и многие отошли от него, наконец он признался, что убил ребёнка и душою этого ребёнка творит он чудеса и волшебства. Удивлённые товарищи спросили тогда Симона: разве такое возможно, ведь, по его же утверждению, душа исчезает тотчас после смерти? В один миг изменился, побледнел чародей, но тут же собрался и надменно отвечал: «Думаете, я человек, подобный вам? Нет, я — сила вечная, безначальная, Сын Божий, нисшедший в утробу моей матери прежде, чем она имела супружеское общение с Антонием; вас избрал я в друзья себе, чтобы испытать и ввести в небесные обители, если окажется достойными. Силой своей я в состоянии превращать воздух в воду, а воду — в плоть и кровь; могу снова вызвать к жизни и убитого мной ребёнка». После этих горделивых слов оба ученика и товарища Симона оставили его, пришли к Петру-апостолу, и тот узнал от них, кто такой Симон-маг и откуда он взялся.

Родился Симон в самарийской деревушке Питтон, близ Сихема. Родителями его были Антоний и Рахиль. В юности он изучал греческий язык, упражнялся в словопрениях; для изучения магии предпринял путешествие в Александрию. Там — познакомился с Апионом-грамматиком¹⁰. Апион провозглашал свободную любовь без брака, познакомил Симона со Стезихоровой выдумкой¹¹, дополнив её тем, что Елена была не земной женщиной, но — богиней луны, и учил Симона

7. Св. Ириней Лионский. «Против ересей». Кн. 1; гл. XXIII.

8. Иуд. 1:12,13,16.

9. Рим. 1:21—23.

10. Против него выступил Иосиф Флавий своей книгой «Против Апиона».

11. Лирик Стезихор в древности выдумал такую сказку: будто Парис увёз в Трою не Елену, но призрак её, и царь Менелай после взятия Трои повёз призрак этот домой, где тот вновь пропал, ибо настоящая Елена находилась в Египте, перенесённая туда Зевсом. Там Менелай и забрал её позднее.

магическим заговорам, сводящим богиню эту на землю.

Тут же, в Александрии, познакомился Симон и с учением Филона, возводившим зыбкий мостик над пропастью между иудейским учением и языческой философией. Ещё — волхвованию, всякой магии и волшебству обучался Симон из Гиттона. В то время в Александрии объявилось множество людей под обличем магов, чародеев и заклинателей, которые ласкательством, красноречием и волшебными ухищрениями обольщали сердца простодушных, увлекая их за собой, и слыли за что-то необыкновенное. В гуще этого брожения, вследствие знакомств, интересов и занятий, образовалось и сложилось учение Симона; с ним он возвращается в Самарию, где скоро примыкает к основателю саддукейской секты среди самарян и становится учеником его. Вместе с остальными последователями Досифея он отвергал бытие добрых и злых ангелов, грядущий суд Божий, хулил Бога отрицанием воскресения мёртвых. Войдя в число учеников Досифеевых, Симон довольно скоро с помощью волшебства сместил учителя и занял его место¹².

Именно в качестве учителя этой секты Симон попадает под стражей в Рим для получения наказания за свои проделки, волнующие умы простодушных людей¹³, но хитрец сей магией и волшебством очаровал там всех (даже судей своих) до такой степени, что его не только освободили, но и воздвигли памятник.

Тешась могуществом и гордыней, Симон возвратился в Кесарию, где рассказал ученикам о чудесах, совершённых им в Риме, и ещё более стал обольщать народ волшебством, магией и волхвованием, выдавая себя за силу великую, безначальную, Божию. Здесь судьба и сталкивает Симона-волхва с апостолами Иоанном и Петром. Разоблачённый учениками Христовыми, Симон обрядился в овечью шкуру, оставаясь по сути своей волком, «*вкрашившися, нечестивым, издревле предназначенным к осуждению*»¹⁴.

Осуждённый апостолами и покаявшийся на словах, Симон не помышлял каяться в сердце и бросить мерзкие дела свои. Многие из учеников оставили его и, крестившись, исповедовали веру Христову. А Симон с немногими оставшимися вышел из Кесарии и отправился прочь, влекомый гордыней, тщеславием и люблением почестей. Быть может, он считал, что благодаря своему волшебству и магии в силах околдовать любого, или, разглагольствуя и долго внедряя в умы многих, что он — Бог, сам уже верил в эти безумные речи? Кто знает, только бросать занятие своё — обольщать и губить людей — Симон не собирался, а вот действия его стали более изощрёнными.

Объявившись в городе Пафе, на Кипре, он выдал себя за последователя Христа под именем

Бар-Иисус¹⁵. Очаровав многих волхвованием, скоро обосновался рядом с проконсулом Сергием Павлом, ибо от обманутого им народа сподручнее было ему подниматься к высотам власти, а не напротив, в подражание Христу, преисполнившись знанием, спускаться к невежественному люду. Получив от окружения проконсула и прочих людей прозвище Элима¹⁶, лжец этот удивлял всех волшебной своей силой. Скоро, как видно из Деяний Апостолов, Дух Святой привёл сюда же, в Паф, Варнаву и Павла для обращения проконсула в христианство, но Симон (он же и Элима, и Бар-Иисус) всячески противился им, не забывая о том, что вынужден был оставить Кесарию после проповеди Петра и Иоанна.

Пламенеющий верой Павел, исполнившись тогда Духа Святаго, обличает волхва, называя его коварным злодеем, врагом правды и сыном дьявола, и глаголет к нему не как к неизвестному до сих пор, но как к известному: «*Перестанешь ли ты свращать с прямых путей Господних?*»¹⁷ Павел, в отличие от Петра, не останавливается на разговорах, пускай и гневных, но призывает на обольстителя-колдуна руку Господнего мщения и поражает чародея слепотою «до времени».

Ослепнув, Симон пришёл в ужас, ибо кара Божия была на нём. Даже изгнание не так удручает его... Однако, прозрев, он вновь принимается за прежние свои проделки, только отныне всячески

12. Говорят, Симон стал нащёптывать другим ученикам, будто Досифей не учит их истине, потому как далёк от неё, а даёт малое, оттого что большего не знает. Прознав об этом, учитель поднял палку с намерением проучить строптивого ученика, но тот немедленно сделался призраком, и палка прошла по воздуху. Изумлённый Досифей пал ниц перед чародеем и сделался его учеником. Такого позора честолюбивый Досифей не мог снести и позже удалился в пещеру, где уморил себя голодом, пытаясь казаться мудрецом.
13. «Вышел между самарянами фокусник, который увлёк за собою народ; он просил показать ему пещеру на горе, где Моисей закопал книгу закона. Положено было в определённый день выкопать и объявить народу эту книгу, чтобы под предводительством пророка или мессии, предсказанного Моисеем, он [народ] начал новую жизнь. У деревни Тирифана собрались народные массы, когда правитель страны, Пилат, живо помнивший печальную судьбу мнимого иудейского царя в Иерусалиме (т. е. Спасителя), со всех сторон окружил гору войсками. Бунтовщики против власти кесаря были строго наказаны; многие легли на месте, многие рассеялись, а самые жаркие приверженцы бунта заплатились жизнью, были казнены», — писал о событиях тех Иосиф Флавий.
14. Иуд. 1:4.
15. Что значит (ни много ни мало) — «сын Иисуса».
16. Что значит — «маг» и «колдун».
17. Деян. 13:10.

избегает встреч с апостолами Христовыми, которые оказались вовсе не смиренными агнцами. Потому и говорит Писание (и не только о чародее Симоне): *«Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну, и обращу мудрость мира сего в безумие»*¹⁸.

Увязнув в гордыне, не желая избавляться от безумной идеи (будто он — Бог и Создатель всего), бежал Симон также из Антиохи, Лаодикии, Коринфа, Ефеса — отовсюду, где лгал и чародействовал, едва только слышал о приближении апостолов.

Но не за ним спешили посланники Христовы! Водимые Духом Святым, без устали распространяли они повсюду благоухание познания, умножая в короткие сроки число верных, боящихся Бога избранных Его и провозглашая спасение Благой Вестью. Симон-маг путался в ногах у них, несколько не в силах помешать Промыслу Божьему в труде апостольском. Он не понимал этого и тужился — перед немногими оставшимися учениками — представить себя значительной, не познанной никем силой, стоящей выше Бога христиан. Похоже, сам он в это не верил, но продолжал играть роль с отчаянным упорством и упрямством мула. Однако трудно идти против рогна!

Последний раз Симону-магу суждено было встретиться с апостолом Петром в Риме. Владычествовал тогда император Нерон, который благоприятствовал волхвам и чародеям и сам вызывал мёртвых с помощью магии; супруга его также была расположена ко всяким волшебникам и, говорят, даже прислуживала на их таинствах. При таких властителях Симон вполне мог рассчитывать на успех, ведь слуги почти всегда безропотно поддерживают многие наклонности хозяев своих.

Симон стал во всеуслышанье, во многих людных местах, кричать, что в такой-то день он вознесётся в небеса, ибо грехи людей переполнили землю и он не может более терпеть этого зла. Так поступал он вплоть до назначенного им дня. Многолюдная толпа пришла поглазеть на чудо. Были там император Нерон с женой и вельможами; пришли многие христиане с апостолом Петром.

Самарянский чародей ступил вниз с высокого здания и... начал летать, поддерживаемый в воздухе невидимой силой. По толпе прошёл ропот, отовсюду слышались крики ужаса и восхищения. Пётр начал молиться, упрасывая Господа не дать этому обманщику обольстить толпу, и громко запретил бесам именем Иисуса помогать чародею. Христово имя разогнало лукавых бесов. Симон-маг, оставшись без дьявольской поддержки, свалился с высоты на землю и сильно покалечился, раздробив себе ноги. Увидев обман, раздосадованный народ освистал волхва. Немногие ученики поспешили унести разбитого, окровавленного учителя подалее из города. Скоро все разошлись, насмехаясь над чародеем и проклиная обманщика, а христиане — благодарили Бога.

Симон-самарянин, униженный, покалеченный, ещё долгое время жил в окрестностях Рима, в простой лачуге. Стоять и ходить он уже не мог: ни волшебные снадобья, ни притирания лечебным маслом, ни таинственные заклинания не возымели действия. Бог не желал ему помогать, а напуганные бесы — не смели. Ученики бросили его — остались только двое. Они понимали теперь, что он не Бог, которым нарекал себя, а простой человек; им было жалко искалеченного Симона. Целыми днями сидел он под деревом, росшим поблизости от жилья, и рассказывал прежние истории, которым никто уже не верил: Бог, который не мог спасти даже себя, никому не был нужен. Тогда, упорствуя в гордыне, Симон решил прибегнуть к тому, чем занимался всю жизнь свою, — надувательству. Он потребовал от учеников, чтобы те положили его в яму и закопали, а когда откопают через три дня — найдут учителя своего воскресшим и живым, как христиане нашли Христа.

Ученики вяло отговаривали. Симон упорствовал и принудил их сделать по-своему. Святой Ипполит Римский так описывает это событие: *«...Приказал своим ученикам вырыть могилу и засыпать его землёй. Они так и поступили, однако он пребывает в могиле до сих пор, поскольку не Христос»*. Куда подевалась его Елена — неизвестно!

18. 1 Кор. 1:19,20.

Павел Карякин

Кошмар истории и ужас души

Журнал «Сибирские огни», №№ 1–3, 2019.

Безусловный флагман прозаической рубрики первых трёх номеров литературного журнала «Сибирские огни» за 2019 год — исторический роман *Олега Хафизова «Дуэлист»*.

Роман отличает прекрасная стилизация — драгоценнейшее качество. На наш взгляд, одна из главных мыслей произведения: «Прежде чем начать массовое убийство людей фабричным способом, каждое из правительств, затеявших таковую бойню [войну], отчего-то считает необходимым публично заявить, что делает это единственно из соображений миролюбия». Эта идея красной нитью проходит через всё полотно, воплощаясь в глубоко мировоззренческом послы: «историческое» лицемерие сильных мира сего маскирует глубинные хищнические мотивы. Ненасытные, плохо контролируемые притязания политических хищников не имеют ли некоторого сходства с неуправляемым темпераментом и кипением страстей главного героя, живущего в системе социальных пороков и по законам общества, эти пороки «протежирующего»?

Главный герой — Фёдор Иванович Толстой — чрезвычайно колоритен и противоречив: умен, храбрый боец, настоящий авантюрист, исключительно страстная, даже дикая и темпераментная, зачастую жестокая, но крайне широкая натура, записной бретёр и, конечно, бабник. В основе драматического конфликта — известная мистическая линия, связанная с «проклятием»: Фёдор Толстой умертвил одиннадцать дуэлистов, насчёт которых вёл страшный учётный журнал «синодик», где фиксировал свои злодеяния. Расплата пришла тогда, когда граф, казалось бы, остепенился и пришёл к благочестивой жизни, отказавшись от вина, кутежей, бретёрства, развратной жизни. За одиннадцать убитых поединщиков провидение или дьявол призвали в качестве расплаты жизнь его одиннадцати детей. Этот кошмар и стал отправной точкой, вокруг которой Олег Хафизов построил своё исследование.

Помимо прекрасного знания исторического материала, Хафизов демонстрирует умение преподносить ничуть не занимательные факты весьма бойко и отнюдь не скучно. Хочу заметить, не каждому автору, работающему с историческим

материалом, такое под силу: «Наполеон и Александр подружились в Тильзите, не будучи пока в силах *дожрать* друг друга до конца. В знак покорности побитый Александр уступил своему „брату“ право хозяйничать во всей Европе. <...> В обмен великодушный *Наполеон разрешил „брату“ задрать кого бы то ни было, пасущегося поблизости. Рядом паслась Швеция...*» Невольно думаешь, как бы стала популярна школьная история, будь она изложена подобным образом. «Граф Аракчеев, который без ведома государя шага не смел ступить и другим не давал, тотчас снарядил *секретный фельдъегерский эстафет* в Германию, где наш царь в ту пору танцевал на конгрессах».

Отдельного слова заслуживает внимание автора к деталям, тонкостям, являющимся важнейшим элементом исторической реконструкции и декорации: «Блуждая по каменистым берегам быстрой прозрачной Кюмени с удочкой, в непромокаемом *плаще-эмпермеабле* и высоких бесшовных *сапогах-остахах...*»

Много в романе и замечательного остроумия. Чего стоит, например, такой диалог:

«— Это *Morpho menelaus*, тропическая бабочка, пойманная мною в Бразилии... — зашептал Толстой на ухо Долгорукову. — Природные американцы называют её „осколком неба“, поскольку, по их понятиям, небо когда-то расколосось от удара злого демона и осыпалось на землю вот такими осколками. — Сколько в этом истинной поэзии! — воскликнул князь.

— Мне также известно, что эл кондоры с высоты нескольких миль принимают этих бабочек за небо, пикируют и разбиваются вдрызг, — присочинил, по обыкновению, Толстой. — Эл кондоры — американские летающие чудовища наподобие орлов, но размером со страуса, — не моргнув глазом, пояснил Толстой. — Я вёз с собою живого эл кондора, но сильно проголодался в Вятке, где подают одни сушёные грибы. Итак, эл кондора не стало».

Вообще, исторический роман — именно исторический, а не авантюрно-приключенческий с историческими декорациями, — так вот, исторический роман, имеющий свои законы, всегда встречает ряд препятствий. Необходимо сохранить достоверность, по возможности беспристрастность,

выдержать соответствующий стиль и, чёрт возьми, удержать читательское внимание. Быть интересным то есть. Из советской классики на память приходит Василий Ян с его потрясающим «Нашествием монголов», где за тщательными историческими декорациями скрываются глубина и мощь воззрений, тончайший психологизм, не говоря уже о великолепной стилизации. Вспоминаешь и авторов «попроще», второй линии, так сказать. Авторы, случайно оказавшихся в большой литературе. Например, Алексей Новиков-Прибой с его морской эпопеей «Цусима», читая которую, понимаешь, что сегодня такая подача и реализация будет иметь мало шансов для серьёзного разговора. Современный автор исторического романа поставлен в трудные условия: с одной стороны, необходимо соблюсти достоверный историзм, как отмечалось, с другой — быть нескудным, да ещё по возможности динамичным. Олег Хафизов попытался совместить историзм и «лёгкий», тот самый динамичный авантюрно-приключенческий, стиль, что является смелым экспериментом, так как не всем ревнителям чистоты придётся по вкусу такое решение. Тем не менее, всем поклонникам хорошей исторической прозы «Дуэлист» настоятельно рекомендуется к прочтению!..

Думаю, не ошибаюсь, если одной из главных мыслей повести *Кристины Высоцкой «Кровная свора»* считаю эту: *«Ужасов в мире тьма. Но есть ужас отдельно взятой человеческой души, и кто сказал, что он менее мучителен, чем мировые войны и эпидемии?..»* Глубина этой точки зрения определяет основные мотивы авторского исследования.

Проза Высоцкой очень плотная. Начало весьма взрывное и эмоциональное. Это по-настоящему острая проза. Психологическая проза. Тяжёлая проза!.. Автор умеет ставить «неудобные» вопросы. Эта проза болит. Читаешь и чувствуешь, «как же всё неправильно в этой жизни и зачастую бессмысленно». Не менее важный вопрос: «А как надо?!» Бедная семья, бесребреники, не отдавая отчёта, «делают» одиннадцать детей! Жизнь превращается в гонку на выживание. В этой гонке проявляются зачастую наихудшие человеческие качества. Можно ли это осудить? Нужно ли это осудить?! Ведь всякие морализирования с нашей стороны хороши «на сытый желудок», когда у нас всё в порядке. А если не в порядке?!.. То-то и оно!.. Высоцкая ставит сложнейшие вопросы этики и морали.

Автор работает жёсткими образами: «Но София их дождалась, хотя сильно мучилась — диабет сожрал обе её ноги. В больнице она бы сгнила окончательно, но племянница с внучкой забрали её домой». Мощно работают на замысел и персонажи, поданные лаконично, но колоритно, максимально характеризующиеся через диалоги.

В сравнительно небольшой повести мы встречаем множество героев. Сюжетные фрагменты переплетены чрезвычайно густо, событийная насыщенность высока. Такое обилие героев иногда запутывает: трудно отследить ту или иную линию, чётко фиксировать, «кто есть кто». Как знать, быть может, это намеренный приём: за мешаниной героев, событий, людской чудовищности и нравственной грязи огранка светлого и чистого приобретает иной вес, иную силу и ценность.

Обращает нас себя внимание и то, как Кристина Высоцкая умышленно рушит композицию, прибегая к постоянной ретроспективе — перетасовке сюжетных сцен. Если такой приём реализован удовлетворительно, то читательское восприятие становится гораздо острее, чем автор и воспользовался не без успеха.

Вообще, проза подобного рода ломает и даже калечит. Читать её больно. Однако именно посредством таких произведений совершается наиболее мощная духовная работа в сознании читателя, происходящая от необходимости говорить о «неудобных» вопросах и с главнейшей мыслью, что жить необходимо во что бы то ни стало!

Интродукция в виде знакомства с главным героем в рассказе *Александра Романова «Север»* несколько затянута, но портрет его — героя — очень любопытный и оригинальный: мрачный, крайне несимпатичный, всю дорогу дерущийся, бьющий чьи-то морды и часто побеждающий, кстати, возможно, побывавший в местах не столь отдалённых мужчина без возраста. Полугопник, полурыцарь с обострённым чувством справедливости. Футбол не смотрит, сериалы не любит, Интернет не признаёт... читает книги и где-то в глубине души — ребёнок и романтик!..

Импонирует и мрачноватый юморок:

«И все они, врачи и медсёстры, всегда на меня спокойно смотрели. Семён объяснял почему. — Потому что, — говорит, — в институте их... в морг везут. Чтобы привыкали, значит. И там они... такого насмотрятся, что им потом ничего не страшно. Даже твоей, — говорит, — рожей их не испугать». Или вот ещё:

«Вот ей-богу, лучше бы он не переодевался. Обтягивающие чёрные штаны сменили цвет на ярко-красные, а поверх майки он накинул какую-то невообразимую хрень. Она вся состояла из блёсток, клочков меха и обрывков серпантина. Я с облегчением подумал: хорошо, что нам с ним не идти пешком, да ещё через мой район».

Главный герой полон не просто самоиронии, но даже какого-то неизбывного самосарказма, порой выходящего из меры.

Финал, увы, банален: обычная история о любви, и всё заканчивается предсказуемо и благополучно. Не настаивает автор и на глобальных смыслах.

Но вот сама история хороша: в меру смешна, в меру цинична, в меру остроумна. Как говорил один мой знакомый филолог: «Я люблю любую литературу, кроме скучной...» Что-что, а рассказ нескучный. Есть всё, что необходимо для романтической истории: крутой характер, мордобой, лирические отношения, хеппи-энд...

Мотив рассказа *Марии Молодцовой «Ромовая баба»*: «Это часто бывает, что перед самым концом [смертью] человеку лучше становится. Потому что внутри у человека много жизни, любви, и не может он с ней уйти, до капли не растрапив».

Фронтальная проза. Эта линия мировой прозы имеет свои особенности. При часто номинальном сюжете на первый план выходит эмоция. Не хотелось бы, чтобы произведения о войне выглядели всего лишь как дань памяти. Сильная эмоция здесь, безусловно, есть, но от художественной литературы подобного рода ждётся большего...

Николай Колосов, «Тёмные комнаты» (два коротких рассказа). Одна из интересных мыслей, определяющих смысловое движение этой подборки, такая: «Женщины после тридцати — прекрасны. Они ничего не боятся и всё умеют. И никогда не обвинят вас в том, что вы украли их молодость, потому что до вас это сделал кто-то другой».

Основная тема рассказов, как мне видится, — страсть и сомнение. Очень живые и достоверные диалоги. Что называется — настоящая жизнь без прикрас. Никакого авторского отношения, никакой позиции — максимально нейтральное изложение. При номинальных сюжетах нет почти никакой морали, прямо как у Золя, хотя и не так изощрённо-страстно, как у великого француза. Рассказы Колосова пролетают, незаметно приходя к открытому финалу, но ощущение такое, словно бы автор пожал плечами, но не до конца: плечи поднялись, но не опустились...

Произведение *Марины Фёдоровой «Домой»* очень похоже на этюд: штрихами-мазками, кратко, бессюжетно, зарисовками, с отсутствием финала (финал здесь не открытый, а именно отсутствует — этюды часто пишутся именно так)... Словно бы автор произвёл некие тематические фотоснимки литературно-художественным способом. «Острые» материалы о детях и «на детях» всегда востребованы. Но требуют и определённого баланса, и определённого чувства меры. Эти два момента напряжённо коррелируют с авторской идеей. Здесь некий эмоциональный срез, выполненный

по возможности с нейтральной позиции, но, что называется, «заточенный под...».

Мария Косовская, «Открытый космос». Рассказ-регистрация, так иногда говорят о подобном жанре сегодня, когда чистая беспристрастность изложения — с одной стороны (как на камеру), и минимум авторского сопровождения в виде хоть каких-то мыслей или рассуждений — с другой стороны. Намечены две сюжетные линии — с Танькой и Настёной. Первая линия брошена, вторая хоть сколько-нибудь доведена. Тема разговора — любовь и всё, что вызывает душевную боль, когда речь идёт о любви: измена отца, разочарование, способность простить то, что трудно простить... Центральная мысль, как мне кажется, — неотвратимость отрицательных сторон бытия, связанных с необходимостью жить с этой болью дальше...

Вячеслав Лямкин, «Отпусти его на небо, душа...», повесть. Деревенская проза. Фактически всё повествование — психологически очень тонкое, драматическое — о смерти и ожидании самой смерти. «Бытовое» и вместе с тем во многом философское произведение сопоставляет важнейшие понятия о жизни и смерти через проекцию любви. И того колоссального, что дарит любовь, — прощения. Нейтральные сами по себе понятия жизни и смерти приобретают наивысшее значение и особый сакральный смысл именно в любви. Тяжёлые рефлексии главной героини, её неизбывная тоска жёстко усилены самым страшным, что может наступить в старости, — одиночеством. Финал произведения — одно из главнейших достоинств этой повести — очень силён.

Первая аллюзия при прочтении рассказа *Виктории Сагадиевой «Кайзер»* — классика кино «Полёт над гнездом кукушки». Но в «лайтовой» версии, если можно так выразиться. Вообще, темы свободы, детского дома, добавьте темы, связанные с психиатрией, всегда создавали богатое положение для авторских исследований и экспериментов. Вопросы актуальные и важные. Сила же разговоров о свободе, я уверен, не утратится никогда. Человек просто физически должен ощущать свободу. Хотя бы и субъективно. Наверное, свобода — самое философское понятие, которое по значимости «уступает» лишь рассуждениям о любви. Да и уступает ли? Ведь если это и не синонимы, то два тесно коррелирующих понятия. Кстати, именно об иррациональной связи любви и свободы идёт речь в этом произведении...

Мастерская Елены Тимченко

Литературный лицей

Даша Бушланова

литературный лицей, 7 класс

Серия школьных рассказов про троечника Колю Улиткина

Неизвестный герой

Троечник Коля Улиткин пришёл в школу в плохом настроении. Во-первых, он не успел позавтракать, а во-вторых, сегодня предстояло писать контрольную по математике, к которой он, конечно, не готовился.

Войдя в класс, Коля первым делом нарисовал на доске зубастого монстра, потом пнул чей-то портфель и, наконец, уселся за свою парту.

Прозвенел звонок, и в класс вошла учительница. Увидев на доске ужасного монстра, она сказала: — Улиткин, походи намочи тряпку и сотри свои художества!

Схватив тряпку, Коля вприпрыжку побежал к двери. «Ура! И контрольную прогуляю, и бутерброд куплю в столовой!» — думал троечник, радостно пританцовывая на бегу.

Проходя мимо двери в подвал, он услышал громкое чавканье. Приоткрыв дверь, он увидел зелёного инопланетянина, поедающего бутерброды из столовой!

— Ты ещё кто?! — только и смог вымолвить Коля. — Я прилетяка с планеты Утяка. Я уже моих друзей позовяка. Мы вашу школу захватяка, все бутерброды из столовой покупяка и тебе в дневник двоек наставяка! — «протякал» инопланетянин. — Как это двоек мне наставяка?! Я только все двойки на тройки исправил! — разозлился Улиткин и швырнул в незваного гостя тряпкой.

Зелёный любитель бутербродов в испуге кинулся бежать.

Коля помчался за ним, но инопланетянина не догнал, а вместо этого на всём ходу врезался в директора.

— Почему ты не на уроке?! — взревел директор.

— Но я спасал нашу школу от нашествия... — стал оправдываться Коля.

— Завтра же родителей в школу! — ещё больше разозлился директор.

— Не ценят у нас героев, — пробормотал Коля и поплёлся в класс.

Сентябрьские клятвы

— Я больше никогда не буду прятаться под партой на первом уроке, дёргать Петрову за косы на втором уроке, болтать с Лягушкиным на третьем уроке, драться с ним портфелями на четвёртом уроке, рисовать монстров на доске на пятом уроке и убегать с шестого урока! — торжественно пообещал себе троечник Коля Улиткин накануне первого сентября.

Утром, придя в школу, он тут же залез под парту. Просидев под партой весь первый урок, Коля с видом коршуна, выслеживающего мышь, набросился на Петрову и сильно дёрнул её за волосы.

На третьем уроке у Коли случилась интереснейшая беседа с Петей Лягушкиным о том, что лучше: вырвать страницу с двойкой из дневника или замазать двойку корректором. Беседа зашла в тупик, и на четвёртом уроке Коля и Петя разрешили свой спор дракой портфелями.

На пятом уроке Коля Улиткин вместо примера по математике нарисовал на доске рогатого монстра с крокодилим хвостом. На его счастье, прозвенел звонок, и до начала шестого урока его художество не было замечено.

Но на последнем, шестом, уроке это чудо современного искусства увидела учительница английского языка...

— Улиткин, быстро сотри свои художества с доски! — грозно сказала она.

Но Коля уже не слышал её слов, в этот момент он уже резво бежал по улице...

С половицей не согласен!

Однажды вечером троечник Коля Улиткин в кои веки решил сделать (а не списать) домашнее задание по русскому языку. Упражнение в учебнике гласило: «Спишите поговорки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания».

Коля благополучно пропустил часть задания, говорившую о каком-то бесполезном списывании, и сразу приступил ко второй части — вписыванию букв и знаков, в большинстве случаев неправильных, ручкой прямо в учебник. Почти одолев упражнение, Коля обратил внимание на ужасно

лживую, по его мнению, поговорку: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда».

— Что за враньё! — рассердился Коля. — Неужели, если я не буду ходить в школу на труды, я рыбку не смогу поймать? Неверно!

Коля решил опровергнуть эту поговорку. Тем более завтра третьим уроком как раз должны быть труды. Вот только ни одного пруда поблизости он не знал и решил, что на эту роль сгодится аквариум в живом уголке.

На следующий день Улиткин принёс в школу удочку и ведро и на уроке труда отправился вылавливать рыбку из «пруда». Он переловил всех рыб как раз к концу трудов и со звонком отправился на урок русского языка, взяв рыб с собой как наглядное доказательство, что поговорка про труды и рыбок в пруду — бред несусветный.

Учительница попросила Колю Улиткина предъявить тетрадь с выполненным домашним заданием, и когда выяснилось, что он проигнорировал слово «спишите» в задании, строго сказала:

— Улиткин, двойка тебе! Так ты из троечника превратился в двоечника! Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

— А вот и неправда, — обиделся Коля. — Я специально сегодня вместо трудов ловил рыбку!

Коля поднял ведро с рыбками над головой. — Ну, не совсем в пруду, конечно, а в аквариуме... Но ведь это почти одно и то же! — добавил троечник.

— А, так вот кто в живом уголке всех рыб переловил! Быстро к директору! — возмутилась учительница.

«Ну что я не так сделал или сказал?» — обиженно думал Улиткин, выходя из класса.

Валентинка

Коля Улиткин сидел за партой и пытался взломать электронный журнал, чтобы удалить оттуда свои двойки, недавно почти полностью заменившие его тройки.

На доске красовалась дата: «14 февраля». Вроде бы обычный, ничем не примечательный февральский день, но в классе все ученики как с ума посходили. На партах тут и там лежали разноцветные сердечки.

Коля не разделял всеобщего веселья, он был слишком занят двойками. Дело серьёзное: ещё одна двойка — и не видать ему нового телефона как своих ушей. И тут сердце его упало... Сегодня же контрольная по математике!

Вдруг Колю осенило: нужно подарить валентинку учительнице по математике! «Все любят получать подарки, и Мария Петровна тоже, — думал Николай. — Она так обрадуется, что забудет про контрольную!»

Он вырвал листок из тетради, вырезал из него сердечко и написал:

«С Днём Свитово Волентина Мария Питровна!!!
Ваши 5 „Ё“».

Закончив свой шедевр, Коля положил открытку на учительский стол и, усевшись за парту, стал ожидать, к чему приведёт его действие.

Долго ждать не пришлось. Через минуту прозвонил звонок, и в класс вошла учительница. Увидев на своём столе открытку, она сначала удивилась, а потом обрадовалась.

— Так уж и быть, — улыбнулась Мария Петровна. — Контрольной сегодня не будет. Вместо этого мы порешаем примеры. Коля Улиткин, к доске.

Так и ходил Коля со старым телефоном весь год...

Маша Зуболенко

литературный лицей, 8 класс

Первое

Мечты вновь увидеть Петербург жили в моей голове долгие годы. И совсем недавно этим мечтам суждено было сбыться — в это Рождество состоялась моя вторая встреча с блистательным городом на Неве. Однако то, что произошло на самом деле, никак не входило в мои планы.

Я встретила Лёню.

Сейчас мне кажется, что судьба свела нас вместе специально, так же, как сводятся петербургские мосты белыми ночами, тем более что именно в культурной столице у нас произошло то самое «от ненависти до любви».

Скажу честно: все три дня в поезде мы совсем не разговаривали. Но мне почему-то очень хотелось познакомиться именно с ним. Моё сердце, кажется, чувствовало, что знакомство с Лёней — важнейшая задача момента. Но чудо не произошло, и я, заплаканная и смятённая, приехала в Петербург.

Скорее всего, питерский воздух, пропитанный свежестью и интеллигентностью, заставил нас забыть все обиды и слёзы. Потому что уже на второй день мы с Лёней сблизились так сильно, как сблизаются два кота, живущие у одних хозяев.

Этот обычный на первый взгляд мальчик покорило моё сердце в последнюю ночь в Петербурге, потому что тогда я, из-за своих вечных войн с ношением шапки, простыла, и в момент всеобщего безумного веселья мне стало очень плохо: лоб пылал, а щёки горели так же, как сейчас, когда я вспоминаю этот случай. Моё состояние сушёной трески заметил только Лёня. Он отвёл меня в номер и побежал за «нурофенкой» в ближайшую аптеку. Заботливые и испуганные глаза смотрели на меня до самого утра, пока о моём здоровье

не узнала учительница, прекратившая весь этот спецкурс лечения от Лёни.

Из Петербурга мы уезжали в слезах, потому что знали, что вместе с родителями на перроне в Красноярске нас будет ждать разлука... Я даже не могла осознать, что наши пути разойдутся и в городе, кроме километров, нас будут разделять Енисей и окружающие люди.

Но сейчас я понимаю: это расстояние делает нас только ближе. И именно в те дни, когда я не вижу его, я чувствую, что он рядом. Так получилось, что теперь его проблемы—мои проблемы, его друзья—мои друзья, его мир—мой мир. Наверное, это и есть любовь, когда человек, когда-то такой холодный и чужой, становится твоим всем.

Я становлюсь счастливее, когда счастлив он. А ещё—когда мы допоздна общаемся, делись своими желаниями и мечтами. Конечно, мы ссоримся, даже очень часто, ссоримся так, что всё стекло поблизости начинает дрожать от страха. Но в тот момент, когда уже звучит страшный вопрос: «А может, нам лучше расстаться?»—я молчу. И Лёня молчит. Потому что мы понимаем, что все эти мелочи не важнее чувств.

Сейчас я учусь. Учусь брать ответственность не только за себя, но и за дорогого мне человека. Может быть, через пятнадцать лет я буду одним из тех самых взрослых, «которым уже ничего не интересно, кроме цифр», и буду всех уверять, что всё происходящее со мной сейчас—лишь подростковый максимализм, не больше. Но первая счастливая любовь всегда будет храниться в уголке моего сердца, вместе с первыми написанными в тетрадке буквами, первой болью и первым выпавшим в три года передним зубом.

Даша Голощапова

литературный лицей, 10 класс

Матерь Всего

(личный миф возникновения жизни на Земле)

Изначально была лишь вечная Пустота, полная клокочущего чувства. Ни света, ни тьмы, ни страха, ни счастья—ничего не было и в то же время было всё вместе, перемешано и неотделимо.

Но среди хаотичной Пустоты всегда была Та, что стала Матерью всему миру. По-разному обращались к ней в молитвах жрецы, каждый раз новым именем нарекали её в своих песнях менестрели. Мы же будем звать её Матерью Всего, ведь для того она и вышла из Пустоты, чтобы дать миру жизнь.

Не было тогда времени и любого другого измерения, но жрецы разделили предание на части—и каждая равна одному дню.

И на первый день, как вышла Матерь Всего из Пустоты, она силою своей мысли вырвала из Пустоты песчинку, и с той песчинки, словно из семени, появилась Земля. И поклялась себе Матерь Всего беречь Землю как приют для детей своих.

По замыслу Великой Матери Всего, должны появиться на Земле дети, и должны они жить во тьме и воспевать тьму, ибо свет тогда ещё не был создан Матерью Всего.

Скроила она из Пустоты первых людей—всего их было четверо. Матерь опустила их на Землю в надежде, что они очнутся от сна своего. Но не пробудились люди, ведь холодна была Земля, и не оттаяли их тела и души.

Тогда Матерь Всего вырвала глаз свой и поместила его среди пустоты—свет её бессмертного ока озарил Землю и растопил людские сердца, согрел почву.

Всё это случилось в первый день.

На второй день пробудились люди ото сна, были они ещё немые. Матерь Всего увидела, что несчастные жители Земли могут умереть от жажды. Тогда она своим тёплым влажным дыханием создала пар в холодном воздухе, и так появились белые облака, проливающиеся небесной влагой.

На третий день из облаков полил дождь, и оттого на безжизненной Земле появился океан.

Увидела тогда Матерь Всего, что земля скучна и пуста—люди в вечной тоске странствовали среди серых скал и морей.

Своей доброй силой взрастила Матерь на земле траву и деревья—два самых первых дерева, прародителей всех дубов, берёз и ясеней.

А в четвёртый день Матерь Всего закончила своё творение, создав зверей морских, земных, подземных и летучих.

Когда узрели люди все блага, что сотворила для них Матерь Всего, то тут же они обрели речь.

С тех пор Матери Всего воздают молитвы жрецы и дела её вспоминают в своих историях сказители.

Читайте дневники блокады!

Что бы вы думали? Совсем недавно я с эстетствующим видом писала свой текст о «необходимом и достаточном». Прочитав блокадные дневники, во мне всё перевернулось! До этого момента я не до конца ощущала реальность блокады.

«Не немецкий ли самолёт? Наш или немецкий? В меня или не в меня? Когда раздавался отбой, все тихонечко вторили ему, напевали его, думая: „Этого больше никогда не будет...“»

(Ольга Берггольц, 5 октября 1941 года)

Представьте прямо сейчас песню отбоя! Неотступный тусклый стук метронома—как шаги чёрного человека. Но только не бойтесь! Он несёт временное спокойствие, надежду, тишину. И много-много

людей сливалось в чистое бормочущее многоголосье, повторяя отсчитывающую мелодию.

Живые воспоминания людей неумолимо толкают меня к осознанию того, что блокада — не страшный кадр из кинофильма, который мы неизменно перематываем, и даже не неумолимые цифры исторических фактов: это жизни многих людей, их мечты, воспоминания — словом, всё, что составляет бессмертие души.

«Я помню, мы с мамой твёрдо решили поехать куда-нибудь летом путешествовать. И это от нас не уйдёт. Мы с мамой сядем ещё в мягкий вагон с голубыми занавесочками, с лампочкой под абажуром, и вот наступит тот счастливый момент, когда наш поезд покинет стеклянный купол вокзала и вырвется на свободу, и мы помчимся вдаль, далеко-далеко. Мы будем сидеть у столика, есть что-нибудь вкусное и знать, что впереди нас ждут развлечения, вкусные вещи, незнакомые места, природа с её голубым небом, с её зеленью и цветами. Что впереди нас ждут удовольствия, одно лучше другого».

(Лена Мухина, 22 ноября 1941 года)

Читайте воспоминания, смотрите на фотографии, включите симфонию Шостаковича и слушайте, слушайте! Пугайте себя, восхищайте себя! Впитывайте в себя историю, пока она совсем не утекла под половицы современности!

Рита Данилина

литературный лицей, 6 класс

Любовь и Лермонтов

Один факт из жизни М. Ю. Лермонтова: однажды на Кавказе, в возрасте четырёх лет, Миша испытал свою первую любовь. К ним приехала девочка, и как только он её увидел, сразу забился в угол и не выходил весь вечер. Когда она звала его играть, он отворачивался и говорил, что занят.

В детском садике я наблюдала такое явление; правда, тогда не могла ещё осознать (мне было года три). Как можно дружить с мальчиком? В моём представлении мальчик был существом с другой планеты. Я не могла понять, о чём с ним поговорить, во что поиграть — в куклы же он не будет?

Тем не менее, я наблюдала, как мальчик с девочкой ходили за ручку на прогулке, как он дарил ей колечко и как они радостно болтали друг с другом.

То, что это была любовь, я поняла только в пятом классе — вспомнила этот случай, потому что мы проходили Лермонтова.

У меня такое ощущение, что они в свои три-четыре года испытывали чувства более сильные, чем, например, я сейчас (а ведь я — в шестом классе).

Суперперо-2018

Красноярский городской конкурс публицистических работ школьников

Василина Ракутина

школа № 62, 11 класс

Вахтенный журнал капитана Никитина

Что значил этот бережно обёрнутый в газету журнал в сто девять листов, с аккуратно исписанными убористым почерком страницами, для капитана теплохода «Бурлак» Никитина Валерия Васильевича? Несомненно, для него это был документ — «Единый судовый вахтенный журнал флота Енисейской сплавной конторы», прошитый, с пронумерованными страницами, скреплённый печатью. Для него он был рабочим документом, в котором фиксировалось время на каждый вид работы, основная из которых — буксировка барж, гружённых лесом. А для меня это память о моём дедушке, деде Валере. Порой мне кажется, что исписанные страницы журнала, пожалуй, более красноречиво говорят о деде, чем даже его фотографии.

Ведь что удивительно: всякий раз, открывая журнал, я открываю в себе это ощущение, которое принято называть памятью и которое словно животрепещет и со временем только крепчает во мне. В эти моменты я вспоминаю дедушку, представляю его ведущим теплоход по Ангаре среди её берегов, один из которых скалистый, а другой — густо-зелёный, таёжный; горжусь им и ощущаю родство с ним — с тем, кого давно нет в живых и памятью о ком я бесконечно дорожу. Я ощущаю это через страницы, которые он листал, через строчки, написанные его рукой, через запах пожелтевшей от времени бумаги, через выражения «прошли порог», «следуем в Усть-Тунгуску», «оказываем помощь в буксировке»... Интересно и то, что журнал этот вёлся с 7 сентября 1989 года по 23 сентября 1990 года, то есть за двенадцать лет до моего появления на свет, когда моя мама была младше меня нынешней.

Открываю наугад страницу журнала. Читаю и, вспоминая моменты из детства, явно слышу характерный шум работающего мотора, то затихающий, то усиливающийся. Смена этих звуков всегда следовала за тем, как дед управлял теплоходом:

активнее крутил штурвал и двигал рычагами — двигатель громче рокотал, если штурвал только придерживался рукой, то и шум двигателя был тихим, ровным. В этом была какая-то магия, казалось, что дед и теплоход — составляющие одного существа, что теплоход понимает и слушает деда, а дед знает всё о теплоходе, как о друге.

Вижу светлый июльский день. Кругом Ангара, широкая, голубая, отражающая берега, облака, а в месте, где отражается солнце, играющая миллионами искорок, особенно если это место приходится на бурлящий «хвост» на воде за теплоходом. И запах — запах Ангара, свежий, не передаваемый словами, характерный только для этой реки. (К слову, Енисей пахнет совсем не так.)

В рубке открыто лобовое стекло, снизу вверх, держится на специальных подпорках, как козырёк. Время от времени хрипит рация. Дедушка иногда берёт трубку рации и бодро кому-то отвечает: «„Бурлак“ слушает. Приём...» — о чём-то говорит, кого-то с улыбкой приветствует, иногда, по-видимому, получая задание, серьёзно отвечает: «Приято. Действуем». Настроение у всех приподнятое: у деда, у меня, у его многочисленной команды, среди которой мне запомнился рулевой-моторист. Он часто менял деда у штурвала. Штурвал, кстати, заслуживает отдельного внимания: большой, деревянный, гладкий. Именно таким штурвал изображают даже на старинных кораблях.

Общее настроение иногда менялось. Наверное, как и в этот день, ведь плот леса «Бурлак» вместе с теплоходом «Строгий» вёл через порог. Порог — это нагромождение огромных камней посреди реки, на всю ширину, так что обойти их нельзя, необходимо знать, как пройти между камней успешно, не разбив плот и не посадив на камни теплоход, не подведя, а если понадобится, помогая второму теплоходу. Мастерство Никитина признавали: он имел звание лучшего капитана года несколько лет, о чём свидетельствуют многочисленные грамоты.

Безусловно, работа деда сложная, но романтичная. Он любил свою работу. Династию речников продолжает мой дядя, Никитин Владлен. Ему ещё тридцать лет; отслужив на подводной лодке два года, он сейчас тоже работает на теплоходе.

Так складывается история судеб, семей, поколений, из них — история страны, эпох. А свидетели

этому— вот такие семейные реликвии, как судовой вахтенный журнал, пробуждающий во мне Память...

Ксения Стратович

школа № 76, 7 класс

Сон. Театр. Ночь

Не так давно я была в Театре юного зрителя. Стоит заметить, что тюз давно привлекал моё внимание. Мне всегда казалось, что в этом удивительном здании таится что-то волшебное, удивительное, трепетное. К тому же тюз давно стал мастерской бесподобного Романа Феодори, о творчестве которого много говорят, спорят. Его спектакли восхищают своей оригинальностью и эффектностью, пользуются большой популярностью у зрителя, становятся обладателями Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Мне посчастливилось побывать на спектакле этого необыкновенного режиссёра «Сон. Лето. Ночь», в основу которого легла комедия Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Спектакль представляет собой праздничную вакханалию, превращаясь постепенно в оду любви.

Для меня представление началось уже в зрительном зале. С того самого момента, как передо мной открылись двери.

Я сразу же окунулась в волшебную атмосферу спектакля! Первое, что удивило меня,— это небольшие подушечки и пледы, лежащие на сиденьях. Я прошла чуть дальше, заняла своё место и устроилась поудобнее. Облокотившись на мягкую подушку и ощутив тепло нежного пледа, я замерла в ожидании действия на сцене.

Вот подняли занавес. То, что происходило дальше, было совершенно неожиданно! Прозвучал голос конферансье, на сцене появились странные, необычные декорации и великолепные актёры.

Я всматривалась в происходящее, пытаюсь уловить идею и замысел пьесы. И поняла, что в основу спектакля легла запутанная история любви. Четверо влюблённых в ночном лесу пытаются найти ответ на вечные вопросы. Рядом, не видимые человеческому глазу, вершат свои проказы повелители эльфов и их свита. И здесь же репетируют незамысловатую пьесу афинские ремесленники. На сцене происходит сказочное перевоплощение

одной формы заветного любовного чувства в другую. Всё действие насыщено страстью, пронизано горечью потерь, хитросплетением интриг и магией волшебства. И всё это происходит словно в странном сонном бреду.

Очень интересно наблюдать за тем, с какой быстротой на сцене меняются костюмы актёров. Греческие тоги превращаются в средневековые платья, а в финале на героях появляются современные джинсы и футболки. Всё это чередуется с пёстрыми зелёно-фиолетовыми нарядами эльфов и фей, благодаря которым те с лёгкостью на сцене превращались в деревья и кустарники.

В то же время на заднем плане происходит игра тени и света. Прежде чем образ появляется на сцене, за ширмой рождается тысяча движений. Все они сливаются воедино, и возникает чувство. У каждого зрителя оно своё! Актёры появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. Они свободно перемещаются по зрительному залу, как будто это сцена. И от этого становится только интереснее и интереснее! Порой даже перехватывает дыхание. Ах!..

Вспышка яркого света... А дальше... темно и тихо... Чужой холодный голос звучит в темноте. Я пытаюсь встать со своего места, оглянуться вокруг, силюсь понять, что происходит, но не могу этого сделать, не получается. Такое ощущение, что кресло не пускает меня, а плед сжимает всё сильнее! Вдруг снова вспышка, яркий свет ослепляет меня на несколько мгновений... И представление продолжается снова, как будто ничего и не было. Но нет! Всё-таки что-то произошло. Я понимаю, что в зрительном зале я совершенно одна, я слышу голоса, которые пронизывают меня насквозь и куда-то зовут. Вспышка! И передо мной возникает юноша из индийской легенды в золотой тиаре. Он ласково улыбается и протягивает мне руку. Я не решаюсь ответить, но кресло выталкивает меня, а плед сползает и ложится у ног, как добрая домашняя кошка. И я в сопровождении юноши торжественно шествую на сцену. Там меня встречают улыбками и овациями актёры. Яркий свет! Необыкновенная музыка! Зажигательный восточный танец! Публика аплодирует стоя! Вспышка! Яркий свет заставляет мои глаза открыться. Сцена переливается разноцветными огнями. Зрители бурными аплодисментами провожают артистов... Я ошеломлённо вскакиваю и начинаю хлопать в ладоши изо всех сил, а сама мысленно перебираю последние события...

А события ли это? Или это просто... сон?

стр.
17

Анашкин Эдуард Константинович
Самарская обл., 1946 г. р.

Родился в городе Хилок Читинской области. Окончил сельскохозяйственный техникум, историко-филологический факультет Ульяновского педагогического института имени И. Н. Ульянова. Работал секретарём ВЛКСМ на ст. Хилок, чабаном в совхозе «Майский» Самарской области. Автор книг прозы и литературной публицистики «Вовсин поцелуй», «Запрягу судьбу я в санки», «Ангел с огненным мечом», «Попавшие в переплёт», «Под крылом Пегаса», книги воспоминаний о Валентине Распутине, вышедших в Самаре и Москве. Печатался в журналах «Наш современник», «Восток России», «Роман-журнал. XXI век», «Сибирь», «Сура», «Подъём», «Дон», «Родная Ладога», «Новый Енисейский литератор», «Русское эхо» и др. Лауреат областных литературных премий имени Н. Гарина-Михайловского, имени В. М. Шукшина, всероссийских литературных премий «Имперская культура», «Традиция». Награждён почётной грамотой Министерства культуры России (2012). Член Союза писателей России. Живёт в старинном селе Майское Пестравского района Самарской области.

стр.
123

Ахадов Эльдар Алихасович
Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Российский писатель. Окончил Ленинградский горный институт. В течение 10 лет руководил краевым литературным объединением при Государственном центре народного творчества Красноярского края и краевой литературной студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель сайта «Миры Эльдара» и международного русскоязычного поэтического конкурса «Озарение». Произведения автора публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Кукумбер», «Сибирские огни», «Неизвестная Сибирь», «День и ночь», «Обская радуга», «Intelligent New-York» и др. Обладатель многочисленных литературных премий и наград. Живёт в Красноярске.

стр.
152

Басалаева Елена
Красноярск, 1987 г. р.

Выпускница Красноярского литературного лицея. В 2009 году с отличием окончила филологический факультет Сибирского федерального университета. Преподаёт русский язык и литературу в Красноярской гимназии №13. Публикации на сайтах

«Добрая лира», «Город детства», в журнале «День и ночь» и др. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Большой финал» (Мурманская область). Живёт в Красноярске.

стр.
24

Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всероссийный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013), общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени. Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр.
44

Белкин-Ханадеев Игорь
Москва, 1972 г. р.

Поэт, прозаик. Публиковался в журналах «Пограничник», «Смена», «Молоко», «Молодая гвардия», «Дон», «Подъём», «Север», «Наш современник», «Урал» и др. Член СП России.

стр.
137

Бимаев Анатолий Владимирович
Абакан, 1987 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил юридический факультет Хакасского государственного университета. Публиковался в журналах «Абакан», «Сибирские огни», «Нева», в альманахе «Порог-ак»,

в сборнике «Антология молодых авторов Хакасии», в газете «Мол», в интернет-изданиях «Пролог» и «За-За». Участник 9-го и 12-го Форумов молодых писателей России и стран ближнего зарубежья. Участник Совещания молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока (Томск, 2015). Участник регионального совещания сибирских авторов (Новосибирск, 2016).

стр.
119

Борычев Алексей Леонтьевич
Москва, 1973 г. р.

Родился в Москве. Окончил МГТУ имени Баумана по специальности «оптик-разработчик», кандидат технических наук; работал в Институте общей физики РАН, занимался вопросами математического моделирования преобразования лазерного излучения. Являлся редактором сетевого журнала «Новая литература». Публиковался в журналах «Юность» и «Московский вестник» (Москва), «Вестник российской литературы» (Магнитогорск), «Окна» (Германия), «Эдита» (Германия), «ЛАВА» (Украина), «Литературный меридиан» (Владивосток), «Союз писателей» (Новокузнецк), «ЛитОгранка» (Новокузнецк), в газетах, альманахах и сетевых изданиях. Автор четырёх книг стихотворений: «Иду на восток» (М., 2004), «Снежное полнолуние» (М., 2006), «Солнечные слёзы» (М., 2008), «Сонеты» (М., 2008).

стр.
172

Бувеч Елена Ивановна
Черкассы, Украина, 1968 г. р.

Украинский поэт, переводчик, публицист. Окончила Черкасское музыкальное училище имени С. С. Гулака-Артемовского по специальности «преподаватель фортепиано, концертмейстер» и московский Литературный институт имени А. М. Горького (поэзия, руководители семинара Анатолий Жигулин, Игорь Волгин). Преподавала фортепиано и композицию в Черкасской детской музыкальной школе №2, работала журналистом в пресс-центре умвд, фрилансером, редактором отдела «Общество» в областной газете «Акцент». Редактировала литературный альманах «Новые страницы» (Черкассы), поэтические сборники местных авторов. Была соорганизатором и членом жюри литературных фестивалей «Летающая Крыша» и «Пушкинское кольцо» (Черкассы). Произведения переведены на сербский, болгарский и английский языки. Стихи и переводы публиковались в журналах: «Новый мир», «Наш современник», «Дружба народов» и «Российский колокол» (Москва), «Парус» (Минск), «Радуга» и «Византийский Ангел» (Киев), «Четвер» (Ивано-Франковск), «Нана» (Чеченская республика), «Странник» (Саранск), «Введенская сторона» (Старая Русса), «Эмигрантская лира» (Бельгия), в альманахах «Истоки-90» и «Никитские ворота» (Москва), «Бийский вестник» (Алтайский край),

«Вітрила» (Киев), «ЛАВА» (Харьков); в переводах на сербский — в литературных журналах «Траг», 2014, и «Воштанице» №2, 2015 (Сербия), альманахе «Ријеч» №3–4, 2016 (литературный клуб «Брчко», Босния и Герцеговина); собственные стихи, написанные на сербском языке, — в «Русском альманахе-21» (Сербия); в переводах на английский — в США. Живёт в городе Черкассы, работает журналистом, переводит поэзию с сербского и польского языков.

стр.
115

Великжанин Павел Александрович
Волжский, 1985 г. р.

Русский поэт, юрист. Победитель, призёр, лауреат и дипломант ряда всероссийских и международных литературных конкурсов и премий. Родился в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Долгое время прожил в городе Петухово Курганской области. В конце 1990-х годов переехал в Волгоград. В 2002 году окончил школу №19 города Волгограда. Окончил юридический факультет Волгоградской академии государственной службы и гражданско-правовую аспирантуру этого вуза. Был одним из победителей Всероссийской студенческой юридической олимпиады 2008 года. Автор нескольких научных статей на юридическую тематику. Преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградской академии государственной службы. Работал юристом в различных организациях Волгограда и Волжского. Стихи печатались в литературных журналах «День и ночь», «Роман-газета», «Крым», «Отчий край», «Союз писателей», «Симбирск», в «Литературной газете» и ряде других изданий.

стр.
162

Данилова Галина Васильевна
Красноярск

Родилась в Красноярске. Окончила Сибирский технологический институт, журналистские курсы. Работала в конструкторском бюро, преподавала в пту, школе. Первые рассказы были напечатаны в журнале «День и ночь». Выпустила три прозаических сборника.

стр.
21

Иргит Лидия Херлиевна
Кызыл, 1954 г. р.

Родилась в селе Шуй Бай-Тайгинского района Тувинской автономной области. В 1979 году окончила филологический факультет Кызылского государственного педагогического института, в 1997 году — Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. Работала радиожурналистом Государственной телерадиокомпания Республики Тыва, председателем Литературного фонда Союза писателей Республики Тыва. Первое стихотворение «Капля» напечатано в газете «Тыванын аныяктары» (1972). Её стихи

были опубликованы под названием «Зеркало озера» в сборнике молодых авторов «Ростки» (1981) на тувинском языке. Автор многих очерков о людях труда. В 1997 году в Москве вышел её сборник «Серебряный родник» на русском языке. Заслуженный работник культуры Республики Тыва (1998). Награждена медалью «100-летие со дня рождения М. А. Шолохова» (2005). Член Союза журналистов СССР (1984), Союза писателей России (1996).

стр.
185

Карякин Павел
Челябинск, 1976 г. р.

Окончил Челябинскую государственную медицинскую академию (1999). Выпускник Высших литературных курсов (2011), член Союза писателей России. Прозаик, публицист, критик. Руководитель областных семинаров ОГБУК «ЧГЦНТ», выездных семинаров «Исток-плюс» (Златоуст, Миасс). Осуществляет руководство литературной мастерской на базе ЧОУНБ. Участник Международного совещания молодых писателей (Каменск-Уральский, 2011), Межвузовского литературного форума имени Гумилёва (Переделкино, 2012). Член жюри литературного конкурса «Стилисты добра», детских литературных конкурсов «Алые паруса творчества», «Как слово наше отзовется», «Люблю Отчизну я». Является руководителем семинаров на межрегиональных литературных совещаниях, проводимых ежегодно на базе Челябинского государственного института культуры. Публиковался в литературно-художественных альманахах и сборниках Екатеринбурга, Тобольска, Оренбурга и др. Автор книги прозы «Иксион» (Челябинск, 2017).

стр.
48

Клиндухов Александр Фёдорович
Киров, 1956 г. р.

В 1978 году окончил Кировский политехнический институт, по профессии инженер-электрик. Служил в армии под Владивостоком и на Камчатке. Работал на металлургическом заводе. Автор пяти книг стихотворений. Стихи публиковались в журналах «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Молодая гвардия», «Смена», «Нижегородская провинция» (Саров), «Луч» (Ижевск), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Подъём» (Воронеж), «Сибирь» (Иркутск), «Сура» (Пенза), «Нива» (Казахстан). Автор повести «В Петропавловске-Камчатском полночь» («Роман-журнал XXI век», № 5, 2013). Член Союза писателей России.

стр.
180

Кулаков Сергей Анатольевич
Архангельск, 1964 г. р.

Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Студия» (Германия), «Союз писателей» (Харьков), «Южная звезда», «Урал», «Журнал поэтов», «Волга», «Слово» (Нью-Йорк), «Дон».

стр.

5

Козловский Алексей Дмитриевич
Абакан, 1947 г. р.

Родился в селе Строганово Минусинского района Красноярского края. Окончил географический факультет Красноярского государственного педагогического института и с 1970 года работает учителем в Новотроицкой средней школе Бейского района Хакасии. Автор нескольких поэтических сборников, первый из которых, «Дни осени», вышел в Красноярском книжном издательстве в 1977 году. В последние годы А. Козловский стал известен читателю и как автор сборников прозаических произведений. Его творчество широко представлено в различных сборниках и периодических изданиях. Член Союза писателей России. Заслуженный учитель Республики Хакасия.

стр.

172

Маринай Джеке (Gjekë Marinaj)
США, 1965 г. р.

Американский поэт албанского происхождения, переводчик, критик и основатель теории протонизма. Родился в небольшом северном албанском городе Брут. Работал журналистом, но в августе 1990 года в его судьбе случился неожиданный вираж. Газета «Дрита» опубликовала стихотворение Маринай «Кони», в котором завуалированно представлялось положение албанского народа. Газету со стихотворением мгновенно раскупили, а стихотворение подняли на щит противники власти в стране. Его переписывали от руки, раздавали в метро, скандировали на антиправительственных митингах и исполняли как песню. Маринаем заинтересовались спецслужбы, и под угрозой ареста он был вынужден покинуть страну. Он тайно пересёк границу и бежал сначала в Югославию, а оттуда, спустя некоторое время, — в Соединённые Штаты. С тех пор Маринай всегда подчёркивает свою благодарность сербскому народу за поддержку в трудный период его жизни. Связь с Сербией у писателя и семейная — его жену-сербку зовут Душица. В США Маринай продолжил образование в Техасском университете в Далласе, защитил докторскую степень. Он основал теорию протонизма в литературной критике: в соответствии с ней критик-протонист сначала пытается понять, что представляет собой эстетическая, интеллектуальная и моральная ценность работы, учитывая её собственные условия. Если критик находит мало таковой ценности в произведении, ему следует отказаться от дальнейшего рассмотрения. «Концепция имеет непосредственное отношение к балканскому контексту, в котором литературная критика часто становится политическим, сектантским или идеологическим оружием в ущерб литературе. Но она может иметь широкое применение. А сам термин является метафорой, проиллюстрированной физикой атома: взгляд

критика-протолиста базируется не на летучем, лёгком отрицательном электроны, а на прочном, весомом положительном протоне», — говорит Мариной о своей теории. Сегодня он автор книг поэзии, прозы, литературной критики, переводчик художественной литературы с английского на албанский и с албанского на английский, редактор книг на обоих языках. Обладатель престижных литературных наград, американских и албанских. Живёт США. Преподаёт английский язык и коммуникации в Ричленд-колледже.

стр.
109

Михайлова Анна

Санкт-Петербург, 1983 г. р.

Родилась в Ленинграде. Окончила Санкт-Петербургский горный институт по специальности «Обогащение полезных ископаемых» (горный инженер). Занимается проектированием и реконструкцией обогатительных фабрик, а также технологией переработки сырья. Публиковалась в различных интернет-журналах и бумажных изданиях: «Пролог», «Точка зрения», «45-я параллель», «Графоман», «Вологодский лад», «Площадь мира» и др. Победитель конкурса «Современная русская поэзия» 2013 года, лонг-лист премий «45-й калибр» и «Северная земля», шорт-лист конкурса «Хрустальный родник», лауреат премии имени Шестакова.

стр.
174

Нагорнова Анастасия

Ачинск, 1997 г. р.

Родилась и живёт в городе Ачинске Красноярского края. Пишет рассказы. До настоящей публикации в литературных журналах не печаталась.

стр.
7

Никифоров Владимир Семёнович

Новосибирск, 1943–2019

Родился в посёлке Подтёсово Красноярского края. Работал матросом несамоходного судна, слесарем, шкипером рейда, диспетчером в управлении пароходства, начальником смены в речном порту. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. Кандидат технических наук, профессор. На счету Никифорова десятки книг: учебные пособия, монографии, сборники прозы. В 2007 году московским издательством «Транслит» издано учебное пособие по логистике, которое в 2013 году было переиздано как учебник. Издан ряд монографий, посвящённых судоходству и водным путям Верхне-Иртышского, Енисейского и Обь-Иртышского бассейнов. Член Союза писателей России. Скончался 28 мая 2019 года после тяжёлой болезни.

стр.
104

Овакимян Сати

Ереван, Армения, 1988 г. р.

Родилась в Ереване. Окончила факультет театроведения Ереванского государственного института театра и кино (2010). Работала журналистом

и сценаристом в телекомпаниях. Автор сборника рассказов «Полуостров» (2017). Печаталась во многих армянских СМИ, а также в журнале «Дружба народов».

стр.
167

Рубашкин Глеб Владимирович

Выкса, 1979 г. р.

Родился и проживает в настоящее время в городе Выкса Нижегородской области. В 2002 году окончил финансовый факультет Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, кандидат экономических наук. Работает руководителем экономического подразделения на одном из предприятий Объединённой металлургической компании. Публикации в журналах «Нижний Новгород» и «Приокские зори».

стр.
41

Русин Дмитрий Сергеевич

Набережные Челны, 1985 г. р.

Алтарник Свято-Вознесенского архиерейского подворья города Набережные Челны, студент заочного отделения Казанской православной духовной семинарии. Публиковался в журналах «Октябрь» (Москва), «Звезда» (Санкт-Петербург), «День и ночь» (Красноярск), «Идель» (Казань).

стр.
3

Саввиных (Наумова) Марина Олеговна

Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике с 1973 года: в журналах «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraGUS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), еженедельнике «Обзор» (Чикаго), «Крещатик» (Германия), коллективных сборниках и антологиях. Автор десяти книг стихов, прозы, художественной публицистики. Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева (1994), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014), X Всероссийского поэтического конкурса «Мечти — Божьи храмы» (2016). Член Союза писателей России, Международного Союза писателей Иерусалима, Международного пен-клуба, Гильдии межэтнической журналистики. Член президиума Международного Союза писателей XXI века. Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лица. Заслуженный работник культуры Красноярского края. Награждена орденом общественного признания имени Достоевского I степени. Главный редактор литературного журнала «День и ночь». Живёт в Красноярске.

стр.
188

Синяя тетрадь

Красноярск

В разделе представлены сочинения красноярских школьников Зуболенко Марии, Бушлановой Дарьи,

Голощавовой Дарьи, Данилиной Маргариты, Ракутиной Василины, Стратович Ксении.

стр.
37

Скиф Владимир Петрович

Иркутск, 1945 г. р.

Родился в посёлке Куйтун Иркутской области. Детство прошло на станции Харик Куйтунского района. Окончил Тулунское педагогическое училище и Иркутский государственный университет (факультет журналистики). Поэтические сборники: «Зимняя мозаика» (1970), «Журавлиная азбука» (1979), «Бой на рапирах» (1982), «Грибной дождь» (1983), «Живу печалью и надеждой» (1989), «Копьё Пересвета» (1995), «Над русским перепутьем» (1996), «Русский крест» (2008) и другие. Пишет стихи для детей, эпиграммы и пародии. Лауреат многих литературных премий.

стр.
24

Соловей Валерий Дмитриевич

Москва, 1960 г. р.

Известный российский историк, политический аналитик, публицист и общественный деятель. Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой связей с общественностью Московского государственного института международных отношений. Родился в городе Счастье Луганской области. Детство провёл на Западной Украине. В отрочестве жил с родителями на Кубе. В 1983 году окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Круг научных интересов: современная российская политика и политическая история, русская идентичность. Автор и соавтор монографий и книг, нескольких десятков научных статей по истории и политике России, сотен газетных публикаций. В их числе: «Русская история: новое прочтение», «Смысл, логика и форма русских революций», «Кровь и почва русской истории», «Несостоявшаяся революция. Исторические смыслы русского национализма», «Революция! Основы революционной борьбы в современную эпоху». С 1993 года — эксперт «Горбачёв-фонда», с 2009-го — член Экспертного совета международного журнала «Геополитика». Участник проекта Романа Юшкова и Константина Окунева «Русские встречи» (Пермь). В 2018 году стал идеологом штаба лидера «Партии Роста» Бориса Титова на выборах президента России. Живёт в Москве.

стр.
29

Тарасова Марина Борисовна

Перedelкино, 1939 г. р.

Поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Москве. Окончила Московский полиграфический институт, редакторское отделение. Занималась в студии Давида Самойлова при Московском отделении СП. Переводила поэтов Латинской Америки, а также аргентинского поэта Рауля Гонзалеса Туньона, позднее — грузинских, азербайджанских,

киргизских и казахских авторов. В 1964 году её стихи были напечатаны в ведущих кубинских газетах, а в газете «Noy» — с напутствием кубинского писателя и поэта Мануэля Наварро Луна. Первая подборка стихов с предисловием Александра Межирова опубликована в «Литературной России» в 1966 году. После совещания молодых писателей 1971 года принята в Союз писателей по рекомендации Павла Антокольского. Работала редактором издательства «Современник». Автор десятка книг поэзии и прозы. Среди них: «Колокольное дерево», «Гориславль», «Красная ласточка осень», «Воздушный мост», «Шиповник красный между строк». В 1988 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку-гигант, где звучат стихи Марины Тарасовой в исполнении автора. В 90-е годы — куратор литературного салона «Чистый понедельник» в Москве. В числе выступавших — поэты Юрий Кублановский, Инна Лиснянская, критик Лев Аннинский, главный редактор журнала «Континент» Игорь Виноградов. В 1993 году в издательстве «Прометей» выходит «Избранное» с предисловием Анастасии Цветаевой. Участвовала во многих международных фестивалях поэзии. В 2011 году представляла поэзию России на Международном фестивале в Черногории. Член Русского ПЕН-клуба, Союза писателей XXI века.

стр.
50

Шанин Владимир Яковлевич

Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края, в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета и аспирантуру Высшей школы профсоюзного движения при ВЦСПС в Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в колхозе, леспромхозе, на заводе «Сибтяжмаш», в районных, многотиражных газетах, в альманахе «Енисей», в профсоюзных организациях, служил в армии. Участник краевого семинара молодых писателей Красноярья в 1974 году и в том же году — зонального совещания молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на котором рукопись рассказов была рекомендована к изданию. Печатался в краевых и областных газетах, в журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», в коллективных сборниках. Автор книг прозы «Памятник для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в деревне...», «Имя собственное» (литературные портреты писателей), изданных в Красноярске и Москве. А своей «главной» книгой считает роман-исследование о В. И. Сурикове «Суриков, или Трилогия страданий». В 2011 году вышел первый том «Енисейской летописи» — это хронологический перечень важнейших дат и событий из истории Приенисейского

края. Готовится к изданию второй том. «Енисейская летопись» на сегодняшний день является единственным в своём роде изданием, хронологически описывающим исторические события нашего края. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России. Живёт в Красноярске.

стр.
141

Шляхова Галина Николаевна
Туруханский район, 1976 г. р.

Родилась в деревне Сургутиха Туруханского района Красноярского края. Живёт в посёлке Бор Туруханского района. Работает в школе преподавателем искусства и учителем индивидуального обучения детей с ОВЗ, имеет высшее образование и магистерскую степень по направлению «Психологическое консультирование и психотерапия». Публикации в альманахе «Енисей»; стихи в разное время публиковались в газетах «Маяк Севера» и «Голос поречан» под псевдонимом Мария Елизарова.

стр.
112

Шорскин Дмитрий Юрьевич
Санкт-Петербург, 1983 г. р.

Родился в Омске. Российский автор-исполнитель, писатель. Публикации в журналах и интернет-изданиях, в том числе в журналах «Дарьял», «Топос», «Молоко» и других. Лауреат и дипломант различных конкурсов и премий в области литературы и авторской песни.

стр.
33

Щипахина Людмила Васильевна
Москва, 1933 г. р.

Родилась в Свердловске. Поэт, публицист. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Будучи студенткой третьего курса, совершила дальнее плавание в составе экипажа теплохода «Архангельск». Впечатления от этого путешествия составили основу повести «Завтра и всегда» и книги стихов «В дороге». После окончания Литературного института жила в Ленинграде. Изучила испанский язык и многократно бывала в Латинской Америке. Во время войны была в районе военных действий на границе с Гондурасом. Посетила Эквадор, Перу, Аргентину, Кубу. Автор более 40 книг стихов и переводов. Награждена двумя орденами «Дружба народов», орденом «Знак Почёта», несколькими медалями и почётными грамотами, в том числе «Золотое перо» (Польша), «Золотое перо» (Эквадор). Литературные награды: Международная премия имени М. А. Шолохова, Всероссийская премия А. Твардовского, Всеукраинская премия имени Владимира Даля, премия имени Константина Симонова, литературная премия имени Сергея Есенина. Секретарь правления Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов. Член исполкома Международного сообщества писательских союзов, сопредседатель комиссии по туркменской литературе. Заслуженный работник культуры Туркменистана.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

М. О. Наумова

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В. Н. Наговицын

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Иса Айтукаев

Андрей Бардаков

Ольга Ермакова

Валентина

Ерофеева-Тверская

Ольга Карлова

Татьяна Савельева

Михаил Тарковский

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Галина Кошкина

Учредитель: Агентство печати
и массовых коммуникаций
Красноярского края.
Адрес: 660009, г. Красноярск,
ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
пи №ФС77-42931 от 9 декабря
2010 г. выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при
финансовой поддержке Агентства
печати и массовых коммуникаций
Красноярского края.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Александр Астраханцев

Красноярск

Наталья Ахпашева

Абакан

Юрий Беликов

Пермь

Вера Зубарева

Филадельфия

Александр Кердан

Екатеринбург

Сергей Кузнечихин

Красноярск

Валентин Курбатов

Псков

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Евгений Минин

Иерусалим

Виталий Молчанов

Оренбург

Миясат Муслимова

Махачкала

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Евгений Степанов

Москва

Андрей Тимофеев

Москва

Вероника Шелленберг

Омск

Владимир Шемшученко

Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева

Челябинск

Журнал издаётся с 1993 года.

В оформлении обложки
использована картина
Марины Тушъ.

Редакция не вступает в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Ответствен-
ность за достоверность фактов
несут авторы материалов. Мнение
редакции может не совпадать
с мнением авторов. При перепечат-
ке материалов ссылка на журнал
«День и ночь» обязательна.

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт
4070 2810 8006 0000 0186

в «Сибирском» филиале

банка ВТБ ПАО

в г. Новосибирске

БИК 045 004 788

Корреспондентский счёт

3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются
по электронной почте:
dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,
т. +7 983 618 7626

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 10.06.2019

Дата выхода в свет: 30.06.2019

Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Отпечатано ип Азарова Н.Н.
в типографии «Литера-принт»
г. Красноярск, ул. Гладкова,
д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007tex@mail.ru



Владимир Васильев | Дома в Кошурниково | 50 × 45 | 2011



Владимир Васильев | Брёвна на улице в Петропавловке | 50 × 40 | 2010



Чжан Лин (кит)

Жизнь Пи | 60 x 40 | 2019

На обложке: Марина Тушв (Красноярск)

Детская | 60 x 50 | 2017